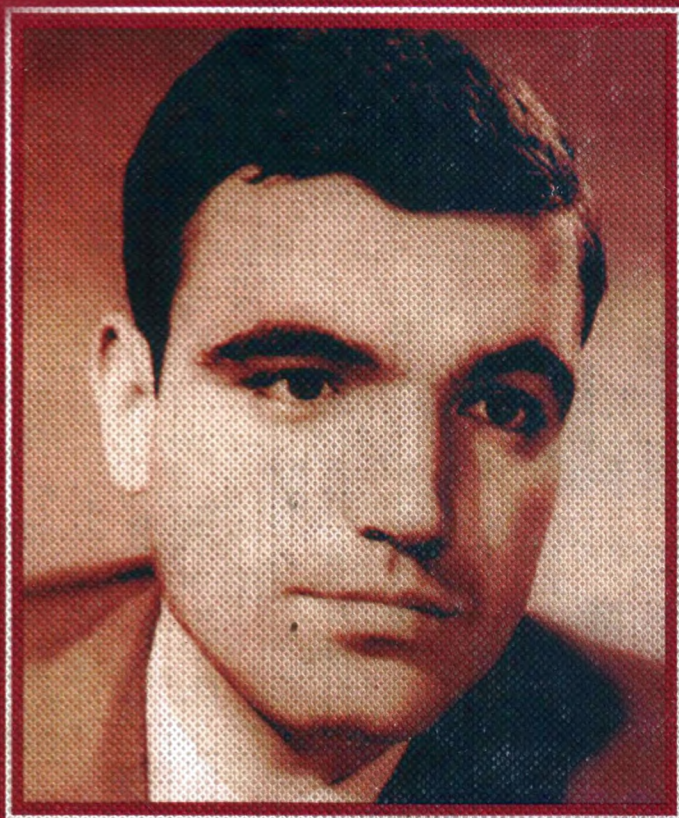


ЗЕРКАЛО

XX ВЕК



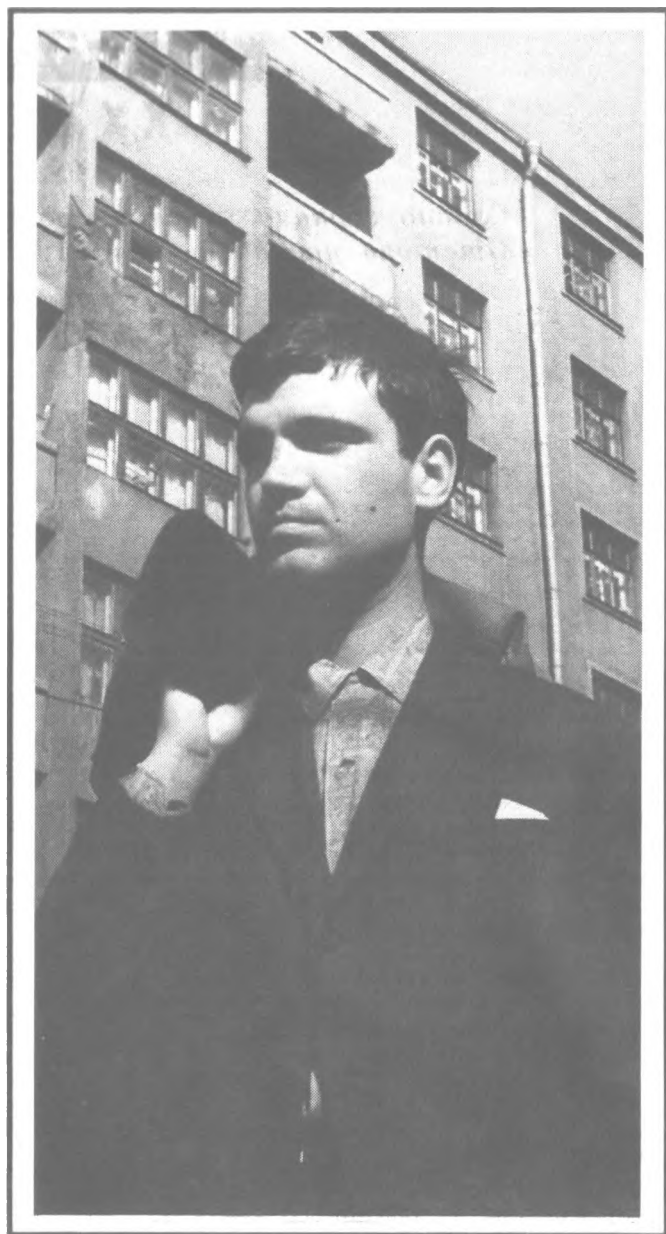
Геннадий
Удальцов

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

*«Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое...»*

Н. Рубцов



Тетрадь
Шпажков

Стихи
Песни
Сценарии
Роман
Рассказы
Наброски
Дневники
Письма

Екатеринбург
У-Фактория
1998

ББК 84Р7
Ш 83

Составитель Л. Быков
Оформление В. Брагина, А. Мохина

Геннадий Шпаликов
Ш 83 Стихи. Песни. Сценарии. Роман. Рассказы. Наброски. Дневники.
Письма. — Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», 1998. — 656 с.

ББК 84Р7

ISBN 5-89178-076-3
ISBN 5-89178-078-X (серия)

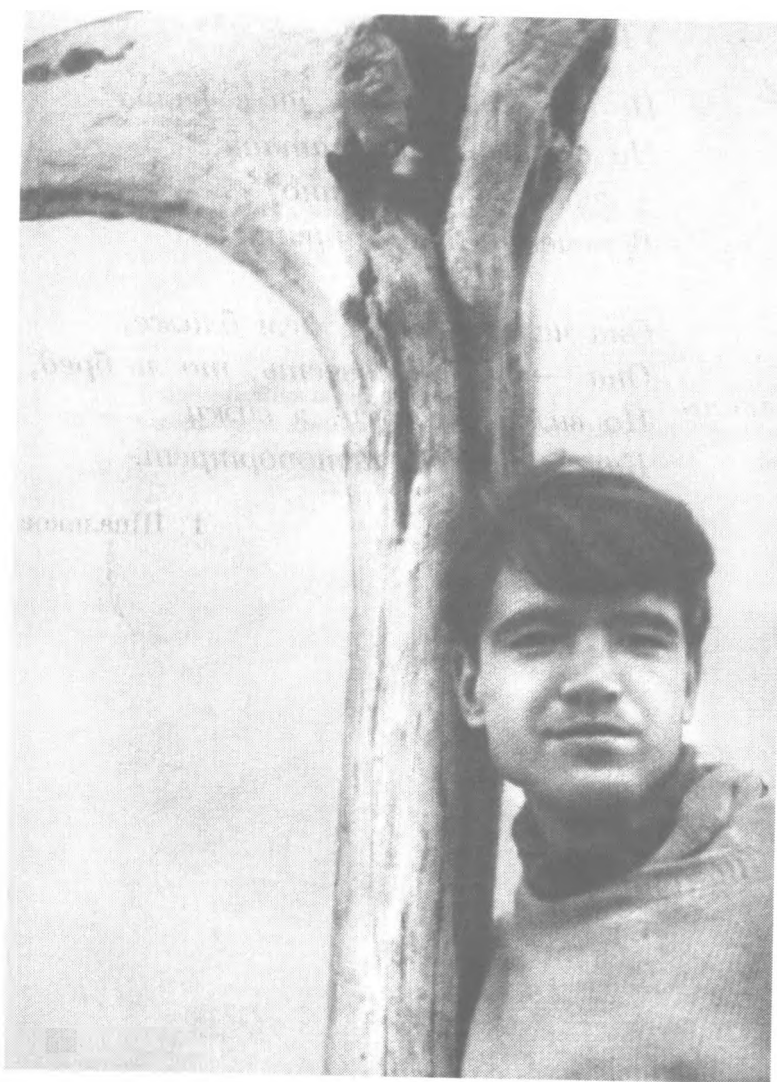
© Д. Г. Шпаликова, 1998.
© ООО «У-Фактория», серия,
составление, оформление, 1998.

УТРО

*Не верю ни в бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.*

*Она чем нелепей, тем ближе,
Она — то ли совесть, то ль бред,
Но вижу, я вижу, я вижу
Как будто бы автопортрет.*

Г. Шпаликов



Теннадий Мнаников

СНЕГ В АПРЕЛЕ

стихи

песни

Геннадий Мняников

* * *

А. Кончаловскому

Попытка выразить себя —
Труднейшая из всех попыток.
Она врывается слепя,
И от нее сплошной убыток.

Художнику в конце концов
Не до конечных результатов.
Он правде заглянул в лицо,
Себя от правды не запрятав.

Незащищенность мастеров,
Цена попыток, откровений...
Бывает легкое перо,
Но не бывает легким гений.

Не верю легкости труда,
Обманчива такая легкость.
Сто раз обманчивая легкость,
Но есть потеря и беда.

1970

ПОЛОВИНА ДЕВЯТОГО*

Солнцем обрызган целый мир,

Празднично блещет улица.

После

утренней тьмы

квартир

Люди стоят

и щурятся.

Сдвинься, попробуй —

не хватит сил,

И у подъездов,

спросонок,

Город большой

на мгновенье

застыл,

Зажмурившись,

как котенок.

* В годы пребывания в Киевском суворовском военном училище Шпаликов много писал. Аккуратные тетради дневника, старательно переписанные стихи. Это и следующие шесть стихотворений дают представление об этом периоде жизни и литературных опытах автора.

Тетядаий Шнаиков

ОБВИНЕНИЕ ДОЖДЮ

Откуда у неба столько воды,
Тут помутнеешь в рассудке.
Дождь,

наливая

с краями пруды,

Хлещет вторые сутки.

Погода сама говорит за то,

Что в этот безбожный век

Скоро будет всемирный потоп

И нужно строить ковчег.

Кто там, на небе,

• давай разберись;

Пожалуйста,

не авральте.

Нам же не сеять

китайский рис

На заливном

асфальте.

ЖИЗНЬ

Я эту люблю
жизнь,
Дни люблю пить,
Буду сухарь грызть
И все равно —
любить.
Даже без рук
и ног
И с пустотой
впереди
Я б добровольцем не смог
В небытие уйти.
Воздух
дождем промыт,
Всей грудью
можно дышать —
Счастье,
которого мы
Привыкли не замечать.
На каждый дается день
Нам солнца
и неба
высь,
Лучи сквозь себя —
продень
И к жизни сильней привяжись.
Чтобы с хандрою
врозь
Дни труда
потекли,
И был ты
не просто
гость
У щедрой
к людям земли.

Тетрадь Мнашков

С веселым
навечно
слит,
Выше и чище
стань,
Плюнув на мелочь
обид
И настроений
дрянь.
Хватит
пицать и ныть.
Молодость,
всюду
• брызнь!
Кто равнодушен
жить,
Того уничтожит
жизнь.

1954

Тетрадь Мнашков

* * *

Я тебя девчонкой
 знал когда-то,
А теперь
 расстроенной
 гурьбой
Глухие, влюбленные ребята
Вечерами ходят за тобой.
Все понятно — так должно
 случиться
Раньше, позже,
 но пришел
 твой срок
Уложить девчоночьи косицы
В золотистый
 женственный
 пучок.
Вспомнить здесь, по-моему,
 не лишнее,
Как при виде этой головы
Я тебя, знакомую,
 давнишнюю,
Неожиданно назвал на «вы».
А в конце концов
 открылось
 главное,
Я узнал как будто бы вчера,
Что какая милая и славная
Девочка из нашего двора.
И когда к тебе идут
 ребята,
Мне смешно и грустно сознавать,
Что тебя за косы драл когда-то,
А теперь вот буду ревновать.

РЕДКОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ ЖАЛКО, ЧТО НЕ В ЖИЗНИ

Такое может случиться со сна,
Простительно каждому,
и понятно —
Хорошее утро,
вообще — весна,
На стенах солнца яркие
пятна.
Небо за стеклами,
синь высоты,
Луж сияющие окружения.
И, конечно,
являешься ты,
Далекая
во всех отношениях.
Я удивленно шагнул назад,
Что-то
промолвил
дрожащим голосом.
Нет, несомненно — твои глаза,
Твои пшеничные волосы.
Мне незнакомое
ранее
платье,
Воздушное,
белое, кажется,
бальное.
Потянулся тебя обнять я,
Не очень скромно
и очень нахально.
Думаю:
сейчас хлестнет
по щекам,
Что-нибудь резкое скажет.

Тетрадь Мнашков

А ты—
 видно, стала по-проще-ка,
И улыбаешься даже.
Шаг вперед,
 мы вдвоем.
Полностью, а не отчасти...
И так
 не вовремя
 сигнал «подъем!»
Перерывает счастье.
Сажу на кровати,
 опухший со сна,
Ботинки
 невесело обувая...
Как говорится,
 весна,
Все бывает.

28 апреля 1955 г.

НАДОЕЛО!

Кажется, вырос годами и телом,
Здоровый парень с взлохмаченной головой,
Но сегодня вдруг захотелось
Домой.

Сердце кричит упрямо,
Пусть слова у него другие,
Раньше просто —
Хочу к маме! —

А теперь —
Долой Киев! —

Долой ваши порядки,
Приказики
и приказы.

Сверху гладко,
Внутри —
зараза.

Внутри то, что калечим,
Год от года становится плоше,
Злоба легла на плечи
Тяжелой ношей.
Злоба тугим захлестом
Сдавила душу грубо,
Освободиться просто —
В зубы!
Легче всего

хрястнуть ломом,
Здоровье и молодость —
победители...

Ну а дальше?
Ты дома:

Ро-ди-те- ли...
Грустные лица,
Плач тягучий...
Этому не случиться
Ни в коем случае.

Текладий Млашков

Снова и снова в поле зрения
Стены
напротив
скучно-белые,
Как все до омерзения
Надоело.
Болью мозг защемило,
Словно один продираешься чащей,
Каждый день — бритый затылок
Впереди стоящего.
Дрянь распорядка,
придирки по мелочам,
Противно, гадко,
Срам!
Серых дней лента.
Начало длинного месяца,
Товарищ планета
Медленно вертится.
Никак не влияет тоска,
сожаления,
На это
небесное
ускорение...
В общем, можно
сказать
короче,
Без злости
и слов
скороспелых —
Родное училище
очень
Надоело.

11—12 января 1955 года

* * *

Не смотри на будущее хмуро,
Горестно кивая головой...
Я сегодня стал литературой
Самой средней, очень рядовой.

Пусть моя строка другой заслонится,
Но благодарю судьбу свою
Я за право творческой бессонницы
И за счастье рядовых в строю.

Москва, лето 1955 года

Отклик на первую публикацию.

Геннадий Минаков

МАРТ

Какое блаженство, устав с дороги,
За день набродившись весенним лесом,
Вытянуть кверху тяжелые ноги
Под полотняным дрожащим навесом.

Едва от смолистого дыма не плача,
Чай вскипятить в котелке пузатом,
Чтоб он получился горячий-горячий
И очень понравился нашим ребятам.

Закутаться после, кто чем попало,
Наружу повыставив сонные лица,
Воздухом леса, пьянящим и талым,
Мартовской ночью досыта напиться.

А утром — дым снова глаза повывел,
Смеясь, умывались мы розовым снегом,
Такие отчаянно молодые,
Как воины древности перед набегом.

Немного в памяти твердо осталось,
Но это — не скроет годов завеса,
Что мы совершенно не верим в старость,
Шатаясь весенним звенящим лесом.

ПАЛУБА*

На меня надвигается
 По реке битый лед.
 На реке навигация,
 На реке пароход.

Пароход белый-беленький,
 Дым над красной трубой.
 Мы по палубе бегали —
 Целовались с тобой.

Пахнет палуба клевером,
 Хорошо, как в лесу.
 И бумажка приклеена
 У тебя на носу.

Ах ты, палуба, палуба,
 Ты меня раскачай,
 Ты печаль мою, палуба,
 Расколи о причал.

* Песня использована в фильме «Коллеги» (реж. А.Сахаров, комп. Ю. Левитин) и в фильме «Трамвай в другие города» (реж. Ю.Файт, комп. Б.Чайковский), первой осуществленной на профессиональной студии работе Г.Шпаликова-кинодраматурга («Мосфильм», 1962). Большинство стихов этого периода друзья вместе с автором распевали под гитару на самые незамысловатые мотивы.

Тетрадь Миланков

МОЖАЙСК

В желтых липах спрятан вечер,
Сумерки спокойно сини.
Город тих и обесцвечен,
Город стынет.

Тротуары, тротуары
Шелестят сухой листвою,
Город старый, очень старый
Под Москвою.

Деревянный, краснокрыший,
С бесконечностью заборов,
Колокольным звоном слышен
Всех соборов.

Полутени потемнели,
Тени смазались краями,
Переулки загорели
Фонарями.

Здесь, остриженный, безусый,
В тарантасе плакал глухо
Очень милый, очень грустный
Пьер Безухов.

ЗВЕЗДНОЕ ОЗЕРО

У деревни лают собаки,
Ночь повисла над водоемом,
И костер на воде — как факел
С желто-огненным окоемом.

Здесь задумчивый лес толпится,
Здесь смолою пропитан воздух,
А захочешь воды напиться —
• В котелке заплескают звезды.

Тетрадь Млашков

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Загорелым, обветренным и босым

Выскочил он под дождь.

От современности —

только трусы,

А так — африканский вождь.

Пренебрежительно глянул на нас,

Вытер ладонью нос

И пустился по лужам в дичайший пляс

С удовольствием и всерьез.

* * *

Ах улицы, единственный приют
Не для бездомных — для живущих в городе.
Мне улицы покоя не дают,
Они мои товарищи и вороги.

Мне кажется — не я по ним иду,
А, подчиняясь, двигаю ногами,
А улицы ведут меня, ведут
По заданной единожды программе,

Программе переулков дорогих,
Намерений веселых и благих.

Гекнарий Шпаликов

* * *

Бывает все на свете хорошо*,
В чем дело, сразу не поймешь, —
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь.

Мелькнет в толпе знакомое лицо,
Веселые глаза,
А в них бежит Садовое кольцо,
А в них блестит Садовое кольцо
И летняя гроза.

А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.

Над лодкой белый парус распушу,
Пока не знаю с кем,
Но если я по дому загрузу,
Под снегом я фиалку отыщу
И вспомню о Москве.

* Песня из к/ф «Я шагаю по Москве» (сц. Г. Шпаликова, реж. Г. Данелия). В ней был еще один куплет, не вошедший в окончательную редакцию, характерный для манеры Г.Шпаликова включать в свои вещи цитаты:

Москва, Москва, люблю тебя как сын,
Как русский пламенно и нежно,
Люблю поток твоих машин
И летний ветер свежий.

Некоторые песни, ставшие популярными, приносили вечно безденежному автору небольшой доход. В письме Ю.Файту он написал:

О, что напела мне страна?
Какие пали дивиденды? (так у автора. — Ю.Ф.)
Поет и тенор и шпана —
А мне положены проценты.

СНЕГ В АПРЕЛЕ

И я вступаю, как во сне,
в летящий на закате снег.

Уже весна. Летит прощально
над миром света пелена.
Любимая удивлена,
по телефону сообщая,
что выпал снег.

Как описать его паденье,
замедленный его полет?
Да, снег идет не в наступленье,
он отступает, но идет.

Летит он, тихий, ненахальный,
иной у снега цели нет —
чтобы рукою помахали
ему, летящему, вослед.

Гекнадий Шнапиков

* * *

Может, я не доживу
До того момента,
Как увижу наяву
Цель эксперимента?

Может, я не дотяну
В будущее ногу,
Мне полеты на Луну
Лично не помогут.

Риторический вопрос,
И отчасти глупый:
Для чего я жил и рос —
Не рассмотришь в лупу.

Или, скажем, в телескоп
Из обсерваторий.
Отчего в цвету укроп
И зелено море?

Говорят о чем киты,
Воробьи, синицы?
Отчего мне ты да ты
Продолжаешь сниться?

Отчего ко мне во сне
Города приходят?
Откровение — извне,
На каком же коде, —

Телетайпе, телети, —
Я по ним шатаюсь.
Кто кино про то крутил?
Не таюсь, а таю.

* * *

Мы сидели, скучали
У зеленой воды,
Птиц домашних качали
Патриаршьи пруды.

День был светлый и свежий,
Людам нравилось жить, —
Я был весел и вежлив,
Я хотел рассмешить.

Сочинял вам, не мучась,
Про царей, про цариц,
Про печальную участь
Окольцованных птиц.

Их пускают китайцы,
Чтоб потом наповал
Били птиц сенегальцы
Над рекой Сенегал.

Не узнать добровольцам,
Что убийцы босы
И научные кольца
Продевают в носы.

Погибают скитальцы
Вдалеке от друзей,
Горько плачут китайцы
И Британский музей.

Тетрадь Шнапиков

БАТУМ

Работа не тяжелая,
И мне присуждено
Пить местное, дешевое
Грузинское вино.

Я пью его без устали,
Стакан на свет гляжу,
С матросами безусыми
По городу брожу.

С матросами безусыми
Брожу я до утра,,
За девочками с бусами
Из чешского стекла.

Матросам завтра вечером
К Босфору отплывать,
Они спешат, их четверо,
Я пятый — мне плевать.

Мне оставаться в городе,
Где море и базар,
Где девочки негордые
Выходят на бульвар.

КОЛОКОЛ

Стоял себе, расколотый,
Вокруг ходил турист,
Но вот украл Царь-колокол
Известный аферист.

Отнес его в Столешников
За несколько минут,
Но там сказали вежливо,
Что бронзу не берут.

Таскал его он волоком,
Стоял с ним на углу,
Потом продал Царь-колокол
Британскому послу.

И вот уже на Западе
Большое торжество,
И бронзовые запонки
Штампуют из него.

И за границей весело
В газетах говорят,
Что в ужасе повесился
Кремлевский комендант.

И аферист закованный
Был сослан на Тайшет.
И повторили колокол
Из пресс-папье-маше.

Не побоялись бога мы
И скрыли свой позор.
Вокруг ходил растроганный
Рабиндранат Тагор.

Геннадий Шпалков

Ходил вокруг да около,
Зубами проверял,
Но ничего про колокол
Плохого не сказал.

* * *

У лошади была грудная жаба*,
Но лошади — послушное зверье,
И лошадь на парады выезжала
И маршалу молчала про нее.

А маршала сразила скарлатина,
Она его сразила наповал,
Но маршал был выносливый мужчина
И лошади об этом не сказал.

* Написано совместно с Александром Галичем

* * *

Посвящается Феллини

Мертвец играл на дудочке,
По городу гулял,
И незнакомой дурочке
Он руку предлагал.

А дурочка, как Золушка,
Ему в глаза глядит, —
Он говорит о золоте,
О славе говорит.

Мертвец, певец и умница,
Его слова просты —
Пусты ночные улицы,
И площади пусты.

«Мне больно, мне невесело,
Мне холодно зимой,
Возьми меня невестою,
Возьми меня с собой».

* * *

Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске,
Что такое — сквер направо
И налево тоже сквер.

Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.

Кто-то, я не знаю кто,
А скорей всего, никто,
У подъезда на скамейке
Человек сидит в пальто.

Человек он пожилой,
На Арбате дом жилой.

В доме летняя еда,
А на улице среда
Переходит в понедельник
Без особого труда.

Голова моя пуста,
Как пустынные места.
Я куда-то улетаю,
Словно дерево с листа.

Тетрадь Мнашников

* * *

Что за жизнь с пиротехником,
Фейерверк, а не жизнь,
Это — адская техника,
Подрывной реализм.

Он веселый и видный,
Он красиво живет,
Только он, очевидно,
Очень скоро помрет.

На народном гулянье,
Озарив небосклон,
Пиротехникой ранен,
Окочурится он.

Я продам нашу дачу,
Распродам гардероб,
Эти деньги потрачу
На березовый гроб.

И по рыночной площади
Мимо надписи «стоп»
Две пожарные лошади
Повезут его гроб.

Скажут девочкам в ГУМе
Пионер и бандит:
Пиротехник не умер,
Пиротехник убит.

* * *

Есть у раздражения
Самовыражение.

Дверью — хлоп,
И пулю — в лоб.

Ах, как всем досадил!
И лежит в гробу — костюм,
Новые ботинки,
Галстук на резинке:

• Две вдовы
(Две жены)

К случаю наряжены.
Он лежит — уже ничей
В ожидании речей.

Караул! Караул!

Вот почетный караул.

Хорошо ему в почете,

Жалко, ноги протянул.

Говорю ему — привет,
Ты — туда, а я — в буфет.

Гекнадий Шпаников

СЕНТЯБРЬ

Ю.А. Фаїту

О чем во тьме кричит сова?
Какие у нее слова?
Спроси об этом у совы
На «ты» или на «вы».

На «вы» спросить — переспросить
На «ты» — невежливо спросить.
Поскольку женщина сова
И у нее свои права.

Иду дорогой через лес,
Держу ружье наперевес.
Охотник я. Но где же дичь?
Где куропатка или сыч?

Хотя — съедобны ли сычи,
Про то не знают москвичи.

Но я — неважный гастроном,
Давай зальем сыча вином!
Мы славно выпьем под сыча
Зубровки и спотыкача!

Прекрасен ты, осенний лес, —
Какая к черту мне охота!
Пересеку наперерез
Твои осенние болота.

Товарищ дал мне сапоги —
Размеры наши совпадают,
Подарок с дружеской ноги
Сейчас в болоте пропадает!

Но притяжение болот
Мы все-таки преодолеем,
Тому надежда и оплот,
Что силу воли мы имеем.

Мы — это я и сапоги,
Подарок с дружеской ноги.

Они ходили с малых лет
Через болота и овраги,
А покупали их в сельмаге,
Для них асфальт — уже паркет.

Люблю я эти сапоги,
Заклеенные аккуратно,
Подарок с дружеской ноги —
Я не верну его обратно.

Уже светлеет. Переход
От тени к свету непонятен,
Число полутонн растет,
А воздух влажен и приятен.
Рога трубят? Рога трубят...

Апрель 1964 года.

*Сочинено в Ленинграде для тебя специально и —
в хорошие дни — ура!*

Тетрадь Мнашников

* * *

Я голову приподнимаю,
Прошедший день припоминаю.
Улицу наклонную, по улице — туман,
С дворянскими колоннами старинные дома.

Старого точильщика,
Лудильщика кастрюль,
Военного училища
Медленный патруль.

Заберите меня, заберите,
Посадите меня под арест,
Десять суток мне подарите,
Прикажите позвать оркестр.

Пусть по улицам бьют барабаны
И в подзорные трубы глядят,
И суровые ветераны
Пощадить меня не велят.

* * *

По несчастью или к счастью*,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.

А не то рвану по следу —
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

* Стихотворение использовано в фильме «Подранки»
(реж. Н. Губенко).

Геннадий Шпаликов

* * *

Городок провинциальный*,
Летняя жара,
На площадке танцевальной
Музыка с утра.

Рио-рита, рио-рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.

Ничего, что немцы в Польше,
Но сильна страна,
Через месяц — и не больше —
Кончится война.

Рио-рита, рио-рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.

* На эти стихи П. Тодоровским написана песня для фильма «Военно-полевой роман» (реж. П.Тодоровский).

* * *

Я жизнью своею рискую*,
С гранатой на танк выхожу
За мирную жизнь городскую,
За все, чем я так дорожу.

Я помню страны позывные,
Они раздавались везде —
На пункты идти призывные,
Отечество наше в беде.

Живыми вернуться просили.
Живыми вернуться не все,
Вагоны идут по России,
По травам ее, по росе.

И брат расставался с сестрою,
Покинув детей и жену,
Я юностью связан с войною
И я ненавижу войну.

Я понял, я знаю, как важно
Веслом на закате грести,
Сирени душистой и влажной
Невесте своей принести.

Пусть пчелы летают — не пули,
И дети родятся не зря,
Пусть будет работа в июле
И отпуск в конце января.

* Песня написана для фильма «Пока фронт в обороне»
(реж. Ю. Файт, комп. Б. Чайковский).

Тетрадь Шмаликов

За лесом гремит канонада,
А завтра нам снова шагать.
Не надо, не надо, не надо,
Не надо меня забывать.

Я видел и радость и горе,
И я расскажу молодым,
Как дым от пожарища горек
И сладок отечества дым.

* * *

Москва сортировала поезда:
Товарные, военные, почтовые.
Нас увозили в дальние места,
Живыми оставались чтобы мы.

Для жизни дальней оставались жить,
Которая едва обозначалась,
Теперь — глаза в слезах, едва смежить,
За все начала, за все начала.

Тетрадь Мнашкова

ПЕРЕУЛОК ЮНОСТИ

Звон трамвая голосист и гулок,
Парк расцвечен точками огней,
Снова я пришел на переулок —
Переулок юности моей.

Над асфальтом наклонились вязы,
Тенью скрыв дорожку мостовой.
Помню, как к девчонке сероглазой
Торопился я под выходной.

Как, промокнув под дождем веселым,
За цветущий прятались каштан,
Девочка из сорок третьей школы
И до слез смущенный мальчуган.

Мне хотелось слез необычайных,
Клятву, что ли, дать или обет.
Этот дождь, короткий и случайный,
Стал причиной близости к тебе.

Знаю — случай ничего не значит.
Но сегодня поздно пожалел,
Что могло случиться все иначе,
Если б дождь подольше прозвенел.

Звон трамвая голосист и гулок,
Парк расцвечен точками огней,
Снова я пришел на переулок —
Переулок юности моей.

* * *

В лето хорошо бы без билета.
В лето? У него куда билет?
У него трава — одна примета,
Да еще река. Поклон, привет!

А река такая золотая,
А весной такой на свете дождь,
И по свету ветер пролетает,
И обратно ветер не вернешь.

И реке спасибо, и тебе спасибо,
И тебе спасибо, ветер над водой,
Ты такой веселый, ты такой красивый,
Ветер, ветер, ветер,
Ветер молодой.

Гекладий Шнапков

ЛЕТО

Летели летние качели
На самом деле,
Дитя орало в колыбели,
И летний день куда-то шёл.

И травы превращались в сено,
Не сразу, скажем, постепенно.
Все было, было постепенно,
Как постепенен летний день.

.

ПЕРЕДЕЛКИНО

Меняют люди адреса,
Переезжают, расстаются,
И лишь осенние леса
На белом свете остаются.

Останется не разговор
И не обиды по привычке,
А поля сжатого простор,
• Дорога лесом к электричке.

Меж дач пустых она вела, —
Достатка, славы, привилегий.
Телега нас обогнала,
И ехал парень на телеге.

Геннадий Шпаликов

* * *

*Инне**

Под ветром сосны хорошо шумят,
Светает рано. Ты не просыпайся,
Ко мне плечом горячим прикасайся,
Твой сон качают сосны и хранят.

Тебя держу, тебя во сне несу
И слышу — дятел дерево колотит,
Сегодня воскресенье в лесу,
На даче, на шоссе и на болоте.

Покой еще не начатого дня,
Неясные предметов очертанья.
Я думаю, как ты вошла в меня,
В мои дела, заботы и сознание.

Уходят в будни наши торжества,
Но по утрам хочу я просыпаться,
Искать слова и забывать слова,
Надеяться, любить, повиноваться.

* *Инна* — актриса И.И. Гулая, вторая жена Г. Шпаликова.

* * *

Тебе со мною скучно,
А мне с тобою — нет.
Как человек — ты штучна,
Таких на свете нет.

Вас где-то выпускают
Не более пяти,
Как спутник запускают
В неведомой степи.

Геннадий Шаликов

В ЛЕНИНГРАДЕ

Любимая, все мостовые,
Все площади тебе принадлежат,
Все милиционеры постовые
У ног твоих, любимая, лежат.

Они лежат цветами голубыми
На городском, на тающем снегу.
Любимая, я никакой любимой
Сказать об этом больше не смогу.

ВОСПОМИНАНИЕ ПРО УТРО

Называлось место: Плёс,
Начиналась осень.
Кто меня туда занес,
Одного забросил?

Было около пяти
И светлело еле,
Воздух голову мутил,
Как «Ркацители».

Не упасть — глотаю власть
Свежесть, тлен и сырость.
Осень только началась,
Только совершилась.

Это было или нет
В мире беспредельном?
Осень, мелочи примет,
Каждая — отдельно.

А по мне — они все те,
Каждой, вне порядка,
Улыбаюсь в темноте
И зеваю сладко.

Герладий Шпаликов

* * *

На подоконнике жена
Сидела ранним летом,
А комната озарена
Была вечерним светом.

Да, лето только началось,
А к нам вчера приехал гость.
Сегодня он уехал —
И нам оставил эхо.

То эхо — воблы три кило —
Нет громогласней эха!
Еще на улице светло,
И жаль, что он уехал.

* * *

Понедельник, понедельник,
Понедельник дорогой,
Ты пошли мне, понедельник,
Непогоду и покой.

Чтобы роща осыпалась,
Холодея на ветру,
И спала не просыпалась
Дорогая поутру.

СТИХИ ПРО ТЕЛЕФОНЫ

Я знаю, как стары
Стихи про телефоны.

От станции Мары
И до горы Афона
Протянут телефон.
(А если не протянут,
То, значит, его тянут.)

Я расстоянье взял
Немалое — нарочно:
Звонит провинциал,
Провинциалу тошно.

Уже провинциал
Отпил, оттанцевал
И не находит места,
А дома ждет невеста.

Завидую ему.
А где моя невеста?
В Москве или в Крыму —
Мне это неизвестно.
(Читателю о том
Читать неинтересно.)

* * *

Читатель, ты прости,
Когда грустит писатель.
Ему сюжет вести
Все кажется некстати.

Г-2, Г-2, Г-2 —
Твой номер набираю,
Набрал его — едва
Твой голос разбираю.

Тетрадь Милликов

* * *

Какая вы сейчас?
Мне легче, но не лучше.
Я думаю о вас,
И это меня мучит.

Наивно, но с утра —
Для жителей безжалостно —
Ору я вам: — Ура!
Услышьте же, пожалуйста!

УМНАЯ ЛЕДИ

Умная леди сидит на балконе,
Умная леди смотрит на пони.
Сено жуёт длинноухий пони
И смотрит, как леди сидит на балконе.

СТО ВОРОН И СТО СОРОК,
И ЕЩЕ ОДИН СУРОК*Сценарий мультфильма**

Вижу — тоненький ледок,
Вижу — беленький снежок.
Как он выпал — не заметил,
Если выпал, значит, в срок.

Сто ворон и сто сорок
Прокричали: “Выпал в срок!”
“Выпал в срок”, — сказал сурок,
Молчаливый, как пророк.

На рябине — белый снег,
На калине — белый снег.
А на елке, а на елке,
А на елке — больше всех!

Но под снегом провода
Провисают — вот беда!
Оборвутся провода —
Что тогда?

Буря мглою — мы без света —
Небо кроет — все впотьмах!
Ни привета, ни ответа,
И волнение в домах!

Все замолкнут телефоны,
Заметет метель порог.
Где сороки? Где вороны?
Где скрывается сурок?

* Фильм по этому сценарию не был поставлен.

Гекзадий Маликов

Сто ворон и сто сорок —
Сто надежд и сто подмог.
И — еще один сурок!
Помогите, если можно,
Я бы вам всегда помог.

Сто ворон и сто сорок
Проводами — прыг да скок!
А мороз жесток, жесток,
Провода — плохой шесток!

Но мороз им не преграда
Посреди большой зимы.
Если надо — значит, надо,
Если нужно — вот и мы!

Сто ворон и сто сорок —
Сто надежд и сто подмог!

А четыре сотни крыльев —
Это просто эскадрилья!
Это полк спасителей —
Снегоочистителей!

Снег ложится на кусты —
Провода опять чисты,
Натянулись провода —
Отошла от нас беда.

Сто ворон и сто сорок
Оказались людям впрок.
А внизу стоял сурок,
Он никак взлететь не мог,
Потому что грузуны
От рождения грузны.

СОН

Там, за рекою,
Там, за голубою,
Может, за Окою —
Дерево рябое.

И вода рябая,
Желтая вода,
Еле выгребая,
Я по ней гребу.

Дерево рябое
На том берегу.

Белая вода —
Ты не море,
Горе — не беда,
Просто горе.

КВАЗИМОДО*

О, Квазимодо, крик печали,
Собор, вечерний разговор,
Над ним сегодня раскачали
Не медный колокол — топор.

Ему готовят Эсмеральду,
Ему погибнуть суждено,
Он прост, как негр, как эсперанто,
Он прыгнет вечером в окно.

Он никому вокруг не нужен,
Он пуст, как в полночь Нотр-Дам,
Как лейтенант в «Прощай, оружие»,
Как Амстердам и Роттердам,

Когда кровавый герцог Альба
Те города опустошил
И на тюльпаны и на мальвы
Запрет голландцам наложил.

А Квазимодо, Квазимодо
Идет, минуя этажи.
Молчат готические своды,
Горят цветные витражи.

А на ветру сидят химеры,
Химерам виден далеко
Весь город Франса и Мольера,
Люмьера, Виктора Гюго.

И, посмотрев в окно на кучи
Зевак, собак, на голь и знать,
Гюго откладывает ручку,
Зевает и ложится спать.

* Об истории этого стихотворения читайте воспоминания киноматурга Н.Б. Рязанцевой (первой жены Г.Шпаликова) — «Искусство кино», 1993, № 10, с. 84.

* * *

То ли страсти поутихли,
То ли не было страстей,
Потерялись в этом вихре
И пропали без вестей
Люди первых повестей.

На Песчаной — все песчанно,
Лето, рвы, газопровод,
Белла с белыми плечами*,
Пятьдесят девятый год,
Белле челочка идет.

Вижу четко и нечетко —
Дотянись — рукой подать:
Лето, рвы и этой челки
Красно-рыжей благодать.

Над Москвой-рекой ходили,
Вечер ясно догорал,
Продавали холодильник,
Улетали за Урал.

* Белла — поэтесса Б.А. Ахмадулина.

Геннадий Шпаликов

* * *

Разговор о чебуреках поведем,
Посидим на табуретах, попоем
О лесах, полях, долинах, о тебе,
О сверкающих павлинах на воде.

Ах, красавица, красавица моя,
Расквитаемся, уеду в Перу я,
В Перу, Перу буду пить и пировать,
Пароходы буду в море провожать.

По широкой Амазонке поплыву
И красивого бизона подстрелю.
Из бизона я сошью себе штаны,
Мне штаны для путешествия нужны.

Вижу я — горят Стожары, Южный Крест
Над снегами Кильманджаро и окрест.
И река течет с названьем Лимпопо,
И татарин из Казани ест апорт.

Засыпает, ему снится Чингиз-хан,
Ю. Ильенко* и Толстого Льва роман,
И Толстого Алексея кинофильм,
Ахмадулина, Княжинский**, Павел Финн***.

* Ю. Ильенко — кинооператор, позднее режиссер Ю. Г. Ильенко.

** Княжинский — кинооператор А. Л. Княжинский.

*** Павел Финн — кинодраматург П. К. Финн.

* * *

Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников,
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.

А прорастают они так,
Из ничего, из ниоткуда.
Нет объяснения у чуда,
И я на это не мастак.

ТРИ ПОСВЯЩЕНИЯ ПУШКИНУ

1

Люблю державинские оды,
Сквозь трудный стих
Блеснет строка,
Как дева юная легка,
Полна отваги и свободы.

Как блеск звезды,
Как дым костра,
Вошла ты в русский стих беспечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.

2

Влетел на свет осенний жук,
В стекло ударился как птица.
Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут!
Я счастлив собираться, торопиться.
Там на столе грибы и пироги,
Серебряные рюмки и настойки,
Ударит час, и трезвости враги
Придут сюда для дружеской попойки.
Редееет круг друзей, но — позови,
Давай поговорим, как лицеисты —
О Шиллере, о славе, о любви,
О женщинах — возвышенно и чисто.
Воспоминаний сомкнуты ряды,
Они стоят, готовые к атаке,
И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке.
О, собеседник подневольный мой,
Я, как и ты, сегодня подневолен.
Ты невпопад кивай мне головой,
И я растроган буду и доволен.

3

Вот человеческий удел —
Проснуться в комнате старинной,
Почувствовать себя Ариной,
Печальной няней не у дел,
Которой был барчук доверен
В селе Михайловском пустом,
И прадеда опальный дом
Шагами быстрыми обмерен,
Когда он ходит ввечеру —
• Не прадед — Аннибал-правитель,
А первый русский сочинитель
И — не касается к перу.

Тетрадь Миланков

* * *

Стихи — какие там стихи?
Обыденность, я захлебнулся.
Как вечера мои тихи,
Я в дом родной издалека вернулся.

Мой дом родной — и не родной,
Родные, вы не обижайтесь
И не расспрашивать старайтесь,
Не вы, не вы тому виной.

Мой дом родной — и не родной,
Я узнаю твои приметы,
Опять встают передо мной
Твои заботы и предметы.

Я разговоры узнаю,
И слушаю — не удивляюсь,
И хоть душою удаляюсь
В квартиру старую мою.

Она была нехороша,
В ней странно все перемешалось.
Она подобьем шалаша
В дому арбатском возвышалась.

Мы жили в этом шалаше —
Сначала вроде странно жили,
Хотя поссорились уже,
Но все-таки еще дружили.

Вся неумелость этих лет
И неустроенность уклада —
.....
За то благодарить не надо...

И жизнь поэта тяжела
И прозаична до предела,
И мечешься, как обалдельй,
Чредою лет — одни дела.

Геннадий Шнапков

* * *

Хоронят писателей мертвых,
Живые идут в коридор.
Служителей бойкие метлы
Сметают иголки и сор.

Мне дух панихид неприятен,
Я в окна спокойно гляжу
И думаю — вот, мой приятель,
Вот я в этом зале лежу.

Не сделавший и половины
Того, что мне сделать должно,
Ногами направлен к камину,
Оплакан детьми и женой.

Хоронят писателей мертвых,
Живые идут в коридор.
Живые людей распростертых
Выносят на каменный двор.

Ровесники друга выносят,
Суровость на лицах храня.
А это — выносят, выносят —
Ребята, выносят меня!

Гусиным или не гусиным
Бумагу до смерти марать,
Но только бы не грустили
И не научились хворать.

Но только бы мы не теряли
Живыми людей дорогих,
Обидами в них не стреляли,
Живыми любили бы их.

Ровесники, не умирайте...

* * *

Поэтам следует печаль,
А жизни следует разлука.
Меня погладит по плечам
Строка твоя рукою друга.

И одиночество войдет
Приемлемым, небезутешным,
Оно как бы полком потешным
Со мной по городу пройдет.

Не говорить по вечерам
О чем-то непервостепенном,
Товарищами хвастать нам,
От суеты уединенным.

Никто из нас не Карамзин.
А был ли он и было ль это:
Пруды, и девушки вблизи,
И благосклонные поэты?

Геннадий Шпаников

* * *

Ударил ты меня крылом,
Я не обижусь — поделом,
Я улыбнусь и промолчу,
Я обижаться не хочу.

А ты ушел, надел пальто,
Но только то пальто — не то.
В моем пальто под белый снег
Ушел хороший человек.

В окно смотрю, как он идет,
А под ногами — талый лед.
А он дойдет, не упадет,
А он, такой, — не пропадет.

* * *

Александрю

Саша, ночью я пришел,
Как обыкновенно.
Было мне нехорошо,
Как обыкновенно.

Саша, темное окно
Не темнело лучше.
Саша, мне нехорошо,
А тебе не лучше.

Ничего я не узнал
Про тебя, любимый,
Только видел я глаза,
Мне необходимые.

1974

Геннадий Шпаликов

* * *

Л.К.

Нескладно получается —
Она с другим идет,
Невестою считается —
С художником живет.

Невестою считается,
Пьет белое вино.
Нескладно получается —
Как в западном кино.

Пока домой поклонники
Ее в такси везут,
Сажу на подоконнике
Четырнадцать минут.

Взяв ножик у сапожника,
Иду я по Тверской —
Известного художника
Зарезать в мастерской.

* * *

С работы едущие люди,
Уставшие от всех забот,
От фабрик или киностудий,
Трамваев и солдатских рот,

Пожарники, официанты —
Профессий всех не перечесть.
Богат работой век двадцатый,
Занятия любые есть.

Передо мной спина и шея —
Как бы закрытая стена.

Я вопрошаю:

О чем ты думаешь, спина?

О чем ты думаешь, спина?

Что за печаль одолевает?

Спросил бы у тебя спьяна,

А так — отваги не хватает.

Геннадий Шнапиков

* * *

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды,
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.

Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи*.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

* Варианты: «И не носил в больницу передачи», «И не решал важнейшие задачи».

СТИХИ О ВЫЗДОРОВЛЕНИИ

Целебней трав лесных —
А трав настой целебен, —
Пусть входят в ваши сны
Орел и черный лебедь.

Я вам не говорил —
Но к тайнам я причастен, —
Размах орлиных крыл
Прикроет от несчастий.

Я тайны ореол
Отмел своей рукою,
И защитит орел,
И лебедь успокоит.

Невзгод не перечеть,
Но, если что случится,
Запомните, что есть
Еще такая птица —

Не лебедь, не орел,
Не даже дух болотный, —
Но прост его пароль —
Он человек залетный.

Беда ли, ерунда
Взойдет к тебе под крышу —
Ты свистни, — я тогда,
Ты свистни — я услышу.

Геннадий Шпалников

* * *

Никогда не слышал, как кричат стрижи,
И не видел, как они взлетают.
Значит, я того не заслужил.
Впереди — погода золотая.

Утром отворить свое окно
И спросить: который час на свете.
— Около восьми сейчас оно, —
Мне товарищ с улицы ответит.

* * *

За стеною, на баяне —
«Степь да степь кругом...».
Что тоскуешь, окаянный,
И о ком?

За стеною пальцы бродят
Ненаверняка,
По слогам выходит вроде
Песня ямщика.

Только я глаза закрою —
Степь кругом да степь.
Если петь дано по крови,
Я сумею спеть.

Февраль 1974 года

Геннадий Шнапков

* * *

В темноте кто-то ломом колотит
И лопатой стучится об лед,
И зима проступает во плоти,
И трамвай мимо рынка идет.

Безусловно все то, что условно.
Это утро твое, немота,
Слава Богу, что жизнь многословна,
Так живи, не жалея живота.

Я тебя в этой жизни жалею,
Умоляю тебя, не грусти.
В тополя бы, в июнь бы, в аллею,
По которой брести да брести.

Мне б до лета рукой дотянуться,
А другою рукой — до тебя,
А потом в эту зиму вернуться,
Одному, ни о ком не скорбя.

Вот миную Даниловский рынок,
Захочу — возле рынка сойду,
Мимо крынок, корзин и картинок
У девчонки в капустном ряду

Я спрошу помидор на закуску,
Пошагаю по снегу к пивной.
Это грустно? По-моему, вкусно.
Не мечтаю о жизни иной.

* * *

Я пуст, как лист,
как пустота листа.
Не бойся, не боись,
печаль моя проста.

Однажды, наравне,
заговорила осень,
и это все во мне,
а остальное сбросим.

Пускай оно плывет,
все это — даже в лето...
Безумный перелет —
но в это, это, это.

Геннадий Шаликов

* * *

О рыжий мой, соломенный,
Оборванный язык.
Когда плывешь соломинкой —
Я к этому привык.

Собачья жизнь, собачья
На этом берегу.
Но не смогу иначе я,
Наверню, не смогу.

.

ДОЛГИ

Живу веселым, то печальным
В квартале экспериментальном.
Горжусь я тем, что наши власти
На мне испытывают пластик.

А больше мне гордиться нечем,
Да я ничем и не горжусь —
Ем по утрам с картошкой лечо,
Вспоминаю и тружусь.

Труды приносят мне долги,
Отдохновенья не приносят.
Долги построились в полки,
Приказа ждут и крови просят.

Я к ним покорно выхожу
И руки кверху поднимаю,
Я их прекрасно понимаю,
Но выхода не нахожу.

Я говорю им — до утра,
Ну что вам стоит, подождите.
А утром я скажу — простите,
Я вас обманывал вчера.

Геннадий Шнапков

* * *

Все лето плохая погода,
Звучит этот вальс с парохода,
Над пляжем, над шлюзом, над домом
И Тушинским аэродромом.

А в Тушине — лето как лето,
И можно смотреть без билета,
Как прыгают парашютисты —
Воздушных парадов артисты.

То в соснах они пропадают,
То в речку они попадают —
Тогда появляется катер
С хорошим названием «Приятель».

На катере ездят все лето
Спасатели в желтых жилетах,
Спасатели душ неразумных,
Раздетых и даже разутых.

Татарово, я не ревную
Ту лодку мою надувную,
То лето, ту осень, те годы,
Те баржи и те пароходы.

Татарово, я не ревную
Погоду твою проливную,
И даже осенние пляжи —
Любимые мною пейзажи.

ОТВЛЕЧЕННЫЕ МЫСЛИ,
НАВЕЯННЫЕ ВОСПОМИНАНИЕМ
О ДМИТРИИ МЕРЕЖКОВСКОМ

II.

Живет себе, не дую в ус,
Героем «Энеиды»,
Не в ГПУ — при Гишпиус,
На средства Зинаиды.

А тут — ни средств, ни Зинаид,
Ни фермы и ни фирмы,
И поневоле индивид
Живет, закован фильмой.

На языке родных осин,
На «Консуле» — тем паче
Стучи, чтоб каждый сукин сын
Духовно стал богаче.

Стучи, затворник, нелюдим,
Анахорет и рыцарь,
И на тебя простолюдин
Придет сюда молиться.

Придут соседние слепцы,
Сектанты и тираны,
И духоборы и скопцы,
И группа прокаженных.

И боль и блажь простых людей
Доступна — ты не барин,
Хотя ты, Паша, иудей,
А что — Христос — татарин?

Геннадий Шпаников

Я не за то тебя люблю,
Что здесь — и не однажды! —
По юбилейному рублю
Всегда получит каждый.

Ты не какой-то имярек —
Прошу, без возраженья! —
Ты просвещенный человек,
Почти из Возрожденья.

...Вечереет...

Нам зябнуть, но не прозябать!
А некой протоплазмой
Зевать, чтобы не прозевать
Хотя б закат над Клязьмой.

*Болшево,
4 октября*

О СОБАКАХ

Я со псом разговаривал ночью,
Объясняясь наедине:
Жизнь моя удастся не очень,
Удается она не вполне.

Ну, а все же, а все же, а все же, —
Я спросил у случайного пса, —
Я не лучше, но я и не плоше,
Как и ты — среди псов — не краса.

Ты не лучший, единственный — верно,
На меня ты печально глядишь,
Я ж смотрю на тебя суеверно,
Объясняя собачью жизнь.

Я со псом разговаривал ночью,
Разговаривал наедине.
И у псов жизнь, выходит, не очень,
Удается она не вполне.

Геннадий Шпашиков

* * *

— О, как немного надо бы,
пошли с тобой по ягоды,
а хочешь — по грибы?..

— Я рада бы, я рада бы
и до китайской пагоды. —
ах, если б да кабы.

Гадать бы мне по линиям
руки — или по лилиям:
то тонут, то всплывут.

А я бреду по просёке,
а вы чего-то просите,
а я ни там ни тут.

* * *

I

За два дня до конца високосного года
Наступает на свете такая погода
И такая вокруг тишина,
За два дня до конца високосного года
Участь каждого решена.

II

Это мне говорили. Я видел.
Серп луны. Синеву. Тишину.
Прорицатели — не в обиде, —
Я хочу полететь на Луну.

На чем во сне я не летал?
На «Глерио», «Фармане»,
И даже девочек катал
Я на катамаране.

И улыбаюсь я во сне,
Ору во сне, как рота,
И надо просыпаться мне,
А неохота.

Геннадий Шнапиков

* * *

Людей теряют только раз
А потерявши — не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается — и в ночь уходит.

А если он уходит днем,
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.

Давай сейчас его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.

* * *

Не насовсем прощались
А так, до неких пор,
Забьгтыми вещами
Завален летний двор.

Кому и чем обязан —
Трава узнает пусть.
Я разберусь не сразу,
Я после разберусь.

Так бесконечно лето
У нас над головой,
И хорошо бы это
Позаросло травой.

Вчерашние обиды,
Упреки вплоыхах
В крапиве позабыты
И тонут в лопухах.

Геннадий Шпаликов

САДОВОЕ КОЛЬЦО*

Я вижу вас, я помню вас
И эту улицу ночную,
Когда повсюду свет погас,
А я по городу кочую.

Прощай, Садовое кольцо,
Я опускаюсь, опускаюсь
И на высокое крыльцо
Чужого дома поднимаюсь.

Чужие люди отворят
Чужие двери с недоверьем,
А мы отрежем и отмерим
И каждый вздох, и чуждый взгляд.

Прощай, Садовое кольцо,
Товарища родные плечи,
Я вижу строгое лицо,
Я слышу правильные речи.

А мы ни в чем не виноваты,
Мы постучались ночью к вам,
Как те бездомные солдаты,
Что ищут крова по дворам.

* Эту песню на мотив романса «Я вспомнил вас, и все бывшее» под гитару или фортепьяно любил петь Андрей Тарковский.

* * *

Не принимай во мне участия
И не обманывай жильем,
Поскольку улица, отчасти,
Одна — спасение мое.

Я разучил ее течение,
Одoleвая, обомлел,
Возможно, лучшего леченья
И не бывает на земле.

Пустые улицы раскручивал
Один или рука к руке,
Но ничего не помню лучшего
Ночного выхода к реке,

Когда в заброшенном проезде
Открылись вместо тупика
Большие зимние созвездья
И незамерзшая река.

Все было празднично и тихо
И в небесах, и на воде.
Я днем искал подобный выход
И не нашел его нигде.

Тетрадь Шлаиков

* * *

Справляли мы поминки
По выпавшему зубу
Плечистой четвертинкой
У продавщицы Любы.

Не редко и не часто,
Но выпадают зубы,
Зато они лучатся
У продавщицы Любы.

Ах Люба, Люба, Люба,
Я рядышком сижу,
Но все равно я — убыль,
А на тебя гляжу.

Ты золотоволосая,
Голубоглаза ты,
А я сижу матросом
С понятием простым.

Мне нравится тут очень
И неохота очень
Отсюда уходить.

* * *

Сегодня пьем
Опять втроем,
Вчера втроем,
Позавчера —
Все вечера
Втроем.
Четвертый был,
Но он забыл,
Как пел и пил.
Ему плевать,
Ушел вчера,
А нам блевать
Все вечера
Втроем.

Геннадий Шнапков

ПЕСЕНКА

1

Жила с сумасшедшим поэтом,
Отпитым давно и отпетым.
И то никого не касалось,
Что девочке горем казалось.

О нежная та безнадежность,
Когда все так просто и сложно,
Когда за самой простотою —
Несчастья верста за верстою.

Несчастья? Какие несчастья —
То было обычное счастье.
Но счастье и тем непривычно,
Что выглядит очень обычно.

2

И рвано, и полуголодно,
И солнечно или холодно,
Когда разрывалось на части
То самое славное счастье.

То самое славное время,
Когда мы не с теми — а с теми,
Когда по дороге потерей
Еще потеряться не верим.

А кто потерялся — им легче, —
Они все далече, далече.

2 января 1974 года

* * *

Я сетую. На что я сетую?
Я просто так с тобой беседую,
И мне с тобой легко.
Печаль твою не унаследую,
Я — далеко.

Мы на луне? Да, на луне.
Во всяком случае — извне
Причин и следствий, чтоб грустить,
• Свои сто грамм не пропустить.

И жизнь не пишется с листа.
Она — такая простота,
Что заблудиться проще,
И от рожденья до креста —
Как в роще.

Я б эту рощу описал,
Но это — скучно.
Висит у девочки коса
Благополучно.

Геннадий Шнапков

* * *

Зубы заговаривал,
А теперь — забыл
Я секреты варева,
Тайны ворожбы.

Говорю: дорога
Лучше к январю.
Что глазами трогал,
То и повторю.

То, что губ касалось,
Тронула рука —
Это не казалось,
А наверняка.

Говорю: во плоти
Вижу существо,
А во мне колотит
Жизни волшебство —

Зубы заговаривать,
Чепуху молоть,
Чтоб дорожкой гаревой
Убегала плоть.

Чтобы возле рынка
В сборище людском
Плавать невидимкой
В небе городском.

* * *

О, когда-нибудь — когда? —
Сяду и себя забуду
Не надолго — навсегда,
Повсеместно и повсюду.

Все забуду. Разучусь.
(И разуюсь, и разденусь.)
Сам с собою разлучусь,
От себя куда-то денусь.

Геннадий Шпаликов

* * *

Спаси меня, Катя Васильева*, —
О жалкие эти слова,
А ты молодая, красивая,
Пускай мне конец — ты права.

Не плачу. Не то разучаюсь,
Не то разучили меня,
Но вот под конец получалось —
Одна у меня ты родня.

Твою фотокарточку мятую
Из рыночного ларька
Которые сутки не прятая —
Заслуга не велика.

Но пусто на сердце и сухо,
Прости меня, Катя, привет.
Уж лучше была бы ты сукою,
Но ты, к сожалению, нет.

* Катя Васильева — актриса Е. С. Васильева.

* * *

Вчерашний день погас,
А нынешний не начат,
И утро, без прикрас,
Актрисою заплачет.

Без грима, нагишом,
Приходит утром утро,
А далее — в мешок
Забот, зевот... И мудро —

Что утро настает
И день не обозначен,
И ты небрит и мрачен.
Светлеет. День не начат,
Но он пешком идет.

Геннадий Шпаликов

* * *

Ни словом, ни делом
Ни в чем не вина,
Но что бы ты делала —
Вместо меня?

А что б получилось
Из этой тоски?
Вязала б, вязала,
Наверно, носки.

Красные, зеленые
Или даже белые...
Я носков не вяжу,
Ничего не делаю.

Я мараю по листу
И себя раскидываю,
Но давай начистоту —
Я тебе завидую.

* * *

Есть такая девочка
В городе Москве,
Девочка не денежка —
Золото в тоске.

Есть такая девочка —
Вечером, с утра —
Для нее я дедушка,
А по мне — сестра.

Я смешу ее, смешу,
Вру или печалю,
А она мне — парашют,
Белый да печальный.

Ничего она о том
Не подозревает, —
Я люблю ее за то—
Плачет и зевает!

Плачет и зевает,
Мается и мает,
Ходит, как гусыня, —
А бы ей бы сына,

А бы ей бы дочку —
Чтоб не в одиночку...
А бы, а бы, а бы —
бабы, бабы, бабы.

Тетрадь Шнапиков

* * *

Живет актриса в городе Москве...
Чего ж актриса суетится?
Актриса в зеркальце глядится,
Глаза хохлацкие — в тоске.

В глазах — хохлацкая тоска.
Давай, актриса, потоскуем —
Как жаль, что ты не потаскуха, —
Тебя бы проще приласкал.

Что стих! Ладонь на голове
Или на лбу разгоряченном, —
Но я не трогаю девчóнок, —
Ни трезвым, не осоловев.

Зима на улице, зима!
Декабрь в Москве — такое дело!
Слегка актриса обалдела
Вчера от талого дерьма.

Москву туманом унесло...
Все пасмурно. Куда деваться?
По вечерам Москве сдаваться?
Старо. Травую поросло.

Есть мудрость нераскрытых книг,
Столы за дружеской беседой,
И прелесть жизни их оседлой —
Другим рассказывай про них,

А мне рассказывай... о чем?
Рассказывай! О чем, актриса?
Во что идею облечем,
Чтоб смысл веселый не укрылся?

Тиха украинская ночь...
 В реке не надобно топиться,
 Тону! — а телу не помочь, —
 До середины даже птица
 Не долетит, а человек —
 Куда до птицы человеку...

...Еще: вола светлеет веко,
 Опущенное тяжело,
 И мельницы едва крылами
 Качают в сумерках степных,
 И за чумацкими волами,
 Волами, травами — колых...
 Кольх — влетит ночная птица...
 «Колы разлюбишь...» — шепот тих...
 И мельница крылом — колых...
 И до туретчины катиться
 По солянному шляху...
 — Слых...
 — Не слушаю...
 — А ты послухай!
 — Ну, не хочу! —
 Тогда гляди
 На ковшик Млечного Пути —
 Повис, — серебряный, казацкий...
 И начало уже казаться —
 Звезда с звездой говорит
 На языке, земле невнятном...
 Чего нам завтра сотворит? —
 Не говорит звезда, — горит...

Тетрадь Миланков

* * *

Не ходи в дома чужие
На чужих кроватях спать.
Если сладко положили —
Можно с белого и спать.

На полу оно и жестче,
Ветер с форточки — метлой.
На полу — уже как в роще —
И покойно и светло.

* * *

В январе уже тепло.
И пускай мороз, но солнце
Посылает божий стронций
На оконное стекло.

Прижимаюсь лбом к стеклу,
Рожей радуюсь теплу!

* * *

От мороза проза
холодеет так —
розовая рожа,
вскинутый пятак.

Чет — нечет,
а может, черт,
может, все возможно,
если улица течет
у тебя подножно.

Если улицы, мосты,
переулки, лестницы
навсегда в себя вместил —
все во мне поместится.

Все поместится во мне,
все во мне поместится —
о немею — онемел —
переулки, лестницы.

Тетядагй Шлаиков

* * *

Хотел бы я писать всерьез
Про замечательный мороз,
Про мало ли, про мало что,
Но получается не то.

Строка сменяется строкой
И возникает под рукой
Картина в ясной простоте,
Но получаютя не те.

Как мне себя же разгадать,
Души движенье передать,
Не притворяясь, не шутя,
Хотя бы так, так бы хотя.

Но небольшая благодать —
Желание зарифмовать,
Хотя в попытке этой есть
Как будто мужество и честь.

* * *

Цветет себе, не опадая,
то дерево среди веков,
где откровенность молодая
и откровенность стариков.

И посторонний человек
сочтет уже за дерзновенность,
и примет он, как откровенность,
твой черновик и твой побег.

Бежим! Но ловкостию рук
творим иллюзии другие,
как будто нам все недосуг,
зато желания — благие.

Тетрадь Шмаликов

* * *

По белому снегу
я палкой вожу,
стихи — они с неба,
я — перевожу.

Чего, переводчик,
стемнело к пяти,
и разнорабочим
к пивным подойти?

Он ярок, он желтый —
тот свет от пивной,
не жулик, не жлоб ты,
но где-то виной,

среди занавесок,
зеленой травы, —
а желтый — так резок,
и синий — увы.

Вот так бы, казалось,
без всяких увы,
ну, самую малость —
остаться живым.

И снег тот февральский,
и свет от пивной
кружили бы в вальсе,
но где-то виной —

стою, понимая
среди света и тьмы,
что около мая
не станет зимы.

То зимним, то летним
прикинется день,
его не заметим
сквозь всю дребедень,

но только бы — только —
осталось в глазах,
хоть малую толикой...
Гремят тормоза —

• трамвай — и вечерний
снежок — или снег?
Наметим, начертим
почти без помех.

Тетрадь Мнашиков

* * *

Самолеты, как мороженые рыбы...
Шереметьево ночное, ты прости —
от полета до полета перерывы
начинают удлиняться и расти.

Улетаю я все реже, и все реже,
Шереметьево, могу я передать
к самолетам удивление и нежность,
удивление возможностью летать.

ЗИМА

Кончится в конце концов
И зима, а хочется
По зиме быть молодцом —
Мне во сне хохочется.

От весны до весны
Вижу я все те же сны,
Я родился жить в апреле,
И дороги до апреля мне ясны.

Ох, зима, ты, зима,
Ты меня сведешь с ума —
Деревянные заборы,
Заколочены дома.

— Где твой дом?
— За углом. Да еще базар потом,
Да железная дорога,
Да еще аэродром.

Говорю: отведу
От тебя рукой беду,
Говорю, она не верит,
Говорит: домой пойду.

По снегу, по песку,
В бездомности и дома
Несу свою тоску
По девочке с аэродрома.

1 января 1974 года

Теладий Млаликов

В ТУ ЗИМУ

Была бесснежная зима,
Тянуло человека к прозе,
Туда, где комнату снимал,
Гостей нечаянных морозил.

На подоконнике снежок,
Зима, зевота, понедельник,
И на дорогу посошок
Математически разделен.

Прощай. Оденусь потеплей,
Вокруг меня зима большая,
И я надеюсь, что теперь
Уже никто не помешает.

От всех зимой отгородясь,
На прожитые оставив денег,
Надеюсь расписаться всласть,
До одури, до обалдения.

До той зимы, до февраля,
До комнаты и снегопада,
Где танцевалось от нуля
И танца лучшего не надо.

Февраль 1974 года

* * *

Обожал я снегопад,
Разговоры невпопад,
Тары-бары-растабары
И знакомства наугад.

Вот хороший человек,
Я не знаю имя рек,
Но у рек же нет названья —
Их придумал человек.

Нет названья у воды,
Нет названья у беды,
У мостов обвороженных,
Где на лавочках следы.

Тетрадь Млаиков

* * *

Незаметен Новый год,
Я люблю его приход.
Середина декабря —
Есть начало января.

Солнце зимнее блестит,
Снег хрустит, солдат грустит,
На заснеженном заборе
Галка черная сидит.

Белый, белый, белый день,
Ты пальто свое надень,
Как: одень или надень —
Мне задумываться лень.

Лень платформ и деревень,
Пива мартовская лень,
Приподнять ресницы лень,
Приподнять и опустить,
Свет вечерний пропустить.

Я хочу узнать давно,
Где стучит веретено,
Где в замерзшее окно
Смотрит девушка давно.

Я живу — который год —
В ожидании погод.
Вот погода — я летаю,
Я по воздуху лечу,
В этом облаке растаю,
Появлюсь, когда хочу.

Ну а вдруг не захочу
Появляться — неохота?
Я по воздуху лечу:
Редкость — летная погода.

* * *

Все неслышной и все бестолковой
Дни мои потянулись теперь.
Успокойся, а я-то спокоен,
Не пристану к тебе, как репей.

Не по мне эта мертвая хватка,
Интересно, а что же по мне?
Что, московская ленинградка,
Посоветуешь поумней?

Забываю тебя, забываю,
Неохота тебя забывать,
И окно к тебе забываю,
А не надо бы забивать.

Все давно происходит помимо,
Неужели и вправду тогда
Чередой ежедневных поминок
Оборачиваются года?

БЕССОННИЦА

Бессонница, — бываешь ты рекой,
Болотом, озером и свыше наказаньем.
И иногда бываешь никакой;
Никем, ничем, без роду и названья.

Насмешливо за шиворот берешь,
Осудишь, в полночь одного посадишь,
Насмешливо весь мир перевернешь —
И шпоры всадишь.

Бессонница... Ты девочка какая?
А может быть, ты рыба? Скажем, язь?
А может быть, ты девочка нагая,
Которая приходит, не спросясь?

Она меня не слушала,
А только кашу кушала
И думала: прибрать бы,
А может, постирать?
А может, вроде свадьбы
Чего-нибудь сыграть?

Чего-то вроде, около
Кружилось в голове,
Оно болотом скокало
То справа, то левей.

Я говорю: не уходи,
Ночь занимается,
Ночь впереди и позади,
Лежать и маяться.

А ей-то, господи, куда?
Мороз, пороша...
Беда с бессонницей. Беда.
Со мною тоже.

СТИХИ 7 ОКТЯБРЯ

I

Почему и во всем непременно
Мне охота себе объяснить
И осенней воды перемену,
И осоки железную нить?

По ту сторону речки, над лесом,
Появилась во мне и сама
Мелочами своими воскресла
Незабвенная эта зима...

II

На ледяной реке —
Следы, дымы и звуки,
И варежка в руке —
Предчувствием разлуки.

А солнце в январе —
Из-за того же леса.
А я на лед смотрел —
Мне это интересно.

Тетрадь Маликов

ГРОМ

Даше

Когда-нибудь потом,
А может, после (чего?),
Я расскажу про гром —
У нас бывали гости.

Не так уж много, но —
Но все-таки бывали, —
Шло белое вино,
И мы не унывали.

Унынье настает
По той простой причине,
Что времени отсчет
Повис на середине.

У стрелки часовой
Случаются причуды —
То закричит совой,
То петухом, то чудом —

Завертится вдруг вспять,
Вернет нас в понедельник,
Заставит утром спать
И обернет в сочельник.

* * *

*Даше, 19 марта**

Я помню, а ты и не вспомнишь
Тот мягкий, по марту, снежок,
И имя мое ты не вспомнишь,
И это уже хорошо.

Все то, что на свете осталось,
Я именем Даши зову.
Такая тоска или жалость —
Я вижу тоску наяву.

* 19 марта — день рождения дочери — Даши Шпалковой.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА «ДЕТИ РАЙКА» —
ОСЕНЬЮ 1973 ГОДА

Даше

Чего-то плакать стал в кино,
Хотя кино не те,
Но хорошо — пока темно —
Не видно в темноте

Ни мокрых глаз или ладонь,
Прижатую слегка,
За все страдания примадонн
Родных “Детей райка”.

Там и потеря, и тоска.
Потери — через раз.
И заработок из-за куска,
И от куска отказ.

Неразделенная любовь,
И разделенной свет,
И столкновение чуждых лбов —
Чего там только нет.

Бездомность, блеск и нищета.
Невесел и конец,
Когда понятна вся тщета
Двух любящих сердец.

Но из Повторного кино
К Никитской выходить.
Кому перо, кому станок,
Кому портвейн пить.

Но на Никитской, у кино,
Я видел то молчанье —
И астроном и агроном —
Как бы однополчане.

ДАШЕ

Глаза мои опухали,
Ресницы машут лопухами,
Одна ресница, как лопух,
Другая — веточкой еловой —
По девочке светлоголовой
Слезой падет на летний луг.

А людям — пожимать плечами,
С чего же так орать ночами,
Как морж или медведь,
С чего же все на свете путать,
Котенка под рубахой кутать,
Штанов, по сути, не иметь.

Жить обреченным явно на смех,
А между тем, спокойно, насмерть,
Блевотиной освобождая,
Жить для себя.

Качайся в смехе, покачайся,
Но ты особо не печалься,
Сегодня — точно не помру.

Я комнату спокойно отопру,
Ботинки в сторону отброшу,
Чернил налью в твою галошу,
Рукою об руку потру.

Прощай, мое сокровище, —
Нелепые слова,
Но как от них укроешься —
Кружится голова.

И мартовская талость
Бросается и рвет.
Мне докружить осталось
Последний поворот.

Тетрадь Шпаликов

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спят в диване валенки,
И галоши спят.
Ты усни, мой маленький
Бледнолицый брат.

Сном объаты площади,
Летний сад молчит,
И на медной лошади
Медный всадник спит.

* * *

Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!

Все прощание — в одиночку;
Напоследок — не верещать.
Завещаю вам только дочку —
Больше нечего завещать.

Гекнарий Мналиков

* * *

Жили-были волки
У зеленой елки,
Прятались под ветками
Со своими детками.

Елку срубили,
Волков не спросили,
Потому что волки
Проживут без елки.

* * *

“...И степь отпоет”.

В. Хлебников

Отпоют нас деревья, кусты,
Люди, те, что во сне не заметим,
Отпоют окружные мосты,
Или Киевский, или ветер.

Да, и степь отпоет, отпоет,
И товарищи, кто поумнее,
А еще на реке пароход,
Если голос, конечно, имеет.

Басом, тенором — все мне одно,
Хорошо, пароходом отпетым,
Опускаться на светлое дно
В мешковину по форме одетым.

Я затем мешковину надел,
Чтобы после, на расстоянье,
Тихо всплыть по вечерней воде
И услышать свое отпеванье.

Геннадий Шнапков

ВОСПОМИНАНИЕ
О ЛЕНИНГРАДЕ 65-ГО ГОДА

Все трезво. На Охте.
И скатерть бела.
Но локти, но локти
Летят со стола.

Все трезво. На Стрелке.
И скатерть бела.
Тарелки, тарелки
Летят со стола.

Все трезво. На Мойке.
Там мост и канал:
Но тут уж покойник
Меня доконал.

Ах, Черная речка,
Конец февраля,
И песня, конечно,
Про некий рояль.

Еще была песня
Про тот пароход,
Который от Пресни,
От Саши, плывет.

Я не приукрашу
Ничуть те года.
Еще бы Наташу
И Пашу — туда.

* * *

*В. П. Н**

Ничего не получалось —
Я про это точно знал,
Что всегда доступна частность
И неведом идеал.

Я его однажды видел —
Не во сне, а наяву —
Появился в лучшем виде,
Повалился на траву.

Мы во Внуково лежали,
Отменялся самолет.
Ничего уже не жаль мне,
Жалко вот —

Жаль мне только, жалко только —
И тогда, да и теперь —
Ничего не знаю толком
О тебе и о себе.

* *В.П.Н.* — писатель В. П. Некрасов.

Геннадий Миланков

* * *

В. П. Некрасову

Чего ты снишься каждый день,
Зачем ты душу мне тревожишь,
Мой самый близкий из людей,
Обнять которого не можешь.

Зачем приходишь по ночам,
Распахнутый,
 с веселой челкой, —
Чтоб просыпался и кричал,
Как будто виноват я в чем-то.

А без тебя повалит снег,
А мне все Киев будет снится...
Ты приходи, хотя б во сне,
Через границы, за границы.

29 октября 1974 года

ПЕСЕНКА*

Я иду по городу —
Мысль во мне свистит:
Отпущу я бороду,
Перестану пить,

Отыщу невесту,
Можно — и вдову,
Можно — и неместную, —
Клавой назову.

А меня Сережей
Пусть она зовет,
Но с такою рожей
Кто меня возьмет?

Разве что милиция
И — пешком — под суд.
За такие лица
Просто так берут.

Да, дошел до ручки,
Да, теперь хана.
День после получки,
Денег — ни хрена.

Что сегодня? Пятница?
Или же четверг?
Пьяница, ты пьяница,
Пропавший человек.

* Драматург А.М.Володин в «Одноместном трамвае» пишет: «У каждого есть свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшно. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал — кричал! — «Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!.. (Далее нецензурно.)». Он спивался. И вскоре повесился».

Тетрадь Шнапиков

Борода не вылечит,
Мама не спасет,
Потому что мама
Под землей живет.

Может, мне податься,
Скажем, во Вьетнам?
Да война там кончена
И порядок там.

Ну, а если в Чили?
С хунтой воевать?
Ведь меня учили
В армии стрелять.

Ночью на заборе
«Правду» я читал:
Сговор там, не сговор?
Не понял ни черта.

Ясно, убивают,
А я в стороне.
Хорошо, наверно,
Только на Луне.

4 октября 1973 года

* * *

Остается во фляге
Невеликий запас,
И осенние флаги
Зажжены не про нас.

Вольным — вольная воля,
Ни о чем не грущу,
Вздохом в чистое поле
Я себя отпущу.

Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.

Тетрадь Шлапиков

* * *

Я к вам травкою прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу :
Вся в ожидании проснуться,

Однажды утром зацвести, :
Пока ее никто не видит, —
А уж на ней роса блестит
И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз,
И согревает нашу землю,
И достигает ваших глаз,
А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно
Опущенные тяжело веки,
И обо мне грустить смешно
Как о реальном человеке.

А я — осенняя трава,
Летающие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетёт —
Травой хотя бы возвратиться.
Она из мрака прорастет
И к жизни присоединится.

ПЕСЕНКА ВО СНЕ

Что мне сутулиться
Возле моста?
Стану я улицей,
Если не стал.

Вижу не пристально,
Из-под руки,
Стану я пристанью:
Возле реки.

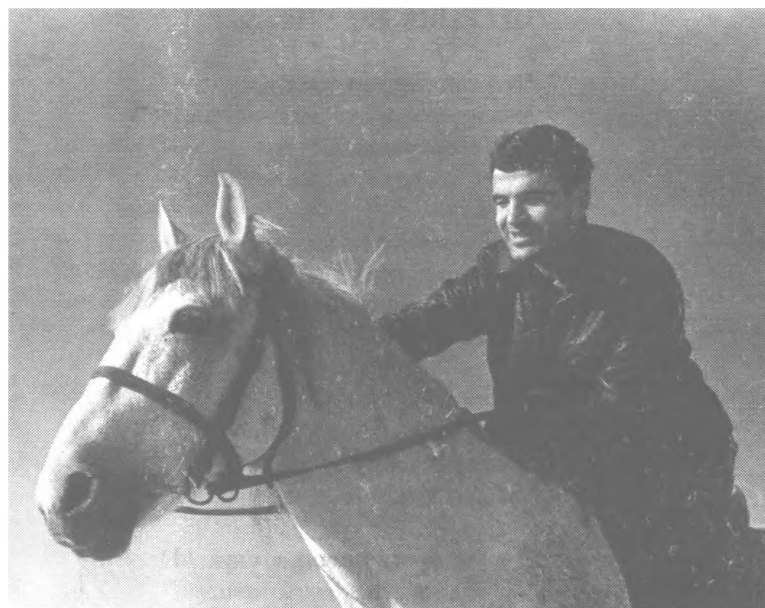
Во всеуслышанье
Все повторим;
Возле Камышина,
Сразу за ним,

Доски проложены,
Врыта скамья,
Все как положено, —
Пристань моя.

Ночь не пугает,
Звуки слышны,
Бакен мигает
Из-под волны.

После восхода
Мне из-за плеч
Вдруг парохода
Ясная речь.

Если о сваи
Стукнет арбуз, —
Уха ли краем,
Может, проснусь.



Теннадий Мнашников

ПОВТОРНОЕ КИНО

сценарии

Я шагаю по Москве

Причал

«Девочка Надя, чего тебе надо?»

Все наши дни рождения

Долгая счастливая жизнь

Я родом из детства

Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ

С земли всегда завидуешь пролетающим над тобой и тем, кто улетает, тоже завидуешь, и почему-то с большим уважением относишься к прилетающим, особенно в первый момент. Стоит для этого только посмотреть посадку большого реактивного самолета, когда он, выпустив тормозной парашют, с ревом и пламенем из-под двигателей катится по бетону и крылья его, резко откинутые назад, покачиваются, дрожат от напряжения, а на бетоне остаются черные следы.

Наконец к самолету подкатывают трап. Следует короткая пауза, а затем дверь открывается, ее открывают изнутри, и мы ждем появления мужественных людей, спустившихся к нам, но люди выходят сонные — так, во всяком случае, было в это утро в Шереметьеве.

В числе других пассажиров в Москву прилетел молодой человек в синем, несгибаемом, непромокаемом плаще с клетчатой подкладкой, заметной потому, что плащ был расстегнут. Появившись из дверей самолета, он выпрямился, жадно вдохнул утренний воздух, оглядел с высоты трапа новое здание Аэропорта, похожее своей прозрачностью и простотой на обложку журнала «Техника — молодежи», и быстро, насколько ему позволяли идущие впереди, сбежал с трапа.

Володя, не ожидая, пока разгрузят самолет, а пассажиры усядутся в низкие вагончики микроавтобуса, пошел напрямик к зданию Аэропорта.

Он был, что называется, долговяз. Руки торчали из-под рукавов плаща, уши торчали, короткие светлые волосы, кое-как приглаженные рукою, топорщились, и

выражение лица его было решительное и в то же время детское.

В Аэропорту Володя подошел к справочному бюро.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он в окошечко, — на Ижевск самолет вовремя?

— Задерживается! — громко прозвучал голос из висящего над окошком репродуктора. Володя даже вздрогнул от неожиданности.

— На сколько?

— А я почему знаю. Погода нелетная...

Погода действительно была неважная — пасмурно, ветер. То го и гляди, хлынет дождь.

— Видите ли, я командировочный, меня на работе ждут...

— А я тут при чем? — голос в репродукторе начал раздражаться. — Раньше двенадцати ночи все равно не улетите.

Володя постоял еще молча перед окошечком, хотел было что-то сказать, но потом не стал и отошел.

Он вскоре отразился в большом, до самого пола, зеркале. Видимо, он себе не понравился. Небрит, ботинки грязные.

В этом же зеркале отразились три старших лейтенанта. Несомненно, что они шли из ресторана, но держались старшие лейтенанты хорошо, с большим достоинством.

Володя нашел за кафе недалеко от Аэропорта шланг, из которого, скорей всего, поливают газоны. Он снял плащ, пиджак и, оставшись в одной рубашке, сначала вычистил мокрой травой ботинки. Потом достал из сумки пасту, зубную щетку и почистил зубы, затем снял рубашку и, поеживаясь от утреннего холодного ветра, пустил воду из шланга по сильнее.

Поливать самому себе не очень удобное занятие. Он был уже намылен, глаз, естественно, не открывал и не мог видеть, что ему решили помочь.

Геннадий Шаликов

Подошла девушка в синем плаще за восемьдесят рублей новыми деньгами, молча взяла у него шланг одной рукой (другую продолжала держать в кармане) и умело, так, чтобы за штаны не налилось, помогла ему.

— Спасибо, — сказал Володя, протирая глаза.

— Пожалуйста, — ответила девушка. — Мне все равно делать нечего, — и отошла, не вступая в дальнейший разговор.

Еще раз он увидел ее, когда брился заводной бритвой «Спутник» глядя, как в зеркало, в прозрачную стену кафе. Девушка была за стеной. Она завтракала. Володя поглядывал на нее через собственное нечеткое отражение.

Девушка улыбнулась ему, а он, сам не зная почему, сделал над собой усилие и не улыбнулся, продолжая со всей серьезностью свое несерьезное занятие. Тогда девушка поставила чашечку кофе на стол и рассмеялась. После этого Володино лицо сделалось совсем сердитым. Выбритым, но сердитым — взял и обиделся. А девушка показала ему язык.

Она, конечно, не могла ему не понравиться. У нее было лицо, как у всех красивых девочек 63-го года.

— Садитесь сюда, — сказала она, когда он с яичницей оглядывал почти пустое кафе, выбирая место,

И неожиданно для себя он сел к ней, как бы подчиняясь ее словам, и, садясь, в неловкости и оттого, что она наблюдала за ним, задел ногой непрочный современный столик, шатнул его, покраснел и молча сердито принялся за яичницу.

— А вы — с хлебом, — она пододвинула ему хлеб,

Володя ел под ее взглядом, добрым и взрослым, хотя она была равной по годам, а может быть так, что она была младше его. В кафе играла музыка, неизвестно какая и чья, но она, эта музыка, подходила сейчас к их состоянию. Девушка в такт музыке тихо прихлопывала ладонями, прижимала их к губам, а он ел яичницу вилок, смотрел только в тарелку, головы не поднимал.

— Сейчас потанцевать бы, — сказала девушка очень просто.

— Рано еще, — сказал Володя, лишь бы что-нибудь сказать.

— Это не важно, не в этом дело.

— А ты что, улетаешь? — ему хотелось, чтобы разговор не был уж совсем односторонним.

— Встречаю мужа.

— Ну да — мужа? — он не поверил.

— Мужа.

— У тебя муж есть?

— Угу.

— Счастливые люди, кого встречают, — сказал Володя.

— Женишься — и тебя будут встречать.

— Где уж тут жениться, когда все девушки уже разобраны.

— Ну что ты! Нас же в два раза больше. По переписи.

— Это для утешения говорят. Утешают таких, как я. — Он помолчал. — В общем, у вас все хорошо?

— Очень хорошо.

— Но ведь так не бывает, — серьезно сказал он.

— А вот бывает! — Она улыбнулась.

Улыбка у нее счастливая. Действительно счастливая.

Только что экспресс мчался по пригородному шоссе среди полей и деревьев. И вдруг, внезапно, за окном возникли огромные светлые корпуса новых зданий. Город как бы раздвинулся, это были его окраины, выстроенные совсем недавно, светлые, современные, сверкающие чистым стеклом.

Володя сидел, прижавшись щекой к нагретому солнцем окну автобуса.

А позади него, объединенные хорошим настроением, скоростью и солнцем, двое ребят пели какую-то веселую грузинскую песню, отстукивая пальцами ритм по бочонку.

Тетрадь Маликов

— Нарзан? — Володя кивнул на бочонок.

— Нет, боржом, — ответили ребята и снова запели.

Раннее утро. Красная площадь. Часы на Спасской башне бьют половину седьмого.

Шахта строительства метрополитена. Смена заходит в клеть. Закрываются решетчатые двери.

Клеть стремительно падает по вертикальному стволу. Мелькают яркие лампы, установленные на стене ствола.

Гул, падение, пыль.

Невозможно разговаривать, курить нельзя. Люди стоят молча.

Постепенное мягкое торможение.

Двери открываются, и смея входит в шахту. Слабо освещенный тоннель, уходящий в темноту. Неяркое дежурное освещение,

И впереди, где ведутся основные работы, откуда слышен шум машин, — посвечивают огни.

Смена идет по тоннелю. Лица почти не видны, сверху капает вода, стучит по каскам, хлопает под ногами, стекая по водостокам.

А навстречу идут уже отработавшие свою смену. Среди них — Колька, высокий худощавый парень в сдвинутом на глаза шлеме.

Душевая. Солнечные лучи врываются в потоки воды, льющейся из кранов душа. Блеск и белизна кафельных стен. Ощущение силы и здоровья молодых ребят.

Колька моется в своей кабинке, подставляя лицо воде, намыливая короткие светлые волосы.

Утренние газеты штурмом брали город. Эскалатор метро белел от них.

Читали стоя на платформе, закрыв лицо развернутым хрустящим листом. В проносящихся поездах с ходу мелькали мимо те же белые листы.

Вот подошел поезд. Толпа, не складывая газет, устремилась в него. Дежурная по станции не успевала прочитать через стекло все, что ее интересовало в этом номере.

Колька ехал в битком набитом вагоне, сжатый со всех сторон, среди чьих-то спин, локтей, сумок и газет, развернутых справа и слева от него. Колька засыпал. Глаза у него закрывались сами по себе и открывались только тогда, когда дежурный объявлял очередную станцию.

На остановке влились новые пассажиры.

— Не напирайте, — сказал кто-то позади Кольки.

Колька посмотрел назад и ничего не ответил.

— Стой спокойно, — сказали ему.

Колька еще раз обернулся и посмотрел уже более внимательно на человека в кепке.

— Чего смотришь? — сказал человек.

Колька вздохнул и отвернулся.

— Вы не скажете, как проехать в Строительный переулок? — спросил у пожилой женщины, стоявшей рядом с Колькой, Володя. — Где сходить?

— Я приезжая, — сказала женщина.

— Какой переулок? — спросил гражданин с девочкой на руках.

— Строительный, — сказал Володя.

— Это не в Черемушках? — спросил гражданин.

— Да нет, — к Володе протиснулся человек в кепке. — Все не так. Какие Черемушки! При чем тут Черемушки! Слушайте меня, слушай — он взял его за пуговицу пиджака. — Едешь до Павелецкой, сходишь, на эскалаторе вверх, и до обувного магазина. Увидел обувной — слезай. А там разберешься.

— Ну и врешь, — не выдержал Колька. — Сам не знаешь, что говоришь, — К парню: — Сойдешь на Арбатской, пройдешь бульваром три квартала, свернешь направо, а там рукой подать.

— Да? — разозлился человек в кепке. — Вы-то откуда знаете? — И к парню: — Не слушай его. Я Москву как свои пять пальцев знаю.

Геннадий Шпаликов

— А ты, случайно, не Иваном Сусаниным работаешь? — спросил Колька.

Пассажиры молча смотрели на внезапно открывшуюся панораму Москвы-реки...

...на «Скиф», восьмерку, уходящую под мост.

Поезд снова скрылся в тоннеле.

На бульваре мыли памятник, поливая его из шланга.

Ребятишки носились на машинах, велосипедах и самокатах, лавируя между ног спешащих на работу прохожих.

Пенсионеры устраивались на скамейках, готовясь к шашечным соревнованиям.

Колька и парень с чемоданом шли по бульвару.

— Это Чистые пруды? — спросил Володя.

— Ага.

— Они раньше назывались Грязными, — сообщил Володя Кольке. — А при Петре их вычистили и переименовали.

Колька внимательно оглядел парня.

— Ты приезжий? — спросил он.

— Ага. Я из Качемска. Это в Сибири.

— В командировку?

— Проездом...

— Виктор! — позвал Колька идущего навстречу плотного молодого человека.

— Привет, — сказал молодой человек. Он вел за руки двух девочек, очень похожих одна на другую. — Виктор, — молодой человек протянул парню руку. Теперь руки девочек были зажаты в одной широкой ладони.

— Ермаков, — Володя пожал руку. — Володя, — добавил он.

— Ты чего вчера не пришел? — спросил Колька, поцеловав девочек. — Мать на тебя обиделась.

— Не мог. Собрание было. Аня, что ли, не говорила?

— А ее не было, — сказал Колька.

— Как не было? — забеспокоился Виктор. — А где же она была?

— Не знаю, — Колька пожал плечами. — Она мне не докладывает.

— Она же к вам пошла!

— Может, после одиннадцати. Я в одиннадцать на работу ушел. Я эту неделю в ночную.

— В одиннадцать она уже дома была. Ну, пока. — Виктор вдруг заторопился и зашагал по бульвару.

Девочки едва попевали за ним.

— Брат? — спросил Володя.

— Двоюродный.

— А ты женат? — спросил Володя.

— Нет.

— Я тоже, — сказал Володя.

Собака прижимала лапой к песку резиновый мяч и пыталась разгрызть его.

Вокруг собаки столпились ребятишки.

Володя подошел к собаке, с ходу выбил мяч ногой. И в тот же момент собака вырвала клочок из его штанов.

— Спасибо, дядя! — благодарили дети, овладевшие мячом.

— Не за что, — сказал Володя.

— Да, друг детей. — Колька критически оглядел штаны. — Укус есть?

— Есть вроде, — Володя приподнял штанину.

— Ну, считай, сорок укулов ты заработал.

— Ты думаешь, она бешеная? — с интересом спросил Володя и посмотрел на собаку.

Собака рычала, не могла успокоиться.

— Слюни текут. Хозяина надо спросить, — сказал Колька.

К собаке подошел пионер, начал ее отвязывать.

— Твоя собака? — Колька взял пионера за руку.

— Да нет, что вы. Мне на время подержать дали.

— Кто? Кто тебе дал?

— Тетка.

— Какая тетка?

— Посторонняя.

Геннадий Шаликов

— Где она? — Колька не выпускал пионера.

— В церковь пошла. — Пионер испуганно смотрел на Кольку.

— Пойдем, покажешь, — сказал Колька.

— Да брось ты! — сказал Володя. — Зачем?

— Ты с этим делом не шути. Пошли! — сказал Колька пионеру.

— Мне в церковь нельзя, — сказал пионер.

— Он атеист, — сказал Володя.

— Я атеист, — подтвердил пионер.

— Ну, ладно, атеист, тебя не молиться зовут.

Пошли!

— В церковь не пойду, — пионер был непреклонен. — Вы тетку по приметам можете найти. Я вам ее опишу: платок — серый, платье — красное или зеленое, в общем, байковое, туфли без каблука...

В церкви шла обычная утренняя служба. Священник читал что-то ровным спокойным голосом.

Народу было немного — девять или десять человек, в основном женщины в серых платочках.

Колька почувствовал себя неловко, но не показал виду. Он на цыпочках прошел в глубину, не приближаясь, однако, к священнику.

Священник, заметив Кольку, замолк и вопросительно посмотрел на него.

— Здравствуйте, — очень вежливо поздоровался Колька.

Священник кивнул и продолжал чтение.

Колька сразу понял, что платок не является точной приметой, и решил действовать наугад.

— Это не ваша собака на улице стоит? — спросил он у ближайшей женщины в платочке.

Женщина сердито посмотрела на него и не ответила.

— Вы на улице собаку не оставляли? — Колька пошел дальше.

— Простите, пожалуйста... — Он понял, что ошибся.

— Это не ваша собака на улице стоит? — спросил он у плотной женщины с простым лицом.

— Убегла? — испугалась женщина.

— Ваша собака? — обрадовался Колька.

— Наша.

На них уже обращали внимание.

— Давайте выйдем, — предложил Колька.

Они прошли через церковь на улицу.

Собака грелась на солнце.

— Ваша? — проверил Колька.

— Наша.

— Вот, — Колька подвел женщину и приподнял штанину Володи.

— Чего? — не поняла тетка.

— Ничего! Пока вы там богу молитесь, эта бульдожка людей кусает! — Колька был возмущен.

— Это боксер, — сказал Володя.

— Чего? — не поняла тетка. — Ой, простите, пожалуйста!

— Бог простит, — сказал Колька. — Здоровая собака или нет?

— Чумкой болела, — смиренно сказала тетка.

— Да хоть холерой! — взорвался Колька. — Я же вас не об этом спрашиваю!

— Кто его знает, — сказала тетка. — Вроде нет.

— А почему у нее слюни текут? — не унимался Колька.

— А может, она голодная? — спросил Володя.

— Голодная, голодная! — обрадовалась тетка поддержке. — Ее сколько ни корми, она все равно голодная!

— Голодная, — Колька задумался. — Ну ладно, раба божья. А колотья все же надо, — сказал он Володе. — На всякий случай.

К ним подошел человек с портфелем, солидный, хорошо одетый.

— Продается? — человек показал на собаку.

— Меняется, — сказал Колька.

Голладий Шнапиков

— Паспорт есть? — спросил человек.

— У нее медали есть, — робко сказала тетка.

— Это ничего не значит, — категорически сказал человек, — Если у человека медали или даже ордена, что, ему паспорта не надо? На что меняется?

— Да нет, — сказал Володя. — Просто она меня укусила.

— Понятно, — сказал человек. — Вас — в больницу, — он показал на Володю. — Собаку — в живодерку, хозяйку — под суд, — и пошел, довольный своим мудрым решением.

Нескладный парень в майке натирал полы в небольшом, еще пустом кафе со стеклянными стенами. Столики были сдвинуты, а на проигрывателе вертелась пластинка с уроком английского языка.

Парень старательно тер пол и одновременно слушал эту полезную долгоиграющую пластинку.

Колька и Володя шли мимо.

— Сколько лет этот язык в школе изучал — ни одного слова не понимаю, — усмехнулся Володя.

— Ну, я пришел, — сказал Колька, — а тебе — первый переулочек направо. Гуд бай.

— Спасибо, — сказал Володя.

— Будь здоров, — Колька скрылся в подъезде напротив, а Володя пошел по переулочку.

Грузовик подвез тележку с квасом. И водитель с продавщицей открепляли ее.

— Не читай во время еды — вредно, — сказала Колькина сестра, поставив на стол кипящий чайник.

Колька сидел за столом в одних трусах, ел, уткнувшись в газету. Он даже не поднял глаз. Тогда сестра выхватила у него газету и ушла в другую комнату.

Урок английского языка, записанный на пластинку, гремел над переулочком. Колька зевнул и встал.

— Эй! — он высунулся в окно, — Сними пластинку!

Парень вышел из кафе. Он не понимал, чего от него хочет Колька.

— Пластинкуними!

Парень кивнул головой, понял, значит. Пошел, снял.

— Мне спать надо — мешает! — крикнул Колька. — Ты что, потише не можешь пустить.

— Если тихо, до меня не доходит. Отвлекаюсь, — объяснил парень.

— А ты не отвлекайся! — сказал Колька и заметил...

...Володю, идущего обратно по переулку с чемоданом в руке. •

— Здорово, давно не виделись! — почему-то обрадовался Колька. — Чего так скоро?

— Никого дома нет. Они, оказывается, в другой город переехали.

Володя остановился:

— Можно мне у тебя до вечера чемодан оставить? Неохота таскаться.

— Давай, — сказал Колька и отошел от окна.

За квасом уже выстроилась длинная очередь с бидонами в руках.

— Есть будешь? — спрашивала Колькина мать стоящего посреди комнаты Володю.

— Спасибо. Я уже... У вас иголки с ниткой не найдется? — Володя вспомнил о порванных брюках.

— Катя! — позвала Колькина мать. — Дай иголку с нитками. — И вышла.

— Кому тут иголка понадобилась? — выглянула из соседней комнаты Колькина сестра.

— Мне, — сказал Володя. — Здравствуйте.

— Познакомься, моя сестра, — сказал Колька. — Двенадцать сантиметров и мастер спорта.

— Что? — не понял Володя.

— Если бы она на двенадцать сантиметров подросла, перепрыгнул через нее и — мастер спорта. А так только первый разряд.

Голубой Шляпик

— Идиот, — сказала Катя. — Ну, приведешь Ванечку из детского сада — зашью брюки твоему приятелю.

— Ладно, — согласился Колька.

— Давайте, — сказала Катя Володе, — зашью, так и быть.

Володя стоял в нерешительности.

— Давай быстрее, а то я на работу опаздываю.

— Снимай, — сказал Колька. — Снимай, раз предлагают.

— Я не смотрю, — Катя закрыла дверь.

Володя снял штаны и протянул их за дверь. Он стоял посреди комнаты в трусах.

— Садись, — сказала вошедшая Колькина мать. — Чего стоишь?

Володя сел у стеночки.

— Нельзя быть таким эгоистом, — сказала Колькина мать, — Если договорились мыть посуду по очереди, то выполняй без разговоров.

— А я что, отказываюсь? — сказал Колька. — Я просто устал.

— Мы все работаем, — сказала мать.

— Человек всю ночь не спал, а его еще пият. Может быть, чаю выпьешь? — спросил он у Володи.

— Нет, спасибо, — Володя снова отказался. — Хотите, я посуду вымою? — неожиданно предложил он.

— Этого еще не хватало! — возмутилась мать. — Вот видишь! — сказала она Кольке.

— Ты надолго приехал? — спросил Володю Колька.

— Нет, сегодня уезжаю.

— Значит, так, — сказала Колькина мать, — вымоешь посуду, приведешь Ваню из сада, ну и, если бабушка чего попросит, сбегашь — она себя плохо чувствует.

— Ладно, — согласился Колька. — Ты иди, а то опоздаешь.

— Ну; я пошла.

— До свидания. — Володя приподнялся со стула.

Колька собрал со стола крошки, вышел на балкон, высыпал их в кормушку для голубей.

— Как мне отсюда в Третьяковку добраться? — спросил его из дверей Володя.

— Четвертым троллейбусом, — сказал Колька. — Иди сюда, — позвал он Володю. — Вон в том доме, — Колька показал Володе маленький, утопающий в зелени особнячок, — когда-то жил Пушкин.

— А теперь кто?

— Теперь родственники. Правнук, например. За «Торпедо» края играет.

Колька свистнул, и в окне особнячка тотчас показалась кудлатая голова заспанного парня.

— Чего? — спросил правнук.

— Как нога? Что говорят? — спросил Колька.

— Мениск подозревают. — Правнук зевнул и скрылся в окне.

Квартира Кольки была старая, высокие окна, высокие потолки. На стене висели фотографии и рисунки с гипса. Рисунки не баловали разнообразием сюжетов: на них был изображен один и тот же гипсовый лепесток. А сам оригинал стоял в углу на тумбочке рядом с подрамником.

— Твой? — спросил Володя.

— Угу. — Колька убирал со стола посуду.

— Меня можешь нарисовать?

— Нет, — сказал Колька.

— Только лист, значит.

— Его на экзаменах рисуют.

— Где?

— В Строительном.

Володя остановился у старой, наклеенной на твердый картон фотографии.

Пять ребят и одна девочка помладше смотрели прямо перед собой, серьезно, неулыбчиво.

— Здравствуй, сынок.

Володя оглянулся.

Геннадий Шпалков

Рядом с ним стояла бабушка Кольки, маленькая, седые волосы гладко причесаны.

— Здравствуйте. Это ваши дети? — спросил Володя.

— Мои, — сказала бабушка. — Это — Надя.

Она водила пальцем по фотографии, голос у нее был ласковый, спокойный.

— Миша — Коленкин папа. А это Алеша, Сеня, Ваня, Витя... Их всех на войне поубивали... А я вот живу...

— Ну, что ты, бабушка, — сказал Колька.

— Много ребят было, — продолжала бабушка. — Сопную рубашку — первым Сепечка носит, потом Ваня, потом Леша, потом Витя, а последним Миша донашивал, а он ничего, не обижался: у него нога зато всегда большая. Ему сапоги сразу после Сепечки доставались, — бабушка улыбнулась.

Колька встал и высунулся в окно.

— Эй! — крикнул он парню в кафе. — Выключи музыку! Или ты уже по-русски не понимаешь?

Парень перестал натирать пол и послушно выключил проигрыватель.

Колька лежал на кушетке, укрывшись простыней. На улице было шумно, и он спрятал голову под подушку...

Кафе напротив Колькиного дома было уже заполнено, и даже у входа толпилось несколько человек.

Грузовик увозил пустую тележку: квас кончился.

Колька спал под простыней.

— Коля, — будил его Саша, кудлатый парень небольшого роста. — Вставай.

Колька медленно открыл глаза и долго бессмысленно смотрел на Сашу.

— Я не пойду, — сказал он.

— Мы же договорились. Мне неудобно самому за себя просить.

— Ну ладно, подожди немного. Я только сон досмотрю.

Колька отвернулся к стене.

Саша прошепел по комнате, потом взял со стола альбом, сел и начал зарисовывать Кольку.

— Не смотри на меня, — попросил из-под простыни Колька. — Я не могу спать, когда на меня смотрят.

Саша положил альбом на место.

— Спи, — сказал он, снимая со стены гитару.

Он настроил ее и начал что-то напевать, тихонько аккомпанируя себе.

Колька лежал с закрытыми глазами и вторил Саше. Потом он сел на кушетке.

— Ну, пошли, черт с тобой, — сказал Колька, окончательно проснувшись.

В просторной приемной райвоенкомата висели плакаты. Плакаты обучали, как надо действовать при атомном нападении. На них с легкой руки неизвестного художника все получалось просто, они обнадеживали и вселяли уверенность, что в конце концов все не так уж страшно и можно спастись, если знать предлагаемые на плакатах средства.

Перед дверью с табличкой «Военком» стоял Саша и, заглядывая в щелку, слушал.

— Слушай, — обратился к нему кто-то сзади.

Саша в испуге отпрянул от двери.

— Что бывает за потерю военного билета? — спросил его молодой человек в очках.

— Не знаю, — отмахнулся Саша и, заложив руки за спину, заходил по комнате.

Дверь военкома открылась, и показалась голова Кольки.

— Заходи, — сказал он Саше. — Тебя требуют.

За канцелярским столом сидел майор с орденскими планками на груди. Напротив немолодая женщина отстукивала на машинке.

Геннадий Шаликов

— Садитесь, Шаталов, — сказал майор Саше. — Что же это вы вместо себя адвокатов присылаете? Нехорошо.

Саша стоял навытяжку.

Колька сел рядом с майором и держался как дома.

— Повестка с собой? — спросил майор.

— Так точно, товарищ майор! — Саша протянул повестку.

— Так... Вы когда должны явиться?

— Завтра.

— Ну и что?

— Прошу три дня.

— Основания?

— Женюсь.

— У него свадьба, — подтвердил Колька, зевая.

Женщина перестала печатать, прислушалась.

— Что, у тебя времени не было жениться? Видали, Ангелина Петровна, — майор обратился к женщине. — До последнего дня дотянул. — Ангелина Петровна улыбнулась.

— Да так как-то получилось, — смутился Саша.

— Видали? — удивился майор. — У них это дело так как-то получается. Рановато.

— Я ему тоже говорю, — вмешался Колька. — Не женись! Подожди! А он — ни в какую. Упрямый.

— Что она, того? — доверительно спросил майор.

— Да нет, не таво, — смутился Саша.

— Понятно. Бывает.

— Нет, не в этом дело! Честное слово!

— Любовь, — сказал Колька и снова зевнул.

— Ясно. Мальчика хотите или девочку?

— Да я...

— Ну, ладно, давай заявление.

Саша протянул майору бумагу, и тот скрылся за дверью.

Женщина подмигнула Саше, что, мол, все будет в порядке, и принялась за работу.

— Держи, — сказал появившийся майор, отдавая заявление: — На свадьбу позовешь? Даем тебе месяц. Гуляй.

— Спасибо большое, товарищ майор! — обрадовался Саша.

— Желаю тебе мальчика. Мальчика ждешь?

— Да нет же!

— Ну ладно, девочку. Ни пуха ни пера.

— Светлану Михайловну, пожалуйста, — попросил Саша в телефонную трубку.

Он и Колька стояли у автомата в магазине.

— Светочка, — голос Саши стал нежным. — Нам месяц дали. Ты рада?.. А почему у тебя голос нерадостный?.. Нет, нерадостный... Неудобно разговаривать? Это со мной-то?

— Да рада она, не тяни, — сказал Колька.

— Вот Коля тебе привет передает, — сказал Саша.

— Пламенный, — подсказал Колька.

— Не мешай. Костюм? Костюм еще не купил, сейчас пойду... Взять с собой Колю?.. Хорошо.

— Никуда я не пойду, — возмутился Колька. — Мне выспаться надо.

— Она боится, что я не то куплю, — прошептал Саша. — Она тебя очень просит.

— Ладно, — неохотно согласился Колька.

— Он пойдет. — Саша повернулся к Кольке спиной. — Ты меня любишь? — спросил он, прикрывая трубку ладонями. — Что — да? Да — да? Или да — нет?

— Кончай, — перебил его Колька. — Народ ждет.

Действительно, у автомата стоял пожилой человек и неторопливо постукивал по полу тростью.

Рядом рабочие усердно вскрывали новый, еще лоснящийся асфальт и рыли яму.

— Простите, — спросил Колька низенького человека с чертежами. — Вы, случайно, не клад здесь ищите?

— А тебе какое дело? — подозрительно спросил низенький. — Тебе что, больше всех надо?

Тетрадь Милликов

— Да нет, просто за этот месяц вы четвертый раз на этом месте копаете.

— Значит, надо, раз копаем, — низенький презрительно пожал плечами и отошел.

— Пошли, — сказал Саша. — Ну его!

Около них остановилось такси.

— Ребята, — высунулось из окна лицо таксиста. — Языками владеете?

— А тебе какой нужен? — спросил Колька.

— Сам не знаю!

Рядом с таксистом сидел маленький чопорный человек в габардиновом костюме.

— Два часа катаю, — сказал таксист. — Спрашиваю: куда? А он только руками показывает: направо — налево. Восемь рублей уже наездили. Я ему: давай плати и вылезай! А он мне какие-то бумажки сует. По-русски ни бе ни ме... Бубнит чего-то: «икона»... «икона».

— Икона, — улыбаясь закивал головой иностранец.

— Вот видите, — вздохнул таксист.

— Спекулянт, — шепнул Саша Кольке. — Иконы скупает.

— Шпрехен зи дойч? — спросил Колька.

— Но, англиш!

— Инглиш? — переспросил Колька.

— Йес, йес! — обрадовался иностранец. — Ай вонт ту си сэнтрал пикче гэлэри. Транслейт ит ту хим, плиз.

— Что он говорит? — спросил шофер.

— Он в восторге от нашей замечательной столицы, — сказал Колька.

— Да нет, — сказал Саша. — Ему, кажется, в Третьяковку надо.

— Вези его в Третьяковку, — сказал Колька таксисту.

— Ты ему про деньги скажи, — заволновался таксист.

— Скажи про деньги, — велел Колька Саше.

— Не могу, — сказал Саша. — Понимать понимаю, а говорить не могу.

— Знаешь что, — сказал Колька таксисту, — вези его в банк — там вам деньги обменяют.

— Ребята, — взмолился таксист. — Поехали вместе, а? Я вас потом куда надо бесплатно отвезу. Поехали, а?..

Машина мчалась по улицам Москвы.

— А ви драйвин ту ээ гэлэри? — спросил иностранец Кольку.

— Мир, дружба, — сказал Колька.

Иностранец успокоился.

— Двубортный брат? — спросил Саша Кольку.

— Я бы на твоём месте вообще не покупал. Есть же у тебя костюм, Все равно из армии вернешься — другая мода будет.

— У меня серый, а полагается чёрный.

— Что, в армию забирают? — спросил таксист.

— Ага.

— Так зачем же тебе костюм?

— Он женится, — объяснил Колька.

— Дурак, — сказал таксист. — Гуляй — пока молод.

Во флот?

— Пехота.

— Два года. Да-да... Тут в ночную ездешь и то боишься, как бы кто тебя не заменил, а то два года. Не завидую.

— Не ваше дело, — сказал Саша.

— Вив олрэди бин хиэ, — сказал иностранец Кольке.

— Он уже здесь был, — сказал Саша.

— Мир, дружба, — Колька вздохнул.

— Спроси у него, он китаец? — обернулся к Кольке таксист.

— Вы китаец? — спросил Колька по-русски.

— Японца, — вежливо ответил человек.

— Он японец, — сказал Колька.

В ГУМе, как всегда, было многолюдно.

Шли приезжие, сразу заметные в толпе по обилию разнообразных покупок.

Геннадий Шпалков

Узбеки в ярких халатах сопровождали только что купленный белоснежный холодильник.

Иностранцы несли балалайки.

Над переходами, над толпой гремела веселая музыка.

Володя ходил вдоль длинного ряда пишущих машинок. Он пробовал машинки, вставляя лист бумаги и печатая одно и то же: «Владимир Ермаков», «Владимир Ермаков»...

Он был в новом костюме, в белой рубашке и с журналами под мышкой.

— Привет, укушенный! — раздался знакомый голос.

Колька и Саша стояли за стеклом отдела.

— Купил? — Колька деловито разглядывал костюм, трогал его руками, — А говорил, в Третьяковку пойдешь?

— Уже, — сказал Володя. — Хороший? — спросил он про костюм.

— Нормальный, — сказал Колька.

— И на работу ходить и в театр прилично, — сказал Володя.

— И в гроб можно, — добавил Колька.

— Да брось ты, — сказал Саша, — вот мне такой и нужен.

— Слушай, — вдруг сказал Колька, — ты когда едешь?

— Полпервого.

— Дай нам на время костюм, а вечером заберешь. У него свадьба сегодня. Познакомься. Это Саша.

— Володя.

— Договорились? — спросил Колька.

— Не надо, — сказал Саша. — Я сам куплю.

— Зачем! — возмутился Колька. — Он же дает!

— Не буду я в чужом костюме жениться. Нехорошо это.

— Никто не узнает, — уговаривал Колька. — Чего деньги зря тратить? Лучше Светке чего-нибудь купи.

— Ты думаешь? — Саша колебался.

— Конечно, давай, — сказал Колька Володе.

— Прямо сейчас? — спросил Володя.

— К пяти. Ему в пять в загсе надо быть.

— К пяти дам.

— Порядок, — обрадовался Колька. — А то он меня с этим костюмом замучил.

Ребята шли мимо длинного гумовского прилавка, осматривая витрины.

Спортивный отдел. Колька разглядывал складную байдарку.

— Слушай, — сказал он Саше, — Давай купим. Сто рублей.

— Зачем? — спросил Саша.

— Возьмем отпуск, сядем на байдарку и доплывем до Черного моря,

— Куда это я поплыву? — сказал Саша. — Мне же в армию надо.

— Ну, через два года поплывем, — сказал Колька.

— Через два года и купим, надо Свету спросить, — сказал Саша.

Автоматная будка была тут же, в ГУМе. Коле и Володе сквозь толстое стекло не было слышно, что именно говорит Саша в трубку, но по артикуляции можно было предположить, что разговор шел о любви.

— Странный мальч, — сказал Володя, кивнув на Сашу.

— Жених, — Колька вздохнул. — Что это у тебя? Журналы?

— Это авторские, — сказал Володя.

Он открыл один из журналов и показал Кольке.

Там была напечатана маленькая фотография Володи. Под фотографией было написано:

«ТАЙГА»

(рассказ)

Владимир Ермаков

— Три листа, — Колька просмотрел рассказ, — А я в письме больше четырех строк написать не могу. «Как

Телладия Млашков

поживаешь... Я поживаю... У нас хорошая погода»...
И всё.

— Подарить? — спросил Володя Кольку.

— Давай, — без особой охоты согласился Колька.

Володя положил журнал на прилавок и написал:

«Николаю. Первому человеку, которому я дарю свой первый рассказ».

— Смотри, — сказал Колька выходящему из будки Саше, — он, оказывается, писатель.

— Случайность, — заскромничал Володя. — Я для нашей многотиражки писал, а они перепечатали.

— А-а, — равнодушно сказал Саша, — Она пластинку велела купить.

— Вот его фотография, — показал Колька.

— Да, — подтвердил Саша, — Мендельсона, «Свадебный марш». Где тут пластинки продаются?..

В отделе пластинок на проигрывателе крутился «Свадебный марш» Мендельсона.

— У вас небьющихся пластинок нет? — спрашивал Володя девушку-продащицу.

— Нет, — сказала продавщица.

— А стереофонических? — спросил Володя.

— Не приставай, — сказал ему Колька. — Держи, подарок, — он протянул Саше пластинку. — Он сегодня женится, — сказал он, похлопывая Сашу по плечу.

— Брось ты, — недовольно сказал Саша.

— Правда? — спросила девушка, — Поздравляю.

— Скажите, чего бы вам больше всего хотелось? — спросил Володя девушку.

— Чтобы рабочий день быстрее кончился, — не задумываясь, ответила девушка.

— Да он не об этом, — сказал Колька. — Посоветуйте, что невесте купить, а то мы ничего не можем придумать.

— Ну, что ей купить? — спросил Володя.

— Квартиру, — сказала девушка.

— Квартира есть, — серьезно сказал Саша.

— Как вас зовут? — вдруг спросил Колька девушку.

— А вам зачем? — спросила девушка.

— А мы хотим пригласить вас на свадьбу. Ты чего молчишь? — обратился он к Саше. — Приглашай человека.

— Приходите, — сказал Саша без особой охоты.

— Так, значит, как вас зовут? — спросил Колька.

— Лена, — сказала девушка.

— Николай, — представился Колька, — Володя, подарил Алене журнал.

— Этот я не могу, — сказал Володя. — Этот я уже написал. Я лучше попозже занесу.

— Не надо, — сказала Алена. — Мы такой получаем.

— Вы не такой получаете, — сказал Колька. — Это авторский, — он протянул Алене раскрытый журнал, — Это он написал.

— Вы были в тайге? — спросила Алена Володю, рассматривая иллюстрации к рассказу.

— Я там работаю.

— Счастливый человек, — сказала Алена. — Там у вас тихо. А тут к концу дня голова вот так распухает, — Алена показала руками, как распухает у нее голова.

— А вы переезжайте к нам, — сказал Володя.

— Я? С удовольствием.

— Я серьезно говорю...

— Ну, ладно, — Колька прервал разговор. — Значит, договорились. Я вас жду после работы здесь, у выхода. И пойдем на свадьбу. А потом уж в тайгу поедете. Идет?

Алена улыбнулась и ничего не ответила.

Молодая женщина и здоровый, крепкий мужчина стояли в отделе рубашек. Женщина измеряла шею своего спутника: трудно было подобрать на такую шею соответствующий размер. Мужчина, улыбаясь, положил руку на плечо женщины, нежно приблизил ее к себе. По всему было видно, что им сейчас хорошо.

Гекладий Шпалков

— Смотри кто! — Саша взял Кольку за рукав, они стояли по ту сторону второй линии. — Ваша Анька!

И Колька уже сам заметил ее.

И она, обернувшись, внезапно увидела Кольку. Он неотрывно смотрел на нее.

— Здравствуй, Коля, — испуганно сказала она и улыбнулась.

— Здравствуй, — отдельно сказал Колька. — Здравствуй.

Женщина и ее спутник, не оборачиваясь, пошли к выходу, исчезая в толпе. Колька молча смотрел им вслед.

— Эх, жалко, аппарата нет! — весело сказал Саша. — Снять бы их, а карточку твоему брату. Все-таки он лопух, честное слово!

— Хватит, — сказал Колька. Он был очень расстроен.

— Ну и семейка! — не унимался Саша. — Что он, слепой? Ты-то куда смотришь?

— Замолчи! — сказал Колька, — Не твое дело.

— Да я бы на его месте убил бы ее!

— Еще успеешь! Еще успеешь на своем месте! Вернешься из армии и убьешь!

— На что ты намекаешь?

— Бросьте, ребята, — сказал Володя.

— У тебя же такой метод, убивать за измену.

— Что ты имеешь в виду? Может, ты не доверишь Свете?!

— Живой человек. Все может быть, — сказал Колька.

— Что?! — заорал Саша, — А ну, повтори, что ты сказал, — Саша в бешенстве надвигался на Кольку.

«У солдата суровая служба, — пропел Колька отступая. — Так нужна ему девичья дружба».

— Ну, ты! — Саша полез уже с кулаками. — Да я тебе!

— Ну ударь, — сказал Колька. — Ударь, если тебе так хочется.

Саша в сердцах хлопнул пластинку об пол и, не оборачиваясь, ушел.

— Смотри, не разбилась, — удивился Володя, поднимая пластинку. — А говорила — нет небьющихся.

И они пошли по проходу. Колька был весь в напряжении ссоры.

— Ну его! — вдруг сказал он.

— Как ты думаешь, — спросил Володя, — она действительно может к нам приехать?

— Кто? — не понял Колька. — А-а! — вспомнил он. — Да, конечно! Уже вещи собирает! Пластинки! Будете там музыку слушать! «Мой миленький дружок — любезный пастушок», — Колька в ажиотаже наступил Володе на ногу.

— Постой, — сказал Володя. — Дай-ка, я тебе на ногу наступлю, а то поссоримся.

Колька поставил ногу, и Володя коснулся подошвой носка Колькиного ботинка.

На Красной площади гид рассказывал колхозникам об архитектуре собора Василия Блаженного.

Его слушали не очень внимательно — больше смотрели по сторонам, фотографировали друг друга и все, что попадалось на глаза.

— Посмотрите налево, — посоветовал колхозникам проходивший мимо Колька. — ГУМ, Государственный универсальный магазин. Яркий пример тяжеловесно-вычурной псевдорусской архитектуры конца XIX века.

— Иди отсюда, — сказал ему гид, молодой человек в светлом пиджаке.

— Иду, — мирно согласился Колька. — Пошли, — сказал он Володе.

— Я послушаю, — сказал Володя.

— Значит, в пять, — сказал Колька. — Подсосенский переулок, дом семь.

Он забрал у Володи пластинку и ушел.

Часы на Спасской башне ударили четверть третьего, и колхозники повернули свои объективы на знаменитые куранты.

Теплый Маликов

Саша вошел в будку телефона-автомата, набрал номер.

— Светлану Михайловну, — сказал он. — Я подожду.

— Я слушаю.

— Светик? Это я.

— Ну что?

— Просто так, без причины.

— Костюм купил?

— Нет еще.

— Так иди купи.

— Что у тебя такой голос?

— Какой еще голос?

— Малорадостный.

— Нормальный голос.

— Еще что скажешь?

— Ничего. Мне же некогда! Ну, все, — повесила трубку.

Саша еще потолкался около автоматов — они были заняты, разменял монетку и снова вошел в будку, плотно прикрыв дверь.

— Светлану Михайловну, — сказал он. — Я подожду.

— Да, — голос был недовольный.

— Ты чего вешаешь трубку? — спросил Саша.

— Ой, господи, ну что тебе надо?

— Я хочу узнать, почему ты бросаешь трубку! Тебе противно со мной разговаривать, да?

— Ну ты и зануда.

— Ну ничего, скоро ты от меня отдохнешь. Уже не долго осталось.

— Скорей бы уж.

— Что? — Саша почти кричал в трубку. — Скорее бы, да? Ты только об этом мечтаешь! Скорее бы! Ух... Ну ладно, ладно.

На том конце провода бросили трубку. И Саша с размаху тоже насадил свою трубку на рычаг и, хлопнув дверью, вышел из будки.

Саша вышел на улицу. Настроение у него было самое решительное. Оно требовало от него каких-то самых немедленных поступков и действий.

Саша огляделся.

Прямо перед ним была вывеска «Парикмахерская»...

— Вам что? — спросил майор из военкомата.

— Вот, — Саша протянул повестку. — Не надо мне отсрочки.

— Какая отсрочка? — Майор глядел на остриженно-го наголо Сашу и не узнавал его.

— Не надо мне этого месяца!

— А-а, это ты, жених? Тебя не узнать.

— Зато не жарко, — Саша провел ладонью по голове.

— Так что ты, передумал жениться? — спросил майор Сашу.

— Так точно, товарищ майор.

— Видали, Ангелина Петровна, — обратился майор к машинистке.

— Может, что-нибудь случилось? — спросила она, перестав печатать.

— Ничего не случилось, — Саша смотрел себе под ноги. — Передумал, и всё.

— Бывает, — сказал майор. — Ну ничего, после армии женишься.

— Я никогда не женюсь! — решительно сказал Саша.

Толстая черная туча закрыла солнце.

Первые капли дождя коснулись гладкой поверхности воды в бассейне на Кропоткинской. Загорающие быстро попрыгали в воду...

Продавцы книг в панике закрывали свои лотки клеенкой...

Все бежали, спасаясь в подъездах, под тентами кафе, в трамваях...

По пустынным улицам ехали поливочные машины...

Геннадий Шпаликов

Колька вбежал в подъезд напротив загса. Там уже стоял Володя с приготовленным для Саши костюмом в руках.

Дождь заливал переулок, раскачивая водосточные трубы, шумел вдоль тротуара по наклонной брусчатке мостовой.

К загсу подъехали две машины. Из первой — большого черного, отлакированного дождем ЗИМа выскочили ребята в черных костюмах и белых рубашках с галстуками. Белые манжеты так и торчали из-под рукавов.

Они быстро развернули прозрачный плащ, под который шагнула из машины девушка в белом платье с букетом цветов. Два шага по ступенькам — и она скрылась в дверях.

Саша бежал вверх по переулку, он совершенно промок.

— Саша! Саша! — кричали ему ребята из дверей загса. — Саша!

Но неожиданно кто-то схватил его за руку и втянул в подъезд.

— Саша, ты куда?! — кричали ему.

— Сейчас! — на секунду выглянула бритая Сашина голова.

Невеста в белом платье на секунду выскочила, растерянно огляделась, и ее тут же втянули обратно.

Саша шел через переулок под дождем в черном Володином костюме, с пластинкой в руке.

Вид у Саши был растерянный.

Колька и Володя стояли в полутьме подъезда и через сетку дождя смотрели, как Саша вошел в загс.

Колька насвистывал свадебный марш.

— А ему идет такая прическа, — сказал Володя. — Типичный уголовник.

А по самой середине улицы шла девушка. Она шла босиком, размахивая туфлями, подставляя лицо дождю. Девушка, наверно, сразу так промокла, что ей было все равно — стоять где-нибудь в укрытии или топтать по лужам.

Была она не то чтобы красивая, но, когда человеку хорошо, это сразу видно. Такого человека нельзя не заметить. Ребята смотрели на девушку из подъезда...

И все на нее смотрели — кто из дверей магазина, кто из-под зонтиков.

В другое время к ней обязательно кто-нибудь бы подошел, но сейчас только смотрели издали.

Дождь стоял стеной.

И внезапно появился парень на велосипеде, мокрый насквозь, в кедах, улыбается.

Он медленно поехал за девушкой, медленно-медленно, еще работая педалями. Девушка обернулась, он что-то сказал ей. Потом поехал рядом, с трудом сдерживая равновесие на такой малой скорости. Не слышно было, о чем они разговаривали, только парень все время улыбался...

Кончилось это тем, что девушка села на раму перед ним, он разогнал велосипед, и они уехали под дождем.

Дождь прошел, кончился. Как будто его не было. Но осталась свежесть летнего дня, вымытые листья, улица в лужах.

По ним бегали босые ребятки. И совсем неожиданно — какой-то здоровый, долговязый верзила, тоже босой, с ботинками в руках, с подвернутыми штанинами.

Настроение у него было прекрасное.

Лужи поблескивали на солнце, теплые, летние, на горячем июльском асфальте.

К дому Кольки подъехал на мотоцикле парень в куртке на молниях. Выключив мотор, он засвистел каким-то условным сложным свистом.

— Не свисти, — сердито сказала бабушка Кольки. Она сидела у подъезда на скамейке, грелась на солнце.

— Здравствуйте, бабушка, — сказал парень. — Коля дома?

— Весь кислород своими машинами сожгли, — ворчала бабушка. — Дышать нечем, — она сказала еще что-то

Тетядак Шнаиков

неразборчивое, а потом закончила: — А Коля спит. Ты давай езжай отсюда.

— Он мне очень нужен, — сказал парень, — У меня срочное дело. Коля! — закричал он.

— Не кричи, — сказала бабушка. — Спит человек.

— Мероприятие срывается! — взмолился парень,

— Ну вот и езжай, — сказала бабушка.

— Но это же общественная нагрузка!

— Если человек всю ночь работал, то нагрузки у него хватает, — решительно сказала бабушка.

— Алле, — в окне показалась Колькина голова. — Что за шум?

— Привет! — обрадовался парень. — Я баскетбол должен судить во Дворце пионеров, а меня за первую играть поставили, Липман заболел. Так что ты поезжай.

— Да он никогда не судил, — сказала бабушка. — Он не судья.

— У тебя же второй разряд! — настаивал парень.

— Мало ли какой разряд, — сказала бабушка, — тебе велели — ты и езжай.

— Золотые слова, — сказал Колька и зевнул.

— Дядя Коля! — крикнул Кольке пробежавший мимо мальчишка. И Колька замер в неудобной позе.

Колька шел по коридору Дворца пионеров. Откуда-то доносилась музыка: играли на рояле, Колька заглянул в дверь.

Здесь занимались танцем. Движения девочек по чистому паркету были полны свободы, легкости и мастерства. Они разучивали полонез.

Лица у девочек были серьезные и даже несколько торжественные.

— Ты не знаешь, где тут спортивная секция? — спросил Колька у одной из надменных танцовщиц.

Девочка ничего не ответила и показала Кольке язык. Колька пошел дальше.

Заглянул еще в одну дверь — здесь рисовали.

На больших белых листах все рисовали одно и то же ухо. Моделью служило огромное гипсовое ухо, стоявшее под рефлектором на деревянном помосте.

Колька встал позади хмурого парня, который сосредоточенно творил.

— Ты не знаешь, где тут спортивная секция? — спросил Колька.

— Понятия не имею, — ответил парень.

На площадке играли девочки. Команда в белых майках и команда в темных, с полосой на груди. Мелькали по площадке номера, мяч стремительно носился из конца в конец, ударяясь об щит, отскакивал в протянутые руки, и вот его уже вели к другому кольцу, он упруго подпрыгивал, вертеяся, как живой, взлетал над головами, над разгоряченными борьбой лицами.

Игру судила девочка, ровесница тех, кто играл. Колька подошел к ней.

— Фу, — сказал он. — Опоздал! Давай свисток.

— Почему? — удивилась девочка.

— Я судья, — сказал Колька.

— У нас Киселев должен был судить.

— Я вместо него, — сказал Колька.

— Ира! — закричали девочки. — Ира! Суди!

— Новый судья пришел, — сказала девочка.

Игра прекратилась, Кольку сразу окружили девочки. Колька взял свисток, свистнул.

— Давайте выстраивайтесь, — сказал он.

— Как?! Сначала? — сказали девочки из выигрывающей команды, — Счет уже 12:9!

— Правильно! Сначала! — обрадовались проигрывающие.

— Разговоры! — громко сказал Колька.

— А у вас какая категория? — спросила его остроносая девочка.

— Международная, — сказал Колька, — С другой к игрокам вашего класса не допустили бы.

Теннис Маликов

— Ха, — сказала остроносая девочка и направилась к своей команде.

Девочки о чем-то совещались, собравшись вместе.

Колька решительно свистнул. Игра началась.

Снова заметался над площадкой мяч, передаваемый из рук в руки, бережно и в то же время резко, осмысленно и спортивно.

Темп игры нарастал.

Колька дал свисток. Игра прекратилась. Девочки в недоумении смотрели на Кольку, пожимали плечами, молча удивленно разводили руками.

— Что? — не понял Колька. — Пробежка же!

Девочки снова пожали плечами, но игра возобновилась. При следующем Колькином свистке повторилось все то же самое.

— Двойное ведение, — раздраженно объяснил Колька.

Вскоре он дал еще один свисток. Девочки как-то странно посмотрели на него. А остроносая медленно подошла к нему, заглянула близко в глаза.

— Ну что? В чем дело? — не выдержал Колька.

— Ха, — удивленно сказала девочка.

— Ха-ха, — в ярости сказал Колька и кинул свисток в кольцо. Кинул удачно — попал!

— Она домой ушла, — сказала Володе высокая девушка в отделе пластинок.

— Как так? — удивился Володя.

— Так. Смена кончилась.

— А вы не скажете ее адрес?

— А вам зачем?

— Я ей журнал принес.

— Кутузовский проспект... — начала говорить девушка.

Летний вечер. Володя шел через двор большого современного квартала. Тут же теннисный корт, на котором ребята играли в волейбол.

Под деревьями за самодельным столиком четверо мужчин играли в домино. Пятый, старичок с редкой бородкой, сам не играл, но зорко следил за игрой.

— Вы не скажете, в каком подъезде девяносто вторая квартира? — спросил Володя у играющих.

— А тебе кого? — спросил его человек в старом военном костюме без погон.

— Лену.

— Ее нет.

— А где она?

— В парке, на концерте.

— Жалко, — сказал Володя.

— Вы что, договорились? — спросил его человек.

— Да нет. Просто я один вопрос хотел выяснить.

— Какой вопрос?

— А вам зачем?

— Я отец.

— Ну, в общем, я хотел выяснить, она точно к нам собирается ехать или просто так сказала.

— Куда это к вам? — человек прекратил игру.

— В Качемск, — сказал Володя.

— В какой еще Качемск? — спросил человек.

— Это в Сибири.

— В Сибирь твоя дочка отправляется! — сказал человеку один из играющих. — Ну, ставь. Твой ход.

— А что она потеряла в вашем Качемске?

— Ничего. Просто ей надоело пластинки продавать.

— Пластинки! При чем тут пластинки! — вмешался кто-то.

— Тут любовь, — сказал другой. — Верно я говорю? — спросил он Володю.

— Да нет, что вы, — сказал Володя.

— А чего же она к тебе едет?

— Она не ко мне едет.

— А к кому?

— Ни к кому.

— И ты специально в Москву за ней приехал?

Геннадий Шпаликов

— Да нет, я проездом.

— Попался! — сзади его хлопнул по плечу Колька. — Я в ГУМ прихожу, а мне говорят: какой-то почтальон уже по адресу пошел. Ну, думаю, ты. А кто еще?! Главное, я первый с ней познакомился, — он уже обращался к играющим. — А он уводит. А где Алена?

— Она ушла, — сказал Володя. — Познакомься, это ее отец.

— Николай. — Колька пожал всем по очереди руки.

— Пошли, — Володя толкнул локтем Кольку.

— Постой, — сказал отец. — Когда это вы познакомились?

— Сегодня, — сказал Колька.

— Ну, дают, — сказал один из игроков. — Только познакомились и уже женятся.

— Кто женится? — спросил Колька.

— Вот он, — показали на Володю. — В Сибирь с собой увозит.

— Он? — удивился Колька. — Не может быть!

— Почему?

— Так, семейный человек. Жена, дети. Он — писатель.

— Ну, вот что, писатели, — сказал отец. — Идите отсюда, пока я вам шею не намылил, — и в сердцах хлопнул костяшкой по столу.

Володя положил свой журнал на открытый книжный лоток, рядом с продающимися книжками.

Он и Колька шли молча.

— Неловко получилось, — сказал Колька.

— Трепач ты! — вдруг сказал Володя.

— Что?

— Ничего. Пустомеля ты!

— Что!

— Ничего.

— Ах, так? — сказал Колька.

— Вот так, — сказал Володя.

— Ну, пока, — сказал Колька.
И они разошлись в разные стороны.

Парк культуры и отдыха имени Горького захватили московские влюбленные.

Они о чем-то шептались на скамейках...

Чинно прогуливались по аллеям...

Покорно стояли в очередях на аттракционы...

Кружились в колесе обозрения...

Или удивленно разглядывали себя в зеркалах смеха.

В летнем театре выступал большой симфонический оркестр.

Алена сидела вместе с какой-то девушкой и парнем в темном костюме. Парень, наклонившись, что-то говорил девушке, та кивала головой.

Алена сидела молча, глядя прямо перед собой. Она выглядела очень хорошо.

Последний взмах палочки дирижера, и оркестр закончил играть.

— Конец первой части, — объявил вышедший на сцену человек в черном костюме. — Антракт продлится тридцать минут.

Люди вставали, шли к выходу.

— Здравствуйте, — сказал Колька Алене.

— Здравствуйте, — сказала Алена, но было видно, что Кольку она не узнает. Спутники Алены тоже остановились.

— Ну, пошли? — спросил Колька.

— Куда? — спросила Алена.

— На свадьбу!

— А-а, — улынулась Алена. — А я вас сразу не узнала. А где писатель?

— Мы пройдемся, — сказали спутники Алены, убедившись, что Колька все-таки знаком Алене.

— Как же вы меня нашли? — спросила Алена.

Геннадий Шпаликов

Володя был тут же. Он видел...

...как Колька, о чем-то переговорив с Аленой, взял ее под руку и повел...

По аллее, оглядываясь, шел толстый человек в белой рубашке, в галстуке, в темном костюме.

Он доедал на ходу рогалик.

А смотрел он на Алену с Колькой, которые шли по аллее.

Внезапно Алена повернулась и тоже посмотрела на него. И вдруг человек подобрал живот, выпятил грудь и пошел дальше упругой молодой походкой.

— Я не пойду, — говорила Алена.

— Почему? — спросил Колька.

— Дома будут волноваться.

— Хотите, я позвоню домой?

— Этого еще не хватало! — сказала Алена. — Представляю, что вы там наговорили...

— Я-то, в общем, ничего такого не говорил... — начал было Колька, во вдруг оскеся.

Им навстречу, подбрасывая камушек в руке, шел с невозмутимым видом Володя. Казалось, он вообще не видит их, не замечает,

— Здравствуйте, — сказала Алена Володе, когда он поравнялся с ними.

— Добрый вечер, — ответил спокойно Володя и пошел дальше.

— Вы что, нас не узнаете? — в спину ему сказала Алена.

— Узнаю, — Володя остановился.

— Так в чем же дело? — спросила Алена.

— Не хочу мешать.

— Что за чепуха! — сказала Алена. — Пойдемте.

И они уже шли втроем, молча. Володя подкидывал камушек, а потом забросил его в темные кусты.

— Эй ты, — раздался из кустов мужской голос. — Поосторожнее!

Где-то рядом звучала музыка. И Колька вдруг сделал несколько па, поворачиваясь в движении.

— Ну, пойдём? — сказал он Алене, двигаясь под музыку.

— Не пойдём, — ответила Алена в том же ритме.

— А хочешь, я тебя загнипнотизирую, и ты пойдёшь, — предложил Колька. — Ну! Смотри мне в глаза!

— Не надо, — улыбнулась Алена. — Меня и так целый день гипнотизируют за прилавком.

— Как хочешь, — согласился Колька. — А то я могу. Вот, смотри, — он показал на одиноко идущего впереди человека. — Я ему посылаю импульс — приказ обернуться, и он оборачивается...

Колька сделал напыженное лицо и, вытаращив глаза, стал смотреть...

...в бритый затылок гуляющего.

— Скоро? — спросила Алена.

— Сейчас, — не отрывая взгляда, ответил Колька.

И вдруг человек действительно оглянулся.

— Телепатия! — обрадовался Колька.

Он снова напрягся, и человек снова оглянулся.

Он внимательно посмотрел на ребят и прибавил шагу.

Ребята не отставали,

— Дай теперь я попробую, — сказал Володя.

Он напрягся так, что у него на шее вздулись жилы.

Человек снова обернулся. Теперь он был откровенно напуган.

— Биотоки! — сказал Колька.

Человек еще несколько раз оборачивался, а потом поспешно скрылся за углом.

Алена посмотрела на часы и села на белую скамейку.

Колька разбежался (короткий был разбег — на три шага) и перепрыгнул через скамейку.

Володя посмотрел на него и как стоял, не разбегаясь, с места легко повторил Колькин прыжок.

Колька попробовал сделать то же самое, но зацепился и с шумом грохнулся в кусты.

— Подошвы скользят, — оправдывался он.

А Володя вдруг посмотрел на часы и куда-то исчез.

Гелладий Шнапков

Колька подсел к Алене.

— Странный, — сказала она о Володе.

— Писатель, — Колька зевнул.

— А еще на свадьбу собирался, — сказала Алена. — Тебе уж спать пора.

— Я в ночную смену работал, — сказал Колька.

— Где?

— На Метрострое, — Колька вплотную приблизился к Алене, положил руку на плечо. — Шахтер я. Мы сейчас новую линию ведем, в Мневники.

— Я читала, — Алена сняла Колькину руку, — в газете.

— В «Неделе», — Колька снова положил руку на плечо Алены.

— Мне так неудобно, — сказала Алена.

— А мне удобно.

Володя появился неожиданно, с тремя пачками мороженого. Протянул Алене.

— Не ем фруктовое, — Колька, естественно, был не слишком рад столь быстрому появлению Володи,

Володя пожал плечами и сел рядом с Аленой.

Из-за кустов донесся взрыв смеха, шум, аплодисменты.

— Что там такое? — спросила Алена.

— Призы разыгрывают, — сказал Володя.

— Пойдем посмотрим, а? — предложила Алена.

Перед раковиной летней эстрады толпилось много людей.

— Шесть человек желающих, пройдите на сцену, — сказала женщина-массовик в микрофон.

— Пошли, — предложил Колька.

— Я не пойду, — сказала Алена.

— Ну, я пошел, — сказал Колька. — Я всегда выигрываю. Вы только без меня не уходите.

На сцену выдвигали две черные доски школьного типа.

— Вы здесь в командировке? — спросила Алена, глядя на эстраду.

— Нет, проездом. Я в отпуске был, в деревне под Минском.

— У вас там родственники?

— Нет, родители моего товарища. Он в позапрошлом году погиб. Пошел на охоту и под лед провалился. Наши ребята к его старикам в отпуск ездят, чтоб им не скучно было. Ну, так что вы решили? — спросил Володя.

— Насчет чего?

— Насчет переезда.

— А что я там буду делать?

— Все, что хотите. У нас любая работа есть. Я, например, сварщик.

— А геологи у вас есть?

— Есть, конечно. У нас...

— Смотрите, — перебила его Алена.

А Колька поднимался на сцену, щурясь от яркого света двух прожекторов. Там уже стояло четверо.

— Нужен еще один человек, — говорила женщина. — Ну, смелее, мужчины, покажите пример.

Какой-то подвыпивший человек попытался взобраться на сцену

— Товарищ, вам нельзя, — сказала женщина, — вы лучше посмотрите.

Тот кивнул и встал послушно у самой сцены.

— Сейчас мы будем играть в очень интересную игру, — сказала женщина в микрофон. — Кто быстрее и лучше нарисует лошадь. Разделитесь на две команды.

— Ты идешь ко мне, — тут же начал отбирать Колька. — И ты, а ты иди туда, — отослал он парня, который почему-то не очень приглянулся ему.

Алена с Володей стояли среди зрителей. Они смотрели на сцену и не замечали, что рядом стоял человек, которого они гипнотизировали в аллее... Человек внимательно приглядывался к Володе и Алене.

— Каждому участнику команды дается пять секунд. Считать будем все вместе. Давайте попробуем. Раз, два...

Зрители с удовольствием продолжили.

Геннадий Шнапков

— Значит, так. — Колька быстро распределял обязанности. — Ты рисуешь туловище. Ты — ноги и хвост, я — голову и уши. Все понятно?

— Команды готовы?

— Готовы, — сказал Колька.

— Начали! — женщина махнула рукой.

А баянист заиграл почему-то футбольный марш.

Пяти секунд, отведенных каждому, хватало только на то, чтобы провести какие-то ломаные, непонятно что означающие линии, которые исправлял следующий, едва успевая сам что-то нарисовать.

Колькина команда работала лучше, но торопливость все-таки сказывалась — лошадь эта мало походила на лошадь. Колька, начертив голову с длинными ушами, только усугубил это.

— Всё! — сказал он еще до истечения своих секунд и поставил мелом точку.

Две лошади предстали перед зрителями. Хохот поднялся страшный — лошади действительно, мягко говоря, были не очень.

— По времени победила эта команда, — показала женщина на команду Кольки. — Но по качеству... — Она подошла к доске. — Кого-то мне напоминает ваша лошадь?

— Кенгуру! — кричали зрители.

— Вертолет!

Алена смеялась, аплодировала.

На сцене под баян вручали приз — но это была не Колькина команда.

Володя вдруг заметил небритого мужчину, занятого сложным делом. Он старался открыть сумочку, висевшую на руке женщины. Женщина смеялась, аплодировала, все время двигала локтем, затрудняя работу жулика.

Володя схватил небритого за руку:

— Ты что делаешь?!

— Пусти!

— Ты что к человеку пристал? — Володю ударил по руке парень, стоявший за жуликом. — Что хулиганишь? В милицию захотел?

— Он вор! Он в сумку лез, я видел!

— Сам ты ворюга! — закричал небритый. — Карманник! Я тебя не в первый раз тут вижу!

— Ворюга, — подтвердил второй.

— Точно! — вдруг закричал человек, которого гипнотизировали. — Это он!

— Стой! — Володя увидел, что небритый уходит. — Стой! — он рванулся за ним.

Небритый ударил Володю по лицу и побежал.

Володя за ним.

— Держи его! — крикнул «гипнотизированный».

Они бежали по аллее: впереди жулик, за ним — Володя и чуть в отдалении — остальные.

Сидевшие за столиком у ограды двое мужчин с белоснежными салфетками за воротниками вдруг сорвались с места и, перескочив ограду, кинулись догонять преступника.

Официант, спортивно взяв высоту ограды, бежал за ними с криком:

— Граждане! Товарищи! А деньги! Счет!

У закрытой танцплощадки небритый резко свернул в сторону и пробежал внутрь мимо скользящего контролера.

— Куда? — успел сказать контролер Володе. — Билет!

Володя протискивался между танцующими за небритым, и вот уже он почти ухватил его за ворот, но небритый увернулся и выпрыгнул в окно.

Володя за ним.

— Держи! — кричал «гипнотизированный», пробегая во главе толпы преследующих мимо оторопелого контролера.

Затем все они пронеслись через зал и стали прыгать в разные окна.

Тетядак Шаликов

— Стой! — контролер поймал бегущего последним официанта. — Билет!

На танцевальной площадке остались одни девушки.

У фотостендов Володя уже настигал небритого. Когда кто-то внезапно бросился ему под ноги, он упал. Толпа окружила их. Небритый, пробежав несколько шагов, оглянулся и, сообразив, что его больше не преследуют, спрятался в туалетном вагончике.

Алена видела это.

Володю держали за руки.

— Пустите! — вырывался Володя. — Вы что, с ума сошли! Он же убежит!

Но Володю не выпускали.

— В чем дело, граждане? — спрашивал милиционер. — В чем дело? Что случилось? Что он сделал? Свидетели есть? Свидетелей не было.

— Не знаем, — сказал кто-то. — Бежал.

— Я свидетель! Вот свидетель! — протискивался сквозь толпу отставший в погоне «гипнотизированный». — Он жулик! Берите его! Забирайте! Ведите!

Володя увидел Алену, стоявшую поодаль.

— Алена! — крикнул Володя. — Скажи им!

Алена мельком посмотрела в его сторону и тут же отвернулась.

— Эх, ты... — сказал Володя, и его повели.

Отделение милиции было тут же, в парке. На скамейке в тени сидели ребята. Играла гитара, ребята пели негромко.

Человек, которого гипнотизировали, протянул дежурному по отделению милиции заявление.

— Вот, — твердо сказал он.

Володя сидел на скамейке у стены. Рядом стоял рослый сержант.

— Ничего не могу понять, — дежурный кончил читать бумагу «гипнотизированного». — Что же он все-таки сделал?

— Там все изложено, — непрерываемо сказал «гипнотизированный». — Вот, — он показал пальцем нужную строчку, зачитал ее: — «В составе банды себе подобных в темноте преследовал меня, наверное, с целью ограбления».

— Какой банды? — удивленно спросил Володя.

— Не мешай, — отмахнулся «гипнотизированный» — И вот, — продолжал он, отыскав нужную строчку. — «Послав сообщника с целью отвлечения внимания рисовать лошадь, сам, очевидно, пытаясь неудачно залезть в карман, устроил дебош с дракой и пытался бежать».

— Ничего не понимаю, — сказал дежурный, — Какую лошадь?

— По-моему, здесь понятно, — «гипнотизированный» смотрел в свое заявление. — Но если вас это не устраивает, я могу написать попроще.

— Напишите, — согласился дежурный.

«Гипнотизированный» взял несколько листов бумаги, сел за длинный стол и начал что-то быстро писать.

— Он все перепутал, товарищ лейтенант, — Володя подошел к стойке. — Все было не так.

— Напишите, — дежурный протянул ему лист бумаги.

— Как — в форме заявления или последовательно описать?

— Как было, так и пишите.

Володя сел рядом с «гипнотизированным», тот отодвинулся. Володя взял ручку, попробовал перо, подумал немного. Из-за решетки окна доносилась гитара ребят на скамейке, их голоса.

Володя написал:

«В отделение милиции от товарища Ермакова В. С....»

Володя подумал и слово «товарищ» зачеркнул, а сверху написал «гражданина».

«Заявление:

Я, гражданин Ермаков В. С., находясь в Москве, в Центральном парке культуры имени Максима Горького, глядя на эстраду с представлением...»

Гелладий Шпалков

Он зачеркнул «глядя на эстраду с представлением» и написал:

«Смотря на мероприятие по разыгрыванию призов...»

Володя скомкал заявление, положил его в карман. Потом он вздохнул, потянулся рукой и взял чистый лист у сидевшего рядом «гипнотизированного», который писал не останавливаясь. На секунду тот оторвался и недовольно посмотрел на Володю.

Володя сидел, задумавшись над пустым листом. Заявление не получалось. Тогда он придвинулся к «гипнотизированному» и заглянул к нему, пытаясь понять, как и что надо писать. А «гипнотизированный», как школьник на диктante, закрыл лист ладонью. Володя пожал плечами.

В отделение вбежал Колька.

— Фу, — Колька отдышался, — Ты здесь, — он увидел Володю. — Здравствуйте, — сказал он дежурному. — Что случилось?

— Да вот, задержали, — сказал Володя.

— Вы его знаете? — обратился к Кольке дежурный.

— Он мой друг, — сказал Колька.

— Я жулика ловил, а меня самого и поймали, — сказал Володя.

— Документы, — обратился к Кольке дежурный.

— У меня нет с собой, — Колька похлопал по карманам. — Отпустите его, он писатель. Он же на самолет опоздает! Володя, покажи билет! Хотите, я пока вместо него посижу.

— Вы давно с ним знакомы?

— Давно. С утра. А какое это имеет значение! Человека сразу видно!

«Гипнотизированный» во время этого разговора тихо встал, буквально на цыпочках прокрался к двери, захолопнул ее, расставив руки и закрыв дверь собою.

— Это он! — торжествующе закричал он. — Это он лошадь рисовал! Сообщник! Держите его!

— Это кто? — удивленно спросил Колька у дежурного.

— Ну что? — наступал на него «гипнотизированный». — Рисовал лошадь? Рисовал? Говори!

— Ну, рисовал. А вам-то какое дело? — спросил Колька.

— Ага! Сознался! — радовался «гипнотизированный». — А в аллее меня преследовал? А? Нагонял!

— Не кричите, — сказал дежурный. — Какую лошадь?

— Сознался! — в упоении кричал «гипнотизированный», — Расколотся!

— Вы его действительно преследовали? — спросил дежурный.

— Да нет, — улыбнулся Колька. — Мы просто шли за ним, и всё.

— А зачем вы за ним шли?

— Действие биотоков проверяли, — улыбнулся Колька.

— Гипнотизеры! — закричал «гипнотизированный». — Гипнотизируют до полного бесчувствия, а потом раздевают!

— Ну что вы несете! — не выдержал Володя. — Вы сами подумайте, что вы говорите.

— Ты так со мной не разговаривай, ясно? Я контуженный. Ясно? Я тебе чего хочешь могу сделать, а мне ничего не будет. Ясно? Бандит.

— Товарищ лейтенант! — вдруг обрадовался Колька. — Да он же пьяный! От него водкой несет!

— Ложь! Наглая ложь!

— А вы дыхните! — сказал Колька. — Скажите, товарищ лейтенант, чтобы он дыхнул!

— Ну, хватит, — устало сказал дежурный. — Лошади, гипнотизеры. Ничего не понимаю. Вот вы, — он показал на «гипнотизированного», — Вы напишите так, чтобы можно было разобраться. А вы двое идите в ту комнату. Там подождете.

— Это безобразие! — сказал Колька. — Я буду жаловаться!

Тетядак Шпалков

- Ну, жалуйся, — сказал дежурный.
- Не ты, а вы.
- Ну, вы, — сказал дежурный и вздохнул.

Алена тем временем шла по аллее за небритым жуликом.

Вот он остановился на пустой площади у пивного ларька. Позади него в темном небе вращались решетчатые самолеты аттракциона «Мертвая петля».

Небритый с жадностью пил пиво и, еще не кончив первую кружку, сказал, с трудом отрываясь, сквозь пену: «Еще одну».

Алена огляделась.

Никого не было, кроме полной женщины — продавщицы мороженого — и старика инвалида, пропускавшего на аттракцион.

— Одно мороженое, — тихо, конспиративно, как в детективном фильме, сказала Алена продавщице. — Вот там, сзади, у ларька, бандит. Я его здесь буду отвлекать, а вы идите за милиционером.

— Поняла, — испуганно сказала женщина.

— Только не сразу. Дайте мне отойти, — сказала Алена.

Алена отошла с мороженым в руке. Женщина повернулась, пошла было, но вернулась за ящиком, надела его на грудь и побежала.

Небритый с наслаждением допивал вторую кружку, когда Алена подошла к нему сзади и легонько тронула его за плечо:

— Товарищ!

Жулик вздрогнул, расплескав пиво, резко повернулся.

— Чего? — он успокоился сразу, увидев, что перед ним девушка.

— У меня к вам большая просьба.

— Чего?

— Вы не могли бы со мной прокатиться на этом самолете?

— Еще чего! — возмутился небритый.

— Вы понимаете, я хочу, чтобы один человек меня приревновал.

— Иди ты! — удивился небритый.

— Ну, хотите, я вам три рубля дам?

— Пять, — не задумываясь, сказал небритый.

— Вот, у меня четыре пятнадцать, — Алена порылась в сумочке.

— Давай, — согласился небритый.

— Потом, — сказала Алена.

— Ну, ладно. А где твой ухажер? Он мне морду-то не набьет?

— Да нет. Он робкий. — Алена взяла небритого под руку и повела к аттракциону.

Милиционер и продавщица мороженого бежали по аллее. Они выскочили на пустую площадь.

— Где? — спросил милиционер.

Продавщица быстро огляделась.

— Вон! — заметила она. — В самолете!

Алена и жулик стремительно кружились в самолете.

— Она! — радостно сказал «гипнотизированный», потирая руки. — Теперь вся банда в сборе!

В дверях отделения стояла Алена, небритый и милиционер.

— Здравствуйте, — смущенно сказал небритый.

— Здравствуй, здравствуй, Федулов, — приветливо улыбнулся дежурный. — Давно не виделись. Ну, проходи, дорогой. Всегда желанный гость.

Небритый заложил руки за спину, прошел через приемную, вошел в угловую комнату и сам закрыл за собой дверь с решетчатым окном.

В городе наступает вечер, теплый, летний. Вспыхивают фонари и рекламы на улицах. Над крышей «Известий» побежали, складываясь в слова, яркие буквы.

Тетрадь Шнапков

В Лужниках, в шуме трибун, аплодисментах и криках, зажигаются мощные прожекторы, освещая размеченное поле, мяч в игре.

А рядом, на Москве-реке, замелькали по воде огоньки речных трамваев, осветился сразу пролет мостомоста, шары, фонари набережной, какие-то огни на мачте проплывающей мимо баржи, и впереди медленно вращающееся колесо обозрения в Парке культуры...

Москва вступала в свой обычный вечер с только ей присущими приметам и с тем, что характерно и для других наших городов в эти часы.

По ночной улице шла стройная молодая женщина. Она постукивала наконечником свернутого зонта по прутьям железной решетки и что-то напевала.

— Можно вас на минуточку? — к женщине подбежал Колька. Женщина остановилась.

— Помогите, пожалуйста, — Колька очень торопился. — Понимаете, нам на свадьбу надо, а у нашей подруги родители строгие. Она звонит домой, как будто она у подруги, а мать говорит: «Позови подругу», а подруги нет никакой, а мать...

— Понятно, — перебила его женщина. — Где твоя подруга?

Алена и Володя стояли в телефонной будке. Увидев Кольку с женщиной, она закрыла ладонью трубку и позвала:

— Быстрее.

— Как маму зовут? — спросила женщина, беря трубку.

— Мария Николаевна.

— Здравствуйте, Мария Николаевна, — женщина зажала трубку и спросила: — Как меня зовут?

— Надя, — сказала Алена.

— Это Надя, — женщина снова закрыла трубку. — А как тебя зовут?

— Алена.

— Алена у меня, — сказала женщина. — Что делаем? Ничего не делаем... Книжку вслух читаем. Спокойной ночи...

— Спасибо вам большое, — сказал Володя.

— Не за что...

И она, стройная эта и добрая женщина, снова пошла по улице, постукивая каблучками по асфальту, а зонтиком по решетке.

На подоконнике крутился магнитофон. Гремела веселая музыка.

За праздничным столом, уставленным едой, бутылками и цветами, сидел мальчик лет десяти и что-то ел, уткнувшись в книжку.

В углу в кресле мрачно сидел Саша.

Никого больше в комнате не было.

Колька, Володя и Алена стояли у дверей в Сашину комнату.

— Раз-два-три! — скомандовал Колька.

— Поздравляем! — разом закричали ребята и распахнули дверь.

И тут же замерли в недоумении.

Саша долго и безучастно смотрел на вошедших. Потом вздохнул, сказал; «А-а...» и, не говоря больше ни слова, ушел в другую комнату.

Ребята переглянулись.

— Что с ним? — спросил Колька. — Что случилось?

— А-а, ты... — мальчик поднял глаза на Кольку, вздохнул и снова принялся за еду.

— Слушай, остановись, — Колька встряхнул мальчишку, — И не читай во время еды — вредно!

— Свадьба отменилась, — сказал мальчишка. — Сам не видишь?

— Как — отменилась? — Колька был поражен.

— Светка узнала, что он от нее отказался, — равнодушно сказал мальчишка.

— Как — отказался?

— «Как», «как»! Пошел в военкомат и сказал: не буду жениться, и все. Псих он у нас, — мальчишка снова раскрыл книгу. — Ну, ничего, в армии его к дисциплине приучат.

Теплый Шалков

Вошел Саша.

— Спасибо, — он протянул Володе костюм.

— Это правда? — спросил Колька.

Саша посмотрел на брата.

— Уже успел... — сказал он и сел в кресло.

— Как же так? — Колька встал перед ним.

— А вот так, — Саша начинал раздражаться.

— Но вы же расписались!

— Ну а теперь разведемся!

— Так, сразу?

— Еще не сразу, — сказал Саша. — Суд еще будет.

А вы чего стоите? — обратился он к Алене и Володе, — Садитесь, ешьте, пейте, развлекайтесь!

— Спасибо, мы уже развлеклись, — сказала Алена, — пошли отсюда.

— Мы тебя внизу подождем, — сказал Володя, и они ушли.

Колька шагал по комнате.

— Выключи музыку, — он кивнул на магнитофон.

— Нельзя, гости танцуют.

Колька выглянул в окно. Внизу, в квадрате двора, кружились пары.

— Колька! — крикнул кто-то из танцующих. — Ну, как там? Помирились?

— Нет еще! — крикнул Колька.

Мальчишка, брат Саши, подошел к столу с подарками. Открыл большой футляр. На темном бархате лежали серебряные ложки.

— Коля, как ты считаешь, подарки надо обратно отдавать? — спросил брат.

— Конечно, — сказал Колька.

— Но им же подарили не за то, что они поженились или не поженились, — серьезно сказал брат, — просто принесли, чтобы им было приятно...

— Иди отсюда! — грозно сказал ему Саша.

Мальчишка пожал плечами и вышел.

Ребята остались вдвоем.

— Выпьем? — предложил Саша.

Колька отказался. Саша налил себе, выпил.

— Я с ней по телефону поругался, — начал он без всякого предисловия. — Пошел в военкомат и сказал, что передумал. Ну а потом, сам видел, расписались. Потом поехали в военкомат вместе — отпрашиваться. Там она все и узнала. — Саша помолчал. — Зато теперь я вольный человек, — сказал он невесело, — никаких забот.

— Идиот ты, — сказал ему Колька.

— Что?

— Эгоист.

— Человек всегда найдет в себе силу перенести несчастье другого, — сказал Саша. — Тебе что? Тебя в армию не забирают.

— Она тебя любит, а ты...

— За два года все может случиться.

Колька подошел к Саше, взял его за ворот рубашки.

— А как же моя мать отца пять лет ждала? А твоя?

Эх ты!

— Ты не кричи! То война была!

— Дело не в войне, а в людях!

Саша рванулся — и ворот белой праздничной рубашки затрещал, зажатый в Колькиной руке.

— Я думал, ты мне друг, а ты мне рубашку порвал! — орал Саша. — Когда мне так плохо, все против меня! Вместо того чтобы человека поддержать, ему рубашки рвут!

— Кто тебе рвал? Ты же сам рванулся! — возмутился Колька.

— Ну да — сам! Кругом виноват! Все сам! А ты знаешь, что мне самому так тошно, что хоть реви! — Он налил, выпил. — Может, мне вообще теперь жить не хочется... — Саша сел, закрыв лицо ладонями.

— Знаешь, Коля, — вдруг заключил он, — подлец я.

— Да... — неопределенно сказал Колька. Он подошел к телефону и стал набирать номер. Из трубки доносились длинные гудки. Колька положил трубку, выключил магнитофон и подошел к окну.

Тетрадь Шпаликов

Снизу тут же понеслись возмущенные голоса:

— Колька! Включи музыку!

— Света! — не обращая внимания, крикнул Колька. —

Света! — Он высунулся в окно.

— Не надо, — сказал Саша.

— Молчи, — сказал Колька. — Света!

В окнах дома напротив уже показались люди.

— Света! — кричали ребята во дворе. — Света!!

На балкон восьмого этажа вышла тоненькая девушка в белом платье.

— Возьми трубку! — крикнул Колька. — Трубку возьми!

— Трубку возьми! — закричали снизу ребята. — Это Колька!

Девушка исчезла.

Колька набрал номер.

— Да? — раздалось на том конце провода.

— Света? Здравствуй.

— Здравствуй, Коля.

— Ну, как дела?

— Хорошо.

— Плачет? — спросил Саша. Он стоял рядом.

— Нет, — Колька отстранил его рукой. — Слушай...

— Что?

— Ну, в общем, он осознал свои ошибки...

— Скажи ей, что я подлец! — Саша ходил вокруг

Кольки.

— Он говорит, что он идиот, — сказал Колька.

— Не идиот, а подлец! — заорал Саша.

— Света, он тебе сам что-то хочет сказать, — Колька дал трубку Саше.

— Светочка... — начал Саша.

— Что?

— Света...

— Что?

— Я просто нервный.

— Я знаю.

Колька сидел на подоконнике и насвистывал свадебный марш.

А по двору шла невеста Саши, его жена. Ребята расступались, давая ей дорогу.

Ночь. Над городом звучат куранты — они далеко слышны в тишине... Под перезвон и удары часовых колоколов перед нами проходит бронзовый ряд застывших мыслителей.

Пушкин в окружении четырех фонарей прошлого века...

Взмахнул рукой Чайковский...

Два Гоголя — один стоит...

а другой согнулся в кресле...

Первопечатник Иван Федоров...

Ломоносов...

Тимирязев...

Колька ехал в вагоне метро. Час был поздний, и кроме него в вагоне была лишь пожилая чета, но, поскольку они сидели в другом конце вагона, Колька вел себя так, как ведут себя иногда люди, оставшись один на один с зеркалом.

Он смотрел на себя, отраженного в черном глубоком стекле окна, и то придавал своему лицу очень серьезное выражение, то снисходительно улыбался, то приветственно поднимал руку, как бы отвечая на шквал аплодисментов. Он не замечал, что старички внимательно наблюдают за ним.

Поезд подошел к станции, и в окне замелькали белые колонны. Колька вынес чемодан и плащ.

Володя и Алена неторопливо прогуливались по платформе. Володя что-то рассказывал, а Алена внимательно слушала и улыбалась. Кроме них и дежурной по станции никого на платформе не было. Только в отдалении какой-то человек шлифовал мрамор специальной машинкой.

Теплый Маликов

Колька некоторое время шел за ними, но они не замечали его, и он остановился.

Подошел поезд, растворились двери, но никто не вошел и не вышел.

— Готов! — раздалась команда, и поезд умчался.

Колька свистнул

Володя оглянулся.

— Вот, — Колька поставил перед ними чемодан. — Ты давай уезжай, а то опоздаешь.

— Спасибо, — сказал Володя.

Ребята замолчали.

На циферблате больших квадратных часов зажигались цифры, отбивая секунды... пять... десять... пятнадцать...

В темноте засветилась точка прожектора первого вагона и, увеличиваясь, стремительно приближалась, вытягивая за собой весь состав.

— Ну, — Володя протянул Кольке руку, — до свидания, Николай.

— Будь здоров, — сказал Колька со всей мужской сдержанностью.

— Спасибо за все. — Володя вошел в вагон.

Он взял Алену за руки и, не отрываясь, смотрел на нее. — Я тебе позвоню, — сказал он. — Как только прилечу, сразу позвоню. В семь утра, не рано?

— Нет, — сказала Алена, — только не позже, а то я на работу уйду.

— Готов! — раздалась команда, и двери захлопнулись, разъединив руки ребят.

Поезд тронулся. Алена шла за ним, махала рукой прижимавшемуся к стеклу Володе.

Поезд набрал скорость и скрылся в темноте туннеля.

— Тебе куда? — Колька подошел к Алене.

— В обратную сторону, — сказала Алена.

— Я не могу тебя проводить, — сказал Колька, — мне на работу надо.

— Ладно, — сказала Алена. — До свиданья! — крикнула уже на бегу.

К противоположной платформе подошел поезд, Алена села в него.

Колька пошел к эскалатору.

— Молодой человек! — окликнула его дежурная.

— Да? — Колька остановился.

— А дома вы тоже свистите?

— Да, — сознался Колька.

— Нехорошо, — сказала дежурная. — Некультурно.

— Да, — согласился Колька и вздохнул. — Я больше не буду.

Он встал на ступеньку эскалатора и поехал вверх.

— Коля!

Колька оглянулся.

По платформе бежал Володя.

— Коля!

— Ты почему вернулся?! — заорал Колька.

— Свой адрес скажи! — кричал Володя на бегу. —

У меня твоего адреса нет.

— Московский пятнадцать! — крикнул Колька. — Ты опоздаешь!

— Я тебе напишу! — Володя побежал обратно. — Пока!

— Пока! — Колька поднял руку и скрылся, сойдя с эскалатора.

Звучит песня «А я иду, шагаю по Москве...»:

«Бывает все на свете хорошо,
В чем дело, сразу не поймешь, —
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь.

Мелькнет в толпе знакомое лицо,
Веселые глаза, а в них бежит
Садовое кольцо, а в них блестит
Садовое кольцо и летняя гроза.

Геннадий Шпаликов

А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.

Над лодкой белый парус распушу,
Пока не знаю с кем,
Но если я по дому загрузу,
Под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве».

ПРИЧАЛ*

Действие фильма происходит летом в Москве на протяжении одной ночи. Фильм начинается днем недалеко от города и кончается на следующее утро ровно в восемь часов.

I

Баржа спокойно плывет по спокойной русской реке, медленно уходят назад берега, деревья, опущенные в воду, рыбаки в желтых соломенных шляпах, пустые, чистые отмели и облака над рекой тоже уходят назад, высокие, летние облака.

Сверху баржа огромна, буксир кажется маленьким, а лодка, которая тянется за баржей, почти не видна.

Лодка привязана к барже тонкой цепью. Это хорошая, старая лодка. В ней сидит Катя, босая девушка, одетая в ситцевое платье. Она свесила ноги за борт, опустила в воду ладонь, вода легко бежит сквозь пальцы, солнце освещает поверхность реки, за баржей тянется широкий след, люди на берегу косят траву. Катя машет им рукой, и они, приветствуя ее, поднимают сверкающие косы.

Катя встает в лодке и, уцепившись за деревянный киль, заглядывает на палубу баржи.

* Сценарий «Причал» был запущен в производство на киностудии «Мосфильм» в качестве дипломной работы реж. Х.Дзюбы и В.Китайского (мастерская М.И.Ромма). Работа была остановлена в связи с самоубийством В.Китайского.

Гелладий Мналиков

На корме лежит матрос Павлик, молодой человек огромного роста, с большими, крепкими руками. Лицо у него закрыто кепкой, он загорает.

Катя спрыгивает в лодку, быстро снимает платье и, ухватившись за конец веревки, опускается в воду.

Теперь за буксиром тянутся трое: сначала баржа (стальной, маслянистый трос), за баржей лодка (цепочка, продернутая в кольцо, и большой замок в кольце), а за лодкой Катя (конец веревки, зажатый в кулак).

От Кати поднимаемся на корму и пройдем вдоль баржи до самого носа, где сидят женщины в белых косынках.

На корме, как мы уже знаем, загорал матрос Павлик. Он и теперь загорает, только он перевернулся на живот и прикрыл кепкой затылок. Следуем дальше. Недалеко от кормы стоит домик под яркой крышей, натянута веревка. Речной ветер покачивает занавески на окнах и белые перчатки, пришпиленные к веревке за указательные пальцы. На солнечной стороне домика сидит шкипер баржи, крепкий тридцатилетний человек. Он в трусах, у него загорелые широкие плечи, серьезное лицо. Шкипер чистит зубным порошком белый парусиновый туфель. Рядом сохнет почищенный. Справа от шкипера стоит приемник «Турист» с выдвигной антенной. Передают песни из кинофильмов. Песен должно хватить до тех пор, пока приемник не будет выключен в конце этого эпизода.

За домиком шкипера начинается трюм. В трюме стоят лошади, разделенные досками. Над ними натянут брезентовый полог, но его не хватает на весь трюм, и часть лошадей открыты. Это красивые, чистые лошади, у них светлые челки, блестящая кожа.

За трюмом, на носу баржи, сидят и лежат несколько женщин. Они сопровождают лошадей, ухаживают за ними в дороге.

Женщины видят, что матрос Павлик, который до сих пор безмятежно лежал на солнце, вдруг вскочил и забегал

по корме, размахивая руками. Женщины спокойно наблюдают за ним. Но когда сам шкипер отложил в сторону недочищенный тувель и побежал на корму, женщины встали, как по команде, и мяча устремились к Павлику.

Катя выпустила веревку и отстала от баржи.

Баржа удаляется.

Катя видит людей на корме, они размахивают руками, кричат, но Катя ничего не слышит, кроме музыки из приемника «Турист». Эта музыка оказалась громче всех голосов. Катя пытается плыть против течения, и хотя течение здесь небольшое, она быстро устает и, сделав несколько отчаянных гребков, останавливается на воде, с трудом переводит дыхание.

Баржа уплывает, баржа далеко.

Шкипер бежит вдоль борта к носу баржи. В руке у него переговорная труба. Он кричит, забыв о трубе, но ничего нельзя понять — мешает музыка из приемника. Наконец кто-то выключает приемник, и на буксире разбирают слова шкипера.

Трос, соединяющий баржу и буксир, дрогнул и тяжело обвис к воде.

Катя подплывает к остановившейся барже, влезает в лодку, и, уцепившись за киль, при общем молчании поднимается на палубу.

Шкипер, не оборачиваясь, идет к домику, с силой захлопывает дверь.

Трос натянулся и снова потащил баржу за буксиром.

2

Время — шесть часов вечера.

Берега реки изменились, во всем чувствуется приближение большого города. На корме баржи стоит матрос Павлик, покрытый хлопьями мыльной пены. Шкипер бросает за борт брезентовое ведро на веревке, достает его и выливает воду на Павлика. Шкипер босой, мокрый, в плавках.

Шкипер выходит из домика, одетый в белую капитанскую форму с начищенными пуговицами. На голове у него фуражка с крабом; широкий белый чехол туго натянут. Шкипер помахивает белой перчаткой — одна перчатка надета, а другой он помахивает.

— Катю не видели? — спрашивает шкипер.

— Нет, — говорит Павлик.

— Нет, — говорят женщины.

Шкипер спускается в трюм, идет по узкому проходу между лошадиными головами. В конце прохода он видит Катю. Она спит на сене. Лошадь опускает голову к ее ногам, чтобы захватить губами пучок сена. Шкипер присаживается на корточки, разглядывает спящую Катю. Негромко свистит. Катя поднимает голову, садится, восхищенно смотрит на шкипера:

— Какой ты нарядный!

— Странная ты девушка. У нас даже лошади знают, что нельзя купаться на ходу баржи.

— Ты для меня так оделся? А мне что надеть?

— Подожди. Ты осознаешь, о чем я с тобой разговариваю?

— Нет. Но тебе будет еще хуже, когда я все осознаю.

— Почему?

— А потому что я загадала: если ты начнешь читать мне мораль о задержке грузооборота на речном транспорте, я тут же прыгаю за борт. Разве можно невестам читать мораль?

— А если невеста баржу утопить захочет?

— Пусть топит, пожалуйста! Храброму человеку для невесты и буксира не жалко. — Катя смотрит на белые перчатки шкипера. — Сними перчатку.

Шкипер снимает перчатку. Катя бросает ее к ногам лошади.

— Ты что? — спрашивает шкипер.

— Там клетка, а в клетке тигр. Дикое животное готово к борьбе. А ну, шкипер, лезь в клетку!

Лошадь добрыми глазами смотрит на перчатку, наступает на нее копытом, поворачивает голову к шкиперу и Кате. Шкипер поднимает перчатку, сравнивает ее с той, что на руке. Перчатка из-под копыт грязная.

— Смотри.

— Это можно исправить. — Катя снимает с руки шкипера перчатку и забрасывает ее подальше, за четвертую лошадь.

Шкипер возмущен, он собирается что-то сказать, но Катя останавливает его:

— Тебе так гораздо лучше.

— Я сам знаю, как мне лучше! Я их сам стирал!

— Больше этого не будет. Ты ничего не будешь стирать, а твои перчатки я все равно выкину. Пусть конная милиция ездит в белых перчатках.

4

Вечер, баржа плывет мимо набережной Парка культуры и отдыха им. Горького. Над парком медленно вертится колесо обозрения — каждая кабина украшена цветными лампочками. Вдоль набережной одновременно зажигаются фонари. Близко проходит белый речной трамвай, с его верхней палубы слышна музыка.

У борта баржи стоит ее команда. Люди смотрят на берег. Все одеты нарядней, чем в пути. Только матрос Павлик не сменил свою старую куртку и старые вельветовые брюки.

Из домика на корме выходит Катя. Она в белой кофточке и темной юбке, ее светлые волосы гладко расчесаны, вид у нее праздничный, она очень красивая и свежая. Все поворачиваются, чтобы посмотреть на нее. Все, кроме шкипера. Он упорно смотрит на колесо обозрения. Катя не подходит к нему, она кладет

Генерал Маликов

руку на плечо Павлика, и они вместе стоят у борта, смотрят на берег.

— Интересно, все интересно, — говорит Катя.

— Обыкновенно. А что ты меня обнимаешь?

— А почему мне тебя не обнимать?

— Я не шкипер. А ну, повернись и закрой глаза.

— Зачем?

— Поворачивайся.

Катя закрывает глаза и поворачивается, Павлик достает из кармана чешские стеклянные бусы и застегивает их на Катиную шею. Не открывая глаз, Катя поправляет бусы на груди, улыбается и, повернувшись, целует Павлика в подбородок — выше она не достает. Павлик очень смущен.

— Посмотри! — окликает Катя шкипера.

— Импортные? — спрашивает тот у Павлика.

— Не знаю. Купил, и все.

— Где ты купил? — спрашивает Катя.

— В Ярославле, у одного матроса. Он их с горя продал: ему невеста изменила. Он ее убить хотел, а потом передумал.

Шкипер незаметно дергает Павлика за рукав куртки.

— А потом еще раз передумал и все-таки убил, — закончил Павлик. — Нравятся бусы?

— Очень.

— Сними-ка, — приказывает шкипер.

— Зачем?

— Сними.

Катя снимает бусы, протягивает их шкиперу, и шкипер спокойно выбрасывает бусы за борт.

— Думаешь, это красиво? — говорит Катя. — Может, ты еще деньги начнешь жечь, как в кинофильме «Идиот»?

— Мне не нравятся эти стеклышки, — спокойно отвечает шкипер.

Катя смотрит на руки шкипера в белых перчатках, обходит его кругом:

— Если бы мы сейчас договорились выбросить за борт все, что нам не нравится, я бы выбросила тебя целиком, начиная от белой фуражки.

Она поворачивается, идет на нос баржи, садится на канатный ящик. Шкипер благодарно пожимает руку Павлика (смысл этого непонятого жеста раскроется в следующем эпизоде).

А пока баржа подплывает к Крымскому мосту, его высокие фермы обозначены лампочками, на мосту стоят люди, смотрят вниз. Баржа входит в тень под мостом.

5

Баржа стоит у Малого Каменного моста рядом с кинотеатром «Ударник». Через мост проходит прозрачный, светящийся троллейбус, над крышей дома горит большая синяя рыба, двигаются буквы. Буквы складываются в слова, слова — в рекламные лозунги о селедке, будильниках, выгодах социального страхования и пользе трехпроцентного займа, и о том, что каждый гражданин, уходя из помещения, обязан выключать электроприборы. Все это произносится вслух голосом Кати, без всякого выражения и необходимых пауз.

Катя стоит у борта баржи, на голове у нее косынка, лицо — невеселое. Она произносит последнюю рекламу, машет рукой, отворачивается, идет вдоль борта. На барже остались только лошади в трюме и несколько женщин, которые за ними ухаживают.

По набережной идет Павлик. Катя издали замечает его, обрадованно машет рукой. Павлик спускается по сходням на баржу. Катя:

- Почему так рано? Мы же утром уходим.
- Надоело одному шататься.
- Пошли бы вместе.
- Зачем?

Тетрадь Шпаликов

Они идут вдоль борта к корме — впереди Павлик, за ним Катя.

— Как зачем? Я же никогда не была в Москве!

— Москва как Москва. Третьяковская галерея, магазин «Детский мир», ресторан «Поплавок». Который год сюда плаваем. А где шкипер?

— Ушел.

— Тебя не взял?

— Не взял. А почему ты его тогда не стукнул?

— Нельзя бить начальника на службе.

— А на берегу можно?

— Такого ударишь. Он лошадь поднимает.

Павлик спускается по узкой лестнице. Катя ждет его. Он возвращается со свернутой постелью.

Катя:

— А ты разве не поднимешь лошадь?

— Слушай, что ты ко мне пристала? Что ты от меня хочешь? Чтобы я пошел поднимать лошадь?

— А ты поднимешь?

Павлик молча кладет постель на палубу, идет к трюму, спускается в него. Катя следует за ним. Павлик подходит к ближайшей лошади, подлезает под нее и, обхватив ее ноги, приподнимает. Он держит лошадь несколько секунд, осторожно опускает, молча выходит на палубу, разворачивает постель, раздевается, ложится, накрывшись одеялом. Катя садится рядом, смотрит на дома вдоль канала. В домах начинают гаснуть окна. Гаснут фонари набережной. Павлик лежит, отвернувшись от Кати. Катя осторожно трогает его рукой:

— Павлик, а он меня любит?

— Кто?

— Шкипер.

— Я у него не спрашивал.

— А куда он ушел?

— Откуда я знаю? Есть много разных мест.

— Павлик, а это очень страшные места?

Павлик смотрит на расстроенное Катино лицо, встает:

— Пойдем.

Павлик ведет Катю к домику шкипера, зажигает там свет, выдвигает ящик старого письменного стола. В ящике — коробка, наполненная чешскими украшениями из стекла.

Павлик:

— Понятно?

— Нет.

— Это его украшения для тебя.

— Ты украл у шкипера бусы?

— Все бы так крали. Шкипер дает мне это проклятое украшение, а я как бы дарю его тебе, а ему оно как бы не нравится, и он кидает его за борт. Мистификация.

— Что такое мистификация?

— А то, что он тебя любит под видом мести.

6

Шкипер идет арбатским переулком мимо старых двориков, одноэтажных домов с колоннами и мемориальными досками, мимо заборов, обклеенных афишами. В руке у шкипера шляпная коробка.

Шкипер входит во двор. Слева и справа поднимаются современные дома, а впереди, за деревьями, стоит старый пустой дом, который подлежит сносу. Сегодня жильцы переезжают из него. Они расположились во дворе с кроватями, зеркалами и прочей мебелью. Дом отключен от электрической сети, у него темные окна. Во дворе стоит чья-то «Волга» с зажженными фарами, чтобы всем было видно, кто где находится. Подъезжают грузовики, на них втаскивают мебель.

Во дворе шумно, на балконах соседних домов стоят люди, смотрят вниз. Шкипер спрашивает пробегающую девочку:

— Что это такое?

— Наш дом сносят.

Гекнадий Млаиков

— Зачем?

— Чтобы скверик устроить.

Девочка бежит дальше, а шкипер идет сквозь толпу.

Он будет спрашивать у разных людей, где найти Анну, и ему будут отвечать так:

— Не знаю, — скажет старый человек, сидящий в соломенном кресле у черного рояля, на котором парень неумело подбирает «Тишину».

— Не знаем, — скажут разными голосами девять одинаково одетых ребятишек на длинной скамейке.

— Не знаем, — скажут их родители, стоящие за ними.

А девушка и парень ему ничего не ответят. Они будут танцевать среди узлов под радиолу, которая бескорыстно выставлена в окне четвертого этажа соседнего дома.

— Кого? — переспросит старуха, сидящая в окружении пяти кошек и с кошкой на коленях у огромного комода с резными фигурами.

— Привет, — скажет парень в кедах, который будет медленно кататься на велосипеде между кроватями, зеркалами, и потом он добавит: — Анна еще в доме.

7

Шкипер заходит в темный подъезд, поднимается по лестнице мимо раскрытых настежь дверей.

На втором этаже человек свинчивает с двери медную табличку. Рядом стоит женщина и зажигает спички. Одна догорит, зажжет другую, а он все свинчивает. Навстречу шкиперу спускается человек с двумя манекенами под мышкой. Шкипер пропускает его и поднимается дальше.

Он заходит в большую квартиру, открывает дверь налево.

Темная комната. На подоконнике — манекен без головы. Он хорошо виден на светлом фоне окна. Посреди пустой комнаты на табуретке сидит Анна, молодая

женщина в свободном платье, — она беременна. Из окна доносятся голоса людей, музыка, шум машин.

— Забери манекен, и пошли, — говорит Анна, не поворачивая головы.

— Привет, Анна.

— Ты?

— Я.

Шкипер подходит к Анне, она встает. У нее милое, немного опухшее лицо, волосы собраны в пучок. Шкипер внимательно осматривает Анну:

— С прибавлением семейства?

— Спасибо.

Шкипер подходит к окну, берет манекен, возвращается в центр комнаты, где продолжает стоять Анна:

— Ну?

— Что?

— Год не виделись. Может, поцелуешь?

— Нет.

— Как хочешь.

Они молчат.

— Вот, переезжаем, — говорит Анна.

— Куда?

— На Ново-Подмосковную.

— Жалко?

— Нет. Там телефон, мусоропровод.

— А здесь был мусоропровод?

— Не было.

— Дом снесут?

— Снесут. А что у тебя в коробке?

— Шляпка. Хочешь, подарю?

Анна подносит к его лицу правую руку. Подносит как для поцелуя. На пальце блестит обручальное кольцо.

— Понятно?

— Понятно.

— Мне шляпку муж купит. Попрошу, и купит.

Шкипер ставит манекен на пол:

Тетрадь Шпаликов

— Что творится! У тебя муж, у меня невеста. Я невесте шляпку купил. Хочешь, покажу?

— А кто у тебя невеста?

— Девочка.

Анна (после паузы):

— Ну, пошли?

— Пошли.

Шкипер берет манекен, Анна табуретку, и они спускаются по лестнице. На лестнице темно, только этажом ниже вспыхивают и гаснут спички: там продолжают свинчивать с двери медную табличку.

Навстречу Анне и шкиперу бегом поднимается человек, свет его фонаря прыгает по стенам. Они встречаются.

Человек с фонарем:

— Аня, ты с ума сошла!

— Что случилось?

— Тебе же нельзя абсолютно ничего носить! Никаких предметов. Немедленно поставь табуретку! — Он берет у Анны табуретку. Шкиперу: — Спасибо вам, товарищ. Давайте манекен. Пошли, Аня. Не торопись, спокойно.

Они спускаются вниз, Анна освещает дорогу фонарем.

Шкипер стоит на площадке, пока лестница снова не становится темной.

8

Анна, ее муж (человек с фонарем) и Алеша сидят в кузове грузовика среди вещей. Грузовик выезжает из двора. Анна смотрит, как уходит за деревья старьй, темный дом.

9

Грузовик едет по вечерним улицам.

Шкипер следует за грузовиком в такси. Он сидит рядом с шофером и смотрит, не отрываясь, на Алешу.

Алеша сидит у самого борта, на коленях у него глиняный горшок с цветком. Алеше лет восемь.

Шофер такси заметил, что шкипер все время смотрит на мальчика.

— Я извиняюсь, конечно, но почему такие мотогонки? Этот парень у вас домашний лимон украл?

— Этот парень мой сын.

Грузовик то приближается почти вплотную к такси, то уходит далеко вперед и неожиданно сворачивает влево, едет через мост, но в кадре все время угол борта, белый номер и Алеша с домашним цветком на коленях.

10

Грузовик въезжает в большой вечерний двор, окруженный новыми домами. В центре двора расположен теннисный корт. Он хорошо освещен двумя прожекторами: белая сетка, площадка, размеченная белыми линиями, синий щит для начинающих и вокруг корта — тонкая решетка на высоких столбах. На площадке мужчина в белой рубашке и коротких брюках. Против него играют два мальчика. Они нападают, а он спокойно отбивается. Видно, что он играет лучше. До конца эпизода слышен стук мяча об ракетки.

Грузовик подъезжает к одному из подъездов. Начинают сгружать вещи.

Шкипер входит во двор. Садится на скамейку у теннисного корта. Смотрит сквозь две решетки корта на грузовик у подъезда. Кажется, что он внимательно следит за игрой, а на самом деле он смотрит на грузовик. Он подзывает девочку, что-то говорит ей, указывая на Алешу, девочка послушно кивает головой и убегает. Вскоре она возвращается вместе с Алешей. Стоит рядом, не уходит. Ждет, когда они начнут разговаривать.

— Иди отсюда, — отгоняет ее шкипер.

Девочка отходит, но недалеко. Стоит смотрит.

— Здравствуй, — говорит шкипер Алеше.

Гектадий Шпаликов

— Здравствуйте.

— Как живешь?

— Живу.

— Слушай, иди ко мне жить. Зачем ты сейчас матери? У нее будет ребенок. Понимаешь, это ее ребенок и его. А ты уже посторонний, тебе уже пора в приют, в дом сиротки. Ты хочешь жить в приюте?

— В интернате?

— Какая разница! Кем твой отчим работает?

— Он бухгалтер.

— Не очень весело. Ты тоже хочешь быть бухгалтером?

— Нет.

— Правильно. Ты будешь матросом. Сначала — баржа, а после, как говорится, весь мир у наших ног. Завтра утром мы уйдем отсюда. Свой новый адрес знаешь?

— Какой адрес?

— Адрес вот этого дома, номер квартиры.

— Забыл.

— Иди быстро посмотри и бегом назад.

— Теплые вещи брать?

— Никаких вещей. Завтра получишь форму.

— Маме сказать?

— Лучше мы ей потом скажем. Беги!

Шкипер смотрит сквозь решетку теннисного корта, как Алеша бежит к подъезду, пересекая двор. Он не возвращается довольно долго. Белый мяч туго отскакивает от ракеток. Мужчина спокойно ходит по своей половине, не торопясь бьет по мячу. Он совсем загонял ребят. Они прыгают по площадке, мечутся от сетки к задним линиям. Они отбиваются.

11

Почта. Девушка за столиком быстро подсчитывает буквы в телеграмме. Она читает текст подряд, без всякого выражения:

«Москва, Ново-Подмосковная, 2/5, кв. 7. Маховой А.Н. Я не хочу быть бухгалтером. Алеша».

— Пять девяносто, — говорит девушка и выписывает квитанцию.

Шкипер подает в окошко деньги. Алеша сидит на скамейке, разглядывая цветные плакаты гражданской авиации о стремительной перевозке почты в современных самолетах.

12

Алеша и шкипер едут в такси. Алеша показывает на шляпную коробку:

— Там шляпа?

— Откуда ты знаешь?

— У меня в такой коробке ежик живет. А зачем вам шляпа?

— Это подарок.

— Мы сейчас едем на день рождения?

— Нет, у нее уже был день рождения.

— Это у кого?

— А какая тебе разница?

— А что вы кричите?

— Слушай, называй меня на «ты». Мне так проще.

— Ладно. Ты капитан?

— Нет, я шкипер.

— Шкипер — это лоцман?

— Шкипер — это шкипер. Понятно?

— Нет.

— Капитан — это капитан, лоцман — это лоцман, боцман — это боцман, якорь — это якорь, шкипер — это шкипер, и ничего больше! Понятно?

— А что вы кричите?

— Опять «вы»!

— Что ты кричишь?

— Я не кричу, я тебе объясняю. Куда бы ты хотел поехать? Деньги у нас есть.

Гелладий Мпаликов

— Поехали обратно.

— Почему?

— Если ты все время будешь так кричать, у меня лопнут уши.

— Ты обиделся? Зря. У меня такой голос от работы. У бухгалтеров одни голоса, у шкиперов — другие. — Шкипер набрал воздуха в легкие и вдруг крикнул:

— Эй, на буксире! Малый вперед!

Шофер вздрогнул и резко затормозил.

13

Причал у Малого Каменного моста. Поздний вечер. Гаснут рекламы над крышами домов, гаснут фонари набережной. Громко бьют куранты Спасской башни. В ночном городе куранты слышны на самых дальних переулках, а здесь они рядом. Катя сидит на носу баржи, считая удары курантов.

Раз, два, три.

Всего двенадцать ударов. Полночь.

По широкому деревянному трапу на берег выводят лошадей. Их сопровождают женщины. Катя смотрит на лошадей. Рядом, зевая, стоит Павлик. Он накрыл плечи одеялом.

— Еще не вернулся? — спрашивает Павлик.

— Нет.

Лошади медленно сходят на берег.

— Я пошла.

— Куда?

— Искать.

— Где ты его найдешь?

— Не знаю. Где-нибудь.

— Ложись спать, он скоро придет.

— А я далеко не уйду. Я буду возвращаться сюда через каждый час и снова уходить, если его здесь не будет. — Катя сбегает на берег, оборачивается; у борта, отчаянно зевая, стоит Павлик. — Пусть он ждет меня!

— Слушаюсь.

14

Лошади идут мимо кинотеатра «Ударник», выходят на Каменный мост. Они идут спокойно и неторопливо, их никто не подгоняет, копыта звонко постукивают об асфальт. За мостом лошадей ведут вверх по улице, а Катя сворачивает к Александровскому саду.

Она идет вдоль невысокой ограды, а в саду на скамейках целуются, и у деревьев тоже целуются, и на встречу ей идет парень, обнимая девушку.

Катя поднимается на пустую Красную площадь, идет к Мавзолею. Она видит торжественную смену караула.

15

Катя спускается к Москве-реке, идет вдоль набережной, отворачиваясь от тех, кто целуется.

Катя медленно идет над рекой, внизу деревянная пристань, покачиваются лодки, река течет неслышно, она гладкая и темная, от нее прохладно.

Катя видит человека, сидящего на ступеньках у самой воды. Он что-то бросает в воду. Катя спускается ближе, и теперь она видит, что человек бросает в воду разобранные части пистолета. Это пожилой, крепкий мужчина в простой куртке и белой рубашке без галстука. Он выбросил последнюю часть пистолета и молча смотрит на воду. Катя садится рядом на ступеньку. Человек не сразу замечает ее.

— Вы кого-нибудь застрелили?

— Да.

— Я бы вас задержала, но ведь вы меня сразу утопите.

— Конечно, утоплю.

— Это вам не поможет. Нельзя утопить всех очевидцев. Все равно вас поймают.

— Не поймают. Я не оставляю после себя никаких следов.

Голосный Шляпиков

- Я сейчас кричать буду!
 - А что ты будешь кричать?
 - Что-нибудь!
 - Начинай.
 - Мама! — крикнула Катя, подумав.
 - А ну, еще.
 - Караул!
 - Прекрасно. Еще!
 - Никого вы не убили. Я вам не верю.
- Человек смотрит на Катю, встает:
- Пошли за мной.
 - Куда?
 - Здесь недалеко.
 - Думаете, я испугаюсь? Пошли!

Они выходят из переулка на площадь. На глухой, без окон, стене высокого дома укреплена огромная афиша о выступлении укротителя львов Степана Кирсанова. Проектора освещают лицо знаменитого укротителя и семь львов, сидящих на подставках.

Катя и человек в куртке стоят посреди пустой площади, смотрят на афишу. Укротитель с афиши и человек в куртке — это одно и то же лицо. Катя несколько раз переводит взгляд с афиши на своего знакомого:

— Неужели — это вы?

Кирсанов молча кланяется.

— Я вам верю, но мне никто не поверит. — Катя смотрит на афишу. — А правда, что Ирину Бугримову тигры съели?

— Клевета! У Бугримовой старые домашние тигры. Они молоко из блюдец пьют. А меня сегодня на репетиции один из этих людоедов чуть не прикончил.

Катя, показывая на афишу:

- Какой, с краю?
- Никакой. На афише они все одинаковые.
- Вы его убили?
- Понимаешь, не было другого выхода.
- Понимаю.

— Я никогда в них раньше не стрелял.

— Сколько у вас за него денег вычтут — кошмар!
Года три платить будете.

— Сколько бы ты с меня вычла?

— Откуда я знаю, сколько стоит один лев! Но сейчас это неважно. Хотите, я вам посоветую, где достать деньги?

— Конечно!

— Вы просыпаетесь завтра утром и начинаете обходить город. Не пропускайте ни одного дома! Вот первый этаж, дверь налево, дверь направо. Вы идете налево. Стучитесь.

— Граждане, я убил очень дорогого государственного льва. Подайте несчастному укротителю!

— Не смейтесь! Вам посочувствуют, вас поймут — это же Москва! Семь миллионов жителей — семь миллионов рублей!

— Начинать с утра?

— Конечно! Жаль, что я уезжаю, пошли бы вместе.

— Куда ты уезжаешь?

— Домой, на Оку. Вы и не слышали о нашем городе.

К нам только цирк «шапито» летом приезжает.

Они стоят вдвоем на пустой площади, Кирсанов, улыбаясь, смотрит на Катю, один раз бьют куранты.

— Я опаздываю, мне нужно идти, — спохватывается Катя.

— Прощай.

Катя идет через площадь к переулку.

Кирсанов смотрит ей вслед, поворачивается, делает несколько шагов. Останавливается.

— Подожди! — Кирсанов тяжело бежит через площадь. — Ты утром уезжаешь?

— Утром.

— Давай рубль — ты будешь первая.

Катя протягивает Кирсанову рубль.

— Первый из семи миллионов. Подпиши на счастье.

— А что написать?

— Как тебя зовут?

Геннадий Шпалников

— Катя.

— Вот и напиши: Катя. Больше ничего не надо.

Катя пишет в уголке рубля свое имя.

16

Последний сеанс в кинотеатре. Как всегда, на таких сеансах мало пожилых людей. Пожилые люди любят ходить в кино утром, а сейчас зал полон молодежи.

Шкипер и Алеша сидят на балконе. Вокруг целуются, тихо разговаривают и лишь изредка посматривают на экран. Шкипер тоже мало смотрит на экран. Рядом спит Алеша.

Звучат последние диалоги, громкая музыка финала картины, вспыхивает свет, и люди начинают тесниться к дверям. С балкона видно, как пустеют ряды. В центре зала остается сидеть человек. Он уснул, его будят.

Шкипер будит Алешу, и они выходят на улицу.

17

Некоторое время они идут молча. Алеша поеживается от ночного ветра, поднимает воротник курточки, зевает:

— Мы идем на баржу?

— Почему тебе все время хочется на баржу?

— Мне спать хочется.

— Тебе все время что-нибудь хочется. Куда бы нам еще пойти?

— Больше нет никаких сеансов.

Снова они идут молча: впереди шкипер, за ним Алеша. Если бы шкипер думал вслух, мы бы услышали в такт его шагам много не очень складных слов. Вот что он сейчас думает:

«Больше никаких сеансов нет. Какие еще могут быть сеансы?! Куда я теперь с ним пойду? Здравствуй, Катя,

добрый вечер. А я тебе сына привел, вот какие новости. Надо же быть таким дураком, надо же. Нашел время для благородных поступков. А теперь все. Какие могут быть разговоры? Конечно, она уйдет. Представляю, если бы она привела мне такого парня. Представляю, как бы я обрадовался. Ничего себе свадебный подарок — шляпка, а в шляпке сынок восьми лет!»

Шкипер с ненавистью посмотрел на шляпную коробку и на ходу вмял ее в урну.

Он обернулся. Алеши рядом не было: он сидел на тротуаре в десяти шагах от шкипера.

— Что случилось?

— Шнурок развязался.

В тишине два раза пробили Кремлевские куранты. Два часа ночи. Алеша бежит к шкиперу.

18

Два раза бьют куранты. Катя идет переулками. На мостовой переговариваются в открытых люках два водопроводчика.

Катя входит в переулок, где стоят пустые, темные троллейбусы с опущенными дугами и открытыми дверями. Еще издали Катя слышит, что в одном из этих троллейбусов кто-то тихо играет на аккордеоне. Она идет мимо прозрачных троллейбусов. Где-то впереди играет аккордеон. Она находит этот троллейбус.

Там сидят солдаты. Некоторые из них спят в удобных креслах, кто-то ест, один солдат играет на аккордеоне. Это демобилизованные солдаты.

— Здесь разрешается ходить? Вы не караул? — спрашивает Катя.

— Мы — засада, — отвечает один.

— А почему они в засаде спят? — Она смотрит на спящих солдат.

— Сейчас разбудим. Рота, подъем, тревога!

Геннадий Шпалков

Спящие начинают быстро вскакивать.

— Что ты кричишь?

— Ничего, ложись спать. Уже отбой.

Солдат снова ложится.

— Хорошо в троллейбусе ночевать? — спрашивает у них Катя.

— Мы на одну ночь в Москве и решили посмотреть город до утра. — Солдат, уже другой, кивает на спящих: — А у этих ног не хватило.

— И я тоже загулялась. Никак не могу выйти к «Ударнику». Хоть на крышу лезь.

— Могу проводить, — быстро вызвался тот, первый солдат.

— Я знаю самый короткий путь, — похвалился второй.

— А я самый красивый, — вступился третий, — мимо всех исторических памятников. На каждом доме — мемориальная доска. Двадцать пять мемориальных досок.

— Спасибо, — улыбнулась Катя. — Мне можно без досок, но покороче.

— Два переулка, три поворота. Пошли, — скомандовал еще один солдат.

Катя и восемь солдат, в их числе — солдат с аккордеоном, идут по ночным улицам.

— Хорошо бы сейчас на меня кто-нибудь напал. Вот была бы драка! — вслух подумала Катя.

— Не надейся, драки не будет. Когда хочешь подражаться, никогда не бывает драк, — констатировал первый солдат.

— Я до армии с одной девушкой гулял, и к нам все время приставали. А потом я начал заниматься боксом — и тут все кончилось, хотя никто не знал, что я боксер, — посетовал второй.

— У меня жених тоже боксер, и к нам никто не пристаёт, — похвасталась Катя.

— Ты уже невеста? — протянул третий солдат.

— Две недели. А что?

— А долго он за тобой ухаживал?

— Две недели.

— У меня такое впечатление, что пока мы три года служили, все хорошие девушки стали невестами.

— Это только кажется. Вы себе даже не представляете, сколько осталось невест. Я считаю, что каждый из вас в принципе может жениться на любой девушке мира. — Все примолкли. — Ребята, а где «Ударник»? Мы идем, идем, а его все нет.

— Уже немного осталось, — успокоил ее первый.

— Два переулка, три поворота, — вновь повторил четвертый.

...Снова идут по улицам Катя и восемь солдат, и один из них тихо играет на аккордеоне.

Они заходят в переулок, где стоят троллейбусы. Это тот самый переулок, откуда они начали свой путь к «Ударнику».

— Ребята, мы сделали круг! Это вы нарочно? — догадалась Катя.

— Где я видел эти троллейбусы? — изумился первый.

— Я не виноват. Я первый раз в Москве, — оправдывался второй.

— А кто предлагал самый короткий путь? — уличал первый.

— Только не я. Это он предлагал, — отбивался второй. — А я ничего не обещал. Может, найдем этот «Ударник», а может, и не найдем. Я хотел с девушкой погулять, — честно признался «Три поворота».

Из окна троллейбуса появляется заспанное лицо солдата:

— Что раскричались? Девушка, зачем вы им поверили, они первый раз в Москве. А «Ударник» здесь рядом — идите по этому переулку до конца.

Катя и восемь солдат стоят на Каменном мосту недалеко от «Ударника».

— Дальше не идите, дальше я сама, — говорит Катя. — Если кто случайно попадет в Муром, увидимся.

Теладий Шпашиков

— Приезжайте к нам в Самарканд, — приглашает «Три поворота». — Я вам ослика подарю. В Самарканде ослик стоит три рубля.

— Зачем ей ослик? — удивляется первый.

— Будем верхом ездить, тяжести возить. Ослик никогда не помешает.

Катя спускается по мосту к причалу. Солдаты смотрят ей вслед. Парень играет на аккордеоне «Свадебный марш» Мендельсона, и это похоже на орган. Три раза бьют куранты.

19

Три раза бьют куранты. Скамейка в сквере у набережной. На скамейке, накрытый пиджаком, спит Алеша. Шкипер сидит рядом, курит. Не докурив, выбрасывает сигарету, осторожно снимает с Алеши пиджак. Алеша поворачивается во сне, прижимает колени к животу. Шкипер снова накрывает его пиджаком, садится рядом.

20

Катя идет по улице. За ней медленно едет открытая «Победа». Машину ведет пожилой человек в полосатой рубашке. На заднем сиденье — большая собака.

— Вас подвезти, девушка?

— У меня нет денег.

— А я не такси.

— Не такси? Тогда проезжайте! Вы меня за кого принимаете? «Вас подвезти, девушка? Ах, садитесь, пожалуйста!» Ничего у вас не получится. Понятно? Можете всю ночь катать вашу собаку!

Собака, приподнявшись, смотрит на Катю.

— Что смотришь? — говорит Катя собаке. — Думаешь, я боюсь? У меня все прививки сделаны!

Шофер смеется.

— Перестаньте смеяться! Это я должна над вами смеяться!

Шофер поворачивается к собаке:

— Скажи ей, что заблуждается. Я тебя очень прошу. И собака, не спуская глаз с Кати, неожиданно залаяла. Теперь смеется Катя.

И вот уже они едут ночными улицами. Катя сидит рядом с шофером.

— Куда вас отвезти?

— Никуда.

— Никуда?

— Никуда. Смешно сказать: от меня сбежал мой жених, а я его ищу. Может, бросить это дело?

— Конечно, бросить.

— Вы так считаете?

— А вы как считаете?

— Я тоже так считаю, но все равно не брошу. Я не могу его ждать всю ночь. Сидеть и ждать, как Ярославна князя Игоря.

Машина медленно едет по пустым улицам. В Москве светлеет. Рабочий чистит циферблат огромных часов на высоте восьмого этажа. Он стоит рядом с минутной стрелкой, и стрелка раз в пять больше него.

Катя стоит на сиденье, смотрит по сторонам. У подъездов спят дворники в белых фартуках, ярко освещены витрины ювелирных магазинов, идут редкие прохожие, двое целуются под высокой аркой, и еще двое у забора, и еще двое целуются на ходу.

Шофер смотрит на часы перед собой. Время — половина четвертого.

— Садитесь. Теперь мы поедем быстрее.

— Куда?

— Через пятнадцать минут у меня свидание.

— Мне сойти?

— Нет. Мы недолго.

Машина быстро едет по улицам, сворачивает в переулок, выходящий на Садовое кольцо, и останавливается в

Гелладий Шпаликов

этом переулке так, чтобы кольцо было видно в обе стороны. Катя и шофер сидят молча. Никого вокруг нет.

Катя:

— Она опаздывает?

— Немного.

— Она тоже на машине?

— Да.

— А я в школе права получила. Нам выдавали все вместе аттестат и права... Вы сейчас, наверно, волнуетесь? Мне лучше помолчать?

— Нет, говори что-нибудь.

— Она красивая?

— Сейчас увидишь.

— Раньше я тоже хотела быть красивой. Такой красивой, чтобы из-за меня кто-нибудь даже застрелился. Но все это глупости.

— Да, глупости.

Шофер, не отрываясь, смотрит влево. По Садовому кольцу едет огромный светло-серебряный самолет. Он без крыльев, его везет тягач.

Шофер выезжает навстречу самолету. Когда они поравнялись, шофер развернулся и поехал рядом с самолетом. Его фюзеляж высоко поднят над землей, и машина рядом с ним кажется очень маленькой.

— Нравится? — спрашивает он Катю.

— Да! Это ваш?

— И мой тоже — я на нем летал.

Шофер нажимает сигнал, и в фюзеляже открывается широкая дверь. Несколько рабочих в кепках и беретах сразу узнают шофера, они машут руками, кричат, перебывая друг друга:

— Привет, Андрей Андреич!

— Вот жизнь у вас — по ночам с девушками катаетесь!

— Поехали с нами!

— Вы куда, ребята? — спрашивает их шофер.

— В Шереметьево. Завтра полетит.

— Он вас помнит, — похлопывает рабочий по обшивке самолета. — Пожелайте ему чего-нибудь.

— Ребята, возьмите меня с собой в Шереметьево. Я после на электричке вернусь.

— Зачем на электричке? Поехали рядом — вы на машине, а мы в самолете.

— Ребята, возьмите меня в самолет.

— Конечно, возьмем. Останавливай тягач, Андрей Андреевич.

Шофер обгоняет самолет, он едет вдоль его длинного безупречного фюзеляжа, машет рукой водителю тягача. Водитель здоровается с ним и останавливает тягач.

— Ты доведешь машину? — спрашивает шофер Катю.

— Куда? Я совсем не знаю Москвы!

Шофер достает с заднего сиденья легкие алюминиевые костыли, открывая дверь, сходит на асфальт. Он зовет собаку, и собака прыгает через борт машины. Шофер гладит ее и легко подталкивает вперед:

— Домой, Дик, пошел домой!

Собака послушно, не оглядываясь, побежала по Садовому кольцу.

Шофер Кате:

— Разворачивайся и правь за собакой. Она бежит медленно, как раз для шофера-любителя. Приведет прямо к дому. Не забудь закрыть машину. Спасибо.

Опираясь на костыли, шофер идет к самолету. Из дверцы спустили стальную лесенку. Шофер подает в дверцу костыли, подтягивается, его подхватывают сильные руки, и вот он в самолете, и уже закрыли дверь, и тягач плавно тронулся с места. Мимо Кати проходит фюзеляж, прямые крылья хвостового оперения, бортовой номер.

Собака остановилась и тоже смотрит на самолет.

21

Четыре раза бьют куранты. Катя едет по светлеющим улицам. Впереди машины бежит собака. Дворники

Геннадий Шпаликов

перестают подметать и смотрят на машину, которая так упорно догоняет собаку.

Катя едет мимо Патриарших прудов. Сворачивает в переулочек. Неожиданно перед машиной падает чемодан. Катя тормозит и поднимает голову.

На карнизе третьего этажа, ухватившись за пожарную лестницу, стоит девушка в белом плаще и смотрит вниз. Девушка в очках и в белой шляпке.

— Умоляю вас, подождите!

Девушка неловко спускается по пожарной лестнице. Лестница кончилась в двух с половиной метрах от земли, девушка висит на последней перекладине, не решаясь спрыгнуть.

— Здесь не очень высоко?

— Прыгайте.

— Не могу.

Сказав это, она разжимает руки и, пролетев полметра, становится на асфальт. Затем она смотрит вверх, складывает два пальца и пробует свистнуть, но у нее ничего не получается.

— Я все правильно делаю?

— Давайте я свистну.

Катя свистит, и тут же из окна третьего этажа появляется виолончель. Ее начинают медленно спускать на веревке. Девушка принимает виолончель, конец веревки падает к ее ногам. Из окна вылезает большой крепкий парень, легко спускается по пожарной лестнице, спрыгивает на асфальт. Не спрашивая разрешения Кати, он кладет чемодан и виолончель в «Победу», садится рядом с Катей. Девушка не решается сесть в машину. К ней подходит собака.

— Что ты стоишь? Садись, — торопит девушку парень. — У нас осталось два часа. — Он оборачивается к Кате: — Это ваша собака? Вы тоже в оркестре играете?

— В каком оркестре?

— В «Балчуге».

— Саша, это случайная машина! — волнуется подруга. — Я не знаю эту девушку!

Парень впервые внимательно посмотрел на Катю:

— У меня нет времени извиняться. Простите. Вы довезете нас до Внукова?

— Это не моя машина.

Собака ходит вокруг девушки.

— Понимаю. Мы похожи на воров, на похитителей виолончели.

Катя смотрит на девушку в панамке:

— Нет, не похожи.

Девушка показывает на виолончель:

— Это мой инструмент. Я только что убежала из дома.

— Ты еще не убежала. Тебя сейчас видно из ваших окон. — Спрашивает Катю: — Мы едем или мне вытаскивать вещи?

— Вы машину водите?

22

...Машина едет по городу. Парень сидит за рулем. Рядом с ним — собака. На заднем сиденье — Катя и девушка. Они тихо и доверительно разговаривают.

— Ты к нему убежала? — спрашивает Катя.

— К нему.

— А зачем по пожарной лестнице?

Парень, не поворачивая головы, отвечает за подругу:

— А ее от меня родители на ключ запирали. Три года я приезжал, и три года они запирали.

— Они считают, что я должна жить в центре музыкальной культуры.

— Ну да, в «Балчуге».

— Что такое «Балчуг»? — спрашивает Катя.

— Ресторан второго разряда. Раньше там ломовые извозчики гуляли, а теперь она там на виолончели играет.

— Музыкантам очень сложно устроиться в Москве, — сетует девушка.

Геннадий Шпаликов

— Бедные музыканты, — поддакивает парень.

— А сегодня мы летим в Новосибирск.

— Зачем? — удивляется Катя.

— Жить, работать, в опере играть! — радуется он. —

Я, конечно, в опере только зритель, и вообще у меня слуха нет, а она будет там играть, а я буду хвастать — моя жена в опере играет!

Машина выезжает из города на пустое утреннее шоссе.

Пять раз бьют куранты.

23

Пять раз бьют куранты.

Скамейка на набережной. Шкипер и Алеша. Алеша спит, накрытый пиджаком. Шкипер встает и, не оборачиваясь, уходит. Сначала он идет спокойно, затем быстрым шагом, и наконец он бежит по совершенно пустой набережной.

Навстречу ему идет человек с цилиндром за спиной и трубкой. Он опрыскивает деревья.

24

Машина несется по шоссе в сторону Москвы. За рулем — Катя. Машина въезжает в город. Катя сворачивает в один из переулков, выходит из машины и выпускает собаку:

— Дик, домой! Ты слышишь, домой!

Собака внимательно смотрит на Катю.

— Я же не знаю, где вы живете! У меня нет времени тебя упрашивать. Иди домой!

Собака махнула хвостом и побежала вперед. Катя поехала за ней.

25

Куранты бьют шесть раз.

По улицам едет первый троллейбус, идут первые прохожие.

Идут почтальоны.

Идут солдаты, которые ночевали в троллейбусе.

Шкипер приходит на баржу. Павлик уже встал. Он делает зарядку под радио. Шкипер ходит по барже:

— Катя давно ушла?

Павлик продолжает делать зарядку:

— В полночь.

26

Собака приводит Катю к небольшому трехэтажному дому. Сама находит нужный подъезд. Катя отдает ключ от машины лифтерше, выбегает на улицу.

Катя бежит по улице. Остановка троллейбуса. Катя выворачивает карманы — у нее ни копейки. Троллейбус уезжает. Катя снова бежит мимо расклейщиков афиш, молочницы и человека, который гуляет с собакой.

27

К барже подходит буксир. Павлик укрепляет на носу трос, и шкипер, босой, в простых брюках и без майки, помогает ему. На баржу по трапу поднимаются женщины. Куранты бьют семь раз.

28

Катя бежит по улице, у нее соскакивает туфель, она останавливается и, тяжело дыша, прислоняется к фонарному столбу. Рядом с ней тормозит парень на велосипеде. Видно, что он едет с работы.

Геннадий Шпалков

— Я за тобой две остановки ехал. Здорово бегаешь. Катя не обращает на него никакого внимания — она слишком устала.

— Может, тебя подвезти?

Велосипед едет по улице. Катя сидит на раме впереди парня.

29

Баржа отходит от причала. Шкипер и Павлик стоят на корме, смотрят на берег. Кати нет. Шкипер поворачивается и уходит в дом. Павлик садится на палубу, закуривает.

Баржа медленно идет по каналу к Москве-реке.

30

Катя подъезжает на велосипеде к причалу. Баржи нет. Катя хочет сойти, но парень удерживает ее, и вот уже они мчатся по набережной.

У Крымского моста догоняют баржу, едут рядом по набережной. Первым замечает Катю Павлик. Он весело прыгает на корме, зовет шкипера. Шкипер бежит на нос баржи, чтобы остановить буксир.

Трос, соединяющий баржу и буксир, дрогнул и тяжело обвис в воде.

Баржа остановилась.

Катя целует велосипедиста и с ходу, не задерживаясь, прыгает в реку. Она плывет к барже, влезает в лодку, подтягивается на деревянном киле и поднимается на палубу. Трос дернулся и потащил баржу за буксиром.

Велосипедист смотрит с набережной на уплывающую баржу. На корме шкипер обнимает Катю. Восемь раз бьют куранты.

Март 1960 г.

«ДЕВОЧКА НАДЯ, ЧЕГО ТЕБЕ НАДО?»

Май уже в середине, а прохладно, особенно по вечерам. Белые в мае вечера, тревожные, и каждый похож на праздник или ожидание его.

Волга к вечеру желтая, темная, синяя. От близости ее, от преобладания надо всем, поскольку она здесь главная улица, воздух легкий, речной.

Отчаливает теплоход под марш «Прощание славянки», окошки на палубах желто светятся, с палуб машут руками неизвестно кому, платья в сумерках ярко белеют.

А музыка эта вечерняя, и оркестр из городского парка, и слова, возгласы — все отчетливо, отдельно слышно.

Как позже — всплеск рыбы на темной тихой воде.

Надя Смолина пожалела, что вышла из дома без кофты, в платье с короткими рукавами. Но возвращаться, как известно, не к добру, и она медленно спускалась по своей зеленой и наклонной слегка улице к Волге, где около новой гостиницы ее должна была ожидать машина.

Вышла Надя задолго до назначенного времени. Как на свидание — на этой простой мысли она себя поймала, вышагивая в сторону заката. Сумочка в руке, замшевая, покачивается. Платье, только что отглаженное, теплое еще от утюга, воротник свежий, белый. Легкость во всем.

Снизу, от реки, приближалась к ней, занимая неширокий тротуар, очень знакомая компания: Слава Малышев, с ним Лиза и еще двое ребят. Тех она знала меньше. Но видела этой весной почти каждый вечер. Долговязые,

Талантливый Шлапиков

длинноволосые, в узких расклешенных брюках с разрезами, в ярких прозрачных куртках. В общем, довольно приятные ребята, похожие на солистов какого-нибудь конкурса «Алло, мы ищем таланты». Но была у них особенность в одежде, уже цирковая, что ли, — лампочки в разрезах брюк светились. Разноцветные, мелкие и яркости небольшой. Ничего подобного Надя не видела. Она даже приостановилась.

Слава негромко играл на гитаре, перевешенной через плечо. Лиза, высокая, длинноногая, в такой же короткой оранжевой куртке, прижималась к нему очень независимо — тем более что Надю она уже успела увидеть.

У Нади был к Лизе свой, особый разговор, но она решила его отложить пока что. Уж очень независимый и оттого еще более беззащитный вид был у Лизы.

— Славка! — весело спросила Надя. — Что это у вас за иллюминация на штанах?

— Простейшее устройство, Надежда Тимофеевна! — охотно и так же весело отвечал Слава. — Но каков эффект?

— Сам придумал? — Надя все глядела на эти мелкие разноцветные лампочки.

— Патента, конечно, нет, — говорил Слава. — Мысль, как говорится, витала в воздухе. Вот, смотрите, — Он достал из кармана две плоские коробочки. — Работает от батареек!

— Ловко, — сказала Надя.

— А кто она такая? — кивнул на Надю один из ребят. — Чего-то я ее, Слава, не помню.

— Ребята, пошли, — нервно сказала Лиза. — Пошли!

— Надежда Тимофеевна, — Слава кивнул на ребят, — вы на них не обращайтесь решительно никакого внимания... Они ребята, — Слава ударил по струнам, — они ребята — семидесятой широты... Семидесятой широты...

— Ребята, — предложила вдруг Надя, — проводите меня до набережной, если у вас, конечно, никаких спешных дел нет.

— Какие наши дела? Пожалуйста! — сразу же согласился Слава.

Лиза раздраженно взглянула на него, но тоже повернулась — пошли все вниз по улице.

— А что это у вас, Надежда Тимофеевна, вид такой загадочный? — спрашивал Славка.

— Да как тебе сказать... — Надя улыбнулась.

— Свидание? — уверенно предположил Славка.

— Слава, прекрати! — вмешалась Лиза.

— А что тут такого? — удивился Слава. — Не понимаю. Ну, свидание. Надежда Тимофеевна, хотя и замужняя, но еще вполне молодая женщина. Правильно я говорю, ребята?

Ребята с готовностью еще раз оглядели Надю и никаких сомнений Славкиным словам не выразили.

— Спасибо, Слава, — сказала Надя весело.

— Пустяки. Вы лучше скажите, что вам сыграть для настроения?

— Для настроения? — спросила Надя. — «Самара-городок» знаешь?

— «Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня...» — пропел Слава. — А дальше?

— Не помню, — сказала Надя и улыбнулась.

— Это надо бы у Розы Баглановой спросить! — вздохнул Славка.

— А кто такая Роза Багланова? — оживился один из ребят.

— То же самое, что Ирина Бугримова, — сказал Слава, — только она пела... Темные вы, ребята, а мы с Надеждой Тимофеевной старые...

— А говорят, Бугримову львы съели, — сказал один из ребят.

— Нет, тигры, — поправил его второй. — Тигры!

— Ну вот, — сказала Надя. — Верите всякой ерунде. Ничего они не съели, тигры.

— Отсутствие информации порождает слухи, — сказал Слава, наигрывая на гитаре, — Это вам, Надежда

Геннадий Шпалков

Тимофеевна, как нашему депутату надо хорошо запомнить... Двумя ногами ходят слухи... У меня вообще к вам есть ряд вопросов...

— Славка, брось! — одернула его Лиза.

— Что значит — брось? — возмутился Слава. — Можно, Надежда Тимофеевна?

— Валяй, — разрешила Надя. — Слушаю тебя.

— На мою избирательную бюллетень вы можете безусловно рассчитывать, — сказал Слава. — Но есть ряд вопросов...

— А почему ты, как мой избиратель, шляешься тут, а не спешишь сейчас на встречу со мной? — спросила Надя.

— А мы разве с вами уже не встретились? — удивился Слава. — А Лизавета и эти супермены как несовершеннолетние права голоса не имеют, но пусть послушают...

— Это они — несовершеннолетние? — не поверила Надя. — Сколько же вам лет, ребята?

— Мне шестнадцать, — сказал один, а второй независимо промолчал.

— Акселерация, — объяснил Слава. — Дети научно-технической революции... Вы, ребята не обижайтесь.

— Так о чем же ты хотел меня спросить? — повторила Надя.

— Сразу необразишь... — усмехнулся Слава. — Надо еще свыкнуться: как же, член правительства на нашей улице живет! Хотя, безусловно, вас теперь из нашего захолустного района переселят...

— Ты так считаешь? — спросила Надя.

— А вы — нет?.. Вообще у вас теперь вся жизнь резко переменится... Может, вы сейчас в последний раз пешком идете... Я, между прочим, совершенно серьезно говорю... А вообще — смешно...

— Что — смешно? — спросила Надя.

— Да так... — улыбнулся Слава. — Первый раз точно знаю, за кого голосую...

— Как так? — не поняла Надя.

— А что тут удивительного? — сказал Славка. — Я в прошлый раз голосовал и даже понятия не имел, за кого... Так, посмотрел на фотокарточку — на заборе висела, — вроде парень ничего... Сорок пятого года рождения... А в общем, какая разница?

— Ты считаешь — никакой? — спросила Надя.

— А вы как считаете?

— Я считаю, разница есть.

— Ну и считайте, — спокойно согласился Славка, — считайте, что есть... А нам все равно, а нам все равно!.. — ударил он по струнам. — Мы волшебную косим трин-траву...

— Ты об этом хотел меня спросить? — остановила его Надя. — Об этом?

Лиза и ребята настороженно молчали.

— Вы о чем? — Слава спокойно посмотрел на нее. — Пустяки все это, Надежда Тимофеевна. Суета сует. Я же вам сказал: на мою бюллетень вы можете абсолютно рассчитывать. А я — голос массы... народа, населения.

— Не хочешь говорить... Ладно... — Надя провела ладонью по лицу. — Твое дело... Тогда у меня к тебе всего один вопрос.

— Пожалуйста, — разрешил Слава. — Только без политики.

— Без политики, — успокоила Надя. — Чего ты каждый вечер пьешь?

— Как чего? — удивился Слава. — Портвейн розовый.

— Это с Лизой? — спросила Надя.

— Она тут ни при чем! — возразил Слава. — Лиза, а ну дыхни на Надежду Тимофеевну!

— Отстань! — зло сказала Лиза.

— Она же только березовый сок пьет, — пояснил Славка. — Любимый напиток Сергея Есенина. Этот сок у нас тут в трехлитровых банках продают... Вот, кстати, интересный вопрос: сколько же надо погубить берез на

Телладий Младиков

одну трехлитровую банку сока? Куда смотрит охрана внешней среды?

— Веселый ты парень, Славка... — сказала Надя.

— Чисто внешнее впечатление...

— Может быть... — Надя помолчала. — Сам пьешь — тебе хуже. Да и не в этом дело... А Лизу за собой не таскай! Понял? Это я тебе серьезно говорю.

— А кто ее таскает? — Славка впервые вышел из себя. — Я тебя таскаю? — обратился он к Лизе.

— Пошли! — Лиза дернула его за рукав, быстро взглянула на Надю. — Никто меня не таскает!

— Передай отцу, завтра я после работы зайду, — сказала ей Надя, чего не хотела говорить. — Часов в семь.

— А его дома не будет! — резко ответила Лиза.

— Ты, главное, передай, — сказала Надя. — Спасибо, ребята, за музыку.

Она пошла вниз к набережной. Знала, что смотрят ей вслед и что-то говорят. Вот интересно — что?

«Волга» неслась по вечерним улицам. В машине их было четверо. Рядом с шофером сидел сравнительно молодой человек (представитель обкома), позади него — Надя и Григорий Матвеевич (доверенное лицо депутата, начальник цеха, где работала Надя, лет пятидесяти, в темном костюме, белой рубашке и даже при ордене Трудового Красного Знамени).

Если молодой человек, сидевший рядом с шофером, был невозмутим, то Григорий Матвеевич был настроен нервно и состояния своего не скрывал.

Надя растерянно смотрела в окно: улица, толпа вечерняя, огни.

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Ты построже не могла одеться?

Н а д я. А что, форму специальную ввели на кандидатов в депутаты?

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Форму — не форму! Я тоже орден не каждый день вешаю!

Н а д я. Пожалуйста! Могу парашютный значок привинтить. Может, вернемся?

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Ладно уж!

Н а д я. Дядя Гриша, да что с тобой? Чего ты волнуешься? У нас, слава богу, не Америка. Раз выдвигали — выберут. А не выберут — тоже ничего страшного.

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Что ты мелешь? (К представителю обкома): Что она несет? При чем тут Америка! Ты лучше подумай, что людям говорить будешь.

Н а д я. Что в голову придет, то и скажу!

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Ты меня не пугай, Надежда! Я тебя знаю!

Н а д я. Что, может быть репетицию проведем? Я знаю, что мне говорить!

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Понятно, что без бумажки. Это хорошо. Народ уже не любит, когда по бумажке.

Н а д я. Дядя Гриша! Уймись! Я же тебе пояснила: не в Америке — поймут!

Н и к о л а е в (из обкома). Мы предварительно все с Надеждой Тимофеевной обговорили.

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Главное — держись в рамках.

Н а д я. Я сама знаю, как мне держаться! И вообще, дядя Гриша, что ты суетишься? Кого выдвигают? Тебя или меня?

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Меня никуда не выдвигают! Но и ты не заносись! Знай свое место!

Н а д я. Это перед кем мне свое место знать? Перед тобой, что ли, дядя Гриша?

Г р и г о р и й М а т в е е в и ч. Не передо мной! И повыше люди есть!

Н а д я. Конечно, есть. Все выше, и выше, и выше... Способ старый. Чуть что: сразу на кого-то на небесах ссылаться.

Теплый Маликов

Григорий Матвеевич. Сама знаешь, что я имею в виду!

Надя. Ничего я не знаю!

Николаев (из обкома). Ну, товарищи... Надежда Тимофеевна все прекрасно понимает...

Григорий Матвеевич. Я тебе только добра желаю. Не лезь. Не командуй. Ты еще почти что никто. Если уж откровенно, были большие колебания — зная твой характер, выдвигать тебя или воздержаться!

Надя. Где же это были колебания? Опять — там?

Григорий Матвеевич. И там тоже! И с нами, на заводе, тоже советовались! Не зарывайся, Надежда! Не бери на себя слишком много!

Надя. Сколько люди скажут, столько и возьму! Не больше и не меньше. А ты, дядя Гриша, кто, между прочим? Мое доверенное лицо. Доверенное — значит, я тебе доверяю. А ты — мне. А ты ведешь себя, прости за выражение, как баба! Ну, чего ты меня пугаешь? Да что с тобой?

Григорий Матвеевич. Я за тебя отвечаю! Тебе люди такую честь оказали!

Надя. Вот именно — честь! (Шоферу): Машину остановите.

«Волга» резко затормозила.

Григорий Матвеевич. Ты что?

Надя. Не могу. Я от таких разговоров тупею, понимаешь? Тоска на меня нападает... Я лучше пройдусь... Тут недалеко. Я не знала в точности, что я буду сегодня говорить, а теперь, спасибо, надоумили!..

Надя вышла из машины.

Григорий Матвеевич. Нервничает... Но понять ее можно. Вы уж строго не судите.

Николаев. Григорий Матвеевич, а она права. Нельзя так. И вы все-таки возьмите себя в руки.

Григорий Матвеевич. Она права! Вы правы! Но я же ее десять лет знаю! Я не за себя, я за нее боюсь! Характер у нее... Да что уж там говорить!..

Надя шла к клубу «Чайка» в толпе. Фасад был ярко освещен. Издали она смотрела на свой, как ей показалось, не очень похожий портрет, укрепленный на высоком фанерном щите.

В направленном свете прожекторов прочитывалась надпись: «Сегодня состоится встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Смолиной Н.Т. — токарем авиационного завода».

А портрет все-таки не похож, подумала она, еще раз взглянув на фанерный щит. Метра три будет — прямо на демонстрацию неси. Смешно. И эта твердость во взгляде — кто же это нарисовал?

Она шла среди множества знакомых и незнакомых людей. Ее узнавали или совершенно не обращали на нее никакого внимания, занятые своими делами, разговорами. Было желание повернуться — домой! Было! Но она шла, приближаясь к клубу, и очень хорошо знала, что никакого обратного хода нет, а тут еще какой-то высокий парень в клетчатом пиджаке, в белой рубашке с расстегнутым воротом, обернулся на ходу и посмотрел на нее самым обыкновенным образом, и даже улыбнулся довольно нахально, и Надя вдруг окончательно успокоилась.

В тот же вечер.

Небольшая, несколько вытянутая комната с одним окном. В углу светится овальный экран телевизора — из новейших марок. Передают футбол. Звук приглушен — у стены стоит детская деревянная кровать. Комната погружена в полутьму, но обстановка угадывается самая простая.

За круглым столом ужинает Надя, простоволосая, домашняя, в старом, узком ситцевом халате.

Рядом сидит рослый, с плечами боксера и стриженный, как боксер, парень в белой безрукавке — Костя, ее муж.

Он изредка поглядывает в телевизор, в основном, занят Надей. Разговаривают они вполголоса.

Татьяна Шаликов

Надя (отрываясь от тарелки). А у нас больше ничего нет?

Костя. Ты же десяток котлет смолотила!

Надя. Это, Костя, все на нервной почве. Чисто нервное.

Костя. Пельмени отварить?

Надя. Отвари.

Костя. (подходит к холодильнику). Одну пачку или две?

Надя. А ты будешь?

Костя. Только на нервной почве. Глядя на тебя.

Надя. Тогда давай две!

Костя уходит на кухню. Она остается одна. Смотрит бездумно, как бегают по темному полу белые фигурки футболистов. Иногда камера телеоператора приближает кого-нибудь из игроков. Возбужденное лицо. Почти у всех — длинные волосы. Футболки, темные от дождя. Передача из ФРГ — первенство мира. Иногда виден фон: трибуны в зонтах, рекламные щиты. Дождь там идет, в Ганновере.

Надя встает, подходит к кровати. Раскинув руки, спит девочка лет четырех, с густой темной челкой. Лицо во сне у нее сердитое.

Входит Костя с двумя тарелками, осторожно толкнув дверь ногой.

Они молча едят. Надя вскоре откладывает ложку.

Костя. Ты что?

Надя. Не могу, и все.

Костя. На нервной почве.

Надя. А черт его знает! Не идет, все! Я бы сейчас водки выпила, честное слово!

Костя. Не держим, к сожалению. А что ты переживаешь? Я же сам видел, людям ты понравилась.

Надя. Вот именно, понравилась! И начальство довольны! И ты! Всем угодила! Да пойми же ты, не могу я всем нравиться! Не должна! Так и быть не может!

Костя. Тише ты...

Н а д я. Значит, что-то тут не то... Понравилась! Что я, балерина?

К о с т я. Балерины по ночам пельмени пачками не едят.

Н а д я. Сама ненавижу удобных людей! От них все зло! А выходит, я всем удобна!

К о с т я. Ты?.. Да...

Н а д я. Костя, что теперь с нами будет?

К о с т я. Что будет? Месяц еще не прошел, а ты уже вся дерганая. Чего хорошего? Лично я, как лицо заинтересованное. буду голосовать против тебя.

Н а д я. И правильно сделаешь.

...Они молча лежат на раздвижном диване. Надя откинулась на подушку. Полосы света бродят по потолку. Фонарь качается за окном.

К о с т я. А все это, в общем, некстати. Лето, институт... Хотя тебя сейчас и без экзаменов примут.

Н а д я. Ну, это само собой. Уже ковровую дорожку расстелили, как космонавту.

К о с т я. Ты уж тогда и за меня похлопочи, ладно? Есть у меня, скажешь, такой родственник. Непьющий, член месткома... общественник.

Н а д я. А с квартирой правда глупо получается.

К о с т я. Что?

Н а д я. Ничего. Мы и так почти первые на очереди, а скажут: вот, уже свое взяла, не упустила.

К о с т я. А тебе, между прочим, еще никто ничего не предлагал.

Н а д я. Предложат — откажусь.

К о с т я. Ну, давай...

Н а д я. Хотя тоже глупо... Костя, до чего же на людях бывает тяжело!

К о с т я. Что-то я раньше за тобой этого не замечал.

Н а д я. Нет, на людях хорошо. В волейбол играть... Картошку грузить — и то хорошо... Костя...

Тетрадь Шмаликов

К о с т я. Что?

Н а д я. Ты меня не бросишь, Костя?

К о с т я. Еще новость...

Н а д я. Злая я становлюсь.

К о с т я (обнимает ее). Ты — злая?

Н а д я. Ну, не злая... Еще нет. Пока что нет. Но чувствую — все к тому идет. И еще плохо, конечно, что я баба. Злых мужиков, если по делу, — уважают... Боятся... А злая баба и есть злая баба. И все... Что-нибудь, думают, личное у нее не сложилось — вот и глядит на всех, как сыч.

К о с т я. А как сыч глядит?

Н а д я (показывает). Вот так.

К о с т я. Ужас.

Н а д я. Костя, Костя...

К о с т я. Надо телевизор выключить.

Н а д я. Не надо, пусть светится... Как окошко голубое... Страшно мне, Костя.

К о с т я. Глупая ты...

Н а д я. Другая бы возражала, а я нет... Ты уж меня не оставляй, Костя. Я серьезно.

К о с т я. Это ты меня скорее бросишь. Променяешь теперь запросто.

Н а д я. На кого же я тебя променяю?

К о с т я. Известно на кого. На Штирлица. Или на адъютанта его превосходительства.

Н а д я. Спи...

Костя встает, выключает телевизор. Гибкий, двигается бесшумно. Ложится рядом с Надей.

Тени плавают по потолку. Во сне вздохнула дочка, повернулась. Кровать скрипнула. Надя лежит с открытыми глазами. Лицо у нее сердитое, как у дочки во сне. Очень они похожи...

...Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми, желтыми и светло-зелеными квадратами полей, рекой,

сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа, — пестрота крыш, дома.

Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь. А не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены и приближение их едва заметно. Время остановилось, и ты по возможности растягиваешь его. Игра с пространством затягивает, захватывает — пока земля, надвинувшись резко, не напоминает о себе.

Спокойный обзор кончается сразу. Камнем лежишь, камнем в падении себя ощущая.

Но пока что — полет...

Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен. Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле. Плавные, еле заметные движения рук, и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках на толстой, рифленой подошве, так свободно и странно провисших в пустоте.

Маневр Нади понят и принят. И вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаясь шлемами, расходятся, продолжая полет, и соединяются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.

Вскоре, образуя вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых курток, они цветком висают над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой...

Как день начнется, так он и дальше пойдет. Это Надя знала точно, втайне подозревая, что множество людей точно такого же мнения.

Утром в цехе она первым делом заглянула в технику.

Геннадий Шпаликов

За фанерным окошком, как и вчера, стояла все та же, как Наде показалось, совершенно безлика девчонка с белесой челкой на лбу, в довольно замаранном халате и косынке, завязанной небрежно. Вообще она раздражала Надю, и главным образом потому, что на ее месте, здесь, вот за этой зеленой фанеркой, в этой прорези должно бы появиться совсем другое лицо.

— Где Лиза? — спросила Надя.

— Откуда я знаю? — как и вчера, точно таким же бесцветным голосом ответила девчонка. — Я бы сама на нее посмотрела, на эту Лизу. Просто как Джоконда. У меня все про нее спрашивают. Третий день.

— А ты откуда? — спросила Надя.

— Вы меня вчера спросили, но не дослушали. Я здесь по направлению. У меня производственного стажа не хватает.

— А куда ты поступаешь?

— В медицинский. Уже второй год.

— Очень хорошо! А что ты у нас делаешь? — Надя раздражалась все более.

— Все что попало, — спокойно отвечала девчонка из этой фанерной дыры. — Меня сначала в машбюро отправили, Я в столовой работала. Справа от проходной, знаете?

— Знаю, — сказала Надя. — Знаю я эту столовую. Кто тебя к нам направил? Как тебя зовут?

— Вера.

— Фамилия?

— Быкова.

— Вера Быкова, — повторила Надя. — А зачем тебе эта производственная практика?

— Стаж, а не практика, — поправила Вера. — А здесь мне все равно ничего не доверяют. Это не тарелки мыть.

— А тебе у нас совсем неинтересно?

— Ну, как вам сказать... Нет, не интересно.

— Хочешь опять тарелки мыть? — спросила Надя.

— Не очень. Но мне все равно.

— А такая простая мысль, что пойти в санитарки, тебе в голову не приходила? Все ближе к делу!

— Я всю зиму санитаркой работала. В шестьдесят седьмой больнице.

— Ну и что?

— Нужна производственная практика, — сказала Вера.

— Но это полный бред!

— Что вы от меня хотите? — спросила Вера. — В столовую обратно? Пожалуйста. Я тоже все сначала спрашивала: зачем, почему, какой смысл, с какой стати? А это абсолютно никому не нужно. Я для вас никакой ценности не представляю. Главное, я поняла: не сопротивляться механизму всего, и тогда вынесет, понимаете?

— Какому механизму? — спросила Надя.

— Механизму всего, — повторила девочка. — Вы на меня не смотрите такими глазами.

— В столовую иди, в столовую, — сказала Надя. — Или вообще на скамеечку сидеть. Сколько вас таких собралось: чуть что, руки кверху! Вы что, с ума сошли? Кто тебя научил, вот так, как... В столовую!

— Пожалуйста, только вы не кричите.

Работа тем и хороша, что успокаивает. Надя закрепила штамповку, включила станок. Все пошло верно, неспешно, обыкновенно. Главное — чтоб никто не мешал.

Подождал мастер.

— Тебя Григорий Матвеевич зовет.

— А что такое?

— Не знаю. Пришли к тебе, зовут.

— Василий Михайлович, скажи ему, что я не могу.

— Иди, иди.

— Но я не могу!

— Выключай станок!

Григорий Матвеевич, начальник цеха, нисколько не походил сегодня на того, вчерашнего, задерганного

Геннадий Шпалников

и нервного. Сегодня он был спокоен, ровен, самостоятелен — совсем другой человек.

Он провел Надю в свой кабинет. Тут же, рядом с цехом, где напротив окон (зелень за окнами, солнце) сидела женщина. Как только они вошли, Надя и Григорий Матвеевич, она сразу же встала. Рабочий халат, косынка. Какие-то бумаги в руках. Какая она — против окон не рассмотришь.

— Вот, Надя, это к тебе, — сказал Григорий Матвеевич.

— Беседуйте. — И ушел.

— Вы уж меня извините, — сказала женщина негромко.

— Да вы садитесь. — Надя разглядывала вблизи ее молодое отекавшее слегка лицо. — Садитесь... — И сама села.

— Вы уж извините... — повторила женщина.

— Да что вы все время извиняетесь? — спросила Надя. — Вы из какого цеха?

— Из седьмого.

— Если у вас что-нибудь серьезное, — сказала Надя, — то, честное слово, зря вы ко мне обращаетесь. У меня ни прав, ничего. Я же только кандидат в депутаты. Меня же еще могут и не избрать.

— Такого не бывает, — сказала женщина.

— Бывает — не бывает, а толку от меня пока что никакого. Это я вам сразу говорю... Что у вас?

— Сын у меня в тюрьме.

Надя удивленно посмотрела на нее:

— Где?

— В тюрьме, — повторила женщина. — Теперь вся надежда на вас... Вот тут все написано, — она протянула Наде бумаги.

— Это я после посмотрю, — сказала Надя, — За что — в тюрьме?

— По глупости... Мальчишка еще...

— Это понятно, что по глупости... И все-таки: за что посадили?

— За изнасилование, — сказала женщина.

— За что? — переспросила Надя.

Женщина молчала.

— Так, — сказала Надя. — И сколько ему дали?

— Десять лет...

— Мало! — Надя встала. — Ох, мало! Пожалели! Десять лет! Да таких раньше камнями забивали! Без всякого суда!

Женщина смотрела на Надю испуганными глазами.

— Ничего себе — мальчишка! — Надя уже не сдерживала себя. — По глупости! Я бы таких только расстреливала! Или посылала бы на какие-нибудь урановые рудники, чтоб там они подыхали медленной смертью!

— Да что вы такое говорите... Что вы говорите... — повторяла женщина.

— Что я говорю? — Надя резко повернулась к ней. — Бандит ваш сын! Бандит! И вообще, у меня рабочее время, и я всякой сволотой заниматься не желаю! А бумаги ваши забирайте!

— Эх ты... — Женщина все складывала, сгибала листки. — А я-то, дура, надеялась...

— Зря надеялись! — сказала Надя. — Пусть сидит весь срок! А ко мне больше не ходите!

— Не волнуйтесь, не приду... — сказала женщина. — А я уж думала, ты теперь сама мать, поймешь...

— И понимать нечего! У меня дочка растет! А какой-нибудь подонок, вроде вашего сынка, — подумать страшно!..

Окна раскрыты — первый этаж. Рабочие останавливаются — особенно девочки, — слушают.

— Ты сначала одна вырасти сына, до шестнадцати лет дотяни, а потом уж суди, — сказала женщина. — Орать все умеют... Вот ты — какой там начальник, а уж голос пробуешь... — Женщина встала. — А я к тебе, как к своей, к рабочей, пришла...

— Тоже мне классовая солидарность — бандитов из тюрьмы вытаскивать! — в сердцах сказала Надя. — Думали, пожалею! А он ту девочку пожалел? Уходите

Геннадий Шпаликов

отсюда... Не могу я больше все это слушать! Тошно мне, понимаете? Уходите!

За раскрытыми окнами (подоконник низкий) стояли и слушали разные люди. Надя подошла. Захлопнула резко окно. И второе тоже. Только что стекла не выпали, а зрители-слушатели отшатнулись разом.

В цехе — грохот привычный. Вся эта музыка обыкновенная.

Уже открыли буфет — обеденный перерыв скоро. Покупают колбасу, булки, кефир.

— Надя! — на ходу остановила ее Вера Разнова, слесарь из ее бригады.

— Что тебе? — хмуро спросила Надя

— Из милиции звонили! — сбиваясь, говорила Вера. — Лизу на вокзале забрали!

— Оставьте меня в покое! Забрали — и очень хорошо.

— Надя!..

— Что — Надя?

— Всю ночь сидит! — вздохнула Вера.

— Из какой милиции звонили? — спросила Надя хмуро.

— Неразборчиво говорили, Григорий Матвеевич все записал.

По коллектору в кабинете начальника цеха передали:

— Первый цех... Смолиной немедленно зайти к секретарю парткома. Смолиной — к секретарю парткома.

Надя шла сначала двором, между майских, зеленеющих свежо деревьев, мимо корпусов, по аллее.

По дороге ее поймал на ходу Костя. Но Надя даже не остановилась. Пошли рядом.

— Ты обедала? — спросил Костя.

— Тебе-то что?

— Я по селектору слышал, — сказал Костя. — В чем дело?

— Не знаю я, в чем дело. Надо дочку к маме взять, а то свихнешься ото всех этих забот, — сказала Надя. —

Купи мне какую-нибудь булку, что ли, и молока и вот здесь посиди. Я скоро. Сам-то поел чего-нибудь?

— Ладно, ты иди, — сказал Костя. — Вот эта скамеечка, запомнишь? Напротив клумбы. Иди...

...Секретарь парткома ждал Надю на скамеечке в тени — жаркий был день. Секретарю было лет сорок, не больше. Был он в светлом пиджаке, в белой рубашке без галстука, и вообще выглядел празднично.

— Ну что? — Надя присела рядом.

— Жара, — сказал секретарь, а звали его Гришей.

— Ладно, жара, — сказала Надя. — Это все понятно, что жара. В чем дело, кроме жары?

— Ты торопишься? — спросил секретарь парткома.

— Представьте себе, тороплюсь, — ответила Надя. — Что такое? Не тяни.

— Что ты Мухиной наговорила? — спросил секретарь.

— Уже пожаловалась? Быстро...

— Да не в этом дело...

— А в чем? — спросила Надя. — В чем?

— А черт его знает в чем, — сказал Гриша. — Нельзя людей обижать, понятно?

— Нет, непонятно.

— Да все ты понимаешь... — Гриша стукнул ладонью об скамейку. — Она у нас двадцать пять лет проработала. Сечешь? Двадцать пять лет.

— Ну и что? — сказала Надя.

— Ну, раз ты так говоришь — ну и что? — ну, что я тебе возражу? Дура ты, и все тут.

— Знаешь, можно сто лет какие-нибудь гайки завинчивать. Что, я должна за это ей в ножки кланяться? Да завинчивай — ради бога! А меня в свою грязь не мешай!

— Грязи испугалась?

— Не испугалась, — сказала Надя. — Знаешь, другое — мутит меня ото всего этого... Вот она рабочая, ты считаешь — я тебе верю, — нормальная, хорошая, стаж у нее приличный. Чего она за звание это прчется —

Геннадий Млаликов

рабочая? Чего? Раз рабочая, значит, все можно, да? И сын подонок, а, видишь, одна воспитала! Значит, и никто не виноват! Да он же у нас работал, я узнавала! Удобно сейчас рабочим быть! «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Вот он был, при маме, ничем, никем, а ты мне на безотцовщину не ссылайся — и без отцов растут, а он рабочий, так называемый, и его не тронь...

— А насчет урановых рудников и расстрела ты правда обещала? — спросил секретарь парткома.

— Так, по ходу пришлось, — сказала Надя. — А вообще я не сторяча сказала ей, и обратно слов своих не беру.

— И камнями забросать? — спросил секретарь. — Было?

— Камней не было, — сказала Надя. — Бульжниками. Жаль, до этих самых его лагерей не докинешь... Разве что какой-нибудь баллистической ракетой.

— Слава богу, ракеты тебе не дадут, — сказал секретарь парткома. — Откуда в тебе все это?

— Что? — спросила Надя. — Что ты имеешь в виду?

— Надя, люди-то — они живые. Старые уже, не переделаешь, — сказал Гриша. — Да и молодых кнутом не возьмешь.

— Слышала, слышала! — сказала Надя. — То кнут, то пряник. Мура все это!.. По справедливости, не свое ты место занимаешь, Гриша. Характер у тебя — никакой. Всем ты хороший, для всех. Вроде меня... Всех тебе жалко. Жалко, да?

— Ну, ты даешь! — сказал Гриша. — Опомнись, Надя. Жалко — да! И тебя тоже.

— Ты меня не жалей! Ты себя пожалей! — Надя встала со скамейки. — От твоей жалости люди только мучаются. А тебе так удобно. Добрый какой! Уж лучше последней сволочью быть, чем никаким! Да пусть меня ненавидят, лишь бы дело шло! А ты всем оправдание находишь, всем! Живые люди!

— Живые, — сказал Гриша. — В этом все и дело.

— А я говорю — нет! Пока их не раскатаешь — бред, пустота! За что жалеть? Нажрется себе перед телевизором, и «шайбу!», «шайбу!» Стопан врезал — и по новой!

— Интересные у тебя, Надя, знакомые, — сказал Гриша. — Шайбу — это хорошо...

— Новые идеи нужны! Понимаешь? Социализм — не жратва, не в гости ходить!

— погоди ты про социализм!.. — вздохнул Гриша. — Какие-то у тебя замашки: все сразу, всех сразу... Нехорошо получилось с Мухиной... Нельзя так...

— А я буду так! И только так! — сказала Надя. — Отвыкли называть вещи своими именами! Отвыкли! Бандит — и есть бандит. Подонки — он подонки. Тряпка, ни то ни се — тряпка! Вот была бы моя воля, я бы сейчас, по новой, сделала партийную чистку! Отбирала бы билеты, и все! Книжечки эти красные — сколько за ними прячутся!

— Много на себя берешь, правда, — сказал Гриша. — Время, Надя, не то... Что-то ты путаешь... Хотя я тебя понимаю...

— Спасибо, Гриша! За понимание! — сказала Надя. — А время — как раз то самое! Неудобное время! Гуманизм, люди-братья, планета Земля — шар небольшой, синий да зеленый! Может, границы скоро отменяют? Если Земля такая уж всеобщая! Ты Ленина читал?

— Ну, читал, — сказал Гриша. — Читал. А что?

— Не помню точно. Но у него написано, что таких, как ты или вроде тебя, судить надо и гнать от живой работы с твоими так называемыми живыми людьми!.. Время тебе не то. Тоже мне просветитель, еще на время ссылаются! Тебя бояться должны, а кто тебя боится? Кто?

— Ну ладно! — сказал Гриша. — Программа мне твоя ясна. Еще раз нахамишь — кому угодно, — плохо тебе будет, Смолина. Вот уж не думал, что депутатство на тебя в эту сторону сработает. Такое ощущение, что до тебя сплошная была пустыня. И все только тебя и ждали, на горизонт посматривали — когда появишься.

Тетядакий Млаиков

— Я пошла, — сказала Надя. — Считаю необходимым довести до сведения обкома твои настроения. Должности своей ты явно не соответствуешь.

— Ладно, разберемся, — сказал секретарь. — А перед Мухиной ты бы все-таки извинилась.

— Еще чего не хватало! — отрезала Надя. — По-человечески я ее понимаю. Даже, может быть, и сочувствую. Но — хватит сочувствий этих и разговоров запросто, этого демократизма липового... Вот так на скамеечке поговорить!.. Или у тебя еще была манера — свадьбы посещать!

— А что, хорошее дело — свадьбы, — сказал Гриша.

— Ну и ходи! — Надя встала. — На свадьбы, на именины! Как же — всегда с народом! Свой в доску! А все — от страха! Вот не будешь секретарем — ну что ты умеешь? Лопату в руки, и все дела! Снег чистить!

— Я, между прочим, инженер, — сказал Гриша.

— Какой ты инженер! Ты и забыл, как там и что! Некогда тебе, все дела! Мне терять нечего — я на своем револьверном проживу, а ты, Гриша, номенклатура, — вот ты кто! Ну и прыгай перед всеми, пока тебя не вышибли! А вот, честное слово, пока у меня такая есть возможность — пусть ненадолго — я тебя с этой скамеечки подниму!

— Что-то ты дельное среди этих взрывов говоришь... — очень спокойно сказал Гриша. — Что-то у тебя такое светится. Мне вообще все это нравится... И не нравится...

— Да не собираюсь я тебе нравиться!

— Надя...

— Что — Надя? Что? — Надя ходила вокруг скамейки.

— Да не бегай ты, — вздохнул Гриша. — Сядь.

Надя села.

— Знаешь, я решила от депутатства сначала отказаться, — сказала она, — не по мне все это! А теперь уж нет! Вы из советской власти богадельню сделали! Ничего

я не преувеличиваю! Кормушку, понял? И людей вокруг себя подобрали таких, удобных — вроде меня! Раньше людям рты затыкали тряпкой, кляпом, а теперь — чем? Сыгты, и слава богу! И шмотки есть! Ох, ненавижу!

— Сыгты — это хорошо, — сказал Гриша. — И шмотки — тоже ничего, я вот только ботинки не могу никак найти подходящие... Надя, а Надя...

— Что?

— Не суетись пока что. Ладно? Подумай.

— Это ты суетишься! — оборвала его Надя. — Такая у тебя тихая суета! Ты меня комсомолочкой считал: то, се, воскресники, субботники, песенки под гитару! Хватит, товарищ Гриша! Надя — заводная, Надя — веселая, Надю и в депутаты можно — своя! Уж как-нибудь договоримся! Своя! Наша! Все удобства на дому! Из рабочих и крестьян — все как надо! Ох, Гриша, ошибочка вышла! Меня эта советская власть вырастила в голодуху самую, да и не в том дело! Я вам ее на откуп не отдам, понял? И девочку со значком Верховного Совета вы из меня не сделаете!

Надя на трамвае поехала к отцу Лизы. Путь ее был долгий. По дороге, пока ехала, вспомнила, проезжая мимо молочного магазина, где на улице продавали молоко в пакетах, творог, кефир, что на скамеечке, на заводе, ждет ее Костя, и даже парень какой-то около магазина был на Костю похож — такой же большой, белобрысый, с пакетами молока.

Но все эти совпадения отпали, и мысли были о другом, хотя какие уж там мысли?

Жара в трамвае, народу — не протолкнешься. Надя ехала от конечной, и потому сидела, а трамвай несся мимо одинаковых блочных домов, этажей на пять, мимо ларьков, пивных, заборов...

Ехать долго. Ни газеты, ни книги, ничего. Только колеса трамвайные стучат где-то внизу под ногами, да люди входят, да ветер жаркий в окно повеял, и уже полегче.

Телладий Шпаликов

Стала пальцами отстукивать что-то по стеклу. Под трамвайный грохот. Вот колеса, они всегда что-то такое напевают, что-то у них там вертится, какая-то своя мелодия.

И пальцы по стеклу.

Только мелодия не сразу возникает, не сразу.

Но возникает.

Под пальцами, по стеклу.

...Надежда, я... — осторожно пальцы коснулись стекла, теплого от солнца, — Надежда, я... вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет... Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет... Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот...

И мчался этот трамвай, набитый до предела, и окраина рабочая была за окнами, неслась в жаре, в пыли, и пальцы Нади едва стекла касались... А мелодия, слова — соединились в такт трамвайным колесам.

...Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла...

Входили люди, выходили, и трамвай так повернул, что стекло, за которым сидела Надя, совсем стало золотым, жарким, слепое от солнца стекло, и пересаживались пассажиры на сторону теневую — такое горячее солнце ударило по этой стороне, но Надя не пересела, а только глаза прикрыла, а пальцы все отстукивали по стеклу:

...Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удастся, какое б новое сражение ни покачнуло шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной...

Вот и остановка, нужная Наде. Все дома здесь одинаковые — блочные, в пять этажей, первой застройки.

Был тут раньше пустырь, всем ветрам открытый, а теперь — дома, на которых какой-то заботливый человек догадался написать (на каждом!) черной краской несмысливаемой огромные цифры: 7, 8, 18...

Улица имени Юрия Гагарина.

Май, ветер. Хотя бы дождь пошел, и Волга здесь, кажется, не так далеко, а такое ощущение, что вся эта улица в степи стоит.

Леша, отца Лизы, дома не оказалось.

Соседка открыла. Молодая еще женщина, но заматанная детьми — они высыпали в коридор и глазели на Надю. Она даже и посчитать их не успела.

— Нет его, — сказала женщина. — Что-то он громыхал с утра. И рубль у меня просил. Я ему молочные бутылки отдала.

— Давно ушел? — спросила Надя.

— Да не так уж и давно, — ответила женщина. —

Вы проходите...

— Спасибо, — сказала Надя. — Где тут у вас посуду ближе всего принимают?

— А у пельменной, во дворе, — охотно сказала женщина. — Там они все и собираются.

Надя сразу заметила Лешу. Он стоял где-то в середине огромной очереди к ветхому сарайчику, где за окошком принимали посуду, а принимал ее, ловко собирая с прилавка пустые бутылки, оставляя в сторону ненужные, безошибочно кидая мелочь на алюминиевую тарелку, красномордый, здоровый парень в синем халате с закатанными рукавами.

— Леша, — подошла Надя. — Пошли.

— А-а... — не удивился Леша. — Куда мне идти? Я час стою, уже недолго осталось.

— Да отдай ты эти бутылки! — сказала Надя. — Вот ему отдай. — Она показала на парня, стоявшего за Лешей. — Есть у меня деньги. На пиво тебе хватит.

Геннадий Шпалков

Леша, не сопротивляясь, отдал свою авоську парню и пошел за Надей.

— Ты знаешь, что Лиза в милиции? — спросила на ходу Надя.

— В какой милиции? — Леша даже остановился. — Ты что?

— Ох, Лешка! — вздохнула Надя.

— погоди, — сказал Лешка. — Я ничего не соображаю. Милиция... Ты видишь, я не в себе... — он пытался улыбнуться. — Ты не обращай внимания, что я побрился и рубашку переменял, а не в себе... Ты вроде бы на пиво обещала...

— Вот, — Надя протянула ему трешку.

— Здесь много, — сказал Леша. — Я сдачу принесу.

— Принеси, — сказала Надя. — Сдачу.

Леша сразу заторопился.

— Ты... — сказал он. — Ты вот здесь, около газетной стойки... Почитай, как там и что... А я сейчас, я быстро...

Надя остановилась около газетного щита.

Газеты были вчерашние, оборванные там, где телевизионная программа. Рыжая газета, вся на солнце выгоревшая, но Надя прочитала, что осталось — про Ирландию. Католики, протестанты. Военные машины на улицах. А в Португалии «Броненосец Потемкин» идет! Вот это здорово!

Надя еще раз прочитала и, оглянувшись, оторвала это сообщение и положила в сумку.

А тут и Леша появился. В руке у него было эскимо на палочке.

— Вот, на сдачу купил, — сказал он. — Тебе.

Он вполне пришел в себя.

— Ну, вот что, — Надя взяла эскимо. — Я временно переселяюсь к тебе. Ну, на месяц, два. Сколько там твое лечение займет.

— Какое лечение? — тревожно спросил Леша. — Ты что это придумала?

— Обыкновенное, от водки, — сказала Надя. — А Лиза со мной поживет. Пока что.

— Вот, значит, как! — Леша заволновался. — Без меня меня женили! Да кто тебя уполномочил!

— Слова-то какие знаешь! — усмехнулась Надя. — Как ты его с утра выговорить смог. Уполномочил. Надо же!

— Чего ты в чужую жизнь лезешь? — Леша говорил громко.

Прохожие останавливались. Очень эта сцена смахивала на самый заурядный скандал мужа и жены. Останавливались, слушали.

— Ну, ты! Чего? Чего надо? — кричал Леша прохожим. — Иди, иди! Валяй отсюда!

— Не хочешь сам, Леша, я тебя принудительно положу. — Надя говорила спокойно. — Направление я тебе сделаю. Не думай, что это так просто. Люди месяцами ждут. Мучаются. Да ты... Что, плохо, Лешка? Смотри, мокрый весь... Пошли, посидим...

— Отстань! — Леша рванулся. — Иди ты!

— Ну, ладно, — сказала Надя спокойно, — по-человечески не хочешь говорить. Жить по-человечески не хочешь. А Лизу я тебе не отдам!

— Ты к Лизе не прикасайся! — уже кричал Леша. — Лиза!.. Да я за нее... Я за нее! У меня никого больше нет, понимаешь ты...

— Понимаю, — сказала Надя.

— В милиции, говоришь? — Леша был уже сильно возбужден. — Я эту милицию всю разнесу! Я им покажу! Знаешь, какая она, Лиза! Она ж святая! Где эта милиция? Какое у этих сволочей отделение? За что они ее?

— Ладно, Леша, — сказала Надя. — Иди домой. Я сама разберусь. Ты отдохни... — Надя сдерживала себя изо всех сил, чтоб не сорваться, не накричать сейчас на этого взбудораженного, взмокшего сразу человека с бегущими глазами, и губы у него беспомощно тряслись, и оставить его одного было явно нельзя, а быть рядом — невыносимо.

Тетрадь Шмаликов

И все же Надя резко повернулась и пошла.

— Надя! — вслед ей крикнул Леша. — Ты куда? Где это отделение? Где?!..

Немного времени прошло.

К дому Леша подкатила санитарная машина.

Нет, она не была похожа на скорую помощь. Это был крытый фургон, а то, что она санитарная, выяснилось только после того, как из нее вышли трое крепких ребят в белых халатах.

Надя была с ними.

Они поднялись по узкой лестнице (такие уж лестницы спешно строились в этих домах) на третий этаж. Позвонили. Открыла та же соседка. Увидела молодых людей в белых халатах, Надю. Испугалась, но не удивилась нисколько.

— Проходите, проходите...

Прошли.

Общая квартира. И снова высыпали в коридор дети. Один, два, три, четыре — сколько же их? Женщина быстро загнала их в комнату.

Квартира была на две семьи. Леша и его дочь жили в боковой комнате.

Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с той стороны. Надя постучалась.

— Леша! — сказала она как можно спокойнее. — Леша! Это я, Надя!

— Чего тебе? — раздался злой голос Леша. — Чего надо?

— Открой дверь.

— Я сегодня гостей не принимаю, — ответил Леша. — День у меня нынче не приемный. Поняла?

— Леша, открой, — сказала Надя. — А то взломаем. Я тебя по-хорошему прошу.

— Иди ты!.. — Леша ответил долгой и замысловатой руганью.

Санитары терпеливо ждали. Ребята они были опытные. Всякого насмотрелись.

— Леша, — сказала Надя. — Открывай. Хватит валять дурака! Открывай, слышишь?..

За дверью, вперемешку с руганью послышался шум. — что-то Леша передвигал поближе к двери, что-то там гремело, падало.

Санитары смотрели на Надю.

— Давайте, — сказала Надя. — Хватит эту вольнку тянуть.

Санитары только этого и ждали.

Они вполне профессионально навалились на дверь. Но дверь не поддавалась.

А Леша кричал оттуда, из комнаты:

— Сволочи! Гады! В дурдом захотели спрятать! Не выйдет! Живым все равно не дамся! А тебе, Надька, никогда этого не прощу! Стерва ты последняя! Шкура продажная! Купили тебя, сука! Депутатша!

Санитары достали какой-то железный прут, просунули его в щель.

Надя стояла молча.

Нашло вдруг на нее такое ко всему безразличие. Ломают дверь, и пускай. Кричит он там, за дверью, и ради бога. Пусть кричит. И злость на Лешку пропала.

Дверь рухнула, опрокинув шкаф, который подпирал ее. Санитары ворвались в комнату.

Надя вошла за ними.

Но комната была пуста.

Распахнута балконная дверь. Все в комнате перевернуто. Посуда битая. Оборванная занавеска над балконной дверью висит...

...Леша лежал на асфальте, лицом вниз, неудобно подвернув руку, чуть завалившись на бок. Никого вокруг него не было.

Упал он во двор.

Надя успела заметить, что во дворе женщина снимала белье, простыни с длинной веревки, да так и замерла, с места не сдвинулась.

Геннадий Шнапков

А простыни в безветрии висели неподвижно, белые, сохнущие, наверно, быстро под таким палящим, слепящим, безжалостным солнцем.

Надя сидела в комнате Леши.

Закат за окном. Света она не зажигала. Шкаф, наверно, санитары к стенке поставили, а так все осталось, как было. Битая посуда в угол сметена.

Сидела Надя ближе к балкону, и была у нее возможность впервые оглядеть эту комнату, но она в окно смотрела.

Вошла соседка. Помолчала в дверях.

— Чаю с нами не выпьете? — спросила она.

— Спасибо, — сказала Надя. — Чаю выпью.

Они пили чай за большим круглым столом — Надя, эта женщина, а звали ее Клава, и четверо ее ребятишек. К чаю было печенье, и варенье то было, в блюдечках.

Ребятишки все уже знали, и чай был невеселый.

— А муж-то где у вас, Клава? — спросила Надя.

— На Севере, в Сомотлор подался, — сказала женщина. — Вот, говорит, заработаю, как надо, и вернусь... Уже третий год что-то зарабатывает...

— А деньги-то на ребят шлет? — спросила Надя.

— Временами... — усмехнулась женщина. — Какие там деньги... Ребята без отца растут...

— Адрес у вас его есть? — спросила Надя.

— Ну, есть... — женщина помолчала. — Не надо мне ничего... Вы не обижайтесь... Я понимаю, вы похорошему хотели... А Лешки нет... — Она отодвинула чашку. — Все какой, а человек хороший был... Вы уж не обижайтесь... Мы его тут все жалели. Вот. И молодой еще... Ему и сорока не было...

Ребятишки слушали маму сонно, но с интересом, и на эту тетю незнакомую, невеселую, которая ни варенья, ни печенья не брала и даже к чашке чая не притронулась, смотрели во все слипающиеся глаза, но тайна была — это уж точно.

— Жалко вам Лешку? — спросила Надя.

— Чего там — жалко... Эх, Надя...

— Мне — нет, — сказала Надя. — Чем так жить, уж лучше с балкона... Ведь ничего за душой не осталось... Работать не мог, побирался... Лиза его на свои копейки кормила, да он и не ел ничего... А вы — жалели... Ну, что молчите?

— Молодая вы еще, Надя... — сказала Клава, — Горя, слава богу, настоящего не видели... — Клава встала. — Ребята, спать, спать... Засиделись...

Ребята вставали неохотно.

Они вместе с Надей укладывали ребят, две кровати, одна раскладушка, а самая маленькая, Настя, она на диван легла, уже раздвинутый, застеленный — с матерью она спала.

— Вы тут останетесь? — спросила Клава.

— Да, у Леши, — сказала Надя. — Мне только мужу надо позвонить, как он там... У меня у самой дочке три года.

— Правда? — оживилась Клава. — А звать-то как?

— Лена.

— А телефона у нас нет, мы от продовольственного звоним, если что. Но только знайте, у продовольственного телефон не работает. Там трубку оборвали. Вы к аптеке лучше идите, там у них есть свой телефон.

— Если Лиза появится, вы ее никуда не отпускайте, — сказала Надя. — Вы ей не говорите, что я здесь, ладно? Я скоро.

У продовольственного магазина, еще ярко освещенного, толпились люди.

Надя сразу все поняла, потому что общий разговор смолк, и все — а это были ребята из Лешиной команды — смотрели на нее, как она шла к телефонной будке.

Трубка там и в самом деле была оборвана.

Тетрадь Шмаликов

А между тем все эти ребята к ней приближались. Нет, не были они пьяные. Выпили свое, вечернее. Да и повод был.

Надя хорошо знала таких ребят: курточки нейлоновые-силоновые, челочки, волосы до плеч, но были и другие ребята, в старых плащах, и никакие не длинноволосые, а кое-как подстриженные, кое-как одетые — вечерние магазинные люди. Околомагазинные.

Надя решила ничего не решать. Как будет, так и будет. Тем более что снова на нее накатила эта волна безразличия ко всему, и ни страха, ничего.

А ребята приблизились вплотную.

— Поминки справляете? — спросила Надя. — Чего ж на улице?

— А негде, — сказал парень в красном шарфе. — Может, к вам пойдём?

— Можно, — сказала Надя. — Это можно.

— Смотри! — усмехнулся товарищ его (а было их человек десять, пятнадцать, двадцать — в темноте не разберешь). — А ты не боишься? Мы тебе Лешку не простим.

— Иди-ка сюда, — сказала Надя. — Ты, кто за «мы» говорит.

— Ну что? — подошел мужик лет сорока, держался он твердо. — Что тебе? Лучше всего мотай отсюда.

— Нет уж, — сказала Надя. — Поминки так поминки.

Она сняла кепку у этого парня, открыла свою сумочку и высыпала, выкинула все, что у нее было. Пустила по кругу. И кепка эта, ржавая, пошла по кругу, из рук в руки, и сыпали в нее, выгребая карманы, все, что было — мелочь, рубли.

— Ребята, — спросила Надя, помахивая оборванным телефонным проводом. — вот интересно, кому эта трубка отдельно от телефона нужна? С марсианами, что ли, разговаривать?

— Только тише, — говорила Надя, входя в квартиру. — Тут маленьких полным-полно. Тише...

И за ней человек двадцать тихо вошли, а некоторые даже разулись для тишины.

В комнате Леши было темно. Единственная лампочка без абажура перегоревшей оказалась.

Сидели на полу, у стен, на кровати — все бутылки и еду какую-то поставили на стол.

— Сейчас, — сказала Надя, — я сейчас.

Она пошла на кухню и вывернула там лампочку, вернулась, поставила шаткий стул, лампочку ввинтила. Теперь комната озарилась, хотя и слабо, но все уже были видны. И тихо было, никто бутылок не касался.

Сидели, стояли.

Надя впервые разглядела лица — не все, не сразу, но как-то общо они все смотрелись. Печаль была.

— Стаканов-то нет... — сказал кто-то.

— Это мы сейчас, — сказала Надя. — Это просто...

...Вошла Надя вместе с Клавой — они принесли капусту, хлеба, колбасы, огурцов и всякой безразмерной посуды — и банки из-под соков, и кефирные чистые бутылки, и стаканы, и рюмки, и две пивные кружки, каким-то непонятым образом оказавшиеся в этой семье без мужика, — все они прихватили. И Клава даже скатерть захватила, с бахромой, белую, с цветами.

— Помянем, — сказала Надя, когда разлили. — Помянем.

Выпили. Помолчали.

— Не верю я тебе, — сказал парень помладше. — Зачем ты сюда нас позвала?

— Брось... — остановил его другой, тот, кто Наде советовал уйти. — Брось. Прекрати.

— А откуда я знаю, она сейчас милицейскую машину подгонит — и привет! — сказал тот, в красном шарфе.

— Пускай подгонит, — сказал кто-то из угла. — Какая разница...

Геннадий Шнапков

— Ты... — сказала Надя, обращаясь неизвестно к кому, — Ты... Шпана ты, и все. По своим законам людей мерить. Да неохота мне тут с тобой разговоры говорить. Пей уж лучше...

Выпили.

— Может, кто тост скажет? — спросила Надя. — А то я могу.

— Ну, скажи, — сказал кто-то из полутьмы этой. — Скажи, за Лешку.

Надя молча вертела в руке баночку из-под какого-то сока. Ребята ждали, слушали. Пили и без тостов.

— Ребята, вот все вы, я, мы... — сказала Надя. — Есть какая-то идея, ради чего стоит жить? Хорошо, пускай не ради идеи. А тогда — для чего? Потеряли мы что-то все! Мне плевать, когда вообще говорят... В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть... А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свете людей! И хуже вас тоже нет... Вот я за это противоречие с вами выпью, хотя все вы — руки кверху! И Лешка струсил!.. И ты на меня не ори! Струсил! Перед жизнью — дешевка! Советские мы все, таких больше на земле нет. То, что он с балкона сиганул, — тоже поступок, я его понимаю, но... Чего вы все суслики перед жизнью!

— Ты за всех не распоряжайся, — сказал кто-то.

— Я за всех не распоряжаюсь. — Надя встала. — Я вообще никакой вам не начальник. Мне просто интересно, кто следующий, за Лешей. Кто? Я не хочу, чтобы вы помирали — не от водки, конечно, а каждый день помирали не от чего! Вот, мне рассказывали, как поймали немцы наших. И у нее коса была длинная, светлая. И с ней любимого человека тоже поймали, в сарае лежали они. Всю ночь. А после ее на косе повесили и его... А она сказала — вы послушайте! — я нецелованной помру за наш СССР. Длинная была коса, раз на двоих хватило, косы этой...

— Красивая история, — сказал кто-то (опять «кто-то», поскольку не разберешь кто).

— За жизнь поговорим? — сказала Надя. — Я — пожалуйста.

— Давай за Лешу поговорим, — тот же голос.

— Я уже все про него сказала. — Надя отхлебнула глоток. — Все.

— Все, да не все...

— Тогда сам говори, — сказала Надя. — Если только по совести.

— А это уж не твое дело. У тебя — своя совесть, у Лешки — своя, понимаешь?

— Нет, не понимаю. Ты к свету подойди, не люблю в темноте разговаривать. К лампочке поближе, так и в глаза посмотреть можно.

— Лешка — человек, — сказал парень, держа за лампочку, хотя она была уже горячая, но он ее касался пальцами. — А ты... Ты — тоже человек, я вижу... Ты говоришь, Лешка сдался, ушел вот так... Но вот ты — депутат, ты — власть, ты — все.

— Я не депутат, — сказала Надя. — Ты же знаешь.

— Ты тут за советскую власть права качала, как будто мы какие-то белогвардейцы... Ты — советская власть?

— Да, — сказала Надя. — На данном отрезке времени.

— Она своя девка, — сказал кто-то. — Оставь ты ее... Выпьем...

— Я никакая вам не своя, — сказала Надя храбро. — Я... — Тут она заплакала, лицом упала на стол и плакала, и ребята молчали.

Лицом вниз, она запела, заговорила:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж еще идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Тетядаий Шналикков

Пришел солдат в глубоком горе
На перекресток трех дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой,
Хотелось выпить за здоровье,
А вот пришлось за упокой.

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
А на груди его светилась
Медаль за город Будапешт...

— Надя, — сказала Клава, — пошли ко мне, я тебя уложу.

— Нет, я тут посижу, — сказала Надя, оглядывая ребят, но никого не видя. — Я тут уж... Ладно?

— Как хочешь, — сказала Клава, — А то пошли, а ребята сами посидят...

Ребята посидели бы сами, и никто их не гнал, но раздался такой длинный, такой тревожный звонок в дверь, а потом еще и ногами кто-то стучал, и кулаками.

Открыла дверь Клава.

Лиза стояла в распахнутом красном пальто, рядом — Славка.

Лиза прошла к комнату отца. Никого не видя. Прямо к Наде.

— Здравствуйте, — сказала она. — Добрый вечер.

— Лиза... — только что и нашлась сказать Надя.

— Вон отсюда, ты! Вы — вон! — сказала Лиза. — Вы! Ты! Вон!..

Все, кто были в комнате Леши, кроме Клавы, может быть, были на стороне Лизы, и все встали, и окружили Надю, как тогда около магазина.

А она голову на локти положила, лицо приподняла и внимательно на Лизу смотрела, и на Славу тоже, но потом снова голову на руки положила, ненадолго, в полной тишине, а потом встала.

— Появилась? — спросила Надя. — Или сон все это?

— Явь, — сказал Слава. — Реально все, Надежда Тимофеевна.

— Ну и хорошо, — сказала Надя. — А то я тебя заждалась.

— Слава! — Лиза кричала. — Уберите ее отсюда!

— Все, — сказала Надя. — Поминки кончились. Ребята, подымайся кто как может. А кто не может, пускай товарищи подсобят.

А Надю ребята эти подгоняли к балкону. Шли на нее, к балкону. Молча шли...

— Уходи по-хорошему, — сказал ей пожилой. — Плохо тебе будет.

— Ну, давай! — сказала Надя, отступая к балконной двери. — Я милицию звать не стану. Не бойся. Ты себя не бойся.

Парень в красном шарфе достал нож.

Лиза и Слава остались притертые к стене. Парень, пьяный, уже шел с ножом на Надю. Она ждала.

— Ну, бей, — сказала Надя. — Бей.

Пока парень этот нож свой направлял, Надя отхлестала его по щекам. Раз, два. Еще раз.

И нож отобрала, очень спокойно. Сложила — он оказался очень удобным в руке, ореховая рукоятка. Теплая.

А ребята, собравшиеся на поминки, как-то незаметно смывались. Один за другим.

Остались только Лиза, Слава и Клава, да стол этот неприбранный. И нож у Нади в руке. Она его раскрыла.

Длинный нож, тонкий.

На студии телевидения Надю повели сначала в примерную.

Тетрадь Шнаиков

Она не сопротивлялась — куда вели, туда и шла. Коридоры, коридоры — пластик, лампы дневного света, а он вовсе и не дневной, а жесткий, холодный.

Коридор бесконечен.

Зеркало.

Надя рассматривала себя. Ничего, все как следует. Причесалась, кофточка розовая, воротничок из-под нее белый.

Так, все как надо, и она не обращала внимания на то, что ее чуть подмалевали, слегка подкрасили, что текст на столе гримерном лежал — всего две страницы, две странички печатного текста, очень аккуратно выполненного — все буквы разглядишь.

Тот парень, который отвечал за нее, за ее выступление, вертелся тут же, и суэта его Надю раздражала.

Гримерша спросила:

— Вам тон посветлее?

— Спасибо, — сказала Надя. — Все замечательно.

Пошли.

В разных домах в этот час светились телевизоры. Светился он и у Кости, он сидел, ждал...

— Слово предоставляется знатной работнице, кавалеру ордена «Знак Почета», кандидату в депутаты Верховного Совета СССР Надежде Тимофеевне Смолиной.

Это был местный «Голубой огонек». Столики стояли с бутылками боржома и лимонада, и ведущие очень весело расхаживали между столиков, приглашая к разговору выбранных людей, а люди эти, выбранные, вели себя скромно, и неловко им было пить боржом, кофе и что-то говорить развеселым голосом.

— Итак, Надя, вы наша гостя, — сказала дикторша телевидения, присев к Наде за столик. — Что бы вы хотели сказать вашим избирателям, вы, самый молодой наш депутат?

— В Первомайском районе, — сказала Надя, — вы наверно, знаете, где это, есть свалка, общегородская.

Дикторша, сидевшая рядом, попыталась переменить тему, но Надя взяла ее за руку и продолжала говорить — прямо в камеру.

— Как тебя зовут, девушка? — это она у дикторши спросила.

— Светлана Бодрова, — сказала дикторша.

— Ты где живешь? — спросила Надя.

— На проспекте Коммунаров, — ответила дикторша.

— Значит, тебе, Света, повезло, — сказала Надя.

— Вот, — сказала дикторша, — сейчас споет наш московский гость...

Камера двинулась к московскому гостю, который был уже готов запеть и микрофон держал в руке.

— Песня про Волгу, — объявила дикторша. — Волга — это колыбель...

Надя пошла вслед за ней, забрала микрофон у певца и пошла на камеру.

— Песни споем потом, — сказала Надя. — После, товарищи. Я тут впервые, на «Голубом огоньке», и тут веселья мало, конечно, но раз уж меня позвали и я пришла, то я не кофе пить тут буду и песни слушать — это после; я по другому поводу. Вы меня выдвинули в депутаты, спасибо вам, — Надя поклонилась. — Вы эту камеру, — это к телевизионщикам, — вы ее поближе, а то, я знаю, плохо слышно будет... Вот, товарищи, я коротко скажу. В Первомайском районе свалка, на весь город позор. Туда все, извиняюсь, за выражение, дерьмо свозят. А завод по переработке всего этого — через четыре года предполагают строить! Понимаете! Четыре года! За эти четыре года чего только там ни случится! Я уже не говорю, что дети там. Так вот, товарищи, я вас призываю, через телевизор, в субботу, то есть завтра, всем туда прийти, кто с чем, и уничтожить все это, всю эту свалку, извиняюсь, дерьма. Лучше всего с утра. Я там буду, товарищи. И жду всех. Спасибо, как говорится, за внимание...

Тетядак Шлаков

Тут камеру отвели быстро в сторону, но Наде это было уже безразлично. Камера поехала к певцу, который уже очень нервничал, но собрался и запел:

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова...

...Надя шла по коридору студии, бесконечно длинному, а за ней бежала ассистентка. Бежала, что-то говорила, но Надя ее не слушала.

Ночевала Надя у Лизы. Дома ее не было. Надя легла на диван, накрылась пальто, свет не зажигала. Лежала, ждала. Тихо было в доме. Клава ее больше не беспокоила и даже с чаем не обращалась. Лежала Надя, слушала, как трамваи за окнами гремят, как кто-то на мотоцикле пронесся без глушителя — шум на всю улицу Гагарина. Спать, надо спать.

И тут пришла Лиза, дверь открыла своим ключом, вошла тихо.

Надя и не встала, а только посмотрела на нее с дивана.

И Лиза не подошла, а в дверях осталась.

— Есть хочешь? — спросила Надя. — Там, на кухне, я тебе тарелкой накрыла. Рыба жареная...

— Рыба жареная... — повторила Лиза.

— Ну, какая есть, — сказала Надя. — Ложись спать.

— Нет уж, нет, — сказала Лиза. — Вы эту рыбу сами кушайте, на здоровье. Я вас ненавижу, ясно? Вот, шла по дороге и решила на огонек зайти... И сказать: ненавижу вас я.

— Но темно же тут, Лиза, и никаких огоньков нет. — Надя не приподнималась с подушки. — Сядь, не уходи... Тоска у меня что-то...

— Так вам и надо, — сказала Лиза, — Так вам и надо...

— Я дома уже неделю не была, — сказала Надя. — Как там и что...

— Я вас по телевизору смотрела, очень красиво выглядели, — сказала Лиза.

— Ты опять выпила? — спросила Надя.

— Конечно, — сказала Лиза.

— Ложись спать, я тебе постелила, — сказала Надя. — Там и простыни я купила, и наволочка чистая, ложись, спи...

— Ох, какая добрая! Ох, какая заботливая! Наволочку купила, чистую!

Надя отвернулась к стене, накрылась с головой.

— Ненавижу! — сказала Лиза. — Ненавижу! За все! За все!

— Не ори. — Надя и не повернулась. — Ребятишек разбудишь. Ложись и спи. Тебе же лучше.

Лиза, как была, упала на раскладушку. Лицом вниз. Надя осторожно ее раздела, та не сопротивлялась, а только всхлипывала, и все теплое, что было в доме, Надя на Лизу положила, и чаю ей принесла, но та не стала чай пить, а уткнулась лицом в подушку.

А Надя, накинув одеяло, села рядом, а после и прилегла сбоку, и обняла ее осторожно — плечи у Лизы вздрагивали во сне, и лицо было беспомощное, детское.

А мотоцикл, тот самый, без глушителя, мчался по уже совсем пустым улицам.

Мотоциклист (это был Славка) шлем где-то забыл, оставил.

Неистово он мчался, взлетал на булыжные улицы, и машина его на дыбы становилась, как конь, и Славка укрощал ее, неся вдоль набережной, мимо Волги, темной, тихой, мимо гостиницы, стекляшки этой в двадцать семь этажей, а она вся еще была в огнях, и еще теплоход, последний, у пристани стоял, музыка оттуда неслась.

Тетрадь Шнапиков

Отчаянный он был парень, Славка. Вот так, наверно, чемпионы мира выигрывают, но Славке соревноваться в эту ночь было не с кем. Вот если только с самим собой. Да с улицами, со спусками, подъемами, поворотами внезапными — он и скорости не снижал, а подхлестывал и подхлестывал себя, и коня своего с высоким, нестандартным рулем.

Костя открыл дверь на долгий звонок.

В дверях стоял Славка. Кожаная куртка на нем, старая, летчицкая, — откуда они такие куртки достают?

— Заходи, — сказал Костя.

— Я ненадолго, — Славка вошел. — Поговорить надо.

— Проходи, только тихо...

Они вошли в комнату. Лампа у Кости горела, прикрытая платком. Книжки на столе. Тетрадки.

Дочь спала.

Славка осмотрелся, дальше порога не пошел.

— Ну, что ты? — спросил Костя. — Проходи.

— Пошли на кухню, — предложил Славка. — Я тут выпить принес... Ты не возражаешь? Поговорить надо, Костя, я серьезно... Ты же видишь — я ни в одном глазу...

— Пошли, — сказал Костя.

Он включил свет. Осторожно прикрыл дверь.

На кухне они уселись за стол, клеенкой покрытый. Славка поставил бутылку. Костя открыл холодильник.

— Смотри, — сказал он. — Все молочное. Ты творог любишь?

— Мура все это... — Славка махнул рукой. — Что я, ужинать к тебе пришел?

— Вот яблоки есть, — сказал Костя. — Сойдет? Колбаса.

— Да сядь ты... — горестно приказал Славка. — Ладно... Ну, яблоки. Какая разница...

Разлил сам, поровну. Выпили.

Славка начал без предисловий. Только яблоком хрустнул — вот так он мотоцикл мотал по городу, так и яблоком

яростно хрустнул. Молча достал нож, положил его перед Костей:

— Вот, возьми, это я у Лизы... Ну, час назад...

Костя повертел нож в руке.

— Знакомая вещь...

— Да, Надя сама тогда вернула... Борьке Степанову... Набила морду и вернула... А Лизка у него отобрала, да он, дерьмо, сам ей сунул. стакан портвейшка сначала, а после — и сунул... А она, дура, взяла... — Славка помолчал. — Костя, мотай отсюда... Забирай Надю, дочку — и... Плохо вам будет...

— Пугаешь? — спросил Костя.

— Нет. — Славка говорил серьезно. — Я не пугаю. Надька, она человек... Думаешь, я такой, не понимаю?.. Я понимаю... Только плохо это кончится!

— Опять пугаешь, — Костя говорил спокойно.

— Костя... Ты что? Ты на самом деле ничего не понимаешь? Или прикидываешься? Ты что, с Луны? Даже Лизка, дура, могла ее сегодня ночью, сонную прибить... За отца, так она считает... Лиза — что! А эта вся рвань!.. Да о чем мы говорим! Она жена твоя, а ты книжки под абажуром читаешь!

— Пугаешь, Славка, — сказал Костя. — Пустой номер.

— Нет, не тот у нас получается разговор, Костя! Я ведь Лизу люблю... Тебе это могу сказать, никому не говорил — ей не говорил... Ну, дело ночное, можно... Надька твоя думает, Лизе легче, если она с ней. На завод чуть ли не за ручку водит. Кормит. Книжки приносит интересные... Очень интересные книжки. А зачем? Кому это нужно — она спросила? Она, конечно, идейная, и все такое. А тебе от ее идейности хорошо? Ленке вашей хорошо? Ну и черт с ней! Пусть живет, как хочет! Самоед она, твоя Надька! Женюсь на Лизе, и все, и крышка! Но — опять твоя Надька! Что ей надо? Ну что! Как забор. Никого к Лизе не подпускает. Какая-то монополия, что ли! Меня, понимаешь — меня! — через милицию от

Геннадий Шнапков

Лизы отвела! — Славка говорил без истерики, ясно. — Ну что — милиция разбирается, кто кому нужен? При чем тут милиция-полиция? Я ее люблю, я все для нее сделаю, а она у Надьки как поднадзорная!

Славка выпил.

— Вот Надька говорит, что людей любит... А она не людей любит, а себя! Ей так удобнее, выгодней — смотри, какая я хорошая, а какие вы все подонки...

Славка говорил громко, забыл про девочку, за стеной спящую, забыл, а девочка проснулась и заплакала.

— Ты погоди, — сказал Костя и встал. — Погоди. Я сейчас.

Вскоре он вышел на кухню с девочкой, завернутой в одеяло. Ноги босые у девочки торчали, она хныкала.

Славка сидел молча.

Костя ходил по кухне, укачивал. Но девочка все хныкала и, судя по всему, намеревалась и зареветь — всерьез.

— Может, ей на горшок надо? — предложил Славка с ясностью выпившего человека. — Чего ты ее качаешь? Где горшок?

— Под кроватью, — сказал Костя. — Давай...

Славка принес горшок.

Они посадили девочку на него.

А сами к столу.

Девочка со сна, спросонья, смотрела на отца и незнакомого дядю, принесшего горшок и так неловко ее на горшок посадившего.

— На Надьку похожа, — сказал Славка. — Принцесса на горшке. Сейчас бы сфотографировать, на память... У тебя аппарата нет?

— Да снимал я ее на горшке, — сказал Костя. — Целая серия есть.

— А хорошо ей сейчас, — сказал Славка, — горшок, что ли, мне купить? Все радость...

Так они посидели недолго.

Лена на горшке, а ребята за столом, и Лене явно все это нравилось — сидеть среди ночи рядом с папой и не

спать... И мало ли что вертелось у нее в голове, это все тайна.

А пока что Костя снял ее с эмалированного трона и в комнату унес...

А когда он вернулся на кухню, Славки там не было.

Стояла недопитая бутылка. Нож лежал, тот самый, с ореховой ручкой.

А через какое-то, очень недолгое время взревел мотоцикл, без глушителя, и умчался в ночь.

И в мае бывают пасмурные дни, предгрозовые.

Небо еле раздвинулось, еле что-то пропущилось сквозь облака, летящие низко.

Утром — а было часов шесть, не больше — свалка эта знаменитая смотрелась не так уж и страшно. Фантастика, конечно, но при определенном освещении вся эта огромная, совершенно нереальная гора отбросов, ржавых листов железа, обломков чего-то, листов бумаги, которые тихо-тихо взлетали, кружась, под утренним ветерком, опадали, и еще какие-то ящики, доски, банки, битые бутылки, тряпье — все это смахивало даже на какое-то нелепое произведение искусства. На любителя, конечно.

Но близко к этому произведению подойти было никак нельзя. В противогазе — можно, а так — нет.

И все же рано утром стоял около этой горы один человек. Это Надя стояла.

Свалка не была чем-то единым. Это, скорее, был хребет, а не гора — пологий, упругий. Кое-где что-то выступало, вздымалось, дыбилось, но при таком освещении, смутном еще, сумеречном, все сглаживалось, и очертания, если не вглядываться подробно, были без определенностей, без деталей...

Надя стояла напротив, в светлом плаще. Руки в карманах. Стояла, соображая.

Дома вокруг, невдалеке, и свет в окнах вспыхивает. Одно окно, другое.

Тетрадь Шпалков

Холодно было еще, рано, сыро.

И снова — рев мотоцикла. Славка, сделав круг, затормозил перед Надей.

Она не удивилась. Славка был такой же замотанный, в грязи, и шлем он привез — для кого, пока что неизвестно.

— С добрым утром, — сказал Славка. — И с хорошим днем.

— Ну и грохот от тебя. — Надя обошла мотоцикл. — Красивый, красный... — Она ручки потрогала, нестандартные. — Научил бы как-нибудь, на досуге... С мотоциклом у меня не вышло... Это раз... Мечтала всю жизнь на планере полететь. Это два... Море ни разу не видела. Представляешь, какая жизнь?

— Да, уж чего хорошего... — сказал Славка. — А мотоцикл — это просто. Садись.

Славка ей показал, куда нажимать, шлем предложил, но Надя от шлема отказалась. И пронеслась вокруг этой горы, и ехала ничего, рулила.

Славка стоял, смотрел. Шлемом помахивал.

А Надя круг этот неровный завершала. Все мимо летело, она и не оглядывалась — летит и летит.

После они присели на камнях.

С л а в а. Что ты собираешься с этим делать? (Он показал на свалку.)

Н а д я. Не знаю.

С л а в а. Ты думаешь, кто-нибудь придет?

Н а д я. Придут. Ты же пришел.

С л а в а. Я — другое дело.

Н а д я. У всех свои дела. Но ты же пришел.

С л а в а. Чем я могу тебе помочь?

Н а д я. Да ничем... Пришел, и спасибо... На мотоцикле я покаталась... Славка, Славка... Ты Лизу береги. Вот и все.

Славка ничего не ответил. Он ходил около этой горы, примериваясь, приглядываясь.

С л а в а. Дело это безнадежное, Надя. Честно.

Н а д я. Как сказать. По-моему, да. Но переступить через безнадежность можно. И нужно.

С л а в а. Ты куда отсюда не уходи.

Н а д я. А я и не собираюсь. Я подожду, люди должны прийти.

С л а в а. И ты веришь? Веришь, что придут?

Н а д я. Ты пришел. Приехал, пригрохотал.

С л а в а. Не уходи отсюда никуда, я быстро.

Он умчался, вздыбив своего красного коня, а Надя осталась одна. Отошла в сторону, присела на камень какой-то серый.

Облака, облака. Но люди подходили, Не сразу, не вместе, поодиночке, и семьями тоже шли. Собирались люди молча. Сколько их было, сюда пришедших?

Не подсчитать. Как сказал поэт: «Толпы лиц сшибают с ног». Вернее и не скажешь.

Шли люди и шли.

Они окружали постепенно эту гору, холмы эти. И милиция вскоре приехала, но поскольку все было тихо, то милиция не вмешивалась. Только к Наде подошли.

— Вам в обком к десяти утра надо прибыть, — сказал старший лейтенант.

— Не знаю, — сказала Надя. — Вряд ли я смогу. А вот вы, товарищ старший лейтенант, зря сюда приехали.

— Мне приказали, я приехал.

Люди шли и шли, присаживались, завтраки раскрывали — день был субботний, и транзисторы уже где-то играли, хотя было еще сравнительно рано, и гитары. И вокруг этой горы образовалось что-то вроде праздника, вроде поездки за город, пикника, если хотите. Общественное мероприятие, или — так уж получилось — повод, чтобы собраться вместе, и случай такой уж выпал — недалеко идти.

Все разом.

— «Казачок, казачок... Казачок — казачок...» Та-ра, та-ра...

Геннадий Шпалников

Надя шла между скатертями на субботней траве, на досках, тоже что-то свалили, и транзисторы играли.

Хороши вечера на Оби,
Ты, мой миленький, мне подсоби,
Буду петь и тебя целовать,
Научи на гармошке играть...

Шла мимо. Ее узнавали. Тянули посидеть.

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат...

Шла, глаза чуть прикрыв, к дороге.

Все выше и выше; и выше
Стремим мы полет наших птиц...

Все сидели в некотором отдалении от горы, не приближаясь к ней. Пили. Закусывали.

Надя шла мимо всего этого.

Прошла и села на траву.

Музыка вокруг. Вроде бы и праздник.

А люди шли и шли. Садились, пили, пели, отдыхали, глядя на эту свалку.

Все было отдельно: свалка — и люди вокруг.

Надя сидела на траве. Ждала. Чего?

Уже танцы начались около свалки. Под транзисторы. Под гитары. Под хлоп-хлоп и хула-хуп.

Они приехали внезапно: Славка и Лиза. Мотоцикл резко остановился, прямо перед Надей.

— Дашь прокатиться? — сказала Надя, не вставая с травы.

— Только вместе, — сказал Славка. — Лиза, ты погуляй, у нас тут небольшие дела.

— Ладно, — сказала Лиза. — Я погуляю.

Лиза медленно шла среди людей, сидевших на траве, на досках, на газетах.

Транзисторы, стаканы, яблоки, огурцы. И вся команда отца ее покойного была здесь, и звали они ее, но Лиза шла мимо.

— Куда ты меня привез? — спросила Надя, когда Славка остановил мотоцикл на совершенно пустом шоссе, чистом, идеально вымытом дождем, в лужах еще, но сохнущем, с ясным обозначением бетонных плит.

— Надя, — сказал Славка. — Если дело безнадежное, то, как ты сама сказала, надежда всегда есть.

— Ты проще говори, обыкновенными словами, — сказала Надя. — В чем дело, Славка?

— Да все очень просто. Нам нужен бензовоз. Один, а лучше два. Вот по этой дороге они ходят. Вот здесь. Я знаю. По этому шоссе, ясно? Тебе, конечно, это не простят, а люди поймут.

— Ты точно знаешь, что они здесь ходят? Эти бензинные машины? — спросила Надя.

— Да, точно.

— Пусто вокруг, — сказала Надя. — Но это ничего. Я тебе верю, Славка. А что касается — поймут, простят — плевать. Честное слово, меня это совершенно не интересует. Кто чего боится, то с тем и случится, а ничего бояться не надо! Понял?

— Надя, — спросил Славка, — а зачем тебе все это? Надя сразу не ответила.

День только начинался. Шоссе пустое, деревья, воздух, еще непонятный, легкий воздух — в мае такой бывает.

— А тебе зачем все это? — спросила Надя. — Зачем ты здесь сидишь?

— Не знаю, — сказал Славка. — Ничего я не знаю. — Он посмотрел на часы. — Вот у нас еще минут десять осталось — на все разговоры.

— Зачем ты Лизу привез? — спросила Надя.

— А куда ее девать? Ты же рано ушла, а она...

— Что она?

— Ну что? — сказал Славка. — Все обыкновенно. Яичницу ей сделал. Чай — ну что еще?

Госларий Мнашков

— Славка, ты не покидай ее, — сказала Надя. — Не надо ее покидать. Люби ее... Она не злая, это так. Не покидай, ладно? У меня программа очень простая: нет ничего вообще, а есть люди живые, и, понимаешь, когда мне говорят — народ, я этого не понимаю. — Надя пошла по бетонке. — Слово какое — народ! А это все не так... Это только сволочи могут за именем этим прятаться! Народ — это ты, Лиза, понимаешь? Население. Вот так.

Они, Славка и Надя, легли на шоссе, на бетонку эту сохнущую. И Надя видела — вплотную, разглядывала подробно — лужа, а в ней небо опрокинуто, небо это, поверхность эта, облака, а еще была шершавость под рукой бетонки, и гром машины приближался.

Шофер, ехавший на бензозаправщике, еще издали увидел два распластанных тела, но лежали они, как живые, — убитые так не лежат.

Один из лежавших даже присел. А девушка лежала, руки раскинув, и в небо смотрела.

Тормозить было надо, и парень затормозил.

— Выходи, — сказал Славка шоферу.

Надя стояла рядом.

— Нет, — сказал парень. — Нет.

Но из кабины он вышел, с этой ручкой, которой машину заводят, — тяжелая ручка.

— Я тебе ничего объяснять не стану. Времени нет, — сказала Надя. — А этой, не очень-то размахивай.

Но шофер, парень этот, пошел на них, и не размахивал он железкой, а держал ее твердо.

Надя стояла, смотрела, как он на нее идет.

Славка рванулся, сбил парня — железку бумерангом запустил.

Парень еще не успел прийти в себя. Он, как во сне, видел красный мотоцикл, свою машину, в которую садятся эти, что на дороге лежали, и машина его — рывком — исчезла.

Славка вел машину, Надя сидела рядом.

— Спасибо, Славка, — сказала Надя.

— Не за что! — весело сказал Славка. — Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново! Понимаешь? Я люблю тебя, жизнь — я люблю тебя снова и снова! Эх, Надька, — все прекрасно!

Они подъехали прямо к свалке, вплотную. Там, у бензовоза, шланг есть. Надя взяла его и пошла на эту фантастическую гору.

Подъехали они внезапно, и никто ничего не мог понять — куда она идет, что за собою тянет и что за машина — вдруг.

Надя тянула за собой шланг, и бензин лился на все это — лился, но никто не понимал, что происходит, что сейчас произойдет.

Славка понимал.

Надя тянула шланг этот до самой вершины горы, падала, вставала — она уже сама вся мокрая, в бензине этом.

Вот теперь спички достать. Вот и все.

Повезло — с первой спички все сразу вспыхнуло.

Ярко, весело.

Надя стояла в огне.

Это недолго было, упала она, и к ней не так-то просто было прорваться — пламя охватило все, и те, кто бросился к ней — Славка, Лиза, какие-то незнакомые люди — не успели, не смогли.

...Надя падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле, еще далекой, утренней, с голубыми,

Геннадий Шнапков

желтыми, светло-зелеными квадратами полей, рекой, сверкающим полукругом огибавшей город, еле видимый справа с пестротой крыш, домами...

— ...Надежда, я вернусь тогда, — говорила Надя, а не пела, приближаясь к земле, — когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локоть ответит...

Это еще не падение — полет, когда тебя вращает, если захочешь, а не захочешь — ты свободно лежишь на плотной подушке воздуха, плоско лежишь, как на воде, и через воздух, как через воду, видишь, как внизу, в прозрачной глубине, проступают предметы, знакомые тебе, но пока что они так удалены, и приближение их едва заметно...

— ...Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги, и добрый мир твоих забот...

Полет пока что — игра с пространством захватывает, пока земля не напомнит о себе, надвинувшись резко.

— ...Но если целый век пройдет, и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.

Лицо Нади скрыто за широкими очками. На голове — белый шлем. Полет ее направлен.

Вокруг нее разбросаны в небе такие же фигурки парашютисток, летящих к земле.

Плавные, еле заметные движения рук — и Надя уже скользит вправо, приближаясь к одной из парашютисток, тоже в белом шлеме, в ярко-синем комбинезоне, в тяжелых ботинках, так свободно и странно повисших в пустоте.

Маневр Нади понят и принят — и вот уже они летят рядом, вытянув руки, пальцами касаясь друг друга, сближаются шлемами, расходятся, продолжая полет, и соеди-

няются снова, как бы приглашая всех остальных, летящих вблизи и в отдалении, собраться вместе.

...Но если вдруг,
Когда-нибудь,
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сражение
Ни покачнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой, на гражданской,
И комиссары в пыльных племах
• Склонятся молча надо мной.

Это Надя договорила, приближаясь к земле.

Вскоре, образу вытянутыми руками круг из белых, синих, оранжевых комбинезонов, они цветком висят над землей, неясно проступающей сквозь редкие облака, еще далекой.

ВСЕ НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ*

— Там, за рекою,
Там за голубою... —

просыпаясь, Митя вздрогнул, ясно услышав эти слова. Будто бы ему кто спел их — голосом высоким, чистым и знакомым. Каким-то давним будто бы голосом, но чьим, Митя вспомнить никак не мог.

Митя хотел было снова заснуть — рассвет здесь, внутри старой сумеречной их московской квартиры, едва ощущим был только, — но это ему не удалось, то ли голос его не оставлял, то ли — чей он — опять силился вспомнить, но сон ушел окончательно.

Блуждая, прошел по комнате, вышел на кухню — за окном, посередине московского дворика росло дерево, большое старое дерево, и оттого, что его тоже тронул рассвет, оно казалось сейчас сизым. Это отметил про себя Митя, стоя посередине кухни в пижаме и шлепанцах на босу ногу, — и песенка в голосе вертелась, иногда мелодией только, но вдруг опять обрывки слов выплывали, — и этот голос — он его узнавал:

Там, за рекою,
Может, за Окою —
Дерево рябое...

Дерево отражалось в его окне. Сквозь зыбкое движение листвы само лицо виднелось неясно. И казалось не только лицом даже, но частью — этого дерева, листвы, ствола, стекла, — всего частью.

* Сценарий написан в соавторстве с С.А. Соловьевым

Потом голос затих и исчез совсем. Больше не возвращался. И даже мелодия улетучилась. Тогда он почувствовал, что замерз. Но назад, в теплую постель, все-таки не вернулся. Блуждая, прошел по прихожей, свернул на кухню.

Там тоже был полумрак. Он стоял посередине кухни, опять не слишком понимая, зачем пришел. Мелодия покинула его, и шелест дерева не достигал, но бессонное волнение не исчезло. «Это, наверное, я просто есть хочу», — подумал он, подошел к плите и наугад поднял какую-то крышку. Вилкой подцепил макаронину. Дальше он и сам не сообразил, как все это произошло. Крышка вдруг скользнула между пальцами и со страшным грохотом уцала на кафельный пол. Он испугался резкого звука и вздрогнул. Тогда и кастрюля свалилась. Тут же что-то стеклянное разлетелось с жутким звоном. Собака залаяла — рядом совсем — обалдело и громко.

«Ах, какой компот!» — почему-то подумал он, и в прихожей щелкнули выключателем, и там зажегся яркий свет. Он вышел.

— Это что? — спросили.

«У нее довольно приятное сопрано...» — подумал он, но вслух ничего не сказал. На пороге спальни стояла его жена Светлана — в длинной кружевной рубашке до пят. «Это невероятно, но она смахивает на Джульетту...» — опять подумал он про себя и опять смолчал.

— Это ты? — спросила Света, от света щурясь.

— Это я, — сказал Митя.

Страшно залаяла собака, будто след взяла.

— Что случилось?

— Ничего. Я кушал.

— Что ты кушал? — удивилась Светлана.

— Макароны...

— Матильда! — вскричала вдруг Светлана страшным голосом. — Если ты не замолчишь, я скончаюсь!

Гелладий Миланков

Лай смолк, а Мите показалось, что Светлана сейчас рухнет в обморок.

— О боже! — сказали тут явственно и в то же время будто из преисподней.

В свет выкатилось кресло на колесиках. В кресле сидела опрятная старушка в белом одеянии, в буклях и чепце. Все переменялось. Сцена стала походить на бес- смертную «Пиковую даму».

— Боже! — продолжила старушка. — Это я скончаюсь!..

— Сейчас же перестань волноваться, мама! — сказала Светлана жарко, с участием и поцеловала старушку в чепец. — Ничего страшного. Митя кушал.

— Что Митя кушал? — спросила старушка строго, с недоверием, не слишком соображая спросонья, что происходит.

— Макароны, — опять сказал Митя.

— Почему макароны? — строго спросила старушка. — Почему ты опять не кушал хек?

Ответить Мите не удалось. Матильда загавкала с новой силой.

— Матильда, смолкни! — крикнула Светлана в пространство, и лай прекратился.

— Я думала — мне все снится. — Все повернули головы. Новое лицо явилось. В дверях другой комнаты заспанно шурилась на них девочка лет пятнадцати. Его дочь, Митина, — Катя, — не его одного, разумеется, — общая их дочь — со Светланой.

— Тебе все снится, — мрачно подтвердила мать.

— А что произошло?

— Ровно ничего, — ответила Светлана просто. — Папа кушал.

— Он почему-то кушал макароны, — пояснила старушка, — хотя мог кушать хек.

При слове «хек» Матильда снова обезумела.

— Я задушю тебя! — крикнула Светлана, и тишина воцарилась.

— Ох! — выдохнула девочка в тишине и прошлепала босыми ногами по прихожей к отцу. — Ох! — сказала она еще раз и чмокнула Митю в щеку.

— Не понимаю, — сказала старушка.

— Чего? — спросила Катя. — Чего вы всегда не понимаете? Ему сейчас, может, сорок пять стукнуло.

— Кого стукнуло? — опять не поняла старушка.

— Мамочки! — сказала Светлана, к старушке не обращаясь. — Прости.

И тоже поцеловала Митю в щеку. В другую.

— Bravo! — сказала старушка.

— Мите, мама, сорок пять сегодня исполнилось, — объяснила Светлана. — Поздравь его.

— Да, — горько сказала старушка. — Это склероз. Поди сюда, Дмитрий!

И Митя подошел. Старушка торжественно приложилась к его лбу.

«Ничего, — подумал Митя про себя, согнувшись. — Все-таки она довольно славная старушка. Ничего-ничего... Все пока идет ничего».

Когда же это было? — так давно, что и было ли вообще? — он не верил, конечно, что было, но вот, пожалуй-ста, — фотокарточка, — документ, можно сказать, — правда, желтая уже совсем, без угла, — и он на ней, жухлый, голый, ползет куда-то, — куда, господи? — его за лодыжку чья-то рука держит, когда-то мать говорила, что это бабка, но никакой бабки он и вовсе не помнил, а оттого и к фотокарточке относился совсем сторонне — никогда она его не задевала, и никогда он не мог соединить себя, каким себя знал, представлял, с этим пухленьким нечто, ползущим в никуда куда-то, да ему и неприятно было это ангельское дитя, — и потом, — дальше — вот под фикусом в кадке с матерью и отцом, боевым военкомом, он в матроске был, — ее, матроску, он слабо припоминал и теперь, — а вот и школа, — первый класс, и дальше — ворошиловские стрелки, — в ряд, со значками

Гелладий Шпаликов

на цепочках, — и он в том ряду, — шея то-о-ненькая, — тоже стрелок, — это уже ближе, — тоже далеко, но все-таки ближе, — это он уже припоминать начал, — а вот их выпуск школьный, — они у забора почему-то все стоят, — у длинного серого забора, — что за забор-то? — плац это, — вспомнил, — плац, — военподготовка, и они, — это сорок третий, — все восемнадцать ребят, весь выпуск их у забора этого, — а в живых осталось трое из восемнадцати, — потому что дальше война была, — война, — это он помнил, конечно, — если вспоминать начинал, то вспоминал редко, — что-то мешало ему вспоминать про это часто, а помнить всегда и совсем невозможно было, — что-то в воспоминаниях этих его тяготило, — и не страх один только, — вовсе нет, — хотя и страх этот он помнил, конечно, — но не в нем была суть, — другое, — что-то хорошее, страшно сказать, в тех годах его смущало, но что именно, — так припомнить он и не мог, а, честно говоря, — и не хотел, — вот послевоенный он уже, — такой до смешного мирный вузовский выпуск, — большинство в шляпах, — но и здесь толком вспомнить ничего он не мог, — да и мудрено было вспомнить, — их там на этом картонном листке человек сто, может, — и все в кружочках, — а большинство в шляпах, — он и сам-то себя всегда подолгу отыскать не мог, — хотя каждый раз и силился запомнить то место, где его кружочек; а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, — у орла, распростершего крылья, — и надпись художественным росчерком: «Ессентуки» — он, Светлана, Катя двухгодовалая, — это уже близко, тут он уже ориентировался, в общем-то, довольно складно.

Господи, да когда же все это было? Да и было ли вообще?

Но вот, — фотокарточки, — документ. А значит, — наверное, было. Было все это. Вот так.

Между деревьев везли каталку. Везли сосредоточенно, серьезно. Везли четверо в белых халатах — крайним

справа был Митя. День был прохладный, ясный. Недавно дождик прошел. Трава зеленела ярко.

Вывернулись по дорожке к дому. В кирпичной стене были проломлены ворота. Теперь ворота были закрыты. Собственно не ворота даже — огромный белый лист рифленого железа, по которому очень большими красными буквами написали: «Не курить!». Остановились у ворот. Каталка сверху была прикрыта куском брезента. Тихо было. Брезент хлопал по ветру. Митя подошел к стене, в которую вмонтированы были стационарные кнопки. Одна красненькая, другая черненькая. Митя с усилием прижал красненькую, тут же что-то загудело, рифленный лист с надписью, — погромыхая, медленно пополз вверх. За листом, за воротами уходила вниз, куда-то в черноту, асфальтовая дорожка.

Взяли каталку и пошли вниз. Растворились в черноте.

Вдруг Митя возвратился. Прижал черненькую кнопку. Опять зловеще загудело, лист пополз вниз. Митя испугался и ловко юркнул под закрывающий проем лист. Лист тут же с грохотом упал на землю, и все стихло. Будто и не было. Где-то птички пели.

Теперь везли каталку длинным темным коридором. По потолку висели кабели. Вспыхивали лампочки в проволочных сетках. Везли все так же сосредоточенно, без разговоров. Остановились снова у куска рифленого железа. Не такого, конечно, огромного. Поменьше. Рядом вешалка стояла.

Один из сотрудников снял шляпу и повесил на вешалку. А Митя снова прижал красненькую кнопку. Опять загудело и загромыхало. Дверь в сторону поползла. За дверью светил яркий свет.

Огромная комната без окон, без дверей была вся облицована белоснежным кафелем. В беспорядке были расставлены железные стулья. На стульях сидели люди. Большинство в белых халатах. Шло научное заседание.

Геннадий Шнапков

— Вот он! — сказал высокий мужчина с суровым лицом, и все повернули головы.

Митя с товарищами вкатили коляску. Остановились у стены. Взоры всех были обращены на них. Смутьившись, Митя отошел к стенке и опять кнопку прижал. Моторы заурчали, лист погромыхал и стих.

— Прошу секунду внимания! — опять сказал мужчина. Это был профессор, руководитель научного эксперимента, звали его Онанием Ильичом Грибановым. (Онанием вместо Анания записали его по ошибке в метрике, да так и закрепилось на всю его жизнь.) Онаний Ильич ловким движением иллюзиониста сдернул брезент.

На каталке были укреплены колбы, соединенные никелированными трубками, матово светились манометры со стрелками на нулях — все вместе напоминало комбинацию искусственного спутника с радиатором парового отопления.

Трое молча углубились в разглядывание сооружения.

— Коллеги! — сказал Онаний. — Позвольте ознакомить вас наглядно с опытным образцом установки «Синдром 810». Новый вариант «Синдрома», как я уже говорил, отличается чрезвычайно высокой характеристикой диффузионного поля, устойчивостью молекулярных соединений, способных к ионному обмену, поистине уникальной гидрофильностью, векторно подвижен, как интеграл линейных ускорений, обладает надежной термоизоляцией емкостей гидростабилизированных платформ, с уходом порядка всего одна десятая процента углового градуса в час...

Онаний Ильич перевел дух. Слушали его внимательно.

Пока профессор говорил, Митя бесшумно тянул длинный цветовой фал от устройства к стене, где укреплен был еще агрегат, смахивающий на умывальник с металлической раковиной. Фал Митя надел на медный кран и повернулся к Онанию Ильичу.

— Первый готов, — сказал Митя.

— Так, — сказал Онаний Ильич. — Начнем, помолясь. Митя подошел к «Синдрому» и прижал ногой маленькую педаль.

Заурчало сразу — внезапно откуда-то сбоку «Синдрома» вылупился небольшой ярко-красный резиновый шарик, который медленно раздувался.

Митя следил за показаниями приборов.

— Сто... — говорил он время от времени. — Сто десять... Сто двадцать... Сто шестьдесят...

«Синдром» гудел все более натужно, угрожающе...

— Сто восемьдесят пять... — сказал Митя и добавил тихо: — Может, хватит?

— Давай! — прошептал Онаний Ильич.

— Сто девяносто пять... — сказал Митя и зажмурился.

— Еще давай!

— Двести, — сказал Митя.

— Стоп! — сказал Онаний Ильич.

Шар покачивался над «Синдромом». Гул стих, и колокольчики замолкли.

— Репард! — Онаний Ильич и протянул руку. Один из сотрудников протянул ему длинную иглу. Онаний Ильич сделал шаг к «Синдрому» и, помедлив мгновение, ткнул иглой в шарик. Шар с оглушительным треском разлетелся на мелкие кусочки.

Митя отер пот. Настала зловещая тишина.

Потом кто-то робко хлопнул в ладоши. Потом еще кто-то. Еще. Научное заседание заглохло.

— Вот так, — сказал Онаний Ильич.

К нему подошел человек в белом халате и встряхнул руку.

— Очень интересно, — сказал человек в халате Онанию Ильичу.

— Собственно еще надо расшифровать спектрограмму, — сказал Онаний Ильич с достоинством.

— Разумеется, — сказал человек в халате. — Но тем не менее общий результат вполне очевиден. Поздравляю. От имени всего института поздравляю.

Геннадий Шпаликов

И опять люди на стульях похлопали.

— Коллеги, — сказал Онаний Ильич, подняв руку. — Еще минуту внимания. В этот, как бы сказать, удачный для всех нас день мне приятно сообщить вам, что нашему уважаемому Дмитрию Петровичу Арсентьеву исполнилось сорок пять лет. Ровно двадцать лет назад он впервые вошел в эти стены.

Митя встрепенулся, будто его застигли за чем-то неприличным.

— Не вам говорить, как существен вклад Дмитрия Петровича в создание «Синдрома». Еще в первом, робком «Синдроме» пятьдесят четвертого года была использована пневматическая схема сосудов, основанная на применении так называемого шарика Арсентьева, честь изобретения которого принадлежит Дмитрию Петровичу...

Онаний Ильич смолк, а люди на стульях похлопали.

— Мы тебе, Митя, сюрпризец приготовили, — сказал Онаний Ильич уже Мите лично. — Васенька, давай! — обратился к одному из ассистентов.

Васенька вытащил из угла тюк, закутанный в газеты. Онаний Ильич царственным жестом содрал газету. Взорам присутствующих предстал «Синдром», только уменьшенных размеров.

— Действующий, — сказал Васенька.

— И вот, — сказал второй ассистент, протянув Мите здоровый полиэтиленовый пакет, наполненный разноцветными шариками. Вроде как для пинг-понга.

Онаний Ильич полез в пакет и двумя пальцами вытащил шарик. Поднял его над головой.

— Вот он, — сказал Онаний Ильич. — Скромный шарик Арсентьева. В пакете их ровно двадцать!

И все опять похлопали.

Митя стоял посередине моста. Под мышкой, завернутый в газету, торчал «Синдром». В другой руке он держал пакет шариков. Народу вокруг немного было. Летом Москва пустынная.

По мосту проехал цементовоз. У перил, согнувшись, стоял рыбак с длинной удочкой. Митя встал рядом. «Мне бы пить явайский ром, а я ношу с собой «Синдром», привычно крутанулось в голове, но обыкновенной радости не доставило. Рыбак молчал. Митя в задумчивости повертел пакет с шариками. Вынул один. Синенький. В речку бросил. Потом красненький. Поглядел. Красиво плывут.

— Балуешься? — спросил рыбак мрачно.

— Чево? — не понял Митя.

— Через плечо, — ответил рыбак мрачно. — Это не помойка.

— Что? — опять не понял Митя.

— Речка, говорю, не помойка, — сказал рыбак еще мрачнее. — Вся рыба от вас передохла.

— Иди ты знаешь куда... — сказал Митя вяло.

— Это ты иди, — сказал рыбак. — Туда.

— Ладно, — вдруг покладисто сказал Митя.

Поднял «Синдром». И действительно пошел.

— Готово? — спросили.

— Ага, — ответили.

— Давай, — сказали.

В огромной комнате — с большой балконной дверью, выходящей в сад, — было полутемно уже. А может быть, это так казалось — от старого пианино с латунными подсвечниками, от резного ли буфета, уставленного закусками, от старомодной ли висячей люстры со стеклярусом — только в комнате сумеречно было. Таинственно. Да еще громадная картина в золоченой раме, изображающая человека в лосинах и мундире на боевом коне среди взрывов. За окном огромным, за балконом вечер еще не начинался.

— Пускаю, — сказала Катя, Митина дочь.

Народу в комнате было немного. Гости еще только начали собираться.

Трое Катиных одноклассников сиротливо сидели у стены, одинаково закинув ногу за ногу.

Геннадий Шпалников

Юлия Павловна — Митина теща — в большом кружевном жабо с брошью сидела у себя в углу в покойных, правда, продранных уже вольтеровских креслах, и давний ее поклонник — Серафим Лампадов, гордый сухой старик, — привычно сидел рядом. Выглядел он тоже празднично — в синей «бабочке» в мелкий белый горошек.

Васенька — Митин сослуживец — маялся на стуле, возле бутербродов. Света — Митина жена — сидела посередине комнаты на низком пуфике, прикрыв глаза. Катя возилась с чем-то, стоящим на крышке пианино.

- Ну что ты тянешь? — спросила Светлана.
- С непривычки. Рука дрожит.
- Чего дрожит? — поинтересовалась старушка.
- Пустое, — сказал Лампадов.
- Готово, — сказала Катя.

Все затихли.

— ...Эта пластинка... — раздалось вдруг, — ...познакомит вас с тем, что такое стереофония, и поможет наладить аппаратуру...

Опять мгновение было тихо, и все в комнате сидели тоже очень тихо и неподвижно, уставившись в пространство. Вдруг музыка грянула, отчаянно, бравурно, — с разных сторон обрушились скрипки, медяшки труб, тарелки звенели празднично, барабан торжественно ухал.

- Вот это да! — наконец выдохнула Света.
- Забалдеть, — сказала Катя, застывшая как истукан.
- Царский подарок.
- Кому? — поинтересовалась старушка.
- Вероятно, Димитрию Петровичу, — пояснил Лампадов.

Скрипки возносились под небеса и падали в пропасть.

- Вы слышите ложечки? — спросила Света.
- Какие ложечки? — не сообразил Васенька.
- Там. В оркестре, — пояснила Света.

Действительно, бились в трепете ложечки.

— Что, собственно, дают? — наконец сказала бабка, натруженно прислушиваясь.

— А-а? — спросила Катя, приложив ладонь к уху.

— Бабушку интересует, вероятно, что играют? — прокричал Лампадов.

— Щедрин — Бизе, — проорала в ответ Катя, — «Кармен».

— Все-таки это довольно нахально, — вдруг сказала бабка. — Щедрин — Бизе...

— Чего? — не расслышала сквозь оркестр Катя.

— Бабушка удивляется, почему Щедрин — Бизе?.. — проорал Лампадов, и жилы на шее у него вздулись. — Почему не просто Бизе?..

— А Бах — Бузони? — проорала в ответ Катя.

— Что вы разорались? — недовольно сказала Света. — И сделайте все-таки потише. Это невозможно.

Катя сделала потише.

— Бузони-музони... — вдруг неожиданно сказал Васенька, — а Мити все нету...

И покраснел.

На столе — модель «Синдрома».

— Поразительная вещь, — сказал Митя пожилой женщине. — Уникальная.

Она сидела в середине темной комнаты, от пола до потолка забитой какими-то поблескивающими экспонатами. Громоздились разломанные пианолы, книги, опять медяшки оркестрантов, — а сверху очень яркая горит электрическая лампочка.

Митя неподалеку с оберточными газетами в руках.

— И вы говорите, что хотите передать это в дар музею?

— Хочу передать, — сказал Митя твердо. — В дар.

— Безвозмездно, говорите?

— Абсолютно безвозмездно, — подтвердил Митя. —

Я в принципе против частных коллекций. А вы?

— Да, пожалуй...

— Я не сравниваю, конечно, — но вы могли бы хранить дома подлинного Леонардо?

Геннадий Шнапков

— Нет. Не могла бы...

— Вот видите, — сказал Митя удовлетворенно. — Мы не варвары. Не гунны.

— Ну да.

— К тому же агрегат действующий... — обнадежил Митя. — У вас водопровод далеко?

— Нет.

— Поди сюда, милый... — позвал Митя, и от стены отделился худой парень в синем халате. Сквозь сильно увеличивающие очки глаза его глядели почти безумно.

— Тяни фал, — сказал сурово. — К водопроводу. И на кран надень. Потом жди команды. Понял?

— Понял, — сказал парень и пошел с фалом.

— Готов? — крикнул Митя.

— Готов!

— Пуск! — крикнул Митя.

— Чего?

— Я говорю, кран открывай. Воду пускай. Смикитил?

— Смикитил.

Митя нажал педаль. Модель заурчала. Опять красный шарик вздуться стал. Перед лицом зачарованной женщины.

— Перекрывай гидравлику.

— Понял, — крикнул парень, и аппарат затих.

— Ну, репарда у вас, конечно, нету... — сказал Митя грустно.

— Нету, — подтвердила женщина.

— Заколочку одолжите, — попросил Митя.

Она вынула заколку. Митя ткнул заколкой в шарик. Он с грохотом разлетелся. Все шло как по нотам.

— Это фантастика! — сказала женщина потрясенно.

Парень мигал огромными глазами сквозь очки.

Между тем день рождения Мити пребывал в довольно странном состоянии: он как бы уже и начался, но в то же время никуда не сдвинулся.

Гости неопределенно слонялись по квартире. Гостей прибавилось. Был тут и второй Митин коллега с женой. Подошел третий. Коллеги сгрудились вокруг стола с закусками, друг на друга не глядели, томились. Меланхолично перебирал клавиши Гоша Струйских — красивый седоватый мужчина, журналист-международник — старый друг дома.

Катины приятели все так же сидели на стульях вдоль стены. — Может быть, мы пойдем уже?.. — тихо спросил один из приятелей Катю.

— Тебе чего — не сидится?

— Сидится, — ответил приятель и замолчал.

— Может, есть хочешь? — опять спросила Катя.

— Да, — сказал приятель, но совсем не тот, которого Катя спрашивала.

— Сейчас жвачки дам, — пообещала Катя. — Струйских привез, с экватора.

Струйских перебирал клавиши, и, казалось, ему нравилось. Зажевали жвачку.

Тогда бабушка спросила:

— Это что?

— Это жвачка, — объяснила Катя.

— Дай пожевать, — приниженно попросила бабка.

И Катя дала. И сослуживцам дала. Только Струйских не взял. Не хотел. Жевали.

Тут звонок раздался.

— Слава тебе, господи! — сказала Света.

Пошла в прихожую.

Собака залаяла. Все оживились.

За дверью стоял Онаний Ильич Грибанов с супругой.

— Это мы, — сказал он громко.

Митя оживленно шагал по предвечерней улице. «Синдрома» с ним не было. Только пакет с шариками. Настроение поправилось.

— Гражданин конструктор! — закричали сзади, и Митя на всякий случай обернулся.

Теннадий Шнапиков

Размахивая руками, вытаращив увеличенные за очками глаза, за ним гнался парень из музея. Митя втянул голову в плечи и бросился бежать. Бежали по-спортивному. Споро. Потом дыхание у Мити начало сдавать. Пучеглазый чуть на него не налетел.

— Тебе чего? — спросил Митя.

— Вас просят вернуться... — задыхаясь, сказал парень.

— Вот, — сказал Митя решительно и показал кукиш...

— Гражданин конструктор! — опять сказал парень, догнав его вновь.

— Дар есть дар, — сказал Митя грубо. — Мое дело подарить. Ваше дело — дальше думать...

— Я хочу сказать... — начал парень, но Митя перебил:

— Подарки не отдарки. Соленая печать — назад не ворочать.

— Да не в этом дело... — пытался вклиниться парень.

— А в чем? — спросил Митя с вызовом.

— Вас сфотографировать требуют. На стенд. Фотография в экспозицию пойдет...

— О, мама дорогая... — грустно сказал Митя.

Но ему опять полегчало.

День рождения, в общем-то, катился. Уже бутерброды жевали. Пить, правда, не пили, но уже ели.

Говорил теперь Гоша Струйских, говорил негромко, но все слушали:

— Аллопатин, гомеопатин... Все хорошо, конечно. Все, в общем... мало... А вот полюбуйтеесь-ка, Тибет... Дичь, скажете, юрты, кибитки, китайцы, нанайцы, — а медицина феноменальная... И глубоко интеллигентная... Нирвана. Полное отсутствие всяких эмоций... И все секреты у монахов. Древние книги, черная магия... Шутки-шутки, а это еще человечество посмотрит, где черненькие,

а где беленькие... Вы нас черненькими полюбите... Ха-ха-ха!.. — Гоша поперхнулся бутербродом и закашлялся.

Катя несколько раз стукнула его по спине.

— Вот так в дышалку заскочит, и каюк, — сказала Катя.

— Чего заскочит? — поинтересовался Гоша.

— А чего хочешь, — объяснила Катя. — И никаких монахов.

— Катя, не мешай, ради бога, — строго сказала Света. — Ну-ну, Гоша.

— Вопрос в том, как до них добраться...

— До кого? — вклинилась Катя.

— До монахов, — объяснил Струйских. — Больному Гималаи не одолеть, а монахи вниз спускаются редко...

— А вы как же? — опять спросила Катя. — Через Гималаи?

— Да, — сказал Струйских. — На вертолете.

— А вертолет откуда?

— Падишах дал.

— А падишах откуда?

— Мы с ним в теннис играем...

— Ясенько, — сказала Катя.

Между тем у бабкиного кресла тоже текла беседа. Светская. Бабка давала объяснения к фотографиям, которых развешано было видимо-невидимо — за креслами, от пола до потолка.

— ...Это я в «Весне священной»...

Фотографии рассматривал Онаний Ильич с супругой. И Серафим Лампадов был рядом. На всякий случай.

— А рядом, вот, полюбуйтесь, Фокин... Танцовщик был не без полета, но человек тяжелый... Немирович, пожалуйста... Одевался всегда прекрасно... Он ничего был... Славный. Нет-нет, это не я. Но мы похожи были. Нас частенько путали. Это актриса Корша Катенька Полевицкая читает стихи Блока на смерть Веры Федоровны Комиссаржевской... А это, — это позднее уже... Это Митя... Димитрий Петрович... Вот под этой кадочкой... — бабка показала кадку под окном, — перед войной...

Тетрадь Милликов

- Милый какой! — сказала жена Онания Ильича.
- Да, милый, — сказала бабка и тяжело вздохнула.

- Головку чуть повыше!
- Митя стоял у белой стенки с «Синдромом» в руках.
- Склонитесь к агрегату... — попросили.
- Так хорошо? — спросил Митя.
- Хорошо.

Потом вспыхнул свет — на мгновение — яркий, и изображение застыло. Митя и впрямь был мил.

Бабка продолжала давать объяснения. Катя металась сзади.

— Это — узнали, конечно, — Федор Иванович... Ну, конечно же... Шаляпин...

— Неужели Шаляпин? — спросила жена Онания Ильича. — Вы его близко знали?

— Довольно, — уклончиво сказала бабка. — Я его отлично помню: блондин, хорошего роста...

— Большой талант, — согласился Онаний Ильич.

— Сгубил себя, — огорчилась его жена.

— В изгнании, — пояснил Онаний Ильич.

— Даже птице не годится жить без родины своей, — встряла Катя. Никто ей не ответил.

Митя стоял в автомате. Бросил монетку. Номер набрал.

— Катя! — сказал он в трубку. — Слава богу! Почему слава богу? Ни почему. Как мать? Печально...

Катя шептала в телефон:

— Это, отец, цирк какой-то, все сидят, тебя ждут...

— Кто сидит? — поинтересовался Митя.

— Твои из лаборатории. Профессор с женой...

— Ну?

— Васенька, Кирилл Сергеевич с женой, Лягин...

— Выпивают?

- Нет, тебя ждут...
- Лампадов там?
- Конечно.
- Бабка про Шаляпина рассказала?
- Еще как!
- Гоша про Хусейна?
- Какого?
- Короля. Второго. Хусейна второго.
- Нет, он сегодня про монахов.
- Молодец. Не штампуется.
- Ты едешь или не едешь?
- Лечу.

Митя вышел из будки. Вечерело. «Пора бы пить явайский ром, но силы все забрал «Синдром», — опять подумал он вяло. Покрутил пакетом с шариками. И пошел.

— Эта пластинка... — опять сказали, — познакомит вас с тем, что такое стереофония...

Оркестр грянул. Все сидели тихо, умаявшись. Никто не разговаривал.

Катя слышала звонок. И собака залаяла. Никто внимания уже не обратил. Катя открыла дверь. Митя стоял на лестнице. Музыка гремела. Митя глядел невесело, устало.

Онаний Ильич качал в воздухе стопкой:

— ...Хочу вспомнить сегодня одну старую притчу. Некий прохожий увидел в жаркий день усталых людей. Они таскали камни, изнемогая под тяжестью груза. И лишь один из них трудился радостно. «Что ты делаешь?» — спросил его прохожий. — «Я строю Шартрский собор», — сказал ему гордо человек, отирая пот. — «Но ты таскаешь камни?..» — недоумевал прохожий. — «Да, — ответил труженик, — но камни эти ложатся в стены собора, а значит, я строитель его». Митя свой камень в собор науки уже заложил. Камень — это я фигурально. Но «шарик

Гелладий Миланков

Арсентьева» бьется во множестве гидроприборов. Я ценю в тебе, Митя, человека на своем месте.

— Обыкновенного человека — на своем обыкновенном месте.. — поддержал Митя.

— Ну да, — сказал Онаний Ильич.

— Спасибо, — сказал Митя. — Очень мило. И про собор. Одну минуточку.

Митя потянулся к полке и достал книгу.

— Что это? — спросил профессор.

— Это, Онаний Ильич, «Стоматологические отклонения у детей дошкольного возраста». Шестое издание. Исправленное и дополненное.

— Понимаю, — сказал Онаний Ильич, ничего не понимая.

— А это, Онаний Ильич, — я. — И Митя показал профессору фотографию ребеночка, которому кто-то пальцем оттягивает щеку, а за щекой у него — два зуба. — Глава называется «Занимательные отклонения». У меня в этом возрасте совершенно не ко времени прорезались два коренных зуба. И не на том месте. Меня тогда снимали. Зубы потом выпали, а фотокарточка осталась...

— Митя, зачем это? — спросила Света устало.

— Занятно, — сказал профессор.

— Да, — подтвердил Митя. — Я был незаурядным ребенком. В этой книге меня называют феноменом. Мне иногда кажется, что шарик Арсентьева всего лишь малое следствие стоматологического казуса...

— Ну-ка, покажи... — заинтересовался Васенька, и Митя показал ему книгу.

— Это ты? — удивился Васенька.

— Я, — подтвердил Митя.

— Не ври, — сказал Васенька грубо.

— Вот те крест, — сказал Митя и перекрестился.

— Не богохульствуй, Димитрий, — сказала бабка и тоже подняла рюмку, — но это в самом деле он.

— Я, — подтвердил Митя мирно.

— Ноги балерины — ее карьера, — ни к селу ни к городу сказала бабка. — моя судьба...

— Бабушка, — протянула укоризненно Катя. — В такой день...

— В такой день говорить можно все, — сказал Митя.

— Что делать, Митя? — сказала бабка совсем туманно. — Да и ты не виноват. Такова судьба. Смирись, гордый человек, сказала я себе. А в тебе полюбила свою боль, утрату. И горбатые дети — для матери все дети. А ты, Митя, мне ближе сына...

Бабка умолкла так же внезапно, как начала. Никто ничего не понял.

— Будь здоров, Митя, — сказал находчивый Онаний Ильич, и опять все оживились.

Катя играла на пианино. Серафим Лампадов пел. Пел прочувствованно и с душой.

Слушали его внимательно. Все-таки трогательный старик. Похлопали.

— А теперь я, — сказал вдруг Митя.

— Ну почему же — ты? — спросила Лера.

— Ни почему, просто петь охота, — Митя протиснулся к пианино и встал на место Лампадова. — Катя, давай! — сказал он дочке.

— Может, не надо? — слабо спросила Катя.

— Надо, — сказал Митя, и Катя проиграла вступление.

Митя начал. Песня была довольно старая, популярная когда-то:

Или ты забыла
Кресло бельэтажа?
Оперу «Русалка»?
Пьесу «Ревизор»?

Дальше шло про «тихие аллеи сада «Эрмитажа» и про «серьезный, тихий разговор». Митя пел, вошел кто-то и,

Теладий Шпалков

не мешая певцу, тихо встал в дверях. Митя споткнулся на полуслове.

— Это кто? — спросил он в полумрак.

— Это я, — ответили оттуда, — Леша.

— Какой Леша? — спросил Митя. — Зажгите свет.

Свет зажгли. На пороге стоял плотный человек средних лет с мужественным лицом. Он был одет в кожаную куртку, одна рука — забинтована и торчала отдельно от человека, вроде наперевес. В другой был большой пакет странной формы, завернутый в оберточную бумагу и перевязанный бечевочкой.

— Леша? — удивленно спросил Митя и вдруг узнал.

Сидели на кухне друг против друга.

— Ах, сколько лет, сколько зим! — все повторял Митя. — После школы, постой, — это сорок третий... ай-ай-ай... А как же ты вспомнил?

— Да я книжку нашел. Старую. Там все дни рождения помечены. И ты. Крестиком...

— Крестиком?

— Крестиком.

— Жалко.

— Что жалко?

— Что крестиком. А что у тебя с рукой?

— Да так. По работе, — уклончиво сказал Леша.

— А где работаешь?

— Там же...

— Где — там?.. — спросил Митя осторожно.

— Миры — антимирь... Эффекты, в общем.

— Эффекты?

— Ну да. Мирные. Надмирные. Чертовщина.

— В каком смысле?

— В прямом. В основном в театрах, — охотно объяснил Леша. — Пиротехника. Трюки.

— Смурная работа, — посочувствовал Леша.

— Денежная?

— По-разному, — сказал Леша. — Сдельная. Тяжело.

В комнате опять притихли.

— А он неплохо пел... — сказал Онаний Ильич.

— А что за песня — никто не знает? — спросил Васенька.

— Никто, — сказала бабка.

Помолчали.

— А кто это пришел? — спросил Гоша.

— Я точно не знаю, — ответила Света. — Старинный друг, вероятно.

— Святое дело, — сказала бабка.

Леша развернул сверток.

— Что это? — удивился Митя.

— Труба. Слуховая.

Действительно, посередине кухни стояла старинная слуховая труба, выкрашенная в зеленый цвет.

— Зачем? — спросил Митя.

— В подарок.

— Мне? А для чего? — поразился Митя.

— А ты, Митя, темный, — грустно сказал Леша. — «Ночью сквозь тело трубы слышу дыхание мира», — проговорил он слегка нараспев.

— Это что? — Митя обалдел.

— Басё, — сказал Леша просто.

— Кто?

— Басё, — повторил Леша без нажима. — Третий век. Гений японской литературы.

— Как говоришь? — поинтересовался Митя.

— «Ночью сквозь тело трубы слышу дыхание мира», — повторил Леша без выражения.

— Какого мира?

— Сущего, — сказал Леша.

Гости ко всему прихотливому течению сегодняшнего праздника пообвыкли помаленьку и Митиною теперешнего отсутствия как бы и не замечали. Разговор тек довольно плавно, незлобливо.

Тетядагй Шпалков

— Карьера балерины — ее ноги... — задумчиво повторила бабка, — помните, Серафим, мое фуэте в «Спящей» и тот роковой тридцать второй оборот...

— Помню, — взгрустнул Лампадов.

— Мама, тебе больше говорить не о чем?.. — тускло спросила Светлана.

— Отчего же... — Онаний Ильич, — очень интересно, мир кулис...

— Справедливо, — сказала бабка. — Так вот, кручусь и ничего себе не думаю. Вдруг страшный грохот. Я падаю... Как подстреленная... Слышу, можете представить, явственно слышу, как кость хрустит. Вот тут... В лодыжке... — И бабка показала лодыжку, и все печально посмотрели, — и больше уже ничего не слышала... и не видела... Глубокий обморок... Публика ревет... Занавес падает... Потом, уже в больнице, Серафим, ты помнишь, — это он рассказал мне... Оказывается, мальчик свалился из ложи в оркестровую яму... Увлeкся... Увлeкся и упал... Головой барабан пробил...

— Какой кошмар! — сказала жена Онания Ильича.

— Форменный, — согласилась бабка, — а мальчика звали Митей... Димитрием Петровичем...

— Позвольте... — сказал профессор растерянно.

— Да-да, — сказала бабка печально. — Мы познакомились потом. Его семья некоторое время выплачивала мне по нетрудоспособности... А Митя как-то привязался ко мне сразу... И я к нему... Потом Светочка подросла... Одно за другое... Вот так наши судьбы и сплелись...

— В узелок, — закончила Катя.

— Это невыносимо, — сказала Светлана, встала и стремительно вышла.

— Митя! — строго сказала она, стоя в дверях кухни.

— Что? — ответил Митя. Окна были открыты настежь, они стояли у окна и возились с трубой.

За окнами был синий вечер. И дерево стояло.

— Ты испытываешь нервы?

— Чьи?

— Общие. Мои. И гостей.

— Вовсе нет, — сказал Митя. — Я немножко занят.

— Может быть, ты на время отложишь занятия?

Там гости ждут...

— Отложим, Леша? — спросил Митя, а Леша безразлично пожал плечами.

— Нет. Ничего не получится, — сказал Митя, огорчившись. — Ты извинись там. Это буквально несколько минут...

Светлана хлопнула дверью.

— Это нервы, — сказал Митя грустно. — Продолжим...

Митя присел на корточки, приложил к уху трубу. Труба лежала на подоконнике и раструбом была высунута на улицу. Затихли.

— Слышишь? — спросил Леша тихо.

— Что? — спросил Митя.

— Как трава растет...

— Нет, — признался Митя.

— Ну-ка дай мне. — Леша присел и прислонил трубу к уху. Опять притихли.

— Ну как? — через некоторое время спросил Митя.

— И я не слышу, — признался Леша.

— А что вообще слышно? — поинтересовался Митя.

— Вроде орет кто-то. Страшно так. Зверски, — неопределенно сообщил Леша.

— Зверски? — оживился Митя. — Ну-ка дай я...

Они поменялись местами.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Леша.

— Ага, — сказал Митя. — Орет. Э-э, это слон в зоопарке. У меня через две остановки — зоопарк...

Леша отпихнул приятеля от трубы. Послушал сам.

— Точно, слон, — удовлетворенно сказал он, — грустит.

— А вдвоем нельзя слушать? — поинтересовался Митя.

Тетрадь Шнаиков

— Попробуем, — предложил Леша.

Оба присели на корточки и затихли.

— Сколько я за один сегодняшней вечер нервов утробила, не рассказать... — услышали они вдруг женский голос и не поверили своим ушам. — Господи ты, боже мой, это не рассказать...

— Сейчас же перестань... — сказали мягко. — Не накручивай себя...

— Не в этом дело... — продолжала женщина без выражения. — Он милый, славный человек, конечно...

Балкон был в полумраке, за балконной дверью сияли огни комнаты.

Облокотившись о перила балкона, стояли Светлана и Гоша Струйских. Гоша курил, пуская дым колечками. Рядом сверкало окно кухни. И труба из него торчала. Вечер был синь и тих. Дерево стояло неподвижно. Безветренно было. Тепло.

— Но послушай, Гоша... У тебя Тибет, падишах, монахи, черт в ступе — я не знаю что, но много — интересно... У Онания — «Синдром» этот самый... А Митя все зуб показывает... Который год... И зуб-то, понимаешь, выпал давно...

— Что ты от него хочешь? — мягко спросил Гоша и пустил колечко особенно ловко. — У всякого человека есть свой предел. И у Мити. Он его достиг. Новенького ничего не будет. И ничего дурного в этом нет, в том, что не будет. И не надо ждать. Он ни в чем не виноват. Делает, что может. А чего не может — не делает. И это тоже благородно. Не прыгает выше собственного пупа...

— Ты, Гоша, сообрази... Ему сорок пять... Можно сказать — зенит судьбы... Почти итог... Еще Грибанов с этим собором...

— С каким собором? — не сообразил Гоша.

— С Шартрским, — объяснила Светлана вяло. — Как с неполноценным, правда... Какой там камень! Какой там

соброр! Он этот шарик лет двадцать тому назад придумал. С тех пор — ни гу-гу...

Леша отошел от трубы раньше. Как только сообразил, что к чему. Митя дослушал до конца.

— Хватит, — сказал он наконец и поставил трубу на подоконник.

Митя стоял в дверях гостиной — легкий, вдохновенный.

— Прошу простить великодушно! — сказал он и обвел глазами присутствующих.

— Это как? — спросил Васенька.

— Дела чрезвычайной важности. Рад бы отложить, да не могу. Обстоятельства могут перемениться. Время дорого.

Он налил вина.

— Посошок на дорожку! — сказал он и крикнул: — Леша!

В дверях появился Леша.

— Трубу взял? — строго спросил Митя.

— Нет, — сказал Леша невнятно.

— Возьми.

Митя выпил, поклонился и вышел вон.

Светлана догнала уже на лестнице.

— Митя! Ради бога! Что случилось?

— Ничего, — сказал Митя просто. Он в плаще был, а в руках труба. — Просто я все слышал. Так получилось. Случайно. Но мне стало интересно, и я дослушал до конца. Ты извини. Это не нарочно.

— Что ты слышал? — не поняла Светлана.

— Все. Вот так. Прошу простить великодушно, — повторил Митя.

Некоторое время шли молча. Был вечер, но не поздний, — народу много на улицах было. Празднично горели витрины. Шли деловито, будто знают, куда идут.

Теплый Шпалков

— У тебя время есть? — спросил наконец Леша робко.

— Это с какой стороны поглядеть... — темно ответил Митя.

— Ну, сейчас? — пояснил Леша.

— А как ты думаешь?

— Думаю, есть, — сказал Леша мрачно.

— Согласен.

— Мне тут в одно место зайти надо. По работе. Хорошо бы... — сказал Леша и запнулся.

— Что хорошо бы? — спросил Митя.

— С тобой вместе зайти. Так надо. По работе.

— Делу время, потехе час, — сказал Митя твердо.

Прошли мимо празднично освещенного подъезда Оперного театра. Спектакль кончился, народ расходился. Миновали подъезд, деловито прошли сквозь толпу, дальше — дворами. Прошли вахтершу, которой Леша сказал «здрасьте» и кивнул на Митю — «этот со мной», потом долго шли длинными коридорами, лестницами — все вниз почему-то, — оказались в подвале, — Леша притормозил, схватился за какой-то прут, покачался, сказал ни к кому не обращаясь: «Балбесы», — дальше пошли, теперь вверх, коридором, опять дверь открыли золоченую с белым, — оказались в зале. Кресла были закрыты чехлами, в зале было полутемно, народу немного — вдали где-то, в первых рядах только, — а занавес — открыт.

Сцена представляла серебристую рощицу в печальный час заката. Озеро голубело вдалеке. Посредине рощицы возвышалось что-то огромное, на которое был накинута брезент. Одиноким рабочий, присев на корточки, с грохотом забивал гвоздь.

Леша быстрой походкой делового человека прошел к первым рядам. Митя — за ним. С кресел поднялся очень толстый мужчина, совершенно лысый.

— Вот, — сказал ему Леша, не здороваясь, и показал на Митю: — Замечательный парень. Все сделает.

— А система страховки? — задумчиво спросил толстый.

— Я отвечаю, — твердо сказал Леша. — И потом у парня совершенно невероятная прыгучесть...

И Митя понял, что разговор про него. Но смолчал.

— Ладно, — сказал толстый, — вы меня в могилу сгоните.

— А вы меня, — сказал Леша и, ловко вскочив на мостки, соединяющие зрительный зал со сценой, пробежал в рощицу и сдернул брезент.

Теперь посередине рощицы поблескивал изогнутый никелированный прут. Прут этот в изящном изгибе уносился на верх деревьев куда-то под самые колосники, потом обрывался вниз, в люк под сценой и выныривал снова, тоже из люка, но уже с противоположной стороны. Леша прыгнул на прут, покачался.

— Митя, — сказал он. — Иди сюда, Митя.

И Митя подошел

— Это совсем не страшно, — сказал ему Леша обнадеживающе, хлопнул в ладоши и крикнул: — Крылья!

Двое рабочих вынесли что-то из-за кулис.

— Крепите, — сказал Леша, и рабочие приступили к делу. Крылья ловко привязали прямо к Митиному плащу. Крылья были довольно большие, марлевые.

— Цепляйте! — опять громко распорядился Леша.

Митю взяли под руки, подвели к пруту и зацепили спиной.

— Не бойся, Митя, — опять сказал Леша негромко. — Мы тебя подтянем сейчас. Хорошо?

— Хорошо, — почему-то сказал Митя и сам удивился, что сказал.

— Пускай по малой! — сказал Леша. Под сценой зашумело что-то, и Митя, к собственному удивлению, стал подниматься вверх. Вот и вершины деревьев медленно перед ним опустились, вот и озеро засинело где-то далеко внизу.

Теперь Митя висел над колосниками, и крылья безвольно болтались за спиной.

Геннадий Шпаликов

— Ты, Митя, когда в люк пойдешь, — прокричал ему снизу Леша, сложив ладошки у рта ковшиком, — ты группируйся. Понял?

— Как? — не очень понял Митя.

— Крылья складывай! — крикнул Леша.

— Так? — спросил Митя и показал.

— Так, так! — обрадовался Леша и быстро спустился в зал.

— Ну давай, Митя! — крикнул он громко из темноты уже. — Мы тебя сейчас пустим! Давай!

Митя висел молча.

Вдруг музыка грянула, и роща стремительно понеслась навстречу и пронеслась мимо, прекрасная, как видение, вот и пол, и люк, какой кошмар! «Группироваться» — пронеслось, и он стремительно ухнул в черную дырку и исчез, будто его и не было никогда, но через мгновение вынырнул с другой стороны и понесся вверх, под колосники, набирая скорость. Музыка играла.

Леша, казалось, окаменел. Громко играла музыка, и немногие присутствующие на испытаниях стояли вытянувшись, замороженные.

А Митя с присвистом проносился в небесах, сигал в жуткую пустоту подполья и вылетал вновь, возрожденный, будто из небытия. Зрелище было захватывающим и прекрасным.

Музыка стихла так же неожиданно, как началась. Система встала.

Митя медленно опустился на пол сцены. Настала гробовая тишина. А потом в тишине этой раздались громкие отчетливые хлопки. Аплодировали рабочие, аплодировал электрик, билетерши плакали. Лысый аплодировал тоже.

Это был триумф.

Стояла ночь. Пустынно было, безлюдно. Редкие фонари горели ярко. Они шли по шоссе, и новые кварталы — справа и слева от шоссе — длились до горизонта. Машин не было.

— Ты умница, Митя, — сдержанно похвалил Леша. — Ты даровит. Летал, как бог.

— Благодарю тебя, — сказал Митя с восторгом. — Ты гений.

— Нет, — сказал Леша скромно. — Это тебе показалось.

— Ты гений, — повторил Митя убежденно и потряс в воздухе марлевыми крыльями. — Вот два крыла, — громко прокричал он. — Вот два крыла, и я вознесся.

— Да, — подтвердил Леша. — Ты вознесся.

— Я вознесся и слышал, как трава растет... — сказал Митя.

— Как? — поинтересовался Леша.

— Не важно, — сказал Митя. — Но я слышал.

— Вот мы и пришли, — сказал Леша и кивнул головой на длинный белый дом, стоящий вдоль шоссе.

Митя стоял посередине огромного подвала, заклеенного многочисленными афишами, картинками, плакатами. По всей мастерской в кажущемся беспорядке были навалены предметы самые невероятные — пропеллер самолета, разобранный двигатель внутреннего сгорания, тут же — прислоненный к стене распущенный парус от яхты с надписью «Гордый», какие-то никелированные цилиндры в дырочках, китайские фонарики мерцали. Они стояли рядом с бочкой, наполненной водой. Митя поднял руки вверх, будто сдавался. Леша ходил рядом.

— Вот так тянуло? — спросил он, придиричиво ощущая Митю.

— Мне нигде не тянуло, — отвечал Митя твердо. — Я вознесся.

— Перестань, — сказал Леша тускло. — Надоело. Как же не тянуло, когда даже след. Конечно, тянуло.

— Немного, — согласился Митя. — У меня плечо ноет.

— Вот видишь... — сказал Леша огорченно. — Я кретин. Площадь несущей шайбы мала, — сказал он и

Телеграф Шпалников

печально вздохнул. — Я добавлял, но все-таки мала. Еще секунду, — попросил он.

— Хоть вечность, — гордо ответил Митя, а Леша взял циркуль с мелком, зашел Мите за спину и легонько уколол иголкой циркуля Митю в спину.

— Ой, — сказал Митя.

— Это не страшно, — опять пообещал Леша и провел у Митиной спины воображаемый круг. — Вот так хорошо будет. Можешь руки опустить, — разрешил он, и Митя опустил.

— Пособи, — сказал Леша нагнувшись. И Митя пособил. Вытащили лист железа. Закрепили в тиски. Леша скинул куртку, остался в драной майке и зачем-то надел на лоб глухие черные очки на веревочках.

— Сядь здесь, — сказал Леша и поставил Мите железный стул рядом с бочкой.

Митя послушно сел. Леша циркулем с мелком провел по железу круг, нагнулся, и тут же из автогенной горелки с шипением вырвалось пламя. Леша начал разрезать круг.

— Леша... — сказал Митя, неподвижно прислонившись к бочке и сложив руки на груди. — Ты меня слышишь?

— Слышу, — промьгчал Леша.

— Я вот летел и думал... — сказал Митя, сосредоточенно глядя в пол. — Что-то нехорошо... Неправильно... Не так...

— Чего? — поддержал разговор Леша, от круга не отвлекаясь.

— Вот сорок пять мне сегодня. Zenit судьбы. И я вознесся.

— Ну, — сказал Леша.

— Я вознесся и был счастлив. А я ведь это позабыл.

— Чего ты позабыл?

— Очень многое... — сказал Митя.

— Ну, — подтвердил Леша, а огонь метался у него в руках.

— И тут вознесся.

— Ну вознесся... — пробурчал Леша недовольно. — И дальше что...

— Вот я и думаю, что дальше? — сказал Митя и замолчал.

Леша отключил горелку. Огромными щипцами захватил раскаленный кружок металла и швырнул его в бочку с водой. Отлушительно зашипело из бочки. Закурил. Шипенье стихло, пар растаял. Настала тишина.

— Споем? — предложил Митя.

— Про ложу бельэтажа? — спросил Леша.

— Ну почему про ложу? — обиделся Митя. — Вот, смотри...

Митя прокашлялся и начал тихонько, от смущения сильно фальшивя:

— Там-а-ам, за рекою,
Там-а-аам, за голубою...

— Подтягивай, — пригласил он Лешу.

— Я не умею, — сказал Леша.

— Жалко, — огорчился Митя и замолчал. — Я вот сегодня ночью проснулся отчего-то. Утро уже было...

— Не понял, — сказал Леша. — Ночью или утром?

— Тебе это очень важно? — спросил Митя, горячась.

— Не очень, — сказал Леша миролюбиво.

— Так вот, встал и вдруг за окошком дерево увидел. Оно всю жизнь там стоит. А я его и не видел никогда. А сегодня вдруг увидел.

— Ну и что? — спросил Леша.

— Ничего. Стоит.

— Понимаю, — сказал Леша на всякий случай.

— Нет, — сказал Митя горько. — Не понимаешь. Я, может, через это дерево с мировой душой общался.

— Мировая душа, Митя; душа. — потемки... — сказал Леша и бросил окурок в бочку. — Ты к чему все это, правда?..

— Не знаю. Ни к чему, — сказал Митя вяло совсем.

Тетрадь Шпаликов

— Да ты не обижайся, — сказал Леша, вымыл руки в бочке и тщательно вытер о майку. — Я тут сам думал.

— Про что?

— Про дерево.

— Ну?..

— Ну и хреновину одну придумал. Для драмколлектива.

— Для драмколлектива? — удивился Митя.

— Да. Но не в этом дело... — сказал Леша и пошел в дальнюю глубину: куда-то, где стояло внушительных размеров сооружение, конкретные черты которого терялись в полумраке.

— Иди сюда, — позвал Леша. — Вот сюда сядь, — сказал он и показал на стул, стоящий посередине пустого пространства. И Митя сел. С потолка откуда-то Леша протянул две бечевочки и дал Мите в руки. — Когда я скажу «начали», аккуратноенько одну потянешь, потом другую. Попробуй...

И Митя потянул. «Дзинь-дзинь» — раздалось где-то вдалеке за сооружением, нежно, тонко и далеко.

— Это что? — спросил Митя.

— Не важно. Звуки.

— Какие?

— Не важно. Дальние. А я тут сяду, — сказал Леша и тоже поставил себе стул с Митиным рядом. И тоже в руки бечевку взял. — Теперь давай так — ты два раза тянешь, я один. Понял?

— Понял, — сказал Митя послушно.

— Давай, — сказал Леша и махнул головой.

«Дзинь-дзинь», — раздалось тихонько, и Леша слушал внимательно, склонив голову набок, потом потянул свой шнурок, и там, далеко где-то, ударило низко, звучно: «ба-амм...»

— Так, — удовлетворенно сказал Леша, прошел в полумрак, за ширму, вытащил книжку, потрепанную довольно, и деревянный попиптр. Поставил попиптр перед Митей, на него книжку положил. Раскрыл.

— Вот отсюда, — сказал он, ткнув пальцем в книжку. — По команде «начали» отсюда читать начнешь. Неторопливо. Понял?

— Отсюда? — уточнил Митя.

— Отсюда, — подтвердил Леша. — И бечевочки тяни. Раз-два — ты, «бомм» — я. Понял?

— Понял, — опять сказал Митя послушно и заглянул в книгу, — это кто, Ольга? — спросил он.

— Ты. Отсюда начнешь...

— Я? — удивился Митя.

— Ну не ты. Не важно... — пробормотал Леша, с усилием выволакивая древний граммофон с серебряной трубой. — Приступим, — сказал Леша и что-то повернул в полумраке. Будто бы вода побежала, зажурчала где-то. Леша сел на стул. Притихли. Вода плескалась негромко. Леша наклонился и поставил иглу граммофона на пластинку.

Пластинка зашипела. Но музыка не началась.

— Внимание, — сказал Леша. А из трубы задумчиво и нежно, будто нереально, начался старинный вальс. Сначала трубы вздохнули низко, потом тарелка серебряно звякнула, потом опять трубы: «бух-бух».

Леша крутанул какой-то рычажок, и под потолком начал двигаться вентилятор в виде пропеллера, медленно, в такт музыке раскручивался и наконец с низким гудением завертелся стремительно, наполнив подвал ветром, — Митины волосы взлетели в воздух, затрепетали, и будто шум листвы послышался.

Вступили скрипки, и тогда Леша другой рычажок повернул.

Смутное сооружение, что было перед ними, медленно, неправдоподобно как-то стал заливать свет.

Сначала Митя не различал ничего — только блестящую, радужную поверхность перед собой: это стекло — сообразил он. Музыка играла, ветер усиливался, свет прибывал и вдруг стал ослепительно ярким.

За стеклом, сверкая, стекала вода. За потоками чистой воды осветился живой, трепещущий куст сирени.

Тетядин Шпалков

Листья билась под ветром, и огромные махровые цветы — синие — медленно покачивались. Зрелище было удивительное.

И музыка играла нежно.

Куст светился изнутри, был живым.

— Тяни, — прошептал Леша, и Митя потянул осторожно; тогда далеко где-то ударило — хрупко — «дзинь-дзинь...». И Мите неизвестно отчего захотелось заплакать, а Леша потянул свою бечевку, и Митиному тонкому звону ответило глубокое, густое «бо-о-ом...», и Леша сказал: «Начали», а музыка играла весело и печально.

— Милые сестры... — сказал Митя сильным голосом, он заглянул в книгу и прочитал дальше: — Жизнь наша не кончена... — Остановился и продолжил: — Будем жить... А музыка играет так весело... — сказал и послушал. Из серебряной трубы лился старинный вальс, и огромный куст сирени сверкал в полумраке, трепещущий, живой.

Дул свежий ветер. «Тяни», — сказал Леша, и Митя потянул. «Дзинь-дзинь», — упало издалека, и Леша ответил.

Митя заглянул в книжку и прочел: «Еще немного, и мы узнаем, зачем живем...» Голос был глухим, Митя говорил без выражения, и трубы печально вздыхали. «Если бы знать...» — сказал Митя и остановился, удивленный тем, что читал, а Леша сказал: «Тяни», и Митя потянул: «Дзинь-блямм — бу-м-мм». «Если бы знать...» — повторил он и замолк.

Музыка гремела, куст трепетал, по стеклу падала вода, они молчали, глядели перед собой.

Музыка смолкла. И тогда Леша остановил вентилятор; ветер исчез. Но света не тушил он долго еще. Они сидели молча и смотрели перед собой.

Леша щелкнул рычажком.

Свет медленно потух.

Куст и вода — все погрузилось в темноту, исчезло, обратившись в темную грудку неясных вещей.

— Это что было? — спросил наконец Митя.

— В Клину «Три сестры» ставят. Ну, я им финал придумал. Куст этот, стекло, а впереди скамейка. Дождик капает. А они говорят — стекла такого не достанем, это фантазия. Мы марлечку натянем. И потом, говорят, кустов такой величины не бывает. У нас за марлей березки расти будут. Я говорю — зулусы. Они — от такого слышим. На том и разошлись.

— Понимаешь, какая история вышла. Я помню, в войну я мальчишкой совсем в метеослужбе полка служил. Полк был женский. Девочки, знаешь, летали. Так вот, помню, девочка была одна, она в университете перед войной училась, на астрономии. Она погибла скоро... В сорок четвертом... Она мне как-то про Бетельгейзе рассказывала...

— Про что?

— Про Бетельгейзе. Ее увидеть можно. Так вот. Про Бетельгейзе, про Сириуса.

— Ну?..

— Проход планет, короче. Про соответствия...

— Какие соответствия?

— Хода планет — нашему ходу... И я, вспоминаю, я однажды почувствовал, как земля у меня под ногами качнулась, двинулась, чувствую — випу вниз головой, среди галактик и Бетельгейзе, понимаешь, на меня, висящего, влияет. Мы вместе крутимся, в связи... Я это помню...

— Понимаю, — опять на всякий случай сказал Леша.

— Девочку эту — Наташа ее звали. Сено им косил на матрацы... Потом все смутно как-то стало. После войны про Бетельгейзе и не вспоминал.

Леша молчал.

— Но слушай, я, когда читал и на куст сирени смотрел, подумал, может, правда, — не кончена жизнь... И когда в театре летал, тоже про это думал...

— А вообще-то, Митя, тебе домой надо бы. Они же ждут...

— Я, Леша, не могу домой сегодня... — сказал Митя мягко.

Геннадий Шаликов

— Понимаю, — сказал Леша опять. — Давай тогда спать.

— Спи, — сказал Митя покорно.

Было воскресенье. Утро яркое, ветреное. Тепло было.

Митя и Леша стояли под цветастым полотняным тентом, у мраморного круглого столика. Леша пил пиво. Митя — молоко. Сосиски жевали. Рядом был вход в метро, и автобусы останавливались тут же во множестве — загородные их пути начинались отсюда. Народ толпился — воскресный, оживленный. Хлопал над головой разноцветный тент. Где-то женщина смеялась громко.

— Воскресенье — день веселья... — сказал Леша, озираясь.

А Митя промолчал.

— Я на службу, — так же бодро сказал Леша. — Ты — домой?

— Я не знаю, — неуверенно сказал Митя и поглядел в сторону. — Может быть.

Из-за Лешиного плеча Митя видел огромное поле, и куст стоял неподалеку. У куста на траве прямо сидели трое мужчин в белых рубашках, пили пиво из кружек, — дети бегали рядом, звонко крича. Дул ветер, и трава качалась до самого горизонта. Здесь кончался город и дальше — синий лес.

— Вот тебе телефоны, — сказал Леша и протянул бумажку. — Это в Оперном, это — Парк культуры. Я с утра в парке, — перекушу — и в Оперный. А ты — домой?..

— Домой... — выдохнул Митя.

— Вот и замечательно, — радостно прокричал Леша уже на ходу. — Ты позвони... В гости позови... С семьей познакомь... — Он протискивался сквозь чьи-то плечи, и летние зонтики, и цветастые платья женщин.

Митя остался один.

Траву гнал до горизонта свежий ветер. Дети кричали звонко и бегали друг за другом — спотыкаясь, падая и визжа.

Митя поставил стакан с недопитым молоком, аккуратно вытер салфеткой губы и спустился по откосу, поросшему травой, в поле. Тут оно было. Рядом совсем. Шаг ступи.

И он ступил.

Митя шел по тропинке в поле. Ветер трепал ему плащ, и трава шедестела.

Он остановился у кольцевой — здесь опять было шумно, мчались машины, развивая скорость. С громким ревом — над головой почти — реактивный самолет, и можно было увидеть бесчисленные окошки его, и надписи, и цифры прочитать.

Митя перебежал шоссе.

Дорога шла перелеском, оборвалась неожиданно, и Митя вышел на мостки.

Временный причал. С зеленой будкой. Река открылась и простиралась далеко — широкая довольно, — а ветер был здесь крепче и гнал по всей поверхности белые барашки вразнобой, — пену срывая. Там, на той стороне реки, лес синел, и песчаная отмель шла от леса к реке, а у отмели, едва слышно отсюда, тарахтела землечерпалка.

У причала стояла низкая барка с деревянным рулем на корме. Руль был стар, сбит из досок — доски почернели от времени. На корме возился с мостиками молоденький парень в вылинявшей тельняшке — единственный член экипажа. Он же матрос, он и командир.

— Ты не туда? — спросил Митя, не спросил, прокричал, ветрено было, оттого шумно. Или это мотор самоходки работал.

— Туда, — крикнул ему парень.

— Возьми меня с собой, — крикнул Митя.

— Сигай.

И Митя сиганул. Барка отошла от пристани.

Теперь плыли по реке. По самой ее середине. Ветер не утихал. Барка мягко ткнулась носом в песок отмели.

Тетрадь Мнашков

Митя спрыгнул. И пошел. За ботинками оставались влажные следы. В стороне работала землечерпалка. Песок качала. В баржу.

Митя медленно, гуляя будто, шел по перелеску. Ветер гулял высоко где-то, в вершинах деревьев, — терзал макушки, сюда же вниз, к Мите, долетал лишь слабый шум и был ему приятен. Лес густел. Митин плащ покрывался вздрагивающими солнечными пятнами. Лес обрывался внезапно.

Большая поляна, поросшая высокой травой, открылась перед ним. Трава двигалась от ветра. Поляну со всех сторон окружали деревья — ольха, тальник, тополь, не крупные дубы. В стволах берез путалась жимолость, листья осин трепетали без ветра, сами по себе.

Митя, блуждая, пошел по полю. Под ногами звякнуло, и Митя поглядел. В траве валялись две ржавые колочки — такие ставят под колеса самолета. Для устойчивости. Это Митя помнил с давних пор. С войны.

Митя сел на траву. Сорвал травинку. Сунул в рот. Пожевал. Прислонился спиной к стволу дерева. Полуприлег. Но глаз не закрывал.

Так сидел он долго. Трава окружала его — пестрая, свежая, — бросала на его лицо рябые, дрожащие тени — слабые совсем, паутина будто, — покачивалась, вставала перед его глазами, касалась щек.

Митя глядел в пустое небо. Большие облака медленно двигались над ним. Облако — прелесть, облако — слон, облако — материк...

Старая детская игра.

Время шло, — и было ощутимо только тихим этим, ленивым движением облаков.

Митя не услышал — почувствовал, как в ровный, безмятежный шум и шорох летнего дня вошел посторонний

звук. Со стороны солнца снижался самолет. Впрочем, этого не видно было, просто по солнцу мелькнула тень. Митя насторожился, поднял руку, прикрыл глаза от ослепительного света.

И лишь тогда увидел его — штурмовик времен минувшей войны. «ИЛ» снижался, делая плавный круг над полем. Он шел рывками, иногда бесшумно проваливаясь, безвольно планируя к земле, — вдруг мотор начинал работать, самолет взлетал.

Митя встал. Потом выкинул вверх руки и медленно опустил их перед собой.

Делал летчику знак.

Никакого удивления Митя почему-то не испытал. Самолет мягко спланировал в траву, прокатился, бесшумно подпрыгнул и косо встал. Митя подбежал, полы плаща его развевались.

Летчик открыл фонарь. Скинул шлемофон. Светлые волосы сразу схватил ветер. Секунду летчица сидела неподвижно.

— Наташа... — удивился было Митя, но девушка посмотрела на него без улыбки, и он как-то сразу удивляться перестал.

Отжавшись от кабины руками, она выкинула ноги на крыло и, бесшумно скользнув по нему, спрыгнула в траву. Выцветшая офицерская гимнастерка, галифе, сапоги и старая кожаная куртка поверх гимнастерки. Издали она походила на мальчика.

Молча полезла под брюхо самолета — Митя следом, — подтянулась и спрыгнула на другое крыло. Митя стоял внизу.

— Помоги, Митя... — сказала Наташа, и Митя увидел на руках у нее обмякшее тело, одетое в офицерскую летнюю форму.

Несли тело по полю, к роще. Наташа подхватила под руки, Митя держал ноги. Нести тяжело было. Жарко.

Тетядин Шнапиков

Вошли в рощу. Слабая тень отдавала прохладой. Митя глядел на лицо. Даже вблизи. Шлемофон болтался, цепляя траву.

— Господи, это Клара... — опять удивился было Митя.

— Клара, — без выражения сказала Наташа.

Раскаленный южный день обжег лицо, жаркий воздух хлынул в легкие, охрипший, многоголосый рев моторов оглушил сразу — страшный пронзительный рев, сбивающий с ног.

Аэродром был рядом, за рощей. Взлетные полосы уходили прямо. «Это море, — сразу вспомнил Митя. — Тамань».

Самолеты срывались со взлетной полосы и растворялись. Взлетали ракеты. Где-то стреляли — оглушительно, громко, — но взрывов видно не было.

Тело Клары они опустили в траву, прямо у взлетной полосы. Люди сбегались, образуя тесный круг, молчали. Митя поднял глаза и увидел щетинистого, тощего подполковника. Но тот, казалось, удивления не выказал.

— Чего стоишь? — прокричал он вдруг ему зло. — Иди. Тебе Знахарчук поможет...

Рыли землю у самого леса. Земля была сохшая и твердая. Знахарчук, отстегнув ремень и повернув пилотку боком, рыл напротив. По их лицам тек пот. Митя на мгновение обернулся.

Люди у взлетной полосы стояли все так же неподвижно. Самолеты ревели, взлетая. Был полдень.

Потом Митя запомнил хорошо, как стрельнули из маленького пистолета в воздух, но звука выстрела не услышал. Моторы ревели беспрерывно. Молоденькие девочки, большинство стриженные, — все в выгоревших, белых почти офицерских формах. Наташа была среди них. Стук земли о деревянную крышку, напротив, он слышал хорошо...

...Слышал он его и теперь, когда они с Наташей снова шли через рощу. Потом звук стих. И рев моторов, отдаваясь, замолк. Они шли рядом, несли канистры. По две штуки. Вышли на поляну.

Самолет стоял неподвижно. Тихо было. Трава шелестела. Они подошли к машине, стали заливать бак. Наташа влезла в кабину.

— Отойди, пускаю!.. — крикнула она, и Митя отошел, мотор чихнул, медленно крутнулся винт, потом быстрее. Плащ раздулся.

— Ты когда назад?.. — прокричал Митя, перекрикивая шум моторов.

— Вечером... — крикнула Наташа и помахала рукой.

— Я тебе молока принесу!.. — прокричал Митя.—
Накормят!

— Принесу! — опять проорал Митя. — И булку!

— Ладно, — крикнула Наташа и впервые улыбнулась чуть-чуть. — Колодки! — крикнула она.

Митя понял и вытащил из-под колес колодки, отбежал.

Самолет развернулся, прыгая, пробежал по траве, взлетел и исчез.

Митя остался стоять посередине поля. Тишина. Облака шли. Гудел шмель. Трава качалась, листва шелестела. Колодки были в руках.

День клонился к вечеру, но солнце еще высоко было. Тепло, ветер поутих. Та же дорога. Отмель. Река. Землечерпалка не работала. Барки не было. Недалеко за будкой тянул дымок. Митя обошел будку. Горел костер. На кирпичках стоял медный таз. Рядом сидел на корточках старик, несмотря на жару — в телогрейке. Старик мешал в тазу ложкой. Он варил варенье.

— Ты кто? — спросил его Митя.

— Сторож, — миролюбиво ответил старик. — А ты кто?

Теплый Шлаков

- Прохожий.
- А, ну-ну... — сказал старик.
- Баржа скоро будет?
- Ее и вовсе не будет, — сказал старик, помешивая варенье.
- Это как так не будет? — вспыхнул Митя.
- Рабочий день кончился, баржу на прикол, и айда... — сказал старик, неопределенно показал направление, куда «айда».
- А как туда попасть? — и Митя показал рукой на ту сторону.
- А хошь, сплавай! — сказал старик опять миролюбиво.
- А по суку? — спросил Митя.
- Тогда по понтону... — сказал старик и махнул рукой вдаль.
- Далеко?
- Километров пять, а может, восемь... Недалеко.
- Митя повернулся и пошел.
- Эй! — крикнул ему старик в спину. Митя уже далеко был.
- У тебя мотоцикл есть? — опять крикнул старик.
- Нету.
- Тогда велосипедом разживись! — крикнул старик. — Чего ноги бить!

Мост из ржавых понтонов стоял на воде низко. Когда Митя шагал по нему, вода заливала ботинки. Понтоны скрипели.

На другом конце поля внезапно, как далекий мираж, возникли длинные белые дома. Теперь они и в самом деле походили на корабли.

Огромное небо над ними. Спутанные облака. Митя шел в город.

Прежняя московская жизнь началась сразу же. Стоило только Мите ступить на бетонку Окружного шоссе, и уже как будто и не было никогда ни реки, ни баржи, ни поля с зеленым самолетом — ничего, а был только этот раскаленный жарким днем город, взмокшие лица прохожих, зыбкий воздух, колеблемый от жары, бесконечный поток машин, и милиционер свистел, и две копейки проваливались в автомат, как в бездну, а будка напоминала барокамеру.

— Да, — сказал Митя. — Это я. Не сомневайся... А это у меня от жары голос склеился. Света... — начал он, но тут на него обрушился такой поток слов, что Митя отвел трубку на расстояние...

В руках у него была авоська, в ней пяток бутылок молока и большой белый батон хлеба.

Переждав, он сказал не горячась:

— Катю позови...

— Да, — сказала Катя. — Я тебя слушаю.

Она сидела у телефона босая, в легком платье. Все окна в квартире раскрыты, сквозняки по ней гуляли, раскачивались занавески, хлопали форточки, высоко поднимались углы скатерти, кружили по комнате какие-то листки, плавно касались стеклярусного абажура, и он тихо звенел.

Света, Митина жена, — простоволосая, тоже босая, листала журнал, посматривая на Катю.

— Хорошо, папа, — говорила Катя. — Я постараюсь. Дай-ка запишу адрес. Медленнее, а то тебя плохо слышно.

— Так, — она записала на журнале, молча взяв его из рук матери. — Жди. Все поняла. Между пельменной и букинистическим.

Митя звонил из автомата, который стоял точно между двумя этими вывесками. Двери открывались — закрывались. Из пельменной люди шли в букинистический.

Теладий Шаликов

И наоборот. От книг — к пельменям и пиву. И Митя, отдышавшись после духоты телефонной будки, повеселел, разглядывая это перемещение — от пищи духовной к плотской. И сам вдруг внезапно ощутил жуткий голод — рванул в пельменную, с ходу выхватил две тарелки пельменей, горячих, залитых сметаной, волшебную ледяную бутылку пива, помидоры — прямо из-под крана, ярко-красные, крупные — разломил и в соль макай, а рядом толкаются, задевают локтями, жадно пьют, едят, — голоса — громкие, лица — летние, разговоры — футбольные. Все хорошо.

— погоди! — Катя остановила руку матери и — в телефон: — Олег?.. Наконец-то... Ну, как? Мне абсолютно все равно, какой... Лишь бы на колесах...

— Ты что, всерьез намерена доставать ему велосипед? — спросила Светлана дочь.

— Нет... — говорила Катя в телефон. — Тандем не подойдет... Олег, у меня, честное слово, нет времени... Срочно...

— Ты что, не слышала, как у него язык заплетался? — возбужденно спрашивала Светлана.

— У кого? — поинтересовалась Катя, зажав мембрану трубки.

— У отца.

— Нет, — сказала Катя очень серьезно. — Это от жары. Он меня предупредил.

— Ах, даже предупредил! — продолжала Светлана тем же тоном. — Скажите, какая воспитанность! Сколько такта! Неподражаемо! Предупредил! Bravo! — все продолжала Светлана и даже похлопала в ладоши.

Но Катя ее уже не слушала.

— Вот что, — приказывала Катя в трубку. — Это меня не касается. Доставай где угодно. Уведи, упроси, обменяй!

— Где он? — спросила Светлана грубо.

— Кто? — сделала вид, что не поняла, Катя, опять мембрану прикрыв.

— Отец.

— Где-то между букинистическим и пельменной.

— Катя, я не вижу причины для водевильного построения! — крикнула Светлана.

— Извини, пожалуйста... — сказала Катя в трубку и матери потом: — Ты можешь на меня недолго не кричать? В интересах дела, — и в трубку: — Я жду. Мгновенно. Все.

Светлана тут же стала набирать нужный ей номер.

— А ты кому? — спросила Катя, а мать ей не ответила.

— Гоппа? — наконец сказала она. — Да, я. Он звонил только что... Что — слава богу? Я в ужасе. Он велосипед просит. Что? Вот именно велосипед. Немедленно приезжай. Это все очень серьезно, — и положила трубку.

Сквозняки все гуляли по квартире — развевались шторы, бумажки летали, звенел стеклярус.

— Содом, — твердо сказала бабка из своего угла.

Митя стоял в букинистическом. Здесь тишина, полумрак, ровный шум вентиляторов, книжные полки от пола до потолка, девушка продавщица — милая, в черном халатике с кружевным воротничком — сидит на стуле на фоне золотых тиснений, обмахиваясь журналом. И слышно, как страницы журнальные шуршат.

Рай. И слова другого нет. Том раскрыт. Тончайшую бумагу поверх какого-нибудь факсимиле сдвинуть. Прочесть невзначай: «Нет. Не черкешенка она». Именно так.

— «Нет. Не черкешенка она», — и вправду прочел Митя вслух. — Что это? — спросил у девушки, и девушка махать журналом перестала.

— Пушкин, — сказала она, на корешок глядя.

— «Нет, Не агат в глазах у ней», — продолжал Митя. — Видите? — он показал девушке страницу. — Ответ Ф.Т. Кто такая, почему не знаю? Стоп! — обрадовался он. — Сноска. Загадка Ф.Т. Так... Агат. Минерал. Отличается красивым черным блеском.

Теплый Шляпков

Девушка улыбалась, смотрела хорошо. Можно было сколько угодно говорить и что угодно, и книжки смотреть, а то и молчать...

Время шло. Митя нервничал. Ожидал у будки. Раскаленное солнце уже упало куда-то за ближние дома, улица опустела, но жара не спадала.

Они приближались к нему, через дорогу. Катя вела велосипед. Гоша шел рядом. Несколько позади — Светлана. Им повезло, что никакого движения в этот момент не было. И они могли свободно улицу переходить.

Митя все на дочь смотрел, на ее вскинутое платье, на тоненькую руку, ведущую велосипед. — Гоша, — сказал Митя, когда они приблизились вполне. — Привет.

— Здравствуй, Митя, — сказал Гоша и пожал ему руку.

— Спасибо, Катя, — сказал Митя, принимая велосипед.

— Не за что, — сказала Катя, разглядывая отца.

— Здравствуй, — сказала Светлана со значением.

— Здравствуй, — ответил Митя просто.

— И куда ты на нем поедешь, если не секрет? — спросил Гоша.

— Секрет, — сказал Митя.

— Хорошо, — сказала Светлана. — Я могу попросить тебя на два слова?

— Можешь, — сказал Митя. — Говори.

— Отойдем? — спросила Светлана.

— Хорошо, — сказал Митя смиренно. — Подержи, — и передал велосипед Кате.

Перешли на другую сторону улицы и встали. Вернее, Светлана встала, Митя присел на красную трубу-ограждение. Болтал авоськой с молоком и хлебом.

— Это что? — спросила Светлана и показала глазами на авоську.

- Это хлеб, — ответил Митя. — И молоко.
- Прекрасно, — сказала Светлана. — Уже кормилец?
- Кормилец, — ответил Митя согласно. — В некотором смысле. Но не в том...
- В каком — не в том?
- Не в том, каком ты думаешь...
- А в каком я думаю?
- В прискорбном смысле аморалки... — объяснил Митя. — Думаешь?
- Думаю, — сказала Света.
- Это у тебя от жары... — посочувствовал Митя. — Ты извини, время дорого. Я пойду. Можно?
- Ради бога, — сказала Света.
- Ты не волнуйся, — попросил ее Митя и перелез через трубу. — Это мне нужно. Понимаешь?
- Нет, — сказала Света.
- Очень жаль, — сказал Митя и пошел через улицу. Остановился, вернулся. — Ты извини, — опять сказал. — У тебя денег нету? Сколько-нибудь? С трешкой ушел... Кончились...
- Экономно живешь, — похвалила Светлана. — Вот. Больше нет. Пятерка.
- Выше крыши, — сказал Митя. — Спасибо.
- Митя... — сказала Светлана мягко. — Что с тобой? Я понимаю, ты мог обидеться... Этот разговор...
- Чепуха... — сказал Митя.
- Но тогда что же все это значит? Велосипед? Деньги? Объясни...
- Хорошо, — сказал Митя. — Без велосипеда могу и не успеть. А баржа туда ночью не ходит. И с продуктами там плохо.
- Какая баржа, Митя? — спросила Светлана.
- Самоходная, — сказал Митя. — Песок возит...
- Пойдем домой, Митя... — слабо попросила Светлана.
- Я не могу, — сказал Митя. — Не могу еще... Понимаешь?

Тетрадь Шнаиков

— Нет, — сказала Светлана.

— Ты извини, но я пойду. Мне нужно. Вот так. — И Митя провел себе по горлу рукой.

Улицу перешел неторопливо. Катю поцеловал. Гоше дружески встряхнул руку. Сел на велосипед и поехал, виляя сперва — может, пакет с молоком мешал или с непривычки, — освоился быстро и растворился. На улице пусто было. Воскресенье.

Вечер.

Он ехал через понтонный мост. Поскрипывал велосипед. Хлюпала с понтона вода. От реки к берегу — к намокшим в воде кустам — и дальше сквозь них — в поле, к стогам — к блестящему серпу молодого месяца — тянул туман...

...Он ехал по полю, но едва уловимой чутьем дорожке, а велосипеда сквозь туман не было видно — плотный туман стоял над полем, над травами, — двигался неторопливо, клочками, и со стороны казалось, что Митя плывет в нем по пояс, — и только скрип давал знать о том, что не плывет он вовсе, — нет, конечно, на велосипеде едет, зная куда. Туман был неровен — иногда выплывал синий куст, но тут же скрывался в пелене, — стог стоял, наполовину скрытый, — тихо. Осень близкая — прохладно вечерами. Людей же будто и вовсе нет, ни людей, ни селений — до горизонта, — ни огонька, туман, кусты, стога и месяц — серп. Вдруг послышался шум, он нарастал, становился мощным, и Митя сразу понял, что за шум, — повернул голову, велосипед завихлял, и Митя едва не свалился, — штурмовик пронесся низко над головой — и Митя заорал: «Здесь я, — здесь», — пакетом с молоком замахал, — самолет взмыл вверх и повернул, над туманным полем делая круг... Митя нажал на педали, встал на них, как гонщик, — и все авоськой махал и орал: «Зде-е-есь!..»

Он вкатился на поляну, все еще крича, — и самолет с другой стороны мягко шлепнулся в траву и запрыгал бесшумно. Лязгнул фонарь. Наташа соскочила с крыла и оказалась по плечи в тумане. Повела руками и засмеялась. Эхо повторило ее смех.

— Ты чего? — спросил Митя.

— Смешно, — сказала Наташа. — Как в бане...

— Ага, — сказал Митя, и они пошли — Митя по пояс в тумане, Наташа по плечи. Шли молча. Наташа впереди, Митя — поотстав. Наташа сказала: «Ай!» и исчезла. Митя остановился. Вокруг — куда ни погляди — синий туман и деревья едва угадываются — чернильные на голубом.

— Наташа? — спросил он, но никто не ответил.

Куковала дальняя кукушка.

— Наташа? — повторил Митя, не на шутку напугавшись исчезновения.

Он нырнул в туман — растворился, исчез, — пусто стало, потом вынырнула его голова, и он опять крикнул отчаянно: «Ты где? Перестань...», и снова нырнул, и снова появился и орал: «Наташа» — тогда, за спиной где-то, опять раздался тихий смех.

Она крикнула: «Обманули дурака», — хлопнула в ладоши — там, на другом конце поля. Фигурка ее была слабой частью тумана, голубоватым его сгустком...

...Шли через рощу, и Наташа пила молоко.

— Вкусно... — сказала она, кинула пакет и вытерла рукавом губы.

— Пей еще, — говорил Митя, скусывая уголок пакета. — Пей...

— Ты спятил, — сказала ему Наташа. — Я ж умру. В страшных муках. От заворота кишок...

И тут снова страшный рев двигателей оглушил их, и дальние взрывы, и моря шум...

...Ночной аэродром в Тамани. Самолеты взлетали, растворяясь, — садились, двигатели глушили и рядом

Геннадий Шпалков

заводили вновь, гнали на предельных оборотах. Несли ящики с патронами, копошились в темноте на стремянках, в брюхах машин, копались, орали, матерились — летчицы хлебали из мисок в кабинах, взлетали ракеты, машины срывались и уходили, чтобы вернуться или навсегда остаться там — в черном провале ночи.

— Эй! — крикнул ему Знахарчук, солдат, с которым днем они могилу рыли. — Давай пособи!

— Я тут... — сказал Митя Наташе и махнул головой. Она ему согласно кивнула. Митя уцепился за другой конец тачки, и они выволокли ее из рыхлой земли и покатили. На тачке был бомбогруз, и Митя понял и вспомнил это сразу.

— Ложись! — закричал кто-то в полутьме, и они со Знахарчуком упали на землю, над их головами скользнула темная тень самолетного крыла. Где-то в стороне рвануло, взрыва Митя не увидел, но рвануло громко — рядом это было, — «Мать их в гроб! — крикнул Знахарчук. — Может, нащупали, падлы...», а Митя не сказал ничего, волокли тачку дальше, про бетонной полосе уже, а моторы выли, и машины уходили в ночь. Ночь продолжалась. Там, за проливом, шел бой. Машины возвращались изодранные осколками, пробитые пулями. Моторы не успевали остывать, а механики уже латали крылья, подвешивали бомбы, заправляли двигатели — и снова над взлетной полосой вспыхивала ракета. Механики — с черными от усталости лицами — выбивались из сил, людей не хватало, и каждые лишние руки были нужны. А руки у Мити были хорошие, они все тогда умели — и бомбы таскать, и подвешивать двигатели, и быстро заменить разрушенную стойку шасси.

Всю ночь — о, она была бесконечной — Митя жил боем: принимал разбитые машины, бегал с носилками, таскал тяжелые ящики, ругался, кого-то торопил, говорил «слушаюсь» и ничем уже не отличался от аэродромной команды — черный, охрипший. Только вот разве плащ.

— Ложись! — опять орал Знахарчук, и Митя опять упал на землю и опять где-то рядом совсем ухнуло, но

тут же громко крикнули: «Встать!», и Митя встал. Начинало светать уже, далеко на горизонте светлела полоска неба, тени засинели, подполковник кричал яростно, шея дергалась.

— Какого черта валяешься! — кричал. — Ты почему не на месте! Пять утра — у меня сводки нет! Под суд! В штрафную! Марш на место, через тридцать минут сводку! Мне! Лично!

Митя, задыхаясь, бежал к берегу. Его плотик был там. Он оттолкнулся ногой и — в ботинках, в плаще — оказался в воде, вылез на плотик, толкался багром, потом веслом греб, — плотик уходил в море, — и низко над головой пролетали машины, и ветер от винтов рвал одежду на нем.

Над плотиком бьется наконец радиозонд, упруго покачивается. Митя крепит аппаратуру. Шар рвется из рук. Плот прыгает под ногами, готовый опрокинуться. Плот неуправляем, и волны относят его от берега все дальше. Ноги заливают волна.

Еще мгновение, и шар наклонно уходит в высоту. — в небо, — исчезает в темноте, и тут же Митя видит: над морем, над аэродромом, подвешенные на парашютах, зажигаются яркие огни, — и аэродром, и машины, и люди — полосы и строения, — море и плотик и он — он сам себя в этот миг ясно со стороны увидел — маленький на плотике, видный отовсюду, — все заливают ослепительный свет. Тут же разрывы грянули, — полыхнуло огнем в полнеба. Бензин, — сразу понял Митя, — нащупали, пады, — вспомнил он Знахарчука, и тут же рядом ухнуло, плот качнуло высоко, и Митя упал, по плоту распластавшись: руки-ноги в стороны. — Опять ударило, плотик швырнуло, и больше Митя не помнил ничего.

Пришел в себя уже на аэродроме.

— Вот... — говорил он и тянул бумажку, — сводка вот... Десять минут задержки... Бомбежка...

Гелладий Шпалков

С плаща капала на бетон вода, и он стоял в луже. Подполковник смотрел мимо него. Польшал огонь, и было светло, Митя понять не мог, отчего — то ли пожар, то ли утро.

— Хорошо... — сказал подполковник, взял бумажку и не глядя сунул в карман, — на шестой беги... Тушить надо...

Огонь обжигал глаза, дышать было нечем — горечь и бензиновый смрад, — кишку удерживали вчетвером, хлестала вода. Рядом горела машина...

— Где девятнадцатый?.. — прокричал Митя.

— В полете, — ответили.

— Сколько еще горючего?..

— Полтора часа... — сказали, и Митя запомнил — «полтора часа».

«Полтора часа...Полтора часа...»

Утро. Митя спал, свернувшись, в плаще и ботинках. Солнце поднялось, светило сквозь стволы и листву сюда, на поляну.

«Полтора часа», — снилось ему, но глаз он не открывал, а со стороны солнца опять мелькнула тень, и штурмовик, сделав круг, мягко плюхнулся в траву, пробежал по поляне, встал. Фонарь щелкнул. Наташа была на земле. Митя спал. Она подошла к нему и дотронулась до воротника. Митя дернулся, сел, озирался.

— Заснул, родненький?.. — спросила Наташа.

— Ага... — сказал Митя огорченно. — Я ждал и вдруг...

— И я теперь... — сказала Наташа. — Спать... до вечера... До ночи... Спать... до вечера... До ночи... Спать... — говорила она и уходила, исчезала между деревьями, а Митя сидел на поляне один. Самолет стоял рядом.

Митя ехал по полю на велосипеде в сторону города. Солнце поднималось. Дома стояли на горизонте белые, утренние.

— Он наверху, по-моему... — сказал Мите вахтер. — В большой декораторской... С утра небо раскрашивать должен...

И Митя пошел наверх.

Зал над сценой был очень низким, но и большим. «Вроде как в спичечном коробке», — подумал Митя. Во всю огромную его площадь по полу было расстелено полотно. Леша — босой, штаны закатал до колена — переступал по полотнищу ногами, как полотер — где бы-стро, где медленно, будто танцевал. Время от времени выкрикивал «сюда», и помощник — он вне полотнища стоял, на дощатом полу, — размахнувшись, выхлестывал на полотнище ведро синей жидкости. «Это краска небесная», — соображал Митя.

— Леша, привет! — сказал Митя.

— Здравствуйте! — сказал Леша, но танца не прекратил. — Ты где шатаешься?

— Выйди на минуту! — попросил Митя.

— Исключается, — сказал помощник.

— Ты покури, — сказал Леша. — Десять минут.

Митя стоял. На танец глядел, — помощник опять ведро краски на полотнище швырнул.

Курили у винтовой лестницы.

— Где ты шатаешься? — опять спросил Леша.

Митя смолчал.

— Она с ума сходит, — сказал Леша. — И все пишки на меня.

— Кто? — не сразу сообразил Митя.

— Светлана. Она мне звонила. И сюда приезжала. Я обещал, что ты, как появишься, позвонишь сразу. Ты понял?

— Понял... — сказал Митя. — Ты бы мог для меня сделать одну вещь?

— Какую вещь?

— Ну, не совсем для меня. Для одного хорошего человека. Очень хорошего. Что-нибудь выдающееся. Ну, вроде того куста...

— Какого куста?

— Сирени. Помнишь, ты мне показывал...

— Помню.

Геннадий Шнапиков

— Только куст нельзя. Не дотащить. Это на поляне. За рекой. Тут не куст надо...

— А что?

— Я не знаю. Ты придумай. Чтобы петь и плакать...

— Чтобы петь и плакать? — задумался Леша.

— Ну да. А человек очень хороший. Ему надо. Понимаешь?

— Понимаю... — сказал Леша, мало что понимая. — Фейерверк можно, фигурный, с россыпью...

— Это хорошо, — обрадовался Митя. — Хотя нет, грохоту много.

— Можно и без грохоту... — сказал Леша. — Малошумный фейерверк фигурный. С россыпью.

— С россыпью, — повторил Митя. — Замечательно.

— Хорошо, — сказал Леша. — Я сделаю. Жене позвонишь?

— При чем тут жена?

— Она тоже человек. И тоже хороший, наверное...

— Наверное, — сказал Митя.

— Ты мне, я тебе. Так и договоримся.

— Здравствуй, — Света старалась говорить в трубку просто, без раздражения. — Спасибо, все в порядке. Как у тебя?

— Как у него? — спросила бабка.

— Ах, хорошо, У него хорошо, — объяснила матери Светлана.

— Слава богу.

— Ничего особенного не случилось. Тебе с работы звонили. Интересовались, не болен ли. Я сказала, что совершенно здоров. Ну да. Как в воду глядели. Тебя срочно просил зайти Онаний Ильич. Вот, собственно, и все.

В зрительном зале было прохладно. Зал был пуст. На сцене полумрак. Кирпичная стенка белела. Сверху спустили огромное полотнище. Рабочие тянули снизу.

— Правый край крепи! — кричал Леша.

Митя подошел и встал рядом.

— Позвонил? — спросил Леша, глаз от сцены не отрывая.

— Позвонил, — сказал Митя.

— Ну и что?

— Все ничего, слава богу. На работу зайти надо.

— Конечно, надо, — рассудил Леша.

— Зайдем? — спросил Митя.

— Зайдем...

На сцене молотками застучали.

— Дайте свет, — крикнул Леша, — полный.

Хлынул свет. И там, где только что была стена, тьма, кирпичи, открылось небо — летнее, в больших облаках — воздух, синь, простор.

— Все-таки ты гений, — сказал Митя. — На тебя положиться можно.

— Эх! — сказал Леша. — Левый угол затоптан. Это ты меня сбил.

— Извини, — сказал Митя.

Небо открывалось перед ними — бескрайнее...

Прошли по институтскому парку. Трава, птички пели. Митя вел велосипед. Леша с чемоданом. Подошли к стене, к листу железному с надписью «Не курить». Тут рядом скамеечка стояла

— Он сейчас выйдет, — сказал Митя. — Я позвонил.

Сели на лавочку.

— Ты здесь работаешь? — поинтересовался Леша.

— Здесь.

Лист вздрогнул и, погромыхая, стал подниматься. Из черноты вышел Онаний Ильич.

— Здравствуй! — сказал дружелюбно и протянул руку.

— Здравствуйте! — вежливо ответил Митя и руку пожал.

— Пойдем ко мне? — предложил Онаний Ильич и показал рукой в дыру.

Геннадий Шпаликов

— Лучше здесь поговорим, — сказал Леша. — На воздухе.

— Можно и здесь, — согласился Онаний Ильич, а Леша нажал кнопку. Лист ухнул об землю. Опять стало тихо.

— Это Леша, — сказал Митя и показал на Лешу, а Леша встал. — Вы его помните, наверное.

— Как же... как же... — сказал Онаний Ильич, но радости в голосе не выявил.

— При нем можно все, — твердо сказал Митя.

— Все? — спросил Онаний Ильич.

— Мне, собственно, отпуск нужен. На неделю хотя бы. За свой счет.

— Понимаю, — сказал Онаний Ильич. — Присядем. Присели.

— Как ты себя чувствуешь, Митя? — спросил Онаний Ильич, и в голосе его было участие.

— Спасибо, ничего, — ответил Митя вежливо.

— А выглядишь неважно, — загрустил Онаний Ильич.

— А как я должен выглядеть?

— Лучше, — твердо ответил Онаний Ильич. — И потом, Митя, я обещал твоей жене, Светлане обещал, что покажу тебя врачу. А слово не воробей, Митя, — вылетит — сам знаешь, как дальше... Это не страшно вовсе... Он мой друг... Вернее, друг моего сына... Чудный специалист и остроумнейший человек... Вы подружитесь, честное слово... Ничего страшного, конечно... Переутомление... Жара... И этот барабан...

— Какой барабан?

— Да вот в театре. Давний, а все-таки ушиб. Проверить надо... Митя, я тебя прошу, по-товарищески. Сходим, и все. Хочешь в отпуск?

— Хочу.

— Вот тебе и основание. Ты со мной к врачу, а я тебе отпуск. Идет?

— Идет, — сказал Митя. — Ради бога.

У ворот клиники встретились: Светлана была с Катей, и Гоша почему-то пришел тоже. Велосипед вел Онаний Ильич, Митя с Лешей шли чуть позади. Поздоровались приветливо. И пошли по дорожке к зданию. Здание было старо как мир. Екатерининских, должно быть, времен.

Врач и вправду был человеком симпатичным. Чуть моложе Мити, толст и, по всему видно, добр. Очень чистенький врач, вежливый и грустный. Он постукал ему легкие, послушал сердце, просил показать язык. Митя выполнил все послушно.

— Замечательно, — сказал врач. — Закройте глаза. Крепче. Вытяните руки.

Митя закрыл глаза и руки вытянул.

— Не дрожат? — спросил, глаз не открывая.

Врач не ответил.

— Постарайтесь коснуться указательным пальцем глаза... — попросил врач, и Митя коснулся.

— Замечательно, — сказал врач.

— А молоточки? — спросил Митя.

— Какие молоточки? — удивился врач.

— Чтоб колени дрыгались.

— А, эти... — протянул врач печально. — Нет. Молоточков нам с вами не надо.

Онаний Ильич, Светлана, Катя, Гоша, Леша стояли группой у открытого окна. Оттуда, из парка, дул свежий ветер.

— Очень хороший врач... — говорил Онаний Ильич. — Из молодых... Уже кандидат... У него отделение в клинике...

— Только не в клинику! — испугалась Светлана.

— Что вы! — успокоил Онаний Ильич. — Его и не положат... Капельки дадут... Витамины... Я сам принимал...

Помолчали.

Теплый Шпалков

— А главное — бег... — сказал Онаний Ильич. — Бегать и бегать... Трусца... Открытие века...

Помолчали.

— Цирк, — ни к кому не обращаясь, сказала вдруг Катя.

Митя и доктор сидели друг против друга. Глядели внимательно, дружелюбно.

— Физически вы вполне здоровы, — приветливо сказал доктор. — Во всяком случае по внешним показателям. Что вас, собственно, беспокоит?

— Меня? — удивился Митя. — Ничего.

— Замечательно, — сказал доктор. — В таком случае, так сказать, чем же обязан?..

— Это их, вероятно, беспокоит...

— Кого — их?

— Родственников... — сказал Митя неопределенно. — Быть может, — сказал потом он скучно. — Вы извините, доктор, с вами можно говорить серьезно? Без дураков?

— Вполне... — сказал доктор обрадованно и сложил на столе руки, приготовившись слушать.

— Сколько вам лет, доктор?

— Тридцать шесть.

— А как у вас со смутной тревогой, — спросил Митя, — с предчувствиями?..

— Хорошо, — сказал доктор.

— Отсутствие? — уточнил Митя.

— Да.

— Вот, доктор, скажу вам, как на духу. Было мне тридцать, и я мог сказать вслед за вами радостно — отсутствие. И в тридцать три, и в сорок... Катилась моя жизнь, можно сказать, курьерским экспрессом — ни тряска ни валко, ходко, не пылило, а и пылило, так окошко прикроешь, на полке повернешься лицом к стене и спишь без сновидений. Без сновидений, заметьте. Это вас как специалиста радует, вероятно?

— Радует, — согласился доктор.

— Так вот. В одно прекрасное утро — утро и впрямь было прекрасное, доктор, это я не для красного словца, — я вдруг дерево увидел...

— Дерево?

— Да, доктор, дерево. Оно там сто лет стоит. Перед окном моим, а я его, представьте, и не видел ни разу. Собственно, видел, конечно, но так, боковым зрением. А тут заметил. Заметил — и смутная тревога на меня накатила. Собственно, не так уж, чтобы и очень смутная. Это поначалу. Потом я сообразил быстро. И смутности мало осталось...

— Очень интересно, — поддержал доктор. — И что же вы сообразили?

— Совсем нехитрую, доктор, вещь. Вы знаете, конечно, что люди ко всему привыкают. Так сказать — адаптация. Говорить совестно. Типичный трюизм.

— Трюизм, — согласился доктор.

— И тем не менее сообразил я, что привык. Видите ли, ко всему привык. Это у вас, кажется, называется устойчивой психикой.

— Ну, допустим, — сказал доктор.

— Вот-вот. И привычка эта, можно сказать, такая замечательная, что получаешься ты вроде железобетонный. Непробиваемый... Неуязвимый... это славно. Ведь нервные клетки, говорите, не восстанавливаются?

— Не восстанавливаются, — подтвердил доктор.

— А на кой черт они вообще, если их не тратить?

— Может, это у вас по работе? Неприятности?

— И по работе. Я, видите ли, доктор, одну машинку лет двадцать назад придумал. Шарик, так сказать. И с тех пор ни бум-бум. Шарик этот даю. И ничего. Привык. Как вам это нравится?

— Н-да, — сказал доктор неопределенно. — Но это, право же, не причина для волнений. Придумайте, в конце концов, еще что-нибудь...

— А зачем?

Тетядакий Шналик

— Я не знаю, — сознался доктор. — А в семье как? С женой как живете?

— Ничего. Никак. Привык.

— Н-да, — опять сказал доктор. — И что вы предлагаете?

— Ничего, — сказал Митя. — Ничего пока. Только вот еще что я думаю. Самая устойчивая у покойника.

— Ну-ну? — заинтересовался доктор. — И что вы предлагаете?

— Полная адаптация. И нервы не тратаются. Лежит, отдыхает. А я, понимаете ли, живой. И вот тут у меня полная неувязка вышла.

— Ну и слава богу, что живой, — сказал доктор убежденно. — Очень хорошо.

— И я так думаю. Хорошо. Ведь могло бы меня, допустим, совсем не быть?

— Могло, — согласился доктор. — Теоретически.

— Ну да, или убить меня, скажем, могли. Ведь могли?

— Воевали?

— Воевал.

— Могли, — опять согласился доктор.

— Но не убили.

— И слава богу, — опять сказал доктор. — Так что же вы все-таки предлагаете, — опять спросил он с интересом вовсе не поддельным.

— Я не знаю точно. Не додумал. Мне додумать надо. Но вот, к примеру, вам не хотелось бы сейчас махнуть в Месопотамию? Прямо сейчас? Махнем, а?

— В Месопотамию? — доктор помолчал, соображая. — А вы бы махнули? — спросил он наконец.

— Не убежден. Что именно в Месопотамию.

— Естественно, — поддержал доктор. — Нельзя же всем разом махнуть в Месопотамию. И потом там тоже сначала будет очень жарко, а потом — опять двадцать пять — привыкнете.

— Н-да... — сказал Митя и задумался.

— Вот что, — сказал доктор. — Вас ко мне зря тащили. Я сам, понимаете ли, про это думаю иногда. Не так, правда, направленно, но думаю. Почему бы в таком случае не меня к вам на прием вести?

— Действительно, — согласился Митя. — Почему бы?

— А капелек я вам все-таки пропишу. По крайней мере, жену вашу успокоим.

— Пишите, доктор, — сказал Митя радостно. — Давайте всех успокоим.

Все стояли у окна. Ожидали. Никто не разговаривал ни о чем. Поостыли. И даже чувствовали себя довольно неловко. Действительно, чего притащились?

Дверь кабинета открылась.

— Прощу, — сказала аккуратная, как и доктор, медсестра. Лицо ее тоже было печально. Профессия брала свое.

Митя сидел у стола, заложив ногу за ногу. Доктор глядел на входящих.

— Прощу садиться! — пригласил он, и все чинно расселись на стульях.

— Больной совершенно здоров, — бухнул доктор несурязицу, и слушатели по стульям зашевелились. — Я имею в виду, что он — не больной. Здоровый. Нормальный человек с живой подвижной психикой. Причин для беспокойства не вижу...

Доктор умолк.

— Я могу идти? — спросил Митя.

— Разумеется, — сказал доктор.

— Извините, — сказал Митя всем и поднялся со стула. — Велосипед внизу? — спросил он у Онания Ильича.

— Внизу, — смиренно ответил Онаний Ильич.

— Ты, Света, не переживай, правда. Ничего страшного не происходит. Мне, понимаешь, кое-что додумать надо. Обязательно. Хорошо?

Света молчала.

Тетрадь Мнашков

— Хорошо, — сказала Катя.

— Вот и хорошо, — сказал Митя. — Леша, пойдем.

Они шли по улице. Митя вел велосипед. Леша шел рядом. День потихоньку клонился к вечеру. В городе былолюдно. Осень настоящая никак не приходила. Все еще было тепло. Деревья стояли зеленые.

Потом ехали по тропинке полем. Река чернела рядом. В намокших кустах опять путался туман, но не такой, как вчера, меньше, — туман стелился по траве, по воде. Молчаливо стояли стога, и месяц плыл бледным небом. Светло еще было. Митя правил. Леша сидел на багажнике, отставив загипсованную руку далеко в сторону. Митя был сосредоточен и неразговорчив. Леша вдыхал глубоко, и беззаботная улыбка блуждала по лицу. Он на свистывал.

Проехали рощу, и колесо мягко ткнулось в густую траву. Поляна была пуста.

— Ах, черт! — сказал Митя и слез с велосипеда. — Опоздали.

— Здесь? — спросил Леша и огляделся

— Здесь, — подтвердил Митя. — Опоздали, кажется... Улетела...

— Понимаю, — сказал Леша мирно. — Хорошее место. Редко я бываю за городом. Спасибо тебе, Митя, вытащил, — и опять огляделся с удовольствием. — Значит, сюда, говоришь, прилетает?

— Сюда, — охотно подтвердил Митя.

— Понятно, — сказал Леша тускло.

— Вот колодки от ее самолета, — сказал Митя и вытащил из травы мокрые железные колодки. — Слышишь, звенят? — И Митя стукнул колодки друг о друга. Колодки громко звякнули.

— Слышу, — подтвердил Леша. — На самом деле, колодки. А когда они прилетят? Во сколько?

— Я точно не знаю, — сказал Митя неопределенно. —
Стемнеет — и прилетит.

— Уже темно почти, — с сомнением в голосе сказал
Леша. — Поточнее бы.

— Я не знаю, — сказал Митя. — Поточнее не могу.
А у тебя, что, дети плачут?

— Не плачут, — сказал Леша. — Но все-таки...

— Что все-таки?.. — крикнул на него Митя.

— Ничего, — успокоил его Леша. — Все хорошо.

Леша смотрел открыто. Не придаться.

На траву положили белую тряпку. Бутылку вина от-
крыли. По стаканам разлили. Чокнулись. Выпили. Хо-
зяйственный мужик был Леша.

— Ты ешь... — протянул Мите хлеб с колбасой. —
Ешь, закусывай... — Леша выпил и ел теперь с удоволь-
ствием.

— Время-то сколько? — спросил жуя.

— Девять без десяти... — сказал Митя, взглянув
на часы. — Ты меня не дергай, пожалуйста, сиди спо-
койно...

— Ладно, — покладисто ответил Леша. — А точно
прилетит?

— Ты что, не веришь?

— Почему — верю... — сказал Леша смиренно. —
Вон и колодки лежат...

— Лежат, — обиженно сказал Митя.

Помолчали.

— Споем?.. — предложил Митя.

— Я уже говорил... — сказал Леша. — Не умею...

— Жалко, — опечалился Митя.

— Ты сам спой, — предложил Леша. — А я делом
займусь. А то совсем ночь...

«Та-а-ам, за рекою-ю-ю, та-а-ам за голубо-о-ою...» —
тянул Митя старательно и от старания слегка фальш-
шивил.

Геннадий Шпаников

Леша выкладывал на траву пакеты, проволоку.

— Помочь? — спросил Митя, на мгновение прервал пение.

— Не надо, — сказал Леша. — Пой...

«Мо-о-жет, за Окою-ою, дере-е-рево рябо-о-ое...» — тянул Митя, поглядывая украдкой на небо, а Леша, не торопясь, обходил поле, ставил свои механизмы, тянул проволоку между ними, и гипсовая его рука белела то там, то тут на темном фоне леса.

Стемнело. В небе сверкнул серп молодого месяца, а на поляне белели два пятнышка — Митин плащ да Лешин гипс. Туман ушел. Тихо было, и только опять далеко кукушка куковала.

— Спел? — спросил Леша мрачно.

— Спел.

— Значит, прилетит?

— Прилетит. Колодки видел?

— Видел. Еще спой.

— Хватит, — сказал Митя. — Я уже кончил.

— И я кончил, — сказал Леша еще мрачнее, а Митя не ответил.

— Слушай, — сказал Леша мягко, тактику переменял. — Ну, посидели, выпили, песню спели. Все хорошо, да?

— Хорошо, — согласился Митя без энтузиазма.

— До утра здесь, конечно, просидеть можно, но холодно...

— Тебе чего? — напрямик спросил Митя.

— Ничего, — сказал Леша устало. — Давай я для тебя фейерверк шаррахну. Я шаррахну для тебя, и домой поедем. Фигурный. С россыпью. А?

— Никуда я не поеду.

— Будешь ждать?

— Буду, — ответил Митя твердо. — Колодки видел?

— Видел, — сказал Леша стальным голосом. — Я уже все видел, Митя. И всему есть предел. Ты играй, но не

заигрывайся. Я тут один зритель. Остальное — неживая природа...

— А ты, Леша, пошляк. Такое встречается. Редко, но бывает.

— Все? — спросил Леша.

— Все, — сказал Митя.

— Ладушки, — сказал Леша, решительно повернулся и пошел в центр поля.

— Ты куда? — Митя вскочил.

— Не напрасно мы старались! Ох, старались! — шептал Леша сам себе горестно, на Митю не оборачиваясь. — Не напрасно вы смеялись! Ах, смеялись.

— Леша! — опять крикнул Митя, но Леша, так и не обернувшись, ловко дернул провод, зацепил что-то ногой... Раздался взрыв, и Леша исчез в дыму.

А над поляной в темное небо взлетели огненные шары, — возгорались на лету и расплывались — красные, голубые, лиловые, оранжевые — причудливыми цветами. Гремели петарды. Грандиозный фейерверк рассыпался искрами. Все в нем было безукоризненно. Ритм, цвет, внезапность номеров. Все волшебное.

Когда дым на поляне рассеялся, Митя увидел Лешу. Он стоял там же и черного лица не вытирал.

— Прилетит, значит? — опять спросил он.

— Прилетит, — ответил Митя.

— Ждать будешь?

— Буду.

— Ладно, — сказал Леша. — Я тогда пошел. — Повернулся и пошел. Митя глядел вслед.

— Леша! — крикнул он. — Велосипед возьми. Я думаю, одной рукой справишься.

— А я думаю — погорячился доктор! — крикнул ему Леша. — Зря тебя отпустил!..

Он не оборачиваясь шел через деревья — прямой, независимый. Рука крылом белела.

Митя остался на поляне один... Дым рассеивался долго еще.

Телладий Шпалков

Ночь текла неторопливо. Митя блуждал перелеском, собирал сучья. Поджег костер. Костер горел ярко, стрелял. Митя сидел рядом. Ждал.

Так ждал он час, и еще час, и еще. Рассвет занимался. Костер потух давно, и слабый дымок поднимался в блеклое небо. Ветер нес облака.

...Отсюда — с бесшумного ее лета — рассвет ощущался тоже. Быть может, острее даже, чем там, на земле. Проплывали зеленые острова, и море тянулось долго — зеленое тоже, ах, нет, — синее, голубое, с белым, — все тихо было, и шум моторов до слуха ее не долетал. Потом пошли бесконечные поля — опять зеленые, потом золотые, — и смутные окна озер голубели среди них, и реки — синими венами, нет, деревьями, расщепляясь в вершинах, — растекались по летней земле.

Она снизилась — тогда различимы стали одинокие домики вдоль бесконечных дорог и листва нечастых деревьев и некошенные луга в бедных цветах — Россия. Некоторые из цветов узнавала она отсюда, сверху, с лета: горяще-синие — васильки, белые, с едва различимыми желтыми отметинами, — ромашки, это помнила.

Река, и лес, и поляна плыли навстречу; приближаясь, и Наташа увидела его отсюда сразу — сидит, головы не поднимая, плащ его белый, знакомый, велосипед в траве — спицы поблескивают — сверху на очки похож, и пятно от костра — темное, и поляна вся в бурых каких-то пятнах, будто в подпалинах...

...Она спланировала неслышно, привычно, отчетливо услышала толчок колес о землю, о траву. Ее шелест — в стороны, от винта — скорость погасила. Он бежал навстречу, руками махал, — вот смешной, господи, чего орет впустую. Фонарь закрыт... Фонарь звякнул, руками опе-

реться на плоскость, скользнуть неслышно, — вот земля твердая, трава, он рядом, все обошлось опять...

— Ты костер жег?

— Жег.

— Я сверху увидела. Ночью жег?

— Ночью.

— Ждал, что ли?

— Да.

На земле ее качало слегка. Так всегда было. Этому она не удивлялась. Митя же ее удивил слегка. То ли не спал он, то ли неизвестно что — темно, странно.

— Ты говорила — спать будешь. Целый день...

— Мало ли чего я говорю... — ответила она беззлобно. — А ты и уши развесил... Слушай, что ты мне голову морочишь?.. Тебе лет сколько?..

— Мне?.. — не сразу сообразил Митя. — Ах, да... Смешно... Семнадцать...

— Врешь, — сказала она безнадежно и махнула рукой. — Ох, сколько же ты врешь... Я у Знахарчука спрашивала...

— Ну и что? — спросил Митя.

— Ничего. Если шестнадцать есть, говорит, то это ничего уже. А может, и это врешь... Врешь?

— Нет.

— Попробуем поверить, — сказала она и засмеялась. — Посидим?

— Ага, — сказал Митя, снял плащ и постелил, оставшись в пиджаке.

Сели.

— У тебя время есть? — спросил Митя.

— Нет, — сказала Наташа. — У меня вообще времени мало... Ты чего сопишь? — спросила она, а он и вправду сопел, — но ответа его не услышала, он приблизился к ней, неожиданно и молча повалил на плащ, на траву, — задыхался. — Ты что, дурной? — вскрикнула и смеялась, отталкивала его, но оттолкнуть не удалось, и смеха не было уже. Митя крепко держал. — Ты спятил, —

Теплый Милков

кричала и царапалась, и драться пыталась, но Митя был ловок — она и сообразить не успела, как лежала на траве, связанная по рукам и ногам, спеленутая, не лежала — билась, по траве каталась, кричала: — Вот, балбес, дурила, пацан...

Но Митя не вслушивался.

— Вот так, — говорил, — вот так, — назад не оглядывался, шел к самолету, на крыло впрыгнул, в кабину, фонарь не закрыл, щелкнул тумблером...

Поначалу все получилось само по себе. Ожила приборная доска — стрелки задрожали, лампы зажглись, ручка управления плотно легла в ладонь, слегка вздрагивая, в ожидании будто.

— Вот так, — опять сказал Митя. Деревья в конце поляны стремительно понеслись на него, — ручку на себя, плавно — теперь только небо впереди...

...Он сделал круг над поляной и видел траву и деревья — такие родные, привычные, и она, связанная, спеленутая, каталась по поляне — изгибаясь, крутясь, и ветер от винта гнал траву, и вершины деревьев качал. Он отвернулся, и самолет ушел вверх, в сторону — неслись поля, и реки, и дороги — Россия, — и озера синели тускло, — рядом совсем. Он увидел ясно: облачко возникло и разорвалось, но звука разрыва не услышал, облачко такое же белое, пушистое, справа возникло, машину качнуло, Митя вцепился в ручку, отчаянно тянул на себя, взмок, лоб блестел, и синяя жилка на лбу вздулась — вот-вот лопнет, — машина падала. Он глянул вниз, полоска суши перед морем была малой, изрезана окопами и изрыта воронками, и ребят было только несколько, все в тельняшках, а один махал ему руками, потом тельняшку сорвал и тельняшкой махал, — дальше Митя не видел: горячий пот заливал глаза, — не видел, почувствовал: машина пошла вверх, резко, свечой, — тогда в ветровом стекле, переднем, он заметил несколько дырок, —

плексиглас расщепился, дробился, потом что-то алое растеклось перед глазами. «Вот, — сообразил Митя, — оттого что жарко и с непривычки», — боли он не ощутил — только жар адский, раскаляющий все тело, — и огня не заметил сразу, чувствовал, но не видел, хотя горел уже весь: и машина, и крылья, пиджак его крапчатый — факелом, не красным, не оранжевым — слепяще белым, кожа лопалась и горела, — слипшиеся волосы пылали. Потом ничего не было — только оплывшая белизна...

...Из белизны этой мертвой очень медленно, будто в тихом сне, выплыли: река, и дальний лес, и кусты, в реке замокшие. Баржа плыла неторопливо. День был сереньким — облака негустые, неплотные шли чередой, лениво. Митя сидел на большом руле баржи боком, свесив над водой ноги. Катя — рядом. Туфли сняла. Рябь по воде. Ветер. То ли дождь собирается. То ли только что прошел. День стоял смутный — то синий, то серый. Обыкновенный день.

— Вот так, Катя... — сказал Митя, перед собой глядя. — Вот так...

— Я понимаю, — сказала Катя негромко и головы не повернула.

— Хорошо, — сказал Митя.

Катя ногой качала. Вода плескалась у руля негромко — журчала.

— Я все думал и вспомнить не мог... — сказал Митя, голову к дочери повернув, — на кого она похожа... Сейчас вспомнил... На тебя...

— Хорошо, — сказала Катя.

Баржа — к чему непонятно — вдруг свистнула трижды, и опять стало тихо.

— Вода, Катя... — сказал Митя.

— Вода, — подтвердила Катя.

— И трава... — кивнул на зеленые берега.

— И трава, — повторила Катя.

— Вон, смотри, собака бежит...

Тетрадь Шпаликов

— И собака.
— Все с нами?
— Все при нас.
— Может, список составим? — предложил Митя.
— Давай.
— Значит так: вода, трава, собака...
— Облако... — подсказывала Катя.
— Облако.
— Баржа...
— Баржа. Ты... — сказал Митя.
— И ты, — сказала Катя.
— Хорошо, — сказал Митя.
— Там рыба есть... — вспомнила Катя и махнула на реку головой. Волосы ее спутались, переплелись, и она отодвинула их с глаз рукой.

— Где?
— В реке.
— Есть. И рыб возьмем. Пиши.
— Нечем, — сказала Катя. — Я так запомню...
— А «Синдром» возьмем? — с сомнением спросил

Митя.

— Возьмем, — сказала Катя. — Он ничего. Занятный.
— Занятный, — сказал Митя.
— И бабку, — сказала Катя.
— И бабку, — подтвердил Митя.
— И мать...
— И мать.
— Лампадова тоже придется... — огорчилась Катя.
— Что делать. И Лампадова...
— И Матильду? — поразилась Катя.
— И Матильду, будь она проклята...

А баржа плыла среди белого дня, и они на руле сидели, свесив ноги. Вокруг все было так, как они говорили. Собака бежала, шли облака, и, невидимая, ходила в реке рыба.

— Мы живы, — сказал Митя.
— Живы.
— Светло и весело...

- Светло и весело.
- Как в первый день творенья?
- Да. Как в первый день.

Пятнистая корова стояла в воде, лениво жуя, на них глядела, морду за баржей поворачивая. Долго...

...Потом причал возник. Тоже медленно появился. Доски поблескивали, высокие сваи в иле и будка зеленая. На причале стояли: его жена Светлана — блузка белая, жакет черный — костюм, серьезности случая соответствующий, ее мать — общая бабка — прикатилась в креслах на колесиках, и Серафим Лампадов — гордый старик, конечно же, был рядом — это ясно — до гробовой доски, а дальше друг его задушевный Леша — рука крылом, отдельно, на отшибе, — и грозная сука Матильда, будь она трижды проклята, слонялась тут же, лаяла при его приближении, будто радуясь, лаяла и скулила — придуривалась, наверное, как всегда, черт ее знает.

Мягко ткнулась в причал баржа, Митя на мостки сошел первым, Кате руку протянул.

— Вот так, — опять почему-то сказал он и переступил с ноги на ногу.

— Здравствуй, — сказала Светлана.

— Здравствуй, — приветливо ответил он и тут же вспомнил: — А велосипед?

— Ах! — сказала Катя, и матрос, он же капитан, протянул ей велосипед — он на мокром песке валялся, на единственном и постоянном грузе этой баржи.

— А ты осунулся, Димитрий... — заметила бабка, и голос ее дрогнул.

— Это ничего, — сказал Митя.

— Это ничего, — подтвердил Леша.

— Пойдем помаленьку? — предложил Лампадов. Он был неизменно элегантен — трость с набалдашником, мантиль габардиновый, «бабочка» — на синем маленький горошек, шляпа в руке.

Тетрадь Шмаликов

Развернули кресло. Митя заботливо катил его по песку, в паре с Лампадовым. Катя велосипед вела — прожавевшие втулки скрипели, — Леша шел с ней рядом, говорил ей что-то весело, Катя откидывалась, хохотала, отвечала, длинными руками в воздухе мельтеша. Проселок был пуст, и Матильда прокладывала путь их неторопливому шествию, шкодливо снуя от обочины к обочине. Капнул было дождик, но не пошел, раздумал почему-то. Где-то птицы пели — последние.

Они уходили по дороге — и баржа, и река, и поле оставались за спинами, позади, в прошлом уже, — они шли по дороге и разговаривали друг с другом приветливо. — Дождь все раздумывал, идти ему или нет. Мите же вдруг опять почудилась та песня, слабая совсем, опять голос этот некрепкий — он вспомнил и слова. Вы помните, наверное. В песне было так:

Там, за рекою,
Там за голубою,
Может, за Окою —
Дерево рябое...

И потом — другие слова. А заканчивалась опять:

Дерево рябое
На том берегу.

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ*

1

Сквозь осенний лес, который для каждого имеет свою привлекательность, светило вечернее солнце. Свет его, проходя между облетающими деревьями, был ясен и чист. Он уже как бы снизу озарял стволы и ветви, и мягко вспыхивали под его лучами верхушки деревьев, светились листья, застывшие в неподвижности. Ото всего уже неумовимо веяло ноябрем, хотя до снега было еще далеко, но воздух к вечеру холодел и был свеж, как перед снегом. Уже во многих приметах проступало нетерпение зимы.

Непосредственно к лесу примыкало большое строительство; его широкая панорама темнела на фоне заката прямоугольниками корпусов, силуэтами кранов, без которых немислим пейзаж молодого города; краны разнообразно и на разной высоте высились над домами. Вечерний свет, проходя сквозь корпуса, заставлял ярко сверкать стеклянные проемы.

От строительства по направлению к лесу неорганизованно, растянувшись в длинную цепочку, шли молодые люди. Так они и вступили в лес. С первых же минут их появления, да и, пожалуй, с первых кадров нашей истории будет слышна мелодия; ее наигрывал кто-то из идущих молодых людей на гитаре, а кто-то другой помогал

* Фильм «Долгая счастливая жизнь» — единственная режиссерская работа Г.Шпаликова (оператор Д.Месхиев, композитор В.Овчинников, в главных ролях Инна Гулая и Кирилл Лавров. «Ленфильм», 1966 г.).

Геннадий Шнапков

ему на аккордеоне, но не особенно помогал — гитара все-таки преобладала. А играли они старую песню «Отвори потихоньку калитку», спокойствие и простота которой сочетались со спокойствием осеннего заката, неторопливым прохождением через лес, когда и шагов почти не слышно — их заглушали облетевшие листья.

Лес кончился. Прервался ненадолго, пропустив через себя шоссе. Шоссе в этом месте возвышалось над лесом, находясь почти на уровне верхушек деревьев, и, чтобы подняться на него к автобусу, ожидавшему молодых людей, им пришлось взбираться вверх, держась за кусты и помогая друг другу.

Во время этого подъема все они исчезали на короткое время, чтобы появиться внезапно на шоссе перед автобусом, возникнуть четкими темными фигурками на фоне неба, когда даже гитара, поднятая кем-то над головой, будет иметь свой контур. Вот он уже есть, контур гитары, чей-то силуэт — и еще один. Собрав в себя всех молодых людей, появившихся с разных сторон шоссе, автобус рванул с места и помчался, освещенный последними солнечными лучами, равно как и верхушки окружавших автобус деревьев. Затем дорога пошла под уклон и освещение сделалось обыкновенным.

Это было в субботу, в пятом часу. Двадцать два молодых человека (в их числе были и девушки) отправились на этом автобусе в город Н.

Город Н. был похож на все молодые города, возникшие в Сибири, и представлял из себя тот притягательный культурный центр, в который устремлялись в праздничные и выходные дни молодые люди со всехстроек, расположенных от него и в ста и более километрах.

Стройка и поселок, откуда в пятом часу отошел автобус, находились в ста двадцати километрах от города, и, следовательно, предстояло три часа дороги. Но это не пугало пассажиров автобуса, одетых празднично, чисто выбритых. А девушки, сидевшие с ними, были одеты столь

же нарядно, и в их настроении была приподнятость и оживление, свойственные праздникам и отъездам. Автобус у них был свой, от строительства; в нем можно было, не стесняясь присутствия посторонних, петь всю дорогу, смеяться по такому поводу, который человеку случайному, не их круга, мог бы показаться странным, а также пересаживаться с места на место, разговаривать с водителем, курить, а если понадобится, и остановить автобус у какой-нибудь березовой рощи, белеющей в темноте стволами, или недалеко от озера, на берегу которого горит костер, сладко дымя и заставляя всех запеть, не сговариваясь: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету...»

И эту спели.

И еще многие, из разных лет, в том числе из военных, хотя в автобусе ехали люди очень молодые, не воевавшие, а многие еще и не служившие в армии или во флоте, но пели они, как ветераны.

Девушка, которая займет в этой истории основное число страниц, сидела спиной в сторону движения и пела всю дорогу. Слух у нее был неважный, но зато голос вполне громкий, и желание петь преобладало над музыкальными способностями, равно как и чувство, с которым она пела.

На ней был берет, — челка белая из-под него, и еще плащ.

Этой легкостью одежды она выделялась среди своих товарищей, а больше ничем. Ее звали Лена.

Уже стемнело, и водитель зажег фары.

Заяц перебежал шоссе, вызвав своим появлением восторг и крики.

И внезапно свет фар своими параллельно идущими лучами выхватил из темноты чемодан и сумку, поставленные точно на середине шоссе.

Водитель вынужден был затормозить перед этими предметами, возникшими неизвестно откуда. Но тайна их появления тут же раскрылась самым обыкновенным образом: из-за дерева вышел человек и направился к автобусу.

Гекнадий Шпалков

— Здравствуй, — сказал он водителю, приоткрывшему дверь. — Подвезешь?

— Как компания захочет, — шофер кивнул назад.

— Я человек компанейский. У меня и выпить есть.

— Хватайте его, а то убежит! — крикнул кто-то.

— Вы решайте, а то я и передумать могу, — сказал человек. — Тут автобусов много ходит.

И вот уже он протягивал в автобус чемодан, сумку и сам вошел в него, присев рядом с Леной у самой двери.

Автобус тронулся.

Парень в накинутом на плечи пальто, из-под которого виднелись «молнии» и курточка, заиграл на гитаре какую-то песню, а остальные разглядывали беззастенчиво нового пассажира. Он сидел, обратившись лицом ко всем, кроме Лены.

Разглядывание его нисколько не смущало. Он в свою очередь спокойно смотрел на всех, а потом сказал:

— А выпить у меня, ребята, нечего. Могу чемодан открыть. Я сам три месяца вообще ничего не пил. Но кто хочет, в городе может выпить.

Лицо у него было молодое, но усталое, небритое. Он казался старше своих лет, и говорил он уверенно.

— А кто ты такой? Откуда ты тут появился? — спросила его Лена перед всеми. Спросила весело.

— Я? — Он посмотрел сбоку на нее, ответил ей, а не всем: — Иностраный разведчик. Разве не похож?

— Под геолога работаешь?

— Да. Молодой специалист. Отстал от партии. Не ел пять дней, тонул, горел, но бодрости не терял. Корешками питался, песни советских композиторов пел: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат».

— Смотри, и песни знает!

— Пришлось выучить: приметы времени.

— А эту знаешь? — спросила она и громко запела:

На закате ходит парень
Возле дома моего,
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.

— «И кто его знает, чего он моргает, — тотчас подхватил парень. — Чего он моргает, на что намекает...»

Голос у него оказался точно таким же, как у Лены. Пел он громко, а слуха не было, и Лена, не прекращая петь, в знак солидарности пожала ему руку, после чего они уже всем автобусом допели до конца эту песню, и она получилась и, как это бывает иногда с широкими песнями, вовлекла поющих в свое единственное настроение, и люди охотно поддавались этому настроению, принимали его, захваченные мелодией и словами, так складно и просто соединенными в понятный для всех смысл.

А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке только точки,
Догадайся, мол, сама.

И кто его знает,
На что намекает.

Я разгадывать не стала
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.

И кто его знает....

Лена и парень, сидевший рядом с ней, пели с одинаковым старанием, воодушевляясь все более к концу песни.

Этот случайный здесь человек, начавший петь несерьезно, как бы продолжая диалог с Леной, оказался тоже захваченным песней и еще чем-то, что возникало на это

Геннадий Шнапков

короткое время между ним и незнакомой девушкой, и хотя, может быть, ничего между ними и не возникло, но ему показалось что-то, чему соответствовал припев.

А кто его знает, как это получается? Кто знает, каким образом люди находят друг друга? Кто знает, с чего начинается привязанность, влечение, необходимость именно в этом человеке, а не в другом?

Все эти обыкновенные мысли ни на секунду не появились у Лены и ее соседа, но в самой песне и в том, как они ее пели, были и совершенно определенно присутствовали размышления этого круга.

На повороте на темном мокром шоссе автобус занесло и развернуло поперек. Шофер затормозил. Пассажиров силой инерции бросило вперед и влево, но все обошлось вполне. И могу добавить: эта загадочная, но уже объясненная наукой сила инерции помогла как-то сблизиться тем, кто сидел по разным углам автобуса, не решаясь сесть рядом. Однако переполох прошел. Автобус поехал.

Лена, как и всякая девушка в минуту опасности, искала опору и защиту. Такой защитой и опорой оказался сидевший рядом незнакомый парень. Им мог быть и другой, но сидел он, и Лена прижалась к нему.

Между тем автобус уже ехал, уже потянулись за окнами еле видимые во тьме деревья, обозначенные лишь переходом от полного мрака к просветлению на вершинах, где листья реже, ветки короче; где начинается свободное пространство вечернего ясного неба. Уже играла гитара, но пока никто не пел, не было и разговоров. По шоссе невысоко стоял туман. Лена все еще держала голову около этого незнакомого парня, рукой касалась его плеча.

— «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана», — негромко сказал парень, улыбнулся и дунул сверху на затылок Лены.

Светлые волосы ее легко приподнялись.

— Ничего себе тучка. — Лена села прямо.

— Главное, в субботу глупо разбиваться. В понедельник другое дело, — сказал незнакомый парень.

— Ужасно я всего этого боюсь, — сказала худенькая девочка в глубине автобуса. — Мне нагадали, что я умру не своей смертью и в тридцать пять лет.

— Кто же тебе это нагадал? — спросил ее сосед, обнимая.

— Цыганка, за рубль. По линиям ладони, — сказала девочка, и в автобусе засмеялись.

Лена и незнакомый парень молчали. Потом Лена сказала, обращаясь к нему:

— А я боялась воды. И очень долго. Я с родителями до пятнадцати лет жила в степи, под Карагандой...

...На экране возникает не степь. Обычный среднерусский пейзаж. Серый летний день; река, отмель; невдалеке лес.

— А на каникулы меня позвал дядя к себе, под Воронеж, — продолжает голос Лены, — там замечательные места. А как же река называлась? Небольшая речка, но глубокая.

— Нил, — отвечает голос незнакомого парня.

— В воскресенье меня позвали ребята кататься на лодке, — продолжает голос Лены. — Плавать я не умела совсем. Я так им и сказала.

...Теперь на реке — лодка. В лодке — подростки. Все аккуратно одетые, в светлых воскресных рубашках. Парень играет на гармошке. Лена сидит между двумя ребятами, обмахиваясь веточкой. Лицо у нее счастливое, безмятежное. Все поют, и получается даже стройно: «В рубашке нарядной к своей ненаглядной пришел повидаться хороший дружок, вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок...»

...Лена увлечена пением, рекой, лодкой и не замечает, что у ребят есть какая-то договоренность, план.

И они осуществляют его: на самой середине этой неширокой, спокойной речки Лену сталкивают в воду. В чем сидела — в том и летит. В платье, в тапочках. На корме приготовился парень в трусах: спасать, если что. Лена появляется тотчас, неистово бьет руками по воде —

Геннадий Шпалников

и странно! — держится на ней, не тонет. Ребята подбадривают ее криками, но Лена не обращает на них никакого внимания. Лицо у нее напряженное, злое. Погрузившись еще раз с головой и вынырнув снова, она направляется не к лодке — до нее можно дотянуться рукой, а к берегу — берег метрах в десяти. Она плывет! Колотит руками и ногами, старается, высоко задирает подбородок — и все-таки воды она наглоталась — и наконец чувствует ногами дно и выходит на берег. Платье облепило ее плотно, вода стекает с прямых длинных волос, лицо гневное, губы дрожат от обиды. А на лодке — восторженные крики, машут руками, приветствуют ее, рады за нее. Лена снимает тапочку и неловко швыряет ее в лодку. Не долетев, тапочка тонет. Лена поворачивается и уходит прочь по отмели. Утонувшая было тапочка спасена, парень машет ею над водой. Лену зовут. Но она уходит. Лицо ее сохраняет выражение обиды, слезы беспомощно текут по щекам, хотя тут попробуй разберись — где слезы, а где вода!

...И сразу же — озаренное (слова этого не боюсь!) нежностью к тому, что тогда было, что вспомнилось сейчас, счастливое лицо Лены в автобусе. Она молчит, задумавшись, и молчит незнакомый парень, ее сосед.

Он как бы увидел все, что увидели мы, — девочку на реке, ее угловатость, обиду, которая теперь — счастье, тапочку, летящую над водой, горсть песка, слезы на лице, лето...

И у него вдруг появилась необходимость, потребность рассказать этой девушке, которую он видел в первый и, возможно, в последний раз, что-то о себе, какой-нибудь случай, происшествие. К этому располагали дорога, тьма за окнами, гитара в глубине автобуса, сама недавняя рассказчица, сидящая рядом. И рассказать хотелось не пустяк, не веселую глупость — анекдот, а другое, личное, о чем не со всяким заговоришь, не вспомнишь, понимая, что не всем интересно слушать то, о чем тебе вздумалось вспоминать.

— А у меня такой случай был, — сказал сосед Лены. — Я в сорок шестом году в ремесленном учился. Тебе интересно?

— Давай! — сказала Лена, и он поверил сразу, что ей интересно.

...И теперь уже Лена как бы увидала подростков в замасленных ватниках, в тяжелых ботинках, в шапках и кепках во дворе ремесленного училища, посреди которого высилось деревянное сооружение гимнастического городка: мост, бум, брусья и канат, завязанный на конце толстым узлом, потрепанный, расчлененный — нитки висят. На канате раскачивались до страшного скрипа железных креплений, на шест лезли, достигая вершины, и, скользя вниз, обжигали ладони; по буму раскачивали, сталкивали с него. День был переход от марта к апрелю — прекрасный день. Все мокрое, весеннее, во всем сверкание и особый блеск. Трава уже высохла местами. Прелесть воздуха, шум в голове, облака. Хорошо стоять у теплой кирпичной стены, спиной к ней, без шапки, лицом к солнцу и наблюдать, как оно разноцветно вспыхивает сквозь приподнятые на мгновение ресницы. Много весной хороших занятий.

— Я поспорил с ребятами, что пройду от ремесленного до нашего дома, ни разу не коснувшись земли, — говорит голос Виктора.

— Как же так — не коснувшись? — спрашивает Лена.

— Был план.

— А на что поспорил?

— Да ни на что.

...И вот один из подростков сбрасывает ватник; передает его товарищу. Гимнастерку заправляет в брюки. Мы не видим близко его лица. Он довольно высок, подтянут. Рукава гимнастерки коротковаты ему, и брюки можно бы чуть подлиннее. Он из всего уже вырос. Ботинки у него тяжелые, большие, солдатского образца.

С бума начинается эта панорама, с бума. Он проходит его легко, задумчиво и никуда не торопясь. Руки его свободно опущены, взгляд сосредоточен.

Толпаки Маликов

Толпа подростков (человек пятнадцать) сопровождает его по земле, с которой он так необдуманно простился. Подростки возбуждены предстоящим зрелищем, в благополучный исход которого они верят, кажется, не очень.

С бума — на бочку! — прокатившись через каменный двор с грохотом, и на забор, высокий, чуть наклонный; он идет по нему с той же легкостью и видимой небрежностью, которая и есть настоящее мастерство; затем кирпичная ограда — это просто! прыжок с нее на крышу сарая, прогулка по ней — доски скрипят под ногами; теперь пожарная лестница — замешательство, до нее от крыши сарая метра четыре — не допрыгнуть, да и падать высоко. Но пусть удача сопутствует храбрым! — он находит на крыше шест, пробует его — шест надежен, крепок. Упершись шестом в землю, он перелезает к пожарной лестнице и — вверх, на крышу, по крыше между трубами — теперь жесть гремит у него под ногами, а в желобах на крыше лежат закинутые сюда давным-давно теннисные и другие мячики, потерянные, казалось бы, навсегда, и он бросает мячи вниз, в руки сопровождавших его внизу ребят — радость необычайная! — а он между тем спускается с крыши по дереву, оголенные ветки которого рядом с карнизом; затем опять крыши склада, прыжки с одной на другую, переход по гнущейся под ногами доске, прыжок на покатую, ребристую крышу гаража, отсюда рукой дотянуться до карниза второго этажа еще три шага, прижавшись плотно к стене; приоткрыв окно, свое окно, он исчезает в темноте комнаты — победа.

...Лена захвачена рассказом. И у незнакомого парня лицо тоже счастливое и — странное дело — усталое, как будто он только что преодолел все эти крыши, ограды и деревья.

И еще одна странность: ему вдруг показалось, что он бежал, катил на бочке, взлетал на шесте только для этой девушки, сидевшей рядом, — больше ни для кого.

Но он тут же усмехнулся этой мысли и забыл о ней.

2

А между тем автобус въехал в город.

Этот город сплошь состоял из новых домов, которые если не радовали разнообразием архитектурных решений, то, уж во всяком случае, делали город городом, где есть улицы, рекламы на фасадах, витрины, надписи над крышами и окна, значение которых огромно, когда они светятся.

Вообразите еще и улицу, вечернюю толпу, молодые лица, голоса, треск льда на подмерзших лужах.

Автобус остановился у входа в городской драматический театр. Судя по всему, сегодня был полный аншлаг: толпы страждущих осаждали театральный подъезд, над которым в полном несоответствии с архитектурой этого здания висели три старинных фонаря.

Не старинных, конечно, но похожих на те старинные фонари. Афиша, извещающая о том, что сегодня здесь, в этом городе, МХАТ дает представление пьесы Чехова «Вишневый сад», была набрана традиционным мхатовским шрифтом начала века.

Внизу было прибавление местного характера: «В антрактах танцы под оркестр и буфет».

Лена и остальные приехавшие вышли из автобуса.

— Пойдешь? — предложила Лена своему соседу. — Свободно могу провести. — Она развернула перед ним длинную ленту из двадцати двух билетов. — Пока считать будут — проскочишь.

Он не успел ответить, как на Лену со всех сторон налетели страждущие молодые и пожилые люди, окружили ее плотным кольцом, оттолкнув этого парня, который с ней ехал, сидел рядом.

— Караул! — только успела крикнуть Лена. — Ребята, на помощь!

И ребята из автобуса устремились к ней, а ее случайный сосед оказался ни при чем.

Гелладий Шпалков

3

Парня этого звали Виктором. Он зашел в парикмахерскую, совершенно пустую.

Старик швейцар читал газету и пил чай из большой кружки: домашняя картина покоя и отдохновения!

В зале все десять кресел были свободны. Мастера скучали. Один из них (от нечего делать) сам решил побриться.

От зеркальных стен, белого кафеля, умывальников, блеска инструментов, белых халатов мастеров, от ламп дневного света и еще от вальсов по радио, веселящих душу, было празднично и тепло. Есть такие места, где всегда праздник. Парикмахерские в их числе, а еще, может быть, магазины, где продают и прокручивают пластинки, но речь не о том.

Виктор поколебался чуть, выбирая, куда бы сесть.

— Иди ко мне, — предложил ему пожилой мастер.

Виктор послушно сел к нему.

— Постричь, побрить, и я бы голову помыл, — сказал он, глядя снизу вверх на мастера, ожидающего указаний.

Тотчас же над ним с ловкостью была развернута белоснежная, хрустящая простыня, и он с удовольствием ощутил ее чистоту и холод.

А мастер уже взбивал горячую пену, пробовал на ремне бритву, и Виктор улыбнулся вдруг, сам того не желая, от всей обстановки, в которую он попал, от блеска зеркал, от вальса по радио, от вида собственной бороды и еще неизвестно отчего. Бывает, радость охватывает человека, а он и не знает, в чем тут дело, что тому причиной — молодость, душевное здоровье? — все так, но есть в этом и безотчетное: радость, и все.

4

Итак, показывали «Вишневый сад».

Действие этой пьесы в момент, когда мы обращаемся к ней, происходит где-то в конце второго акта.

Может быть, переживания героев не так уж захватывали зал, как это было в 1904 году, но актеры играли хорошо и серьезно, и все обстоятельства неустроенности и неразберихи и то, что сад продавали ловкому человеку, и денег ни у кого не было, а студент был чист, и все сидели на чемоданах и разговаривали — все это встречало понимание и сочувствие.

Лена сидела во втором ряду верхнего яруса рядом с подругой, и они, передавая друг другу маленький перламутровый бинокль из гардеробной, следили за действием.

Причем надо сказать, что когда бинокль был в руках у Лены, то ее подруга смотрела больше на Лену, а не на актеров, дожидаясь нетерпеливо своей очереди.

Лена была в своем выходном платье — вот вам ее платье для театра, 7 ноября, 1 мая, Нового года, дней рождения и других праздников: темное, с опрятным белым отложным воротничком. Свежее ее лицо при этом воротнике цвело. Перед концом действия Лена придумала новый способ смотреть в бинокль, который обязательно приходит в голову всем, кто первый раз берет его в руки: перевернуть бинокль и все сразу отодвинуть в некое удаленное пространство. А кроме того, уже обычным способом смотрела в бинокль по рядам, по балкону налево в надежде увидеть парня, ехавшего с ней, но его не было.

5

Виктор в театр не попал.

Дверь была заперта, и для большей предосторожности сквозь ее ручку еще пропустили стул — предусмотрительность вовсе не лишняя!

Виктор потолкался недолго у подъезда, постучался в стекло, но поскольку рядом с ним ходили люди, одержимые одним желанием, он решил действовать в одиночку.

Он пошел вокруг театра по замерзшим лужам. За ним упорно следовал подросток в большой шапке, который

Теладий Шпалков

каким-то седьмым чувством увидел в Викторе человека, за которого следует держаться.

Виктор остановился, и подросток встал тоже.

— Что тебе? — спросил Виктор.

— Ничего, — сказал подросток.

— Иди отсюда, — предложил ему Виктор, но подросток не тронулся с места.

Виктор повернулся и пошел вдоль стены. Подросток за ним. Они почти одновременно увидели раскрытую форточку в окне первого этажа, дотянуться до которой было невозможно, но если подросток встанет на плечи Виктору, то он дотянется, а при известной ловкости проникнет через нее в театр.

Подросток уже снимал пальто. Шапку он не снял.

— Я потом вам окно открою, — сказал он. — Вы меня только подсадите.

Виктор посадил его.

Он гибко и бесшумно проскользнул в форточку и исчез в темноте.

Ждать пришлось недолго. Окно раскрылось. Виктор бросил подростку его пальто, подтянулся, и вот они уже стояли рядом на паркете, и где-то совсем близко от них звучали голоса актеров.

— Мы попали за кулисы! — шепотом говорил подросток. — Я так и думал! Я же знаю это окно!

— Ты что, театрал? — спросил Виктор. — Тише! — сказал подросток, прислушиваясь к доносившимся голосам. — Сейчас конец второго действия... Точно...

Виктор различал уже в полутьме свешивающиеся сверху веревки, лестницу.

Женский голос говорил где-то рядом:

— Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду отсюда, даю вам слово...

— Это Аня, — сказал подросток шепотом.

— Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите! Будьте свободны, как ветер! — предложил мужской голос.

— А это? — спросил Виктор.

— Трофимов, — сказал подросток, — студент...

— Как хорошо вы сказали! — с восторгом ответила Трофимову невидимая отсюда Аня.

— Верьте мне; Аня, верьте! — продолжал крепнувший голос Трофимова. — Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес!.. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

— Восходит луна, — задумчиво сказал голос Ани, и тут же заиграла гитара.

Виктор засмеялся.

Подросток показал ему кулак.

— Да, восходит луна, — сказал Трофимов и замолчал, а гитара играла. — Вот оно, счастье, вот оно идет! — Голос Трофимова дышал бодростью. — Подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги! И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

— Аня! Где ты? — вмешался еще один женский голос.

— Опять эта Варя! — сердито сказал голос Трофимова. — Возмутительно!

— Что ж? — сказал голос Ани. — Пойдемте к реке. Там хорошо.

— Пойдемте, — согласился Трофимов.

— Аня! Аня! — снова позвал женский голос.

Через несколько секунд раздались громкие аплодисменты.

— Пошли, а то сейчас здесь свет зажгут, — сказал подросток, весело блестя глазами. — Со мной не пропадешь!

Под продолжающиеся аплодисменты они быстро прошли по коридору.

Подросток шел впереди, свободно ориентируясь в полутьме и выбирая знакомый ему путь.

Виктор следовал за ним.

На мгновение открылась сбоку слева небольшая дверь — фанерная, скрипящая, пропустив сразу в темную коридора яркое пятно света, и навстречу Виктору прошли не такие уж и молодые Аня и Трофимов; их лица еще несли выражение того, о чем они только что говорили на сцене, но это

Тетрадь Шнаиков

выражение сходило с них, остановившись в неподвижности, застыв на мгновение, пока они шли, но сходило.

Подросток исчез куда-то, и Виктор, уже сдав пальто, оказался один в пустом фойе.

В зале продолжались аплодисменты, а здесь еще не зажгли свет, было тихо, прохладно.

Музыканты, расположившиеся у стены, пробовали инструменты; буфет готовился принять посетителей. На мраморных столиках в тарелках лежали бутерброды с колбасой и сыром, высились бутылки воды и пива, нежнейшие пирожные покоились на тонкой бумаге.

Виктору открыли бутылку пива; он взял сразу два бутерброда, сложил их вместе и принялся за еду.

Но вот двери распахнулись, зажегся свет, и зрители, громко разговаривая и испытывая потребность в движении, в шуме, мгновенно заполнили фойе.

Многие, не задумываясь, направили свои шаги к буфету, где кроме пива и воды можно было выпить шампанского в розлив, а поскольку ничего другого не предполагалось, то пили шампанское, угощая своих дам, одетых в праздничные платья, чуть помятые за два действия.

Другие предпочитали совершать традиционный круг по фойе, обмениваясь впечатлениями и разглядывая друг друга, и в этом находили удовольствие.

Но вот оркестр, который незаметно, как бы исподтишка настраивал свои трубы и контрабасы, грянул на весь театр быстрый танец, вызвав сразу веселый переполох, общее движение, улыбки, взгляды, направленные в поисках девушек, которых необходимо тут же пригласить, а то налетят предприимчивые молодцы, и не успеешь произнести и слова, как увлекут их куда-то.

Странен был переход от созерцания жизни конца XIX века, которая вызывала у многих, даже молодых зрителей определенное сопереживание, в эти совершенно иные заботы и интересы, которые, казалось, стали главной целью и задачей вечера: танцевать, разговаривать,

завязывать знакомства, искать кого-то в толпе, радоваться происходящему здесь.

Виктор стоял у стены, прижатый теми, кто не танцевал, и разглядывал танцующих.

Еще не зная, зачем это ему нужно, он искал девушку, ехавшую с ним в автобусе. Неожиданно он увидел ее лицо в профиль, тут же исчезнувшее за спиной того, с кем она танцевала, и возникшее после поворота в танце над его плечом.

Воротник ее платья ослепил Виктора белизной. Лицо ее, пропавшее с очередным поворотом, выражало ясную радость. Виктор пошел вдоль стены за ней, стараясь не терять ее из виду, что было довольно трудно: толпа танцующих росла, как снежный ком, принимая все новые и новые пары. Виктор полагал, что вскоре танец кончится и у него появится возможность подойти к ней, но, как только в последний раз ударил барабан, означая конец, оркестр тут же без всякой передышки, а как бы даже радуясь этой непрерывности, заиграл что-то новое, и девушку увлекли куда-то вбок, заслонили спинами, локтями, затылками — и она пропала. И пока он беспомощно озирался по сторонам, уже стоя не у стены, а среди танцующих, на краю образованного ими круга, не пытаясь пока проникнуть в его середину, но уже всем мешая, его увидела Лена. Она оставила своего опешившего партнера и протиснулась к Виктору сквозь толпу.

— А я тебя сразу не узнала! — она говорила быстро, весело. — Смотрю — побрился!

— Меняю облик, путаю следы. — Виктор был рад ей, но говорил сдержанно.

— Я думала — ты взрослый мужик, а ты! Ты с какого года?

— С тридцать четвертого.

— Врешь! — Она махнула рукой, и его снова удивила плавность ее движений.

— Какой смысл? — спросил он.

— Смысла, правда, никакого, — согласилась она. — С тридцать четвертого — это ничего. Где же сидишь?

Телладий Шпаликов

— Нигде, — сказал он, чувствуя, что его губы сами по себе растягиваются в улыбку.

— С нами устроишься, — сказала она.

— Да я эту пьесу видел. И читал — очень давно.

— А зачем пришел? Хотя — ты поверишь? — я знала, что придешь! Я даже загадала! Ты когда у театра пропал... А куда ты пропал? — вспомнила она вдруг.

— Дела, заботы.

— А что мы так стоим? Только людям мешаем. — Она взяла Виктора за руку, и они присоединились к танцующим. — Ну вот, — продолжала она. — Ты пропал, а я себе говорю: ничего, придет — не пропадет. И загадала!

Она, улыбаясь, смотрела на Виктора. Они танцевали в толпе.

— А ты что так рада? — спросил Виктор.

— Не знаю. Я уже об этом подумала. Тебя увидела и думаю: что это за такая замечательная личность, если я ему так рада? Кто он? Понятия не имею. А рада.

— Вот эта доверчивость тебя и погубит, — сказал Виктор.

— Пускай губит. Я согласна.

— Коня на скаку остановишь? — спросил Виктор.

— Что? — Лена весело посмотрела на него.

— Я серьезно спрашиваю. В горящую избу войдешь?

— Не пробовала. — Лена смотрела на него радостно.

— Понимаешь, мне это важно знать. Ну, как анкетные данные.

— Ну если у тебя есть конь и избы не жалко, проверь, — сказала она.

— Коня нет. Избы не жалко, но ее тоже нет.

— На нет и спроса нет. А ты мне правда нравишься.

— Это только сначала, а потом все по-другому.

— Потом — не сейчас! Потом — еще когда будет!

А может быть, его совсем не будет, или я до него не доживу, или ты не доживешь. У меня дядька был, все грозился: «Я вам покажу! Вы меня узнаете!» А ничего не показал. Всю жизнь прожил хорошим человеком, так и помер.

— Долго хоть он жил? — спросил Виктор.

— Дядя? Долго, у нас все долго живут.

Занавес пошел в разные стороны, разъединившись на две половины и открывая сцену, приготовленную для третьего действия «Вишневого сада».

В зале смолкли последние покашливания, скрип кресел и тот сдержанный гул, которым наполнен театр.

Люстра под потолком медленно гасла.

(Происходящее на сцене лишь косвенно связано с нашим повествованием. Выбор текста «Вишневого сада» поэтому ничем не ограничен. Он может быть любым.)

На сцене была гостиная, там горела люстра, играл оркестр где-то невдалеке, и уже начались разговоры действующих лиц.

Зрители постепенно втягивались в развитие сюжета, который остановился двадцать минут назад и был прерван танцами, но это перемещение во времени несколько не мешало им снова войти в мир героев пьесы.

Виктор занял место Лены, а она примостилась между ним и подругой на уступе между двумя креслами, который выдвигал ее несколько вперед. Эта подробность важна тем, что Виктор, не поворачивая головы, мог постоянно видеть Лену перед собой и не стараться особенно наблюдать за происходящим на сцене. Впрочем, он и не старался.

До него лишь доносились реплики, обрывки фраз, к ним он тоже особенно не прислушивался.

Он ничего не ждал от этой встречи, но ему было интересно, как все пойдет дальше. Во всяком случае, никто с ним подобным образом никогда не разговаривал, и уже в этом был свой интерес. Интерес был и в том, что девушка была красива, а он, по его твердому убеждению, имел вполне обыкновенную внешность. Правда, он был рослым, а профессия, которой он занимался, сделала его физически крепким человеком, но в пределах самых общепринятых.

Он смотрел на девушку, думая примерно об этом. Потом Виктор заметил двумя рядами дальше еще одну

Герладий Шпалков

девушку, тоже красивую, как ему показалось, и некоторое время смотрел на нее, не сравнивая, бесцельно.

А Лена тщетно пыталась смотреть и слушать пьесу. На сцене велись такие разговоры:

— Потерял деньги! Где деньги? Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило!..

— ...Дунияша, предложите музыкантам чаю!..

— Торги не состоялись, по всей вероятности.

— ...Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту.

— Задумал.

— ...Теперь поищите. Она у вас в боковом кармане...

— Восьмерка пик, совершенно верно!..

— ...Какая карта сверху?..

— ...Туз червовый!

— ...Браво!

— ...А Леонида все нет...

— ...Ярославская бабушка прислала нам пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя...

Лена обернулась. Виктор смотрел прямо на нее.

— Ничего не понимаю, — сказала она. — Все слова мимо летят. Какие-то долги. Ярославская бабушка.

— Пошли отсюда. — Виктор взял ее за руку и пошел вдоль бесконечного ряда.

— Лена, ты куда? — вздрогнула подруга, давно предвидевшая такой оборот событий. — Номерок у меня!

Лена и не обернулась. Согнувшись чуть, как это делают, выходя из кинозала во время сеанса, как бы боясь войти в луч прожектора, они прошли весь ряд, стараясь по возможности не тревожить его, но, как это всегда бывает, ряд пришел в волнообразное движение, затухающее там, где их уже не было, и немедленно возникающее снова.

Мимо контролера — и в дверь.

А позади — смех и аплодисменты, и Лена в последний раз, уже в дверях, обернулась, чтобы посмотреть, в чем там дело, что происходит, почему смеются, а посмотрев, ничего уже не поняла и пошла прочь.

Они вышли из аплодирующего зрительного зала в примыкающий к нему зал.

Здесь в полутьме бродили не занятые работой музыканты и те немногие зрители, которые променяли окончание «Вишневого сада» на эту полутьму, расположившись с удобством за буфетными столиками, вполголоса разговаривая о чем-то совершенно постороннем происходящему там, за дверями, на сцене.

Оглядевшись, Виктор повел Лену не к столикам, а в дальний угол зала, где начиналась лестница, идущая наверх, а куда она вела — он и сам не знал, но пошел к ней уверенно и увлек за собой Лену.

Она, не задумываясь, следовала за ним. Он даже за руку ее не вел: сама шла послушно.

А лестница упиралась в тупик, в чердак, может быть, в его запертую железную дверь.

Еще не зная, чем все это может кончиться, действуя не по определенному плану, а подчиняясь целиком внезапности ситуации, Виктор повел Лену наверх, не говоря ни слова, но уже крепко держа ее за руку.

Она следовала за ним.

Но лестница кончилась. Оставаясь теперь вдвоем на площадке, освещенной едва-едва, они обнялись с поспешностью и простотой, которая исключала слова и объяснения.

Но, поцеловавшись, они должны были все-таки сказать какие-то слова, необходимые в таких случаях, или же что угодно, но он не знал, что именно ей говорить, и молчал, полагая, что решительность действий может заменить любой диалог.

Виктор снова поцеловал ее, думая, что она сейчас что-нибудь скажет, но она ничего не говорила, а лишь смотрела на него ясно и прямо.

— Ну что? — сказал он, лишь бы что-нибудь сказать. — Бежим?

— Куда? — спросила Лена.

— Куда прикажешь, в любом направлении.

Тетядагй Шналикот

— Я бы с тобой куда угодно поехала. Хотя уезжать мне отсюда совсем ни к чему.

— А что тебя держит? — он спрашивал просто так, не слушая, что она ответит.

— А ты действительно мог бы со мной уехать? — спросила она.

— А почему нет? — Он обнял ее. — Я свободный человек. Одинокй молодой специалист.

— А какай у тебя специальность? — Она спрашивала совершенно серьезно.

— Инженер.

— Значит, ты учился. А я даже школу не кончила. У меня восемь классов.

— Мало, — сказал он, целуя ее.

— Я рано пошла работать. Маляром работала на строительстве, штукатуром. Потом замуж вышла. Он неплохой был человек, я не жалуясь. Все ему прощала.

— Значит, любила, — сказал он не задумываясь.

— Верно, — согласилась она, — любила. Пил — прощала. Бывало, что и домой не приходил, — прощала.

— Ну и жизнь. — Виктор обнял ее. — А он что, умер?

— Почему?

— А ты о нем все в прошедшем времени: «пил», «домой не приходил».

— Да нет, он живой. Скучный он человек. И неглупый, а скучный.

— Вот все вы так. — Он обнял ее. — Скучный. А что в тебе веселого? Один нос, — он пальцем прикоснулся к ее вздернутому слегка носу. — Нос веселый, глаза невеселые — старая история. У Гоголя какой нос был? А грустил. А зачем ты все это рассказываешь?

— Не знаю. Захотелось тебе рассказать.

— Почувствовала ко мне расположение?

— Считаю, что так.

— Я тоже. Я бы тебе сам что-нибудь рассказал, но ничего интересного в голову не приходит.

— Ты поверишь, я все могу, я очень самостоятельная, и мы так трудно с мамой жили — нас пять дочерей было, — что мне ничего не страшно. А вот жить пустой жизнью страшно. Спать, есть, пить, деньги зарабатывать на то, чтобы есть, спать, пить, и больше ничего.

— Я тоже так считаю. — Виктор поцеловал ее. — Главное это искать что-то светлое, правильное. А то потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. — Виктор подумал немного и добавил: — Никогда не нужно бояться начать свою жизнь заново.

— Верно. — Она улыбнулась. — Встретить надежного человека, товарища. И жить чисто, умно, долго.

— Да, — согласился Виктор. Прислушиваясь к тому, что внизу в зале уже начался перерыв, уже зажгли свет и доносились голоса, он заговорил торопливо, излагая главное: — Бывает же так: встретятся два человека, вчера еще чужие, незнакомые, а сегодня они уже близкие люди, а завтра — родные. В принципе все люди родственники. А жизнь состоит из поступков, которые мы совершаем или не совершаем, а потом жалеем об этом, но уже поздно. Встретил человека — он тебе понравился. Догони, останови. Может быть, это судьба.

— Верно, все верно! — Лена говорила горячо. — Все, что ты говоришь, я сама об этом думала. Я понимаю, что жизнь сложная, но люди и сами ее усложняют. Я вот, я тоже — усложняла, усложняла. А вот встретила тебя: ты какие-то говоришь слова простые, умные. Ты и вправду хороший человек? Чего ж мне тебя терять? Я где-то читала, в какой-то книжке или в журнале: человек должен быть свободен в выборе своего счастья.

— Но не опрометчив, — сказал Виктор.

— Вот я к тебе приду — ты меня действительно забереешь? Ты не сболтнул сгоряча? — продолжала Лена. — Хотя ты же трезвый, глаза у тебя трезвые, в словах не путаешься. Забереешь?

— А почему нет? — Виктор обнял ее.

— Но ты же меня не знаешь!

Геннадий Шпаликов

— А кто кого знает? Ты сама себя знаешь?

— Не совсем. Иногда кажется, что знаю хорошо. А потом вдруг что-то такое завернется — смотришь на себя со стороны: я это или не я? — Лена улыбнулась. — У тебя бывает?

— Постоянно. — Виктор поцеловал ее.

Внизу громко заиграл оркестр.

— Пошли на улицу? — предложил Виктор. — А то здесь по-человечески и не поговоришь.

— Мне только померок забрать.

Лена смотрела на него влюбленно.

6

Они спустились в зал, где уже всюду развернулись танцы, ярко горел свет и было шумно, весело, многолюдно и царило то оживление, которое свойственно молодым людям, просидевшим молча минут сорок, а теперь стремящимся восполнить это вынужденное, хотя и полезное бездействие разговорами, смехом. И у буфета уже толпились, собирались у столиков.

— У кого номерок? — спрашивал Виктор, проводя Лену через толпу.

— Вот и смотрю. У подруги. Она рядом сидела. Не запомнил? Она ничего, — весело говорила Лена.

— Я на тебя смотрел.

— Правильно. Вот так всегда и делай. Ни на кого больше, только на меня. А я — на тебя.

— Лена, можно тебя пригласить? — Перед ними появился человек в курточке.

— Вот как он прикажет, — Лена показала на Виктора.

— А кто он такой? — Паренек с интересом посмотрел на Виктора. — Что-то его не знаю. Так пошли?

— Иди, — сказал Виктор Лене. — Может, твоя подруга в самой глубине танцует. — Он показал на зал, заполненный парами.

— А ты?

— А я посмотрю.

И снова те же танцы.

Как и в первый раз, в тот самый первый, когда он прорвался чудом в театр, Виктор видел вначале ее лицо, появляющееся в толпе и исчезающее внезапно за спинами, затылками, локтями, лицо ее, сохранившее еще состояние, вызванное их разговором и повторившееся в той же прелести и чистоте, в сверкании белоснежного воротника, в поворотах ее вслед за тем, кто ее вел среди танцующих.

И Виктор, уже не отдавая себе отчета в том, что сейчас он должен быть сдержанным, повелительным, а она, повинувшись ему, бежать за ним, вот все это понимая, он пошел вдоль стены, стараясь не потерять ее, но он терял ее каждую секунду — и потерял.

Когда в этой непрекращающейся музыке наступил перерыв и толпа схлынула, постепенно, не сразу очищая зал, он долго стоял и ходил, рассматривая окружающих, появлялся в зале, спускался к вешалке.

Но ни к чему это не привело.

Дождавшись звонка, он заглянул в зрительный зал, вспомнив то место, откуда они уходили.

Лены там не было, а уже начиналось последнее действие, уменьшался свет, занавес пошел в разные стороны, в зале стоял приглушенный шум, который благодаря хорошей акустике напоминал шум моря, например, или раковины, приложенной к уху.

Виктор вышел в фойе.

Столики, столики — сколько их!

И уже пустые, мраморные, и лишь кое-где за ними располагаются, торопясь, последние посетители. А рядом происходит у всех на глазах грустное зрелище: музыканты укладывают инструменты в чехлы, застегивают «молнии», кнопки и пуговицы, сворачивают листки нот, переговариваются, а кто-то уже в пальто. Но рояль еще не закрыт, потому что перед ним стоят молодые люди и один

Геннадий Шпаликов

из них, явно принадлежащий не к числу музыкантов, а к числу тех, кто не досмотрел пьесу или же сейчас пойдет ее досматривать, но опоздал, сидит за роялем, поет что-то, что его товарищам исключительно нравится, они не отходят от него.

Но пел он негромко, понимая важность происходящего невдалеке, за дверью, да и громко, наверное, он петь бы и не стал.

Вот, кончая это, я хочу написать, как они стояли вокруг рояля — локти на крышку, лица серьезные, славные, а что уж говорить о старательности, с которой они были одеты, о белых их рубашках, о воротничках, накрахмаленных туго, режущих, должно быть, их молодые шеи.

Это подробное описание занимает в нашей истории очень небольшое место, поскольку все это видит наш герой, проходя по пустеющему залу в поисках Лены. Ему-то нет никакого дела до этих песен и до этих ребят.

Виктор подошел к столику в буфете.

Открыл бутылку пива. Настроение у него было неважное. Он и сам в точности не мог бы объяснить, что с ним происходит. Его стремления были самые простые, обыкновенные, но, встретившись с девушкой, он что-то был вынужден придумывать, чего он раньше не делал, но понимал, как это делают другие, если будет такая необходимость.

— Слушай! — позвал его кто-то.

Он обернулся и увидел парня своего возраста, сидевшего за столиком. Парень был светловолосый, крепкий, в темном (выходном) костюме и при галстуке.

— Что? — спросил Виктор.

— Можно тебя на минутку?

Виктор подошел, сел.

— Ну? — спросил Виктор, продолжая думать о своем.

— У тебя какой-то вид малахольный, — сказал парень очень просто и с участием. — Может быть, тебе помочь надо? У тебя такой вид, как будто ты деньги потерял.

— Похоже, да?

— Прямо на лице написано. Пива еще хочешь?

— Да я и сам возьму.

— Выпей, пока принесут. — Парень налил пива в чистый стакан. — А что, много было денег?

— Да нет, какие деньги. — У Виктора вдруг пропала охота к веселым разговорам. — Познакомился тут с одной. Все так хорошо пошло, а она пропала.

— Жалко, — посочувствовал парень. — Хорошая девушка?

— Да. Правда, какая-то ненормальная или работает под ненормальную.

— Завтра найдешь, — успокоил парень. — Тут у нас все на виду.

— Да я завтра уезжаю. Я проездом. Три месяца был в экспедиции, и вот в первый же вечер такая идиотская история.

— Три месяца. А я смотрю, чего это у тебя такой глаз тревожный. — Парень улыбнулся. — Едешь в Москву?

— В Куйбышев, домой, — сказал Виктор.

— В Куйбышеве во время войны был, в эвакуацию, и то на товарной станции. Хороший город?

— Ничего.

— На реке стоит: наверно, хороший. А у меня тоже настроение неважное. Люблю одну женщину, она сейчас в зале сидит, — парень говорил спокойно. — Я ее как увижу, мне все время напиться хочется, хотя я вообще не пью.

— И часто ты ее видишь? — спросил Виктор.

— Слава богу, нет, а то бы спился.

— Что, красивая? — спросил Виктор без особого интереса.

— Красивая, — серьезно ответил парень. — Я, главное, понимаю, что она в этом не виновата: такой уж ее папа с мамой сделали, но мне ее красота как в наказанье. Лучше бы она похуже была, а у нее античное лицо.

— Откуда ты знаешь?

— Сама сказала. А у меня видишь какой нос?

Толкач Милослав

— Нормальный нос. — Виктор улыбнулся, парень ему нравился.

— А ты не хочешь выпить? Серьезно? — спросил парень.

— Да нет, не стоит мне пить. А почему ей твой нос не нравится?

— Не знаю. Но дело не в этом. Мне кажется, я с самого начала допустил просчет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, а я ее меньше любить не могу. Я уже потом пытался. Делал вид. Три дня не звонил и вообще избегал.

— Помогло?

— Конечно, нет. Я уже думал: ну вот что нужно сделать, чтобы тебя полюбили? Стать знаменитым человеком? Прославиться в какой-нибудь области? Подвиг, наконец, совершить? Но ведь вокруг живут миллионы незначительных людей, а их любят! За что, спрашивается? И чем я хуже их?

— Ничем. А что, если тебе плюнуть на это дело?

— Не могу. Люблю. Умом понимаю, а не могу. Я для нее на все готов. Кроме того, что мне напиться хочется, когда я ее вижу, у меня еще внутри все как-то обрывается. А она мне говорит: «Ты мне, Сережа, нравишься, но я только начинаю жизнь, и, может быть, я потом еще лучше тебя кого-нибудь встречу». Знаешь, я все-таки возьму российского. — Парень встал.

А через короткое время, наполняя стакан, он продолжал:

— Когда она мне это сказала, я — ты поверишь — решил застрелиться. Зачем мне жить без нее? Она, может быть, и встретит потом кого-нибудь, но я-то уже никого не встречу! Только из-за матери передумал. Она столько пережила: отца на войне убили, брата, а тут еще я бы.

— Дурак ты все-таки, — сказал Виктор.

— Сам знаю, — согласился парень. — А у тебя такого никогда не было?

— Не было. У меня намерения всегда очень простые, понятные, — сказал Виктор.

— Счастливый человек, — сказал парень.

А между тем в зале, от которого беседующих отделяла полутьма фойе, уже раздалась аплодисменты, должно быть, заключительные.

А через некоторое время фойе наполнилось толпой, часть из которой направилась вниз, торопясь протиснуться к своим пальто и плащам, а другая часть, менее значительная, все еще толпилась между колоннами, ожидая чего-то, хотя ожидать было совершенно нечего — все уже кончилось на сегодняшний субботний день, и оставалось всем только идти домой, но, однако, люди расходились медленно, переговариваясь, рассматривая картины, развешанные здесь, диаграммы и стенды с фотографиями.

Виктор сразу же потерял своего случайного собеседника, хотя некоторое время тот стоял с ним рядом, наблюдая за толпой, но мысленно он уже был не с ним, да и не только мысленно — всем своим существованием был там, где он предполагал ее увидеть, а потом уже пропал совсем, устремившись в толпу.

Виктор на короткое время увидел эту девушку, не такую, конечно, красивую, какой она представлялась в недавнем рассказе, но все же привлекательную своей юностью, какой-то кофточкой в полоску, темной челкой, движением плеч, поворотом головы, улыбкой и всем, что человеку постороннему кажется обыкновенным, но значит очень много для заинтересованного лица, то есть я хочу сказать, что Виктор очень хорошо понимал это, наблюдая за тем, как его собеседник разговаривал с ней в толпе, и за тем, какое смятение охватило его, когда он выслушивал все, что она говорила, не задумываясь ни на секунду над действием своих слов, а Виктор мог себе представить, что она ему могла сказать.

Посмотрев в последний раз вокруг и уже не надеясь найти Лену, Виктор оделся и вышел на улицу.

Тетядагй Шналикот

За те три часа, пока он смотрел (и не смотрел) «Вишневый сад», улица изменилась удивительно: выпал снег. Он и сейчас еще летел, тихий, густой, — хлопья, как на ниточку нанизаны, в темном воздухе висят. Все сразу потеплело, побелело, улучшилось, приобрело гармонию и ясность, которой обладает зима в отличие от переходного времени, когда по причине наступающих холодов дожди кончаются или же моросят лениво, вполсилы, понимая свой конец, но, поскольку снега нет, не выпал еще, не повалил, приходится моросить, портить людям настроение и обувь.

Но сегодня, в день холодный и светлый, в последний настоящий, не приукрашенный ничем осенний день, должен был выпасть снег, все уже готово было к тому, что он выпадет. И он выпал, упал на землю и леса, на фонари и крыши. Ах, зима! Самой природой отпущенное счастье дышать твоим воздухом, колким, чистым, скрипеть твоим снегом, следы оставлять, просыпаться морозными утрами, чувствуя во всем здоровье и молодость, пока есть они, или же другую, неизведанную радость, которая, может быть, и не совсем уже и радость, но что-то появляется в глазах, спокойных, обращенных скорее в прошлое, нежели в будущее, что-то появляется в них на мгновение светлое, и хотя слово это выражает немногое, но, освещенные вдруг, глядят человеческие глаза на падающий снег, запоминая его или же вспоминая что-то свое, приответствуя ему и прощаясь одновременно.

Все эти возвышенные мысли не появились сразу в голове нашего героя, но что-то все-таки появилось, что-то растрогало его и смутило во всех происшествиях этого вечера — в разговорах, в странности встречи, которая не кончилась ничем и этой своей незавершенностью и неопределенностью оставила его в недоумении. А он по своему характеру любил в жизни и в поступках окружающих людей именно определенность и законченность; а тут еще снег, выпавший так внезапно, да еще в сочетании с бутылкой российского и разговорами о любимой женщине, —

все это оказало на него прямое действие, поскольку он был человек еще молодой и хороший.

Даже напевая что-то или же насвистывая, он шел под падающим густым снегом, не заботясь застегнуть куртку и без кепки.

Уже наступала зима. Городской воздух был именно зимним воздухом, и ни с каким другим его уже невозможно было спутать, если даже вообразить себе такую странную ситуацию, что вот некий человек, не выходявший на улицу год, вышел наконец, обнаружил на ней чистейший снег, летящий к тому же и с неба, — так вот даже этот отшельник ни на минуту бы не усомнился, что все-таки наступает зима.

Снег летел бесшумно, медленно, при ярком свете луны, окруженный ореолом, возникшим не в результате ее гордости, а как следствие простых законов преломления света, идущего к земле сквозь все пространства этой ночи.

Виктор прошел по улице — и не слишком далеко — в окружении каких-то рядом идущих веселых молодых людей; они лепили этот снег, покров которого был невелик, кидались им, сотрясали деревья, вызывая снежные лавины, ниспадающие с веток на землю, на головы и воротники, на лица девушек, обращенные к летящему снегу.

А Дом приезжих был уже близко, и Виктор вошел в него, оставив позади смех, улыбки, шум и говор, снег, лунную ночь, и очутился в длинном коридоре, едва освещенном двумя лампочками, находившимися в противоположных концах.

7

Продолжением этой ночи — хотя какая это ночь, еще и полночи не пробило — будет та же история, но теперь ее поведет Лена, исчезнувшая так внезапно и в самый разгар начинающихся событий.

Геннадий Шнапков

Итак, все прежнее: луна, снег, остановившиеся под снегом деревья. Все замерло, все оснежено и чисто.

Город на окраине, уже похожий на деревню.

Дома деревянные, с огородами, которые подразумеваются в этих разделенных оградами участках, белых от выпавшего снега, — доски чернеют.

Лена постучалась в темное окно одного из таких домов.

Дом этот представлял из себя избу, увенчанную, однако, крестом телевизионной антенны.

В доме было действительно темно, а телевизор работал. Передавали последние известия, дикторша говорила о событиях у нас и за рубежом, а в конце пообещали на завтра хорошую погоду.

Перед телевизором сидела старая женщина, бабушка должно быть. На стук в окно она живо среагировала и, не выключая телевизора, направилась прямо к двери.

На пороге они обнялись.

— Бабушка, — говорила Лена, проходя в дом, сдерживая на ходу платок. — Ну как ты? Что? Что нового? — Вопросы ничего не означали и не требовали ответа.

Посреди комнаты они остановились уже при зажженном свете, похожие чем-то, стройностью, что ли, которую одна не утратила с годами, а другая недавно приобрела, выбравшись из неуклюжести девичества.

— Бабушка! — Лена обняла ее, помолчала и сказала вдруг твердо: — У меня к тебе важное дело.

— Откуда ты взялась? — Бабушка смотрела на нее весело.

— Вот взялась.

— У матери была?

— Не была. Знаю — все здоровы! Бабка! Плохие дела, а может, и хорошие! Помогите!

— Чем?

— Слушай, не перебивай! — Она ходила по комнате. — Перебьешь — не вспомню! Не так скажу, не то! Я встретила одного человека, он нездешний, а здесь проездом.

Он очень хороший человек, душевный, добрый, веселый. Я таких не видела и не увижу! Мы с ним долго разговаривали обо всем. Он мне говорит, а я его понимаю, как будто это я сама говорю! Он сказал: человек создан для счастья, и главное — это искать в жизни что-то светлое, настоящее, чтобы потом не было стыдно за свою жизнь! Вот тебе не стыдно, а сколько ты прожила! И еще он говорил, что все люди как родственники: встретились два человека, вчера еще чужие, незнакомые, а сегодня они уже близкие люди, а завтра родные — ничем их не разгонишь! Он с тридцать четвертого года. Говорит, что холостой и я ему нравлюсь: предлагает уехать.

— Куда же уехать?

— Не знаю, завтра спрошу. Бабушка, а вдруг это судьба? Откажусь, испугаюсь, отмахнусь — все пропадом. Человек хороший, жалко потерять!

— Сны были? — просто спросила бабушка.

— Были какие-то. Не помню. Что-нибудь про работу. Доругивалась с кем-то.

— Теперь многим собрания снятся. Яблоки — к деньгам, лошади — ко лжи, медведь — к свадьбе, сапоги — к дороге. А к чему бы собрания? Не знаю.

— Хочу, чтобы он остался, не пропал. Хочу, чтобы он полюбил меня и всех моих родных. Хочу, чтобы он не изменился ни в какую сторону: если к лучшему — я буду для него не слишком хороша, а к худшему — не надо. А не слишком много я хочу?

— Нет, в самый раз, — сказала бабка.

— Ну как мне ему объяснить, что он мне нужен, а я ему?

— Жалко, — сказала бабка.

— Что жалко?

— Что ты некрещеная!

— При чем тут крещеная, некрещеная?

— А может и не подействовать, если некрещеная, — бабка говорила серьезно, но глаза у нее были молодые, несерьезные.

Гелладий Шнапиков

— Ты толком говори! Без загадок! — Лена была не склонна сейчас к шуткам.

— Надо его заколдовать, — бабка говорила деловито. — Как его зовут?

— Не знаю, — тут же улыбнулась Лена.

— Плохо, — сокрушалась бабка; сохраняя серьезное выражение лица. — На каждое имя свой наговор есть. А как же так: имя не знаешь?

— Узнаю.

— Узнать-то узнаешь, — бабка обошла стол, раздумывая. — Темный или блондин? — Вопрос был задан стремительно.

— Темный, — улыбнулась Лена, не понимая еще, к чему клонит бабка и насколько серьезна она или же, как это уже не раз бывало, занимается очередной своей мистификацией.

— Попробовать-то можно, — бабка задумалась. — Но без имени — не ручаюсь.

— Значит — не ручаешься?

— Нет, — решительно сказала бабка. — Без имени лучше и не пытаться. Лошадь без имени заговорить можно, но ведь и у лошади имя есть.

— Да не верю я в это. — Лена махнула рукой, прекращая начатую было игру.

— Ну почему же, — бабке кончать игру вовсе не хотелось, она только еще входила во вкус. — А все время верить не надо. Сегодня тебе нужно — поверь, а завтра обратно выпишись. Я сама так делаю, а то ходишь под богом, как под пистолетом. А колдовство — это же как гипноз, а гипнотизеры — все колдуньи, только у них на это дело разрешение есть — диплом, бумага. Вся и разница. Попробуй — вдруг поможет, рискуй. У тебя душа чистая, хоть нет на тебе креста. Мысли у тебя ясные, желания простые. Он где ночует?

— В Доме приезжих. Больше нигде.

— Спит?

— Откуда я знаю? Спит, наверное. Он с дороги. Ну, и что мне предлагаешь над ним сказать? — Лена улыбнулась.

— А что хочешь, то и говори! — весело сказала бабка.

— Как же так? — усомнилась Лена. — А если по правилам?

— Какие правила! — решительно сказала бабка. — Лишь бы все было от сердца, а молитву ты все равно не запомнишь!

— А сама ты ее знаешь? — снова усомнилась Лена.

— А как же не знать! Я все молитвы знаю! — Она сделала паузу. — Все тридцать пять! — Число прибавляло ее заявлению серьезность, и все.

— Почему тридцать пять? Что за цифра? Я слышала, их тридцать шесть, — сказала Лена.

— А я говорю тридцать пять! — не сдавалась бабка.

— А мне знающие люди говорили — тридцать шесть. — Лена и не улыбнулась. — Очень серьезные люди. Из бывших, между прочим, священнослужителей.

— Не верь расстригам! — Бабку было не так просто поколебать. — Тридцать пять! Вот тебе крест — тридцать пять! И все знаю наизусть! погоди. — Бабка удалилась в другую комнату, чтобы не продолжать спор, и вскоре вернулась с небольшим пузырьком в тряпочке. — Вот, возьми.

— Что это? — спросила Лена.

— Святая вода, — сказала бабка с твердостью.

— Какая вода? — переспросила Лена.

— Святая, — бабка настаивала на своем.

— Ну, так уж и святая.

— А вот так. Святая, и все, — веско сказала бабка.

— Откуда она у тебя?

— Держу на всякий случай. — Бабка потрясла пузырек перед лампой. — Мало ли что. Но ты его все-таки обрызгай хоть чем, хоть из графина. Там по комнатам везде графины.

Гекладий Шнапков

— Бабка! — Лена с нежностью обняла ее. — Какая из тебя колдунья!

— Пусти! — Бабка притворялась рассерженной. — Пусти, сломаешь! И волос у себя и у него отрежь — самый конец.

— Да не может быть! — Лена не отпускала бабку. — Это тридцать первая молитва или тридцать вторая? — Она поцеловала ее. — Или ты сама придумала?

— И с ладони сдуй в окно! — не унималась бабка. — Вдруг и вправду хороший человек, а ты его по глупости потеряешь. Любишь его?

— Люблю.

— И люби и держись за него. Да пусти же ты, наконец!

Провожая Лену в дверях, бабка сохранила строгое, а бы сказал, неприступное и даже несколько торжественное выражение лица.

Она сохраняла эту серьезность и когда вслед за Леной вышла из дома во двор, без платка, в чем была.

Но когда Лена уже пересекла двор и закрыла за собой калитку, а бабка осталась наедине с собой, она не выдержала и широко улыбнулась, глядя вслед уходящей девушке, и улыбка у нее была молодая и добрая, точно как у самой Лены.

8

И вот тот же город, только уже ночь.

Ветер по нему пошел, низкий, поднимающий с земли снег, резкий, а город уже пуст. Рано ложатся спать. А если не ложатся, то на улицы выходить нет никакого желания. Пустой город, снег, ночь лунная. Ясная она была бы, если бы не тучи, летящие над головой, разорванные, распластанные, с отходящими в стороны рукавами, рвущимися под ветром, уносимыми бог весть куда.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
Тот, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалай
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
...Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Пела это Лена, шагая по улице от своей бабушки, а настроение у нее было смутное, но во всем была ясность: она любит, она уже выбрала окончательно, все решила для себя и поет на какой-то непонятный мотив, то ли выдуманный сейчас, то ли повторяющий что-то уже известное, но слова те же самые — тревожные, единственные, и ложатся они так на ее настроение, что иначе она бы и сама не сказала, не спела, не проговорила, успокаиваясь от этих слов, как от собственных, сочиненных для такого момента:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
То по кровле обветшалай
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит...

Тетядаий Шнашков

Ноги вели ее, пока она пела то вполголоса, то в полный голос, и привели ее к Дому приезжих.

Прошла она свободно. Двери были не заперты, а охранник спал, именно охранник, швейцаром его назвать неудобно, ибо какой он швейцар — в старом ватнике, в валенках, в шапке, завязанной на тесемки, чтобы уши не слышали, и с опущенным вниз козырьком, чтобы глаза не видели.

Спал он мирно, и сон его был сладок: он не проснулся оттого, что скрипнула дверь, глаза не приоткрыл, руку не поднял, власти не показал, а мог бы.

Лена благополучно его прошла и очутилась в длинном коридоре, освещенном, как уже рассказывалось, двумя слабыми лампочками в противоположных концах.

Скрипели половицы, разохшиеся не от старости, а оттого, что их только что поставили. Следовательно, они скрипели от молодости.

Всего комнат было немного: пять, может быть, или шесть. Но они, конечно, предназначались не для странствующих одиночек, а для многих сразу, для тринадцати, например, человек, а то и больше. Но сейчас комнаты были пусты. Двери не запирались. Лена свободно заходила в них.

Она шла по коридору мимо раскрытых дверей, из которых лунный свет ложился на пол, однообразно повторяя оконные переплеты, форму занавесок, через которые он проходил.

Луна была ослепительная, хотя тучи мешали ей выступить в полном блеске своих потухших кратеров, лунных долин и морей, отражающих к нам солнечный свет в таком славном таинственном качестве.

Лена вошла в комнату, которая показалась ей пустой по первому ощущению. Она никого не увидела в ней, и это остановило ее в дверях.

Была та же луна в окне, ровные ряды коек, аккуратно белеющих несмятыми подушками с подвернутыми углами и простынями — они были сложены поверх одеял способом «конверт».

Лена, не надеясь ни на что, прошла по этой большой комнате к окну, касаясь автоматически шариков, привинченных к кроватям, холодных, отполированных, и в самом конце, у окна, заметила спящего человека.

Это спал ее знакомый, подложив под голову одну из подушек соседней кровати. Спал, глубоко провалившись в сон, повернувшись щекой влево и открыв рот, что, конечно, было не слишком красиво, но таков был он во сне.

Лена походила вокруг, разглядывая, как он спит, какое у него при этом лицо, какой он в эти часы, когда он уже не управляет собой, побежденный свалившимся на него сном.

Лена улыбнулась, закрыла дверь, не просто закрыла, а на крючок. Сбросила пальто. На столе стоял графин с водой, совершенно обыкновенный графин. Лена налила воду в стакан, выпила сама немного, а потом прыснула на голову Виктора, как это делают, глядя белье.

Виктор заворочался во сне, но не проснулся.

Лена села на кровать рядом.

— «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», — сказала она. — Господи, если ты есть, а если тебя нет, в чем я не сомневаюсь, хотя и думаю, что есть, должно быть что-то, что заменяет тебя, но говорю тебе сразу, чтобы ты на меня не обижался: Земля круглая, а не плоская, и не на китах. Так, что ли? Так. Господи, если ты человек, помоги мне. Вот он спит, как бревно. Штаны на полу валяются, — она подобрала их, свернула. — А я его люблю. Господи, если ты можешь превращаться, то превратись в мою бабушку — мне с тобой будет легче разговаривать. Я думаю: заслуживаю ли я счастья и какие у меня грехи? Я работаю с четырнадцати лет, сама себя кормлю и помню сестер и мать. Довольна ли я своей жизнью? Нет. Есть ли грех в недовольстве такой жизнью? Не знаю, но я хочу быть счастливой, а пока этого нет, не получается. А я хочу, чтобы получилось!

Лена встала, подошла к окну, распахнула его. Снег полетел в комнату.

Геннадий Шнапков

— Я, как говорится, некрещеная, креста на мне нет, но помоги, если ты можешь, помоги мне — оставь его со мной! Он мне нужен, необходим! — Виктор проснулся, но глаза не открывал, с некоторым испугом слушая, что говорит Лена. — Тебе это ничего не стоит, если ты такой всемогущий, а для меня это важно. Я к тебе никогда не обращалась и больше не обращусь — помоги один раз, если ты есть.

Волосы у нее свободно лежали на плечах, и она решила их собрать, глядя, как в зеркало, в оконное стекло.

Гребенка под рукой, взмах вверх — вниз, плавно, до конца, до кончиков волос, белеющих под луной, совершенно белых, распрямляющихся под гребенкой, потрескивающих чуть от действия электричества, возникающего неизвестно каким образом от простой гребенки и женских волос.

Причесываясь, Лена еще раз поглядела на себя, повязала платок, накинула пальто, поправила одеяло на Викторе — он не спал, но делал вид, что спит, — и вышла осторожно из комнаты, не забыв прикрыть дверь, но окно осталось открытым. Лицо ее при этом сохраняло выражение полного покоя и радости.

Как только дверь закрылась, Виктор сел в кровати. Благодаря чрезвычайно яркому лунному свету можно было рассмотреть и его лицо, выражение которого было совершенно иным, чем у Лены.

Недоумение, испуг, настороженность, ожидание чего-то более худшего, чем то, что произошло здесь, и чего-то еще более неприятного и непонятного — все это было на его лице.

Посидев некоторое время, он встал, зажег свет, озарив единственной лампочкой все тринадцать пустых незанятых коек, белеющих подушками и простынями.

Набросив одеяло на плечи, он босиком подошел к окну, плотно закрыл его.

На подоконнике, на полу у батареи белел снег. Занавески, которые колебались под ветром, реяли и

взмывали, теперь сникли, вытянулись вдоль окна, покорные, белые.

Виктор прошел к умывальнику, сохраняя все то же выражение лица. Выпил воды из крана, посмотрел в зеркало.

Ну и заспанное было у него лицо! Ни одной живой мысли: сплошное недоумение, испуг.

Он погасил свет, прошел по лунному квадрату на паркете к своей одинокой постели, упал в нее и заснул, накрывшись сверху подушкой, чтобы ничего больше не помнить, все забыть и спать, не размышляя ни о чем.

9

Утром он проснулся в том же положении, как и заснул, проснулся от стука в дверь.

Он откинул подушку, поднял помятое лицо, успешшее за ночь зараста, и спросил:

— Кто?

— К вам пришли, — сказал женский голос. — Вас тут ожидают.

— Кто? — спросил Виктор. — Я сплю. Пусть потом зайдут. Через час. — Он упал головой на подушку и накрылся сверху второй.

— Просят выйти, — постучали снова. — Вы слышите?

Виктор встал, выругавшись про себя, сунул ноги в штаны и, застегиваясь, направился к двери.

Он открыл дверь. Перед ним было довольное, улыбающееся лицо дежурной по коридору.

— Вот, к вам пришли.

Он увидел тут же, за плечом дежурной, которая предупредительно отстранилась, уступая место входящим в комнату, Лену с двумя чемоданами и с какой-то сумкой, прикрученной к ним, и рядом с ней девочку лет трех, в клетчатом пальто, вязаной шапочке и в валенках

Тетядагй Шла.иков

с галошами. И Лена и девочка смотрели на него ясными глазами, в которых были ожидание, надежда.

Виктор стоял перед ними босой, в майке, выпущенной поверх брюк, и совершенно остолбеневший.

— Здравствуйте, — сказала наконец девочка.

— Здравствуй, — сказал Виктор.

— А я решила с утра перебраться, — говорила Лена, проходя через комнату. — Чего ждать, раз решено! — Она поставила сумку и чемодан и подошла к Виктору, стоявшему посередине комнаты. — Куда ты, туда и я. А это Лиза, дочка, — она обняла прижавшуюся к ней девочку. — Братъ ее с собой не решилаь пока: устроимся — заберем. А привела показать. А пока устроимся, у моей матери поживет — там у них все налажено: когда каша, когда суп. А ты что босой? — заметила она. — Простынешь, надевай ботинки.

Виктор сел на кровать, начал зашнуровывать ботинки, приготовленные с вечера вместо саног.

— Хорошо, что я отсюда выписалась, а то с городской пропиской в Дом приезжих не пускают, — говорила Лена, расхаживая по комнате. — Завтра понедельник. Поеду возьму расчет на работе, и вечером мы отсюда тронемся.

— Вы завтракали? — спросил Виктор девочку и Лену.

— Я — нет, — сказала Лена. — Лизу покормила, а сама не успела.

— Пошли завтракать. — Виктор натянул свитер. — Пошли? — спросил он Лизу.

— Пошли, — сказала девочка, — я пойду.

— Тебе побриться надо. — Лена провела ладонью по щеке Виктора. — Ну ты и зарастаешь.

— В две недели — борода, — сказал Виктор привычно. — У вас какое здесь напряжение?

— Как везде: двести двадцать, — сказала Лена.

Виктор достал из чемодана бритву «Спутник», которую нужно заводить, а не включать в сеть.

— Я, чтобы не путать напряжение, купил «Спутник». Удобная вещь. — Он заводил бритву. — В самолете можно

побриться, на пароходе, в тундре, в пустыне, в горах, на леднике, среди нанайцев, лишенных временно электричества...

Он что-то говорил еще, потом брился перед зеркалом, но Лена не слушала его.

Он все стоял перед ней в раскрытых дверях, заspanный, перепуганный, с таким выражением в глазах — о чем уж тут говорить! — но Лена автоматически продолжала этот разговор, который, к счастью, теперь кончился, а вот он, повернувшись к ней спиной, брился. Она не видела теперь его лица, и так было значительно проще, и можно было теперь и помолчать, оглядывая бесцельно комнату, картинку на стене, изображавшую пейзаж; а девочка между тем, побродив по комнате, подошла к окну, облокотилась о подоконник и что-то напевала.

Утро было пасмурное, теплое. Таял снег, выпавший в ночь. Столовая Дома приезжих была закрыта; буфет помещался на улице: фанерное ограждение, полосатый тент на высоких шестах, несколько столов — все пустые, и стойка самообслуживания, за которой белела халатом молоденькая рыженькая девушка, очень славная. Работы у нее пока не было, и она ставила на проигрыватель (он был у нее под рукой) пластинки — все самые новые. Когда в буфет вошли Лена, Виктор и девочка, их встретила не то румба, не то самба — Лена даже сделала несколько танцевальных движений, и дочка немедленно повторила их.

На двух шестах стояли рабочие в сапогах — отвязывали тент.

— Садитесь, — сказал Виктор. — Я сам все возьму.

— Давай вместе! Или ты садись, а я сама.

— Давай вместе.

Они выставили на поднос много разной еды. Виктор брал все подряд: кабачковую икру, шпроты, сметану, вафли, колбасу, баранину с картошкой.

— Куда столько! — останавливала его Лена. — Хватит!

Тетядагй Шналикот

— Выпить у вас что-нибудь есть? — спросил он рыжую девушку. — Ты выпьешь что-нибудь? — Он повернулся к Лене.

— Как ты, — сказала Лена. — Как хочешь.

Разгрузили на стол поднос. Лена все быстро и ловко расставила.

— А вилки забыли! — Она побежала за вилками и принесла еще бумажные салфетки в стаканчике.

— Ну, сели! — сказала она. — Наливай!

— «А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть!» — девочка подпевала пластинке.

— Смотри, — удивился Виктор.

— «...Не с тобой, а с Наташкой в кино!..» — продолжала девочка уверенно.

— А эту знаешь? Ну, как это? — Он вспоминал. — Забыл. А-а, вот: «Чтобы не пришлось любимой плакать».

— Знаю, знаю, — сказала девочка.

— Сходи к тете и попроси, чтобы она такую поставила.

— Сейчас, — сказала девочка и пошла.

Виктор молча налил водки.

— И мне налей, не пожалей, — сказала Лена.

Выпили. Нужная пластинка завертелась. Девочка прибежала обратно.

— Ты ешь, ешь. — Лена смотрела на Виктора. — Пьешь, так ешь.

— А ты чего не ешь? — спросил Виктор.

— А я на тебя смотрю.

— Ничего интересного.

— Ты на кого больше похож: на отца или на мать? — спросила она.

— А ты? — спросил Виктор.

— Я — на маму, — сказала Лена.

— Значит, к счастью, — сказал Виктор.

— Правда?

— Говорят, так. — Виктор налил, выпил.

— Что ж ты один пьешь? — спросила Лена.

— Забыл, — сказал Виктор. — Ты прости.

— Ну, и я одна выпью. — Лена выпила. — Лизонька, а ты знаешь эту пластинку — мы в магазине слышали: «Научи на гармошке играть»? Пусть тетя поставит.

— Сейчас, — сказала Лиза и убежала.

Виктор молча ел. Поднял голову — Лена смотрела на него, подперев лицо ладонями. Взгляд у нее был спокойный, добрый.

— «Хороши вечера на Оби, — повторяла она за пластинкой. — Ты, мой миленький, мне пособи. Буду петь и тебя целовать, научи на гармошке играть...» Ты играешь на гармошке?

— Нет, — сказал Виктор.

— Жалко. А что, действительно хороши вечера на Оби?

— Не знаю, не видал.

— У кого б спросить?

— А зачем тебе?

— Так. — Лена махнула рукой.

Лиза не возвращалась от рыжей девушки. Видно, они нашли много общего друг в друге, много общих интересов.

Уже гремела не то бразильская, не то мексиканская песня, а может быть, и отечественного происхождения, но явно из латиноамериканской жизни, веселая песня — слов не разобрать. Хотя, если прислушаться, можно было и уловить текст, который не отличался большим своеобразием, но слова соединялись в смысл общедоступный — про любовь. Песня была длинная, подробная и совершенно не подходила ко всей обстановке раннего осеннего утра и ко всем предметам, над которыми она так разносилась, гремела, запущенная рукой буфетчицы и повторенная еще раз, так уж понравилась! А утро было туманное, свежее — одно из тех, про которое сочинялись стихи: «Утро туманное, утро седое». Седое утро во всем: в освещении, в блеклости неба, в неподвижности холодного воздуха.

Один из рабочих отвязал свой конец тента, опустил с шеста. Материя свободно провисла.

Тетядаий Шпаликов

— Все песни про одно и то же, — сказала Лена. — Ты не замечал? Только музыка разная.

Виктор ничего не ответил.

— Да ты не томи себя, не томись, — просто сказала Лена.

— Что?

— Отдыхай, выпей, музыку послушай. У нее пластинок — до вечера не переслушать. До вечера, правда, ты не досидишь. — Лена улыбнулась. — И я с тобой еще выпью. Нет хуже, как одному пить, а смотреть на это дело со стороны совсем невозможно. Ну, будь здоров. Не вышло у нас с тобой ничего, не получилось. Я как утром на тебя посмотрела, поняла — не вышло. Я ведь не дура, не сумасшедшая. — Она помолчала. — Не печалься. Поезжай с легким сердцем. Жизнь большая, может, и встретимся еще. Иди.

Они вышли вместе и вскоре расстались. Момент расставания всегда неловок: и слова говорятся не те, что хотелось бы сказать, да и что говорить? — проще родное объятие, родные глаза, внимание души, так бы я сказал, внимание сердца. Но здесь все было иначе. Буднично они пошли, просто. Вначале их движение было даже в одну сторону; Виктор молчал. Потом она сказала:

— До свидания. — И свернула в переулок.

Виктор переходил улицу, ускоряя шаг. Он не чувствовал ничего, кроме желания освободиться от той неловкости, которая вдруг овладела им; и неловкость, казалось, пройдет сразу, как только он ускорит шаг, скроется за поворотом. Прямого объяснения своему душевному состоянию Виктор не находил. Не чувствовал он и вины в случившемся — да и не было у него прямой вины перед этой женщиной. Никогда еще с ним не происходило ничего похожего.

Он стал в очередь перед табличкой «Город — Аэропорт». Очередь говорила, листала газеты, щелкала семечки, плакала — у одной из стоявших в ней на руках был ребенок; очередь и молчала уезжавшим куда-то молодым парнем и оторопелой, растерянной девчонкой около него — жена? невеста? — кто знает, но только лицо у девчонки

бледнело по мере того, как автобус, показавшись в конце улицы, подходил ближе, а парень вдруг как-то неловко, стесняясь окружающих и самого себя в этом движении, обнял девушку и поцеловал, но поцелуй пришелся куда-то в ухо; девушка разревелась, как уж давно, наверно, соби-ралась. Очередь подтолкнула парня к дверям, и он скрыл-ся в них, чтобы появиться тут же в раскрытом окне авто-буса, оттянув таким образом окончательный момент рас-ставания еще на один короткий срок.

Поехали, поехали — хлопнули двери, звякнули бидо-ны с молоком, ехали здесь и молочница, и два солдата по своим солдатским делам, а может, и в отпуск, если им выпала такая удача. Виктор стоял зажатый со всех сто-рон, уткнувшись в чей-то светло-зеленый плащ.

Город стремительно начал уходить влево, становились реже дома. В автобусе кто-то заиграл на гармошке. Запе-ли нестройно. Парень, высунувшись, смотрел в окно — значит, видел еще свою девушку.

Продолжая думать о своем, Виктор безотчетно смот-рел на кондукторшу, она стояла прямо перед ним — в си-ней куртке, волосы крашенные, глаза голубые.

— Слушай, — вдруг сказал Виктор. — Не сделаешь одолжение, на секунду не остановишься?

Кондукторша смотрела на Виктора, но мысли ее, ка-залось, тоже были далеко.

— Что? — спросила она.

— Останови, пожалуйста.

Вот Виктор снова здесь, где они расстались недавно. Ничего не изменилось — все как раньше. Буфетчица слу-шала пластинки; рабочие продолжали снимать тент; ма-ляр подставил лестницу и курил, разговаривал о чем-то с напарником; падал снежок — редкий, мелкий. Лены, ко-нечно, здесь не было и быть не могло.

Виктор с полной ясностью понимал это, возвраща-ясь, но надежда все-таки у него была — небольшая надежда, хотя он совершенно не представлял, что он ей

Геннадий Шнапков

скажет и как объяснит свое возвращение — да и было ли это возвращением? Нахлынуло, накатилося что-то и потянуло вдруг снова увидеть человека, которого он и знал всего сутки и то очень приблизительно.

Автобус «Город — Аэропорт» ехал над рекой по шоссе, расположенному почти на одном уровне с ее поверхностью — пологий здесь был берег, низкий.

На реке еще не было никаких следов зимы, но вода текла темная, холодная даже на вид.

Автобус шел в одну сторону, а навстречу ему по реке плыла самоходная баржа. Правда, говорят «шла баржа», но она именно плыла, скользила по течению.

Ни на берегу, ни на редких деревьях у воды, ни на деревянных сваях — ни на чем уже не было снега, а баржа плыла, вся белая от снега, который выпал на нее в эту ночь и не успел растаять. У нее на мачте лежал снег, на корме, на палубе.

Она появилась неожиданно, но все-таки пассажиры, и Виктор в их числе, успели на нее посмотреть из окна автобуса, как она прошла по реке почти рядом, едва не коснувшись бортом — так даже могло показаться из-за пологости берега, — и вскоре исчезла, осталась позади, вся белая, белоснежная, возникшая, как из мечты, но с вполне реальным пареньком, примостившимся на корме, который сидел один и, глядя на проплывающие берега, играл на гармошке что-то, что невозможно было услышать в автобусе, но играл паренек самозабвенно — такое уж у него было настроение.

И тут с баржей происходит превращение, которое не увидят едущие в автобусе люди, ибо для них она останется прежней, засыпанной снегом, белой, плывущей по темной воде мимо берегов, покрытых тающим снегом.

Превращение это обращено к читателям, к зрителю.

Из темной воды, из пасмурного ноябрьского дня баржа внезапно, без всякого перехода всплывает в ослепительный летний день.

Теперь она уже плывет прямо по полевым цветам, по высокой свежей траве, по ромашкам и клеверу, по всей летней пестроте и прелести зеленого луга, над которыми скользят, поблескивая крыльями, стрекозы, взлетают птицы; проносятся на лошадях без седла босоногие мальчишки, рассекая своим движением горячий июльский воздух.

Берега здесь вровень с водой, и ощущение того, что баржа плывет по цветам, совершенно полное, единственное, и ничего другого не приходит в голову.

Реальным выражением счастья плывет она среди блеска летнего дня. И я могу только добавить, что ничего другого не скажешь, никак по-другому не назовешь то состояние покоя и радости, когда видишь баржу, скользящую бесшумно по травам и полевым цветам.

Могу только добавить, что и я бы хотел плыть на этой барже и завидую тому парню на корме, который продолжал играть свою незамысловатую мелодию, все одну и ту же.

И так же спокойно, без всякого перехода всплывает она в те же самые снежные берега и сама становится засыпанной снегом.

Виктор смотрел в окно на проплывающую мимо баржу с этим пареньком, поющим что-то, что он не мог расслышать, но когда река опустела и пропала баржа, засыпанная снегом, он вдруг с отчетливостью представил себе, как через несколько часов в этот же день она войдет в город, через который протекает река, и поплывет мимо домов, где ему не жить, мимо всего, что он оставил там, в этом городе, как уже не раз оставлял в других местах, думая, что все еще впереди, что все самое лучшее еще предстоит где-то там, в других местах и городах, где он еще не был, но еще побывает, наверное, и с ним произойдет, случится то самое главное и важное, что должно случиться в жизни каждого человека, и он был убежден в этом, хотя терял он каждый раз гораздо больше, чем находил.

!

Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Октябрь уж наступил. В городе, за городом — повсюду уже была осень, ясная, сверкающая погода, рощи облетели, яблоки блестели в траве, горели костры, и сладок был этот дым, уходящий высоко в небо.

А город уже готовился к ноябрьским праздникам.

Красные полотнища и флаги на равных вошли в осенний пейзаж. Из громкоговорителей летели сквозь листву песни и марши.

В эти дни традиционно проводилась эстафета по улицам города. Движение транспорта временно прекращалось, и по освобожденной мостовой бежали спортсмены в разноцветных майках с белыми номерами, а зрители, уже одетые в пальто, толпились вдоль тротуара по всей трассе, наблюдая подробности состязания.

Но эстафета включала в себя не только бег, ибо несправедливо отдавать легкой атлетике все преимущества последнего осеннего праздника. Бегуны, преодолев крутой подъем по бульжной улице, передали эстафету велосипедистам, которые неистово закрутили педалями и, приподнявшись, понеслись к повороту, исчезли за ним, чтобы взлететь на мост, а за мостом — река, синяя осенняя вода, блеск ее под солнцем, ветер на реке и — гребцы в академических восьмерках, ожидающие свой черед в общем звене эстафеты, — и вот уже весла поднялись разом, сверкнула вода и первая лодка мощным гребком ушла от берега.

Эстафета — счастье, молодость, борьба, нетерпенье того, кто ждет, последние усилия друга, победа, которая где-то впереди, за домами, улицами, где еще бежать, плыть, мчаться другим, а ты уже сделал для них свое.

Ровесники состязались в этот осенний день. Все они принадлежат одному поколению. Разница между ними небольшая. Их вырастило одно время, одна страна.

Это будет фильм о детстве поколения, к которому так или иначе принадлежат все эти люди, детство у них было разное, но в чем-то удивительно похожее. Может быть, потому, что у всех в детстве была война, а это уже много. И еще, может быть, потому, что у половины из них нет отцов — это тоже объединяет. Им не обещали легкой жизни, но в будущем она оказалась еще сложнее, чем это можно было предполагать, и никто не знает, какие испытания и какие победы предстоят им впереди.

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!»

В четвертом классе начальной школы идет урок пения. Класс большой — человек сорок, и смешанный. За партами стоят мальчики и девочки, одетые одинаково неважно, как все одевались в годы войны. Они поют без аккомпанемента:

«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война...»

Дети поют старательно, некоторые слишком, а те, у кого просто нет слуха, стараются петь погромче. И все при этом внимательно смотрят на преподавателя, который дирижирует одной рукой.

Геннадий Шнапков

Это совсем молодой парень в солдатской гимнастерке без погон, с орденом Славы и одной медалью. Пустой рукав его гимнастерки аккуратно подколот. Лицо у него серьезное и сосредоточенное.

Теперь понятно, почему в одном классе собрано столько учеников: трех верхних этажей школы практически не существует, есть только коробка, пустые окна. Восстановлен только первый этаж.

Март, наверное, самый синий месяц в году. Бывают в марте печальные дни, но все-таки он — синий, солнечный, и апрель от него невдалеке.

Этот день был очень хорош. Сохли под солнцем крыши, белье трепетало на ветру, окна сверкали, как зеркала, а на окраине городка по последнему, таящему снегу мчались на самодельных санках ребята. Спуск был очень крут. Он простирался далеко и переходил к потемневшему льду реки.

Санки были разных конструкций, но они летели с одинаковой ошеломляющей быстротой. Иной малец на простом железном листе, добытом бог знает с какой крыши, достигает такой скорости, что современные горнолыжники в слезах оставили бы свое прекрасное занятие и перешли бы в иные области спорта.

Санки, на которых мчались Женька и Игорь с горы, были устроены сложнее, нежели просто лист с крыши. То были деревянные санки на коньках. Скорость возростала вдвое. Управление усложнялось. Но в этом был свой высокий смысл: риск, скорость и — никаких соперников!

Так и мчались они с горы, обгоняя всех, заваливаясь на крутых поворотах, но не падая, к темному льду реки, вылетая на него отважно, и день был очень хороший.

Посреди госпитального двора, окруженного с трех сторон кирпичными стенами, находился гимнастический городок: шведская стенка, турник, бревно бума и шесты под высокой перекладиной.

Вряд ли всем этим могли пользоваться раненые, которые пошли на поправку и сейчас в ватниках, на костылях гуляли по двору, грелись на солнышке. Но зато ребята нашли всему применение. Девочка, раскинув руки, осторожно шла по бревну, ребята занялись шведской стенкой.

Женьке было одиннадцать лет. Он был худощавый, темноволосый, резкий в движениях. По бревну ходила Лена, его сестра, девочка с большими светлыми глазами, с косичками, торчащими из-под вязаной шапочки. Третий, Игорь, носил на голове летный шлем, немного великоватый ему. Все трое ждали матерей, которые работали в этом госпитале.

— Здравствуйте, дядя Коля! — сказал Женька человеку на костылях, проходившему мимо. — Как нога?

— Спасибо, Женька, ничего. Вот хромаем.

Рядом с дядей Колей шел паренек в темных очках. Он держался за его руку.

— А что сегодня в клубе показывают? — спросил Женька.

— Говорят, «Антон Иванович сердится», — сказал паренек.

— Интересно, на кого же это он сердится, — сказал Женька, думая, как бы попасть в клуб.

— А кто его знает, — раненый пожал плечами и объяснил: — Кинокомедия.

— Ладно, я пошел, — сказал раненый. — Матери привет.

Лена спрыгнула с бревна.

— Мама! — сказала она и побежала к подъезду, из которого выходили две женщины, на ходу застегивая пальто. Под пальто были видны белые халаты. Одна из них была мать Игоря.

Сумерки, город. Пошел дождь, не сильный, мелкий. Две семьи возвращаются домой.

Дождь по лужам, по крышам, по заборам — дождь.

И вот среди дождя и вечернего неясного света проплывает мимо широкое окно на первом этаже, а за окном,

Голдагий Шлаликов

за чистым стеклом — яркий свет и развешаны во множестве разноцветные абажуры. Здесь мастерская, где их делают. Женщины натягивают шелк на металлические кардасы, улыбаются, говорят о чем-то, а на улице — дождь.

Так, все вместе, они подходят к своему дому. А во дворе, у подъезда, какой-то высокий крепкий человек в сапогах и в белой нательной рубаше колол дрова. Делал он это легко, ловко. Без малейшего усилия. вскидывал тяжелый колун на длинной ручке и одним ударом расширял крупные поленья. На него приятно было смотреть. На секунду он выпрямился. Лицо у него было большое, раскрасневшееся, чисто выбритое.

— Смотри кто, — мать Игоря вдруг остановилась, — Федор.

Но Федор уже сам заметил их, оставил топор и широкими шагами пошел к ним через двор, напрямик, по лужам. Лена и Женька бросились к нему навстречу, он на ходу подхватил их, обнял. У Женьки свалилась шапка, и он не поднял ее.

Игорь оставался стоять рядом с матерью. Он молча смотрел невеселыми, завидующими глазами на Федора и ребят. Такие глаза были и у Зины, его матери. Им уже некого ждать с этой войны. И Федор, как солдат, понимая это, раньше жены обнял Зину и крепко прижал к себе Игоря.

«Утро красит нежным светом...» — гремел марш с патефонной пластинки, а Федор сидел на кровати, снимая сапоги. Напротив него с гражданским костюмом стояла Люся, его жена, и Лена с Женькой. Женька держал светлые гражданские туфли отца, Лена — белую рубашку на вешалке. Все они смотрели на отца по меньшей мере с благоговением.

Федор с удовольствием пошевелил босыми ногами.

— Теперь уже насовсем? — улыбаясь, спрашивала Люся.

— Нет, мне утром в Москву.

— А из Москвы обратно сюда? — спросила Люся.

— Обратно туда, — Федор улыбнулся. — Ничего, теперь уже не долго.

— А я-то, дура, обрадовалась, — сказала Люся.

— И правильно сделала, — Федор привстал и поцеловал ее. — Правильно, ребята?

— Правильно! — хором ответили Женька и Лена.

— А теперь — мыться! — весело сказал Федор.

— А можно, мы с тобой? — спросил Женька, не желая даже на короткое время расставаться с отцом.

— Конечно, — сказал Федор, — Пошли!

И под «Утро красит нежным светом...» они торжественно отправились в ванную, держа перед собой, как знамена и лозунги, гражданские вещи отца.

Происходило то простое и естественное человеческое счастье, которое еще резче подчеркнула война. Казалось, что особенного в том, что сначала отец тер мочалкой намыленную худенькую спину сына, а потом уже сын широкой ладонью мыл лицо дочери, а та смеялась и говорила: «Ой, мыло попало!» — что в этом особенного? А все они были совершенно счастливы.

А после вся семья сидела за столом, накрытым праздничной скатертью. По военному времени стол, что называется, ломился от еды: картошка со свиной тушенкой, копченая колбаса, вобла, печенье.

Темный, торжественный костюм Федора был сшит, наверное, давно. Может быть, он женился в этом костюме. А сейчас он был узковат в плечах и выглядел на нем как чужой. Но сегодня это не имело значения. Главное, что он хоть на один вечер немного почувствовал себя гражданским человеком, тем, довоенным Федором, который сидит однажды вечером дома с детьми, с женой, ужинает и видит перед собой на другой стороне стола лицо жены,

Гелладий Шпалков

а слева от него сидит сын Женька (на рубахе: звезда с фуражки отца), а справа — дочь Елена, Елена Федоровна.

Люся, одетая в свое самое лучшее, тоже довоенное платье, которое тоже выглядело на ней немного как чужое, подперев ладонями голову и безмятежно и счастливо улыбаясь, смотрела на Федора и ребят.

Федор обнял детей, и они пели хором старую довоенную песню, пели нестройно, забывая и тут же вспоминая слова (Люся не пела, но иногда подсказывала им), а дети влюбленно смотрели на отца.

«Чайка смело пролетела над седой волной,
Окунулась и вернулась, вьется надо мной.
Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет?
Ты возьми-ка отнеси-ка милому привет...»

— Ну что, мать, может, потанцуем? — спросил Федор.

— Что? — Люся, все так же улыбаясь, смотрела на него.

А Федор уже заводил патефон.

Они танцевали под «Лунную рапсодию» Утесова.

Федор обнял Люсю, она положила руки ему на плечи. Танцевали медленно, немного старомодно, как до войны.

Женька крутил ручку патефона и не спускал с родителей глаз. Рядом на табуретке сидела Лена.

— Какую еще поставить? — спросил Женька, когда пластинка кончилась.

— Оставь эту, — не оборачиваясь, сказал Федор.

И снова они танцевали с Люсей в этой небольшой комнате, где и танцевать-то, в общем, было негде, разве что вокруг стола у окна.

Федор сильно и в то же время нежно прижимал Люсю к себе, и она почти висела у него на руках, смотрела ему прямо в лицо, лица их были близко, глаза — рядом, и Федор вдруг остановился, приподнял Люсю и поцеловал.

— А теперь со мной! — Лена стояла на табуретке, — Со мной!

— Что? — обернулся Федор.

У него было какое-то другое лицо, немного растерянное и почему-то вдруг помолодевшее.

— Танцевать! Хочу с тобой танцевать! — Лена даже подпрыгнула.

И теперь Федор танцевал с Леной. Он просто держал ее на руках, а она, обхватив его за шею, была счастлива.

Была светомаскировка, и все окна были одинаково темными. Но из одного окна слышались «Лунная рапсодия» и голос Утесова.

— Гуляют, — сказала пожилая женщина, сидевшая на скамейке у подъезда. — Человек с войны пришел. — Она говорила с большим уважением и немного удивленно.

— Хорошо! — ответила молоденькая девушка, сидевшая рядом.

Люся стелила кровать. Федор сидел на стуле, курил. Ребята отчаянно зевали.

Люся стелила все чистое. Лицо у нее при этом было самое торжественное и сосредоточенное, как будто она выполняла какое-то очень важное дело.

Женька разложил на столе гимнастерку отца и рассматривал привинченные к ней награды.

— А ты за что Красную Звезду получил? — спрашивал Женька.

— Было дело, — Федор отвечал довольно рассеянно.

— Понятно, — сказал Женька. — У тебя «Отечественная» какой степени?

— Второй, — сказал Федор.

— Тоже ничего, — успокоил Женька.

Люся поправила подушки и выпрямилась.

— Мы тоже здесь будем спать? — спросила Лена.

— Конечно, — ответил за отца Женька. — А где еще?

— Сегодня вы ночуете у тети Зины, — сказала Люся.

Гелладий Шнапков

— Почему? — обиженно спросил Женька. — Зачем?

— Понимаешь, — Федор обнял Женьку, — им сегодня не очень-то весело. У тебя есть отец, а у Игоря нет.

— Понимаю, — сказал Женька.

— Одевайтесь, — сказала Люся. — Сейчас пойдем.

— Прямо сейчас? — Женька очень не хотел уходить.

— А то поздно будет, — мать накинула пальто.

— Утром увидимся, — сказал Федор.

Он сам одел Лену, крепко расцеловал обоих ребят, и Люся увела их.

Как она бежала к нему по темной улице, в расстегнутом пальто, без платка, такая красивая и молодая, как девочка перед свиданием, и в то же время как женщина, сильно любящая и любимая.

Он стоял у подъезда в накинутой на плечи шинели, ждал ее, курил. Она упала к нему на руки, он обнял ее, и они поцеловались у своего подъезда.

На раннем рассвете они вышли из подъезда, Федор был в шинели. По званию он был капитан. В форме он казался больше и массивней. Люся рядом с ним была совсем маленькая.

— Женька, — Федор вдруг остановился.

На скамейке посреди двора сидел Женька в шапке с опущенными наушниками: значит, сидел он тут давно и порядком замерз.

Увидев родителей, он встал.

— Что ты тут делал? — спросил Федор.

— Тебя ждал, — просто ответил Женька. — Боялся, что не зайдешь.

— Чудак. Я же обещал, — Федор говорил серьезно.

— Я все равно боялся, — честно сказал Женька.

Они шли втроем по пустой утренней улице: отец, сын, мать.

Наступил апрель. Дни теперь были длинные, долгие, и в то же время они летели стремительно, солнечные, светлые. Это была весна нашей победы.

Школьное здание было покрыто строительными лесами. Рядом с рабочими трудились школьники старших классов, помогая восстанавливать школу.

А на первом этаже своим чередом шли уроки.

Тот же самый класс.

Вошла преподавательница, дети встали. Женька и Игорь — на одной парте. Учительница поздоровалась по-немецки. Ребята ответили нестройным хором.

Начался урок немецкого языка. Накануне была контрольная, и учительница, молодая женщина в светлой кофточке, русая, с приветливым круглым лицом, раздавала тетрадки, называя оценки и добавляя при этом те обычные слова, которые говорят преподаватели. Наконец очередь дошла до Игоря. Он встал.

— Игорь, а твоей тетради опять нет, — сказала учительница. — Если так будет продолжаться, двойки в четверти тебе не миновать.

Игорь молчал.

— Неужели тебе не хочется в совершенстве овладеть немецким языком? — продолжала учительница.

— Нет, не хочется, — Игорь усмехнулся.

— Нельзя ненавидеть народ, — сказала учительница, — народ, который дал миру великого композитора Бетховена, классиков мировой литературы Гейне, Гете и Шиллера...

— И Гитлера, — сказал Игорь.

— Да, но немецкий народ нам дорог не этим.

— Не знаю, чем он вам так особенно дорог, — сказал Игорь. — Вы во время войны где были?

— Я была в Куйбышеве, — сказала учительница.

— А я здесь, — Игорь осторожно опустил крышку парты и молча вышел из класса.

Игорь стоял в пустом коридоре у окна. Мимо проходил старик гардеробщик, он же давал звонок.

Гекнадий Шнапиков

— Что, выгнали? — спросил он.
— Выгнали, — сказал Игорь.
— Бывает, — равнодушно сказал старик и пошел дальше.

Прозвенел долгий звонок. Учительница немецкого языка встала, чтобы попрощаться, Класс тоже встал. Как обычно, учительница попрощалась по-немецки. Класс ответил молчанием. Она повторила прощание. Класс молчал. Лица у ребят были серьезные и строгие. Учительница обвела их взглядом и вышла из класса.

Женька и Игорь молча шли по улице. Позади них, как всегда, семенила Лена.

— Что с вами? — спрашивала она. — Поругались, а идете вместе...

— Отстань ты... — сказал Женька

— Женька двойку получил? — продолжала интересоваться Лена.

Женька остановился.

— Что ты за нами ходишь? — спросил он. — Иди лучше попрыгай! — он кивнул в сторону девочек со скалками.

Лена остановилась с обиженным лицом, а ребята пошли дальше.

— А ты пойдешь на казнь смотреть? — спросил Женька.

— На какую казнь? — спросил Игорь.

— Утром по радио передавали: в пять часов начнется, на площади Коммунаров.

— А кого? — равнодушно поинтересовался Игорь.

— Один наш, полицей. А другой гестаповец.

— Понятно, — сказал Игорь.

— Ты пойдешь?

— Я уже раз видел... — сказал Игорь.

— Когда? — не понял Женька.

— Видел — и все.

Ребята молчали.

— Я бы сам тогда на это не пошел смотреть, — наконец сказал Женька.

— Не пошел, заставили бы, — спокойно сказал Игорь.

— Меня бы не заставили! — Женька даже остановился.

— Сейчас это трудно проверить, — усмехнулся Игорь.

Они стояли друг против друга: напряженный, побледневший Женька и Игорь, спокойный, чуть вялый.

Толпа людей расступилась, пропустив к центру площади закрытую машину, и сомкнулась снова.

Не ради праздного любопытства собрались на площади жители этого небольшого городка. Многие из них вынесли на себе всю тяжесть и унижение оккупации. У многих она отняла близких людей. Это были страшные годы рабства, но в то же время это были годы борьбы: за свободу, за нашу власть. В этой борьбе погибали лучшие из лучших. И вот справедливость восторжествовала, победила: теперь живые мстят палачам и предателям.

Суровы лица людей на площади. Среди других мы видим солдата (он преподавал пение в школе), Зину, мать Игоря, Люсю и учительницу немецкого языка.

А день пасмурный, весенний. Над площадью кружились и кричали птицы, ветер сносил их, переворачивал на лету.

Звучат слова приговора.

А в это время Игорь и Женька пробивались в толпе к центру площади.

Спины, спины, чьи-то локти, снова спины — сколько их! Игорь пробивался первым. Лицо у него было сосредоточенное, даже злое. Он как таран входил в толпу, а уже за ним по освобожденному проходу двигался Женька.

Но когда наконец они прорвались в первый ряд, все уже было кончено.

Гелладий Шпалков

— Уже, — тяжело дыша, сказал Игорь, он смотрел прямо перед собой.

Женька взглянул и быстро опустил глаза.

— А ты не смотри, — тихо сказал Игорь, — Не хочешь — не смотри.

Но Женька поднял глаза и теперь уже смотрел долго и пристально.

Площадь молчала.

Игорь и Женька молча шли по улице.

Вечерело. Ребята шли в сторону широкого апрельского заката. Улица круто опускалась вниз. В окне третьего этажа, свесив ноги, сидел совсем молодой парень с гитарой и скорее насвистывал, чем играл «Синенький скромный платочек». Через улицу, на балкончике дома напротив, стояла, облокотившись о перила, девушка. Эта старинная, мирная идиллия никак не вязалась с только что происшедшим на площади, но в ней был простой и верный смысл: война — войной, весна — весной, и хорошо, что все кончается и что у людей кроме войн имеется впереди много прекрасных занятий: любить, смотреть через улицу на девушку, которая тебе нравится.

Весенний вечер. Во всем уже весна.

Во всяком городе существует парк, где собирались раньше люди по вечерам, собираются они и теперь... Может быть, — и наверняка — до войны все это выглядело иначе. Может быть, во всем было больше света, музыки — был размах развлечений. Но теперь все было проще. Горела лампочка, стоял на скамейке приемник, а к нему от патефона тянулись провода. Пластинки вертелись старые, трофейных еще не было, а новые пока не дошли, не долетели сюда.

Да и парка уже, собственно, почти не было. Его вырубали по необходимости за войну, за четыре жестоких зимы. Была рядом стена, высокая, кирпичная — госпиталь примыкал вплотную.

Сбоку на длинной деревянной скамейке сидели уже знакомые нам люди: солдат с костылями (из госпиталя), Женька, Игорь и еще один младший лейтенант в темных очках — он был слеп.

Девушки танцевали парами, очень серьезно и старательно, Звучал довоенный фокстрот, и младший лейтенант слушал улыбаясь, и постукивал в такт ладонью по колену.

— Ну как? — он повернулся к Женьке.

— Пока ничего интересного, — Женька внимательно разглядывал танцующих девушек.

— Вот эта ничего, — сказал солдат с костылями.

— Эту пропустим, — сказал Женька.

— Ты знаешь, смотри на тех, кто не танцует, — сказал младший лейтенант. — Самые лучшие девушки, бывает, стоят у стенки.

— Я сейчас, — сказал Женька и пошел вокруг площадки.

У стенок, действительно, стояло много девушек. Женька шел мимо них, внимательно рассматривал каждую.

А девушки насмешливо и весело смотрели на него.

— Добрый вечер, Женька!

— Пригласил бы!

— Ты кого выглядываешь?

— Женька?

— Эй, кавалер, ты не меня ищешь?

А Женька, не обращая внимания ни на кого и не отвечая, шел дальше.

Он остановился внезапно.

В углу сидела очень молодая девушка в светлом платочке. Она зачарованными глазами смотрела на приемник, танцующих, ей было просто хорошо. Ей тут все очень нравилось.

Женька решительно направился к ней.

И через некоторое время они уже танцевали. Женька был одного роста с ней, и все было бы ничего, но он совершенно не умел танцевать и просто переступал ногами,

Геннадий Шаликов

стараясь, правда, не наступать на туфли, и вел ее через площадку к тому месту, где сидел младший лейтенант.

Это ему удалось вполне. Когда танец кончился, рядом с Женькой сидела эта девушка.

Дальше звучал вальс, тоже старый, старинный, прекрасный вальс.

Женя незаметно подтолкнул младшего лейтенанта, тот встал, сделал шаг вправо и пригласил девушку.

Они были чудесная пара, эта девушка и младший лейтенант — худой, строгий, в гимнастерке, туго затянутый ремнем, с орденом Отечественной войны. И танцевали они очень хорошо. Немного медленно, но хорошо.

— Вас как зовут? — спрашивал младший лейтенант.

— Вера.

— А меня Толя. Я вообще четыре года не танцевал.

— Вы хорошо ведете, — девушка посмотрела на него снизу.

— Главное, Вера, чтобы мы не врезались в забор.

— А вы ничего не видите? — спросила Вера.

— Сейчас это не имеет значения, Это все равно что танцевать в темной комнате. Раньше мы это даже любили: тушить свет и танцевать.

— Вы до войны где жили? — спросила девушка.

— В Москве.

— Правда?

— Правда.

— А я еще нигде не бывала.

— Еще успеете, — сказал младший лейтенант.

Они танцевали почти на одном месте. Младший лейтенант осторожно и нежно вел девушку. Женька, Игорь и солдат с костылями смотрели на них. Вид у Женьки был очень довольный.

— От вас земляничкой пахнет, — говорил младший лейтенант.

— Это мыло такое, — улыбалась девушка.

— А какой следующий танец, вы не знаете?

— Никакого больше не будет, — сказала девушка. — В девятом часу останавливают паровоз, и полчаса не будет света.

— Жалко.

— Конечно, жалко, — сказала девушка.

— Может, в кино сходим? — предложил он.

— В кино? — удивилась девушка.

— А мне не обязательно смотреть, — младший лейтенант улыбнулся. — Я там и так все помню. Просто посидим рядом.

— Я пойду, — сказала девушка.

Они сидели в темноте зала все рядом: младший лейтенант, его девушка, солдат с костылями, Женька и Игорь.

«Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой...»

Показывали «Чапаева».

Шел фильм виденный-перевиденный, старый и каждый раз прекрасный. Его любили и те, кто ушел на фронт, и вот сейчас он был близок и понятен Женьке и Игорю, и так же понятен и дорог он мальчикам и девочкам шестидесяти второго года, так будет всегда, потому что была у нас революция и все остальное, и в любом году невозможно будет поверить, что Чапаев не переплыл саженками Урал, что его убили.

Младший лейтенант сидел очень прямо и внимательно смотрел на экран. Девушка положила ему на плечо руку, другой она вытерла слезы: девушки вообще очень часто плачут в кино, но тут уж ничего не поделаешь.

У Женьки и Игоря на лицах было такое суровое выражение, что, казалось, дай им сейчас винтовки в руки — и они начнут стрелять в белогвардейцев, хотя те и на экране.

Теладий Шпалков

Солдат, сидевший рядом с Женькой, протянул ему конфету, но Женька отказался — он не отрывал взгляда от экрана, и сам отвел руку с конфетой. Солдат пожал плечами и положил ее себе в рот.

После кино, задумчивые и молчаливые, Женька и Игорь шли по пустой вечерней улице.

Незаметно оказались на пустыре. Садилось солнце, дул прохладный ветер. За пустырем, на склоне, проходила железная дорога, по сторонам которой торчали железные остовы сгоревших вагонов.

Из-за поворота показался длинный тяжелый состав. Запорхали в сумерках искры.

— На фронт пошел, — сказал Женька.

— На фронт.

— Ты не знаешь, скоро война кончится? — спросил Женька.

— Точно не знаю, — серьезно ответил Игорь. — Но, должно быть, уж скоро.

— Скорей бы, — вздохнул Женька. — Надоело со страшной силой...

Состав прогрохотал, и снова тишина.

И вот она наступила, эта ночь, которую ждали столько долгих ночей и дней, о которой думали, в которую верили.

И хотя было уже ясно, что война кончается, известие о победе пришло внезапно.

Среди ночи в городе раздались выстрелы.

Бах! — и в темном небе повисла ракета, и еще одна рядом, и где-то за домами. И солдат на посту у складов запустил длинную очередь трассирующих пуль — так и протянулась в небо яркая пунктирная полоса.

Во дворе госпиталя — необыкновенное для столь позднего времени оживление. Солдаты, белея рубашками и кальсонами, в распахнутых халатах выскакивали на улицу, обнимались.

Кто-то достал спирт, и его честно делил по стаканам пожилой солдат на костылях. «Победа! Эх, жизнь!» — и какой-то совсем молоденький парень скинул халат и от избытка чувств, не зная, куда девать всю эту огромную радость, ухватился за перекладину и закрутил солнце.

Бах! — и над госпитальным двором взлетела и рассыпалась ракета. И взлетел в воздух младший лейтенант в темных очках: его качали. У него прямо на халате, как и у других раненых, были приколоты медали.

А городок проснулся.

Всю войну, и даже сейчас, в мае сорок пятого, окна его домов закрывала светомаскировка. Город по ночам был пустой и темный. Но сегодня люди срывали все, что было на окнах: одеяла, шторы, — город на глазах становился живым. Один за другим оживали дома, в которых, как до войны, мирно горели окна, люди выходили на улицу, обнимались, плакали.

Утро 9 мая было настоящим утром победы: яркое, солнечное. Из ворот пожарной команды вышел оркестр. Медные трубы сверкали, у пожилых оркестрантов был торжественный вид. Взмах дирижера — и оркестр, играя «Утро красит нежным светом», двинулся по улице.

Это была необыкновенная демонстрация. Никто ее не организовывал, не выстраивал в колонны, не руководил. Люди выходили из домов, пристраивались к оркестру и шли. У некоторых в руках были еще довоенные первомайские флажки, а другие несли просто свежую зелень, ветки. Какая-то женщина несла фотографию сына или мужа в военной форме.

Надо сказать, что большинство идущих составляли женщины — молодые, старые — и, конечно, дети. Они шли впереди оркестра, поминутно оглядывались, пели, кричали «ура!» и всячески радовались происходящему. Среди них шли Женька с Игорем, Лена.

Женька поднял руку, как для приветствия, и сделал серьезное лицо: на тротуаре перед громоздким деревянным фотоаппаратом стоял старик фотограф. Вот

Геннадий Млачков

он накрылся темным платком и приник к камере. Он снимал демонстрацию в день Победы. Где-то в Москве сотни кинооператоров и фотокорреспондентов всего мира запечатлели для истории этот день. Но этот торжественно и немного старомодно одетый старик тоже понимал, что сегодня и он работал для истории.

Сразу за оркестром шли бывшие партизаны из тех, кто по ранениям и по другим причинам не смогли идти на запад вместе с регулярными частями. Здесь были разные люди: рядом с бородатым крепким стариком с начищенными медалями на ватнике шел мальчишка, немного постарше Женьки, но у него тоже поблескивала медаль. Двое несли носилки, в которых сидел безногий улыбающийся парень с орденом Красного Знамени.

Миновав короткую главную улицу, демонстрация вышла к городскому парку. Оркестр перестал играть. Люди остановились в молчании.

Когда-то, до войны, городской парк был большим и зеленым. Можно себе представить старые деревья, ветви которых образуют своды над аллеями, белые садовые скамейки, тишину. Война уничтожила все это. Деревья или срублены, или рассечены осколками. Парк стоял черный, лишь кое-где зеленели побеги.

Здесь были похоронены солдаты и партизаны, павшие при взятии города. И сегодня, в день нашей победы, люди пришли сюда, чтобы почтить их память.

Среди срубленных деревьев на влажной весенней земле стоят фанерные обелиски с красными звездочками наверху.

А вот такой же фанерный памятник, но на нем укреплен пропеллер, а под ним фотография: «Младший лейтенант Анисимов С.А., пал смертью героя в воздушном бою, 14 февраля 1944 г.». И рядом с легчиком улыбается очень молодая девушка с белым воротничком: «Партизанка Аня Стельмахович. Казнена фашистскими оккупантами в мае 1942 года».

И все цветы, все ветки ложатся на могилы солдат. И оркестр в память погибших исполняет «Интернационал».

Утро. Комната освещена солнцем. Женька торопливо вскакивает с раскладушки, протирает глаза. Мать ушла в госпиталь. Сестра спит. Женька надевает свои старые лыжные штаны, куртку, на голову — пилотку, свою часть хлеба — в карман, и бегом на улицу.

Бегом-бегом, надо много за сегодня успеть. Остановился перед домом Игоря. И свистит: Женька умеет свистеть.

Через минуту, застегиваясь на ходу, из подъезда выбегают Игорь. За домом, в кустах, спрятана их тачка. Достали ее, и снова бегом по солнечной улице. Только тачка дребезжит по камням.

Они остановились перед развалинами большого дома, вернее, даже так: несколько взорванных домов образовали эти развалины. Там, среди стен, уже роются ребята одного возраста с Женькой и Игорем.

Они достают из развалин снарядные гильзы и аккуратно складывают на мостовую, около своих тачек. Один разыскивает гильзы, другой очищает их тряпкой и складывает рядком.

Игорь подходит к долговязому парню, у которого больше всех гильз. Минуту смотрит, как тот очищает от пыли очередную гильзу.

— Здорово, Кот, — говорит Игорь.

— Ну, здорово, — нехотя отзывается парень.

А Женька молча достает из кармана длинную тонкую трубочку серого цвета.

— Меняемся? — предлагает он. — Один запал — три гильзы.

— Нет, — говорит парень.

— Пожалеешь, Кот, — говорит Игорь. — Запал настоящий.

— Ну ладно, — Парень встает. — Пошли посмотрим.

Они поднимаются в развалины. Ребята останавливают поиски и собираются вокруг Игоря.

— Отойдите к стенам, — Игорь возится с запалом. — А то стукнет кого, а потом отвечай.

Геннадий Шаликов

Ребята прижимаются в стенам: это, видимо, была комната, но сейчас здесь даже нет потолка, да и в стенах не хватает кирпичей и вместо одной из них — свободное пространство.

Игорь стоит в центре. Вот он поджигает запал и тут же приседает.

Огненная трубка, стремительно вращаясь, носится между стен, едва не задевая ребят. Но никто не боится ее, напротив — в глазах у долговязого такое восхищение и восторг, что уже ясно: обмен гильз на запалы, можно сказать, состоялся.

Только по напряженному лицу Женьки было заметно, что такое зрелище он видел не часто.

И вот, нагрузив полную тачку снарядных гильз, Женька и Игорь весело покатали ее по улице.

Покатали мимо стройки.

Над оврагом, вдоль склона которого были вырыты окопы, теперь наполненные водой, по которым, как по каналам, плавали на корытах и в бочках ребята.

Так они катили свою тачку до тех пор, пока не остановились перед большим сараем, над которым была прибита вывеска: «Прием металлолома».

Чего сюда только не приносили!

Кроме снарядных гильз на земле лежали гусеницы от танка, каски, часть обгорелого дюралевого крыла со свастикой, заключенной в круг, железная конструкция баскетбольных ворот (кому сейчас играть в баскетбол!), мотки колючей проволоки, пробитые пулями солдатские котелки, мятые немецкие ранцы из-под воды и прочее и прочее. Все это было свалено перед сараем, все это принималось, и за это платили какие-то деньги.

Перед Женькой и Игорем стоял пожилой человек интеллигентного вида. В руках у него ничего не было.

— Так что у вас? — обратился к нему принимающий, усталый дядька с медалью.

— Да вот, посмотрите, пожалуйста, — и человек показал на крыло самолета.

— Как же это вы его дотащили? — дядька даже присвистнул от удивления.

— Волоком, — ответил человек, — волоком.

Дядька кидал в сарай Женькины с Игорем гильзы. Там уже была целая гора. Гильзы падали, звенели, Женька считал, шевеля губами.

Потом дядька отсчитал ребятам деньги, и они убежали.

А день продолжался.

— Двадцать рублей, — еще раз пересчитал деньги Игорь. — Ну, что будем делать? Пошли на рынок.

— Если купить жмыху, еще и на кино хватит, — сказал Женька.

— Пошли на рынок.

Рынок сорок пятого года был не очень похож на рынки шестьдесят второго.

Здесь кроме продуктов часто продавались очень странные вещи, никому не нужные, нелепые.

Женька и Игорь остановились перед толстой женщиной.

Перед ней на деревянном прилавке были разложены петушки на палочках. Красные полупрозрачные петушки, сквозь которые виднелось окончание палочек.

— Почему? — спросил Женька.

Тетка даже не посмотрела на него.

— Эй, проснись! — потребовал Игорь.

— Чего? — наконец обратила она внимание на ребят.

— Я спрашиваю, почему петушки, — повторил Игорь.

— Два рубля за штуку.

— Что-то дорого, — сказал Игорь.

— Проваливай-проваливай. — Тетка смотрела уже в другую сторону.

Ребята шли мимо длинного ряда, на котором были выставлены пустые аквариумы, какие-то глиняные кувшины, старые пиджаки, велосипеды, вазы, картины в рамках, кофты, резиновые охотничьи сапоги огромного размера, птицы в клетке.

Перед птицами они остановились.

Геннадий Шаликов

— Почему дрозд? — спросил Игорь.

— Какой же это дрозд, — продавец был немногим старше ребят, но тем не менее был исполнен важности.

— А кто? — спросил Женька.

— Я и сам точно не знаю, — вдруг улыбнулся продавец. — Случайно от соседки остался.

— А ты его зажарь, — посоветовал Игорь.

— Что? — не понял парень.

— Глиной обмажь и зажарь, — пояснил Игорь.

— Валяй отсюда, — дружелюбно сказал парень.

Тут же, прямо на воздухе, женщина жарила на большой сковородке пирожки.

— С чем? — спросил Женька, глядя, как она ловко переворачивает пирожки и складывает готовые на тарелку, накрывая их чистым полотенцем.

— С картошкой, — сказала женщина.

— Не мерзлая картошка-то? — деловито осведомился Игорь.

— Да нет.

— А почему?

— Три рубля. — Женщина разогнулась. — Хватай, пока горячие.

— Нам по два, — Женька даже показал на пальцах.

Игорь протянул деньги, они взяли пирожки и пошли. Один пирожок Женька завернул в платок.

— Ты чего? — Игорь уже заглывал второй.

— Да Ленке отнесу.

— А-а...

День был еще весь впереди. ♣

Пройдя немного, Женька и Игорь остановились на пустыре. Рядом с ними работали пленные немецкие солдаты. Они врывали столбы в землю, натягивали колючую проволоку. За проволокой не было еще ни барачных, ни построек: сначала пленные должны были окружить себя двумя рядами проволоки, а потом уже, будучи заключенными, строить себе жилье.

Женька и Игорь подошли поближе. Пленных охраняли двое автоматчиков, но относились они к своему делу довольно прохладно: они сидели под деревом, играя в раскладные шахматы, и только изредка поглядывали на пленных. А те работали старательно, о чем-то разговаривая. Женька впервые видел так близко немецкие лица, зеленые потрепанные мундиры, пилотки.

Игорь подошел к солдатам.

— Они ведь так и сбежать могут, — сказал он.

— Чего? — не понял солдат, у него было молодое сосредоточенное лицо.

— Сбежать, — жестко сказал Игорь.

— А-а, — солдат снова углубился в игру и отмахнулся. — Вы гуляйте, гуляйте...

— Твой ход, — сказал ему другой солдат.

Ребята пошли дальше.

— Тоже мне, охрана, — сказал Игорь. — Знаешь, что было бы за это дело с ними в партизанском отряде?

— Что?

— Могли и расстрелять, — твердо сказал Игорь.

Немцы работали и на склоне горы, рыли землю. Рядом протекал широкий ручей. Ребята стояли по ту сторону ручья, смотрели на немцев. Они были совсем близко, большинство — молодые, белобрысые, и работали они так же старательно. Кое-кто снял рубанки.

Один из немцев, рыжий, хорошо сложенный парень в черной майке, отставил лопату: он заметил, что на него смотрят ребята. Он поднял руку и улыбнулся им. Ребята стояли молча, только Игорь сказал:

— Смеется, сволочь.

А пленный уже приблизился к ним. Он остановился на той стороне ручья, еще раз улыбнулся. Что-то сказал. Потом похлопал себя по животу. Помахал часто-часто руками.

— Лягушка, а, — сказал он. — Лягушка! — с невозможным произношением.

— Лягушка, — повторил Женька. — Зачем ему лягушка?

Теплый Маликов

Услышав слово «лягушка», пленный что-то весело и оживленно забормотал по-немецки, потом крикнул своих товарищей. Двое спустились к нему, повторяя на том же несусветном русском языке слово «лягушка», похлопывая себя по животу. Один из них показал рукой: он хочет съесть лягушку. Игорь понял:

— Лягушек жрут, гады...

Пленных свистком вернули к работе. Оборачиваясь на ходу, рыжий прижимал руки к груди и моляще смотрел на ребят, повторяя что-то.

— Жалкие они какие-то... — сказал вдруг Игорь. — Смотри, даже смеются... Чего смеются... В плену...

— А я не знал, что лягушек едят. — Женька смотрел на ту сторону, где работали пленные.

— Все едят, — сказал Игорь. — С голоду еще не то съешь.

Игорь наклонился, пошарился в траве, сделал шаг влево, еще один, вот в его руках уже билась лягушка.

Он размахнулся: «Эй, рыжий, лови!» — и кинул ее на ту сторону ручья.

Лягушка упала на глинистый берег, и прыг-прыг за-скакала к кустам.

Рыжий и еще трое пленных, скользя сапогами, кинулись за ней. Один из пленных растянулся на склоне, проехал животом. Рыжий бегал, что-то крича. Торжествуя, он схватил лягушку, пленные окружили его.

Может быть, погоня за лягушкой была и смешная, но у Женьки и Игоря она не вызвала никакого веселья. Женька повернулся и пошел не оборачиваясь. Игорь догнал его.

Лена сидела на лавочке у подъезда. Лицо у нее было спокойное, она смотрела прямо перед собой. Она даже не заметила, как подошли Игорь и Женька.

Лена не обратила на них никакого внимания. Она достала из кармана фартука сложенную пополам бумажку.

— Вот, — она протянула ее Женьке.

Руки Женьки были заняты принесенным для Лены пирожком. Он отдал его и развернул бумажку.

Долго, про себя читается эта бумажка.

«Уважаемая Людмила Петровна, командование и политотдел войсковой части 46/159 с прискорбием сообщают вам, что ваш муж, Савельев Федор Петрович, пал смертью храбрых при штурме Берлина. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины».

Лена ела пирожок, и слезы безостановочно катились по ее щекам.

— Мать знает?

— Не знает, — Лена всхлипнула.

— Не реви, — Женька встал, — где она?

— Картошку с тетей Зиной сажают, — сказала Лена.

Они пошли втроем. Женька и Игорь впереди, Лена, как всегда, немного отставала. У Женьки было спокойное лицо, губы сжаты. Игорь молчал, засунув руки в карманы широких штанов.

Они подошли к небольшому стадиону.

Как место футбольных схваток он был уже давно не нужен. Поэтому его вскопали под картошку. На поле работали мать Женьки и Лены и Зина — мать Игоря. Где-то вблизи ворот копались еще две женщины.

Скамейки стадиона были частично сломаны и растащены на дрова, но все-таки ряд с небольшим еще оставался. На пустой длинной скамейке, помахивая ногами в сандалиях, сидели две маленькие девочки — дети женщин, которые копали у ворот.

Увидев мать, Женька остановился. Но Люся уже заметила ребят, разогнулась и помахала им рукой. А Женька все еще медлил.

— Я боюсь, — сказала Лена.

Теплый Маликов

Женька пошел напрямик через поле к матери широким шагом. Игорь и Лена последовали за ним.

Перед простым опущенным занавесом на сцене выстроился объединенный хор. Это были дети, одетые опрятно, можно сказать, празднично, в белых рубашках — вернее, в светлых, но чистых, — с красными пионерскими галстуками.

Представьте себе, как дети поднимаются в три ряда, становясь ногами на стулья и столы, чтобы образовать хор, то самое возвышение, которое разделяет голоса и заполняет всю сцену.

Так вот мы видим, как это делается. Всю суету, шум, разговоры, команды дирижера, и слышим, как что-то наигрывает пианист, а перед первым рядом хора висит занавес, тяжелый, неподвижный, через щелку которого кто-то заглядывает в зрительный зал, откуда доносится сдержанный гул, тот самый гул, тот самый гул зала, который волнует артистов. Но вряд ли это относится к ребятам и девочкам, которые, следуя указаниям дирижера, занимают свои места: они спокойны, они о чем-то разговаривают, тихо смеются. Среди них — Игорь, Женька, его сестра.

Но вот все выстраиваются. Кто-то громким шепотом приказывает: «Занавес!», и занавес, подчиняясь этой команде, дергается и рывками расходится в разные стороны, разделившись точно по середине.

Открывается зал, совсем небольшой, но до отказа заполненный, до того, что люди сидят на подоконниках и стоят в проходах, зал, украшенный множеством лозунгов и портретов, доброжелательный, свой, готовый разразиться аплодисментами, не избалованный никакими зрелищными мероприятиями.

И действительно, как только открылся занавес и в свете двух направленных прожекторов люди увидели хор, выстроенный в три ряда, в светлых рубашках, и многие из сидящих в зале узнали своих детей, то ли в первом, то

ли во втором ряду, и тут же раздались аплодисменты такой силы, что дирижер долго раскланивался перед залом, — все это вместе было похоже на то, что хор уже спел все, что ему полагалось, и сейчас покинет сцену.

Но все только начиналось.

Вот дирижер, невысокий, худой человек в темном нескладном костюме, повернулся спиной к залу, поднял руки, посмотрел на пианиста — тот сидел наготове, — взмах руки, короткое музыкальное вступление — и хор запел песню о Родине, знаменитую песню «Широка страна моя родная».

И произошло что-то непонятное. Только что эти ребята не очень слаженно выстраивались, становились на стулья, переговаривались, смеялись, и вдруг — все вместе, объединенные общим стремлением спеть как можно лучше, самым простым и естественным стремлением, тем более что все это было на людях, на сцене, при свете прожекторов. Но дело было не в этом.

Происходило то чудо, которое называют настоящим искусством. Может быть, ребята пели и неважно, с точки зрения специалиста. Может быть, не все точно держали свой голос, но зато все знали слова, и этого было достаточно, чтобы песня звучала так по-настоящему, так верно, и столько в ней было нашего, советского, и в этих детских серьезных лицах, и в опрятности рубашек, и в галстуках, и в том, что эти ребята еще недавно были в оккупации или далеко отсюда, а вот теперь все вместе они стоят на сцене и поют песню, которую они не могли знать до войны, но которую знали их отцы, матери, а теперь и они знают ее и считают ее своей.

Это ясное утро полно событий: соседи убивали свинью. Событие чрезвычайное. Интерес к нему был велик. В то время в городке почти не было мужского населения: одни старики да инвалиды, да те, кто вырвался из госпиталей. Убивать свинью — занятие далеко не женское. И был приглашен мужчина.

Геннадий Шнапков

Он стоял в широко раскрытых дверях сарая, окруженный со всех сторон любопытствующей публикой, состав которой был обычный: дети да женщины. Волнение было написано на лицах. Взволнованное молчание простиралось над местом действия.

Мужчина был на деревянной культе, одноногий, но в остальном — очень здоровый, крепкий, бритый наголо и в белоснежной маечке, которая прекрасно подчеркивала все его бицепсы, общую загорелость и обнажала длинный боевой шрам на спине.

Не обращая внимания ни на кого, но чувствуя себя центром событий и вообще самым главным здесь человеком среди этого бабья и пацанов, он внимательно смотрел, как ходит по сараю большая свинья. Сарай внутри был весь солнечный: сквозь проемы в крыше эти широкие и узкие, направленные во все стороны лучи пятнами ложились на землю, и свинья, путешествуя по сараю, входила иногда в них, а потом выходила. Была она, надо сказать, на редкость красивая, чистая, большая, и ни о чем плохом, кажется, она и не подозревала в этот светлый день посередине лета.

— Зовут-то как? — спросил мужчина.

— Машкой, — сказала быстро стоявшая рядом женщина, лицо которой выражало особое волнение и побелело совсем — свинья принадлежала ей, она вскормила ее своим трудом, превратив мелкого визжащего поросенка в это солидное, цветущее животное.

— Машка, — повторил мужчина как бы для себя.

Потом он сказал, не оборачиваясь:

— Ну, ладно, Давайте отсюда все, — и стал закрывать двери сарая, оттесняя толпу любопытствующих назад.

— А мне-то хоть можно? — безнадежно спросила хозяйка. — Мне-то хоть...

— Нечего, нечего, — сказал мужчина. — Обойдемся. Нечего тут театр разводить.

И он закрыл за собой двери сарая, оставив перед ними толпу человек в десять, которая в полном молчании

покорно смотрела на серые доски и лишь малые ребята и девчонки посмелее бросились к щелям и дыркам в стене — Женька был среди них первый.

Вот вам эта картина — недолгая, впрочем. Но момент можно остановить: жара, ясное во всем освещение, тишина — где-то петух кричит, спиной к нам стоят эти люди перед сараем, одетые крайне плохо, кое-как все одетые, в сорок пятом году, после войны, и дети их худые, веселые, и какое-то белье, повисшее на веревке, через двор, рубашки с летящими в сторону рукавами, и — тишина.

Потом раздался короткий визг, потом раскрылась дверь, и мужчина вышел на свет, очень спокойный, но сознавая за собой определенный успех и хорошее исполнение взятых перед людьми обязательств.

Дальнейшее уже было как всегда. Общими усилиями свинью вынесли из сарая. Кто-то разводил костер, носили горячую воду, приготовленную заранее. Здесь же, во дворе, лежали специально загодя купленные снопы соломы. Всем руководил мужчина. Остальные радостно и покорно подчинялись ему: было какое-то ощущение праздника. Пучками горячей соломы водили по щетине, хозяйка поливала сверху теплой водой, а мужчина занимался главным и ответственным делом: большим ножом он очищал от нагара свиную кожу — она розовела, светлела.

Свинье связали ноги, просунули сквозь них жердь и понесли в дом.

К последующим действиям были допущены немногие: ребят, и Женьку в их числе, отправили прочь.

У детей военного времени свои игры.

Теперь, наверно, так не играют, наверняка так не играют, но тогда это было.

Женька, Игорь и еще несколько ребят сидели недалеко от железнодорожного полотна среди черных остовов сторевших вагонов. Игорь насвистывал: «Если я ушла из дома, не легко меня найти, у меня такой характер, ты со мною не шути...». Женька что-то писал на бумажках,

Геннадий Шпаликов

сворачивая их, клал в пилотку, которую держал перед ним мальчик лет семи.

Бросив в пилотку последнюю бумажку, Женька сказал:

— Ну, все. Кто начнет?

— Давай. — Парень в майке достал из пилотки бумажку, развернул. — Нет, не я.

— И не мне, — еще один развернул свою бумажку.

— Мимо, — сказал третий.

— Ты будешь? — Женька протянул пилотку Игорю.

— Нет, — Игорь сплюнул.

Женька посмотрел на него.

— Что, — он усмехнулся, — страшно?

— Дурак ты, — спокойно сказал Игорь.

Женька потянулся к пилотке, взял бумажку, развернул.

— Ну, сегодня мне, — сказал он.

— Ну давай, — сказал Игорь, встал и не глядя зашагал в сторону.

Поезд приближался из-за поворота. Ребята сидели в кустах, наблюдая за происходящим. Игорь остановился, смотрел издали на Женьку, который был теперь на железнодорожном полотне.

Женька махнул ребятам рукой: отойдите и спрячьтесь.

Поезд был уже виден.

Женька бросил на него короткий взгляд, глубоко вздохнул и лег между рельсами, ногами в сторону поезда, лицом вниз, закрыв ладонями затылок. Больше он ничего не видел — ни поезда, ни ребят. Только стук приближающихся колес.

Паровоз и весь состав должен был пройти над ним. Ничего страшного, не он первый, так уже делали почти все ребята. Главное, лежать спокойно, не двигаться. Спокойно.

Женька не видел ничего, не мог видеть и то, как Игорь, спокойно наблюдавший, как поезд приближается

к нему, вдруг рывком выскочил из-за кустов и побежал по тяжелому рыхлому песку наперерез поезду. Чтобы остановить поезд, он должен был преодолеть наискосок метров пятьдесят. Он бежал, стиснув зубы, молча, перепрыгивая какие-то обломки, споткнулся, встал, прихрамывая, побежал дальше и вдруг понял, что поезд ему не догнать, не успеть, и он сорвал с себя рубашку, замахал, крича: «Стойте!», «Остановитесь!». Но поезд, не останавливаясь, уже мчался мимо него, и, не понимая, зачем машет рубашкой этот паренек, принимая это за приветствие, ему отвечали взмахами рук, улыбками. Игорь бесильно бросил рубашку на песок.

Поезд уже громыхал над Женькой. Вагон за вагоном, весь длинный состав.

Когда он прошел, стало вдруг очень тихо.

Женька поднял голову, встал вначале на колени. Лицо у него было испачканное и бледное. Он увидел Игоря, тот приближался к нему. Женька слабо улыбнулся.

— Встань, — сказал Игорь, рубашку он держал в руке.

Женька встал. Игорь наотмашь, что было силы ударил его по лицу. Женька отпрянул, продолжая улыбаться. Игорь ударил его еще раз.

— Мало тебе, что отца убили, да? — заикаясь от волнения, спрашивал Игорь, приближаясь к Женьке. — Мало, да?

И он снова ударил его.

Женька заплакал и от злости, и от обиды.

— Трус! Трус! — Он ударил Игоря.

Но Игорь больше драться не стал. Он крепко взял Женьку за локти, близко посмотрел в лицо, усмехнулся. Они, Женька и Игорь, были ровесниками, но сейчас Игорь казался старше. Игорь легко оттолкнул Женьку от себя, тот сделал шаг назад и неловко сел на песок. Игорь надел рубашку, не оборачиваясь, молча прошел мимо ребят, поднялся под их взглядами на песчаную горку и скрылся.

Тетрадь Шмаликов

Женька подходил к дому в самых расстроенных чувствах. Была в нем непонятная злость: на Игоря, на себя, был испуг, еще не прошедший, а только-только появившийся в сознании, ибо раньше его не было, не успел он проявиться во всем размахе. А теперь Женьку трясло. Вечер был не такой уж и холодный — обыкновенный, ветер чуть дул, — конец июля — какие уж тут холода. А между тем — трясло.

Подходя к дому, он услышал пение из темноты. Еще и не подошел — издали доносились голоса — пели громко, все вместе:

«Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой.
За далекой за Нарвской заставой
Парень идет молодой.

Далека ты, путь-дорога...
Выйди, милая мая!
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай...»

Песня шла из темноты, а Женька приближался к ней, уже различая голоса — и голос матери в числе других.

Он увидел стол во дворе под деревьями. В такой час еще нет особой темноты, но уже и не так и светло — сумерки — лучший, может быть, летний час, прохлада, первая звезда, ветер в листве — и люди, сидящие за столом, поющие обнявшись:

«Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту...»

Женька остановился у дерева, к столу не подошел. Он смотрел на мать, отрешенную в тот час от печалей,

с помолодевшим лицом сидевшую среди других женщин за столом, где самым почетным гостем был тот парень, расправившийся утром со свиньей.

— Ну спой ту, ну — эту, — просила Зина мать Женьки. — Спой, я тебя прошу!

— Какую? — улыбалась Люся. — Я не знаю.

— Ну эту, — что-то напела Зина, обнимая Люсю.

«Чайка смело пролетела над седой волной, окунулась и вернулась...» — запела Люся. И все, кто помоложе, подхватили: — «Ну-ка, чайка, отвечай-ка — друг ты или нет, ты возьми-ка отнеси-ка милому привет...»

Эту песню пели в тот вечер, когда приехал Федор, отец Женьки. Пели ее за столом.

Может быть, в другом настроении Женька так бы и не поступил. Но сейчас он не мог спокойно среагировать на происходящее — хотя ничего возмутительного и не происходило, — но Женька вдруг обиделся на мать, на то, что она поет ту же песню и на нее смотрит этот здоровый мужик теперь уже не в маечке, а в гимнастерке, — обиделся он еще и потому, что его настроение шло вразрез с этим праздником — уж совсем несправедливая обида, но и такое бывает. Он повернулся и пошел прочь. Его заметили, стали ему кричать. А он не обернулся, ушел, прибавляя шаг.

Первый раз Женька проснулся не дома. Утро только начиналось, и проснулся он оттого, что замерз. Он сидел на станции, на краю платформы, прислонившись к ящику. Раньше это была большая станция, и вокзал здесь наверняка был — развалины об этом говорили, а сейчас на длинной платформе наспех сколотили барак — вот и все, и еще висел медный колокол — еще тот, довоенный, — непонятно, как он сохранился.

Станция уже действовала. По многочисленным путям сновали маневровые паровозы, слышались голоса. Тут же разгружали с платформ доски, трубы. Все, что сгружалось,

Гелладий Шнапков

оттаскивалось на лошадях в сторону, волоком или же на телегах. От недалекого леса шел туман, низко, по самой земле.

Люся, мать Женьки и Лены, Зина и другие женщины разгружали на станции эшелон дров. Собственно, работа была уже закончена. Аккуратные штабеля распиленных чурок были сложены у путей. За работу женщины получали дровами.

Люся и Зина, нагрузив свои две тачки дровами, отправились домой.

Рядом толкали свои тачки другие женщины. Все шло молча, усталые и занятые собственными мыслями.

У дома Люся остановилась, постучала в свое окно. Никто не ответил.

Она начала носить дрова в дом. Сбросив у печки первую партию, она вошла в комнату посмотреть ребят, но там никого не было.

Вышла на улицу, посмотрела по сторонам. Рядом у подъезда стояла нагруженная тачка дров.

— Господи... — сказала Люся, и лицо у нее было такое невеселое, что казалось, еще секунда — и она заплачет от всего этого.

Она подняла глаза и увидела, что через двор прямо к ней идет Лена. Идет и плачет.

Люся дождалась, пока она приблизится, потом присела, обняла дочь.

— Мамочка! — только и сказала Лена.

— Что это ты такая белая? — спросила Люся.

— А я зуб вырвала, — Лена открыла рот. — Видишь? Молочный.

— Ладно, — сказала Люся, — давай дрова носить.

— Давай. — Лена накладывала дрова на руки матери.

— А Женьки все нет. — Лена не смотрела на мать.

— Ничего, найдется, — сказала Люся.

Так они внесли в дом все дрова из тачки.

Поезда здесь шли довольно часто.

Из Польши, Германии, со всей Западной Европы возвращались на родину захваченные в плен и угнанные в неволю люди.

Пока еще мало возвращалось солдат, но и они уже были.

День был пасмурный, ветреный.

Женька случайно посмотрел влево: рядом с ним сидел Игорь.

— Здорово, — сказал Игорь, не глядя на Женьку.

— Здорово, — сказал Женька.

— Есть хочешь? — спросил Игорь.

— Давай.

Игорь протянул ему кусок хлеба.

— Что ты тут делаешь? — спросил Женька.

— Поезд из Польши должен быть. Может, наша Надька приедет. А может, кто про нее что знает.

— Сколько уже этих поездов было, — сказал Женька.

— Да я знаю... Это все мать...

Они помолчали. Поезд еще не подходил, но платформа уже заполнялась людьми. Зина, мать Игоря, была среди них.

Показался состав. Как всегда бывает, встречающие столпились в самом начале платформы, словно забыв, что поезд протянет вагоны до самого ее конца.

Женька и Игорь соскочили с решетки.

Состав целиком состоял из теплушек. Замелькали в раскрытых дверях лица, послышались крики: «Мама! Мама!», «Серезжа!», «Мама, я здесь», «Ой, доченька!», «Не прыгай, обожди!». Но кто-то не выдержал, на ходу спрыгивает на платформу, падает, встает и попадает в чьи-то руки.

Поезд остановился. Платформа сразу наполнилась людьми, стало шумно. Зина, Игорь и Женька пробивались в толпе среди поцелуев, объятий, среди таких же, как они, растерянно смотревших по сторонам в поисках родного лица, среди плачущих женщин и коротко

Теплый Шалков

стриженных, худых девочек, приехавших «оттуда», вернувшихся, уцелевших, живых.

«Надю Рудницкую не видели? — спрашивала Зина. — Надю, такая светленькая девочка, не видели?». — «Нет, — ответили ей, — нет». — «Надю? — спрашивали ее. — Она не из Зигена?» — «Не знаю, — повторяла мать. — Не знаю!». «Вы Надю не видели? — спрашивал Игорь. — Надю Рудницкую, светлая такая». — «Да нет, — отвечали ему. — Не знаем, не видели».

Никто не знал Надю Рудницкую, а она тем временем обула тяжелые ботинки, накинула на плечо мешок, встала в дверях вагона, чтобы сверху все видеть.

Она была тонкая, высокая, в черном берете и сумочной грубой куртке. Лицо у нее было худое, глаза на нем, как всегда бывает в таких случаях, казались особенно большими. Надя напряженно всматривалась в толпу.

— Мама! — вдруг закричала она. — Мамка!

И спрыгнула на платформу в толпу.

Так они встретились, и Надя обняла мать, и Игорь обнимал ее с другой стороны, а Женька сразу почувствовал себя лишним, протиснулся на край платформы, где народу было поменьше. Обернувшись, он еще раз посмотрел на то, как встречали приехавших «оттуда», живых, — из Освенцима, Майданека, Дахау и из менее знаменитых лагерей, где все было точно так же, только они были поменьше.

Высокий человек взял его за голову.

Он вышел из последней теплушки, в зеленой выцветшей гимнастерке с погонями лейтенанта, в солдатских галифе, с небольшим мешком. Он был коротко подстрижен, как будто волосы только что отросли. Пилотку он держал в руке. Лицо у него было темное, как после сильного ожога. Его никто не встречал.

— Привет! — сказал он. — Ты, случайно, не меня встречаешь?

— Нет, — резко ответил Женька и отошел на два шага.

— Жалко, — сказал человек. — Хочешь, угадаю, как тебя зовут?

— Мне это не нужно, — сказал Женька.

Человек присвистнул.

— Нет, забыл, — сказал он, — забыл. Ну, пошли, нам по дороге.

— Никуда я с вами не пойду, — сказал Женька.

И тут, расталкивая всех на своем пути, мимо промчался коренастый, небольшого роста человек с погонами капитана, без фуражки — ордена и медали подпрыгивали у него на груди. За ним через толпу бежали люди. Выражение лица у капитана было самое решительное. Совершенно белое было у него лицо.

Пробежал платформу, он соскочил с нее, упал на колени, вскочил тут же и устремился к последнему вагону — самая последняя теплушка в составе.

Дальнейшие действия капитана были такие: он сбил на дверях теплушки замок, отодвинул двери. Быстро он все делал, ловко. Вагон внутри был заполнен вещами очень странными: стояла большая деревянная кровать, часы, висел ковер и что-то еще, скрытое в темноте теплушки. Надо еще сказать, что на крыше теплушки была прикручена веревками небольшая светлая машина — открытая летняя машина, очень красивая.

Капитан действовал стремительно: он облил вещи из канистры бензином, поджег все, и все вспыхнуло тотчас ярким пламенем.

А люди уже подбегали: и те, кто преследовал, и просто любопытные в толпе, среди которой были и Женька и этот высокий приезжий лейтенант. Осведомленные люди говорили: «У него всех, оказывается, немцы переубивали», «Жену, двух дочек и мать», «Всех поубивали еще в сорок третьем, а он и не знал», «Вот и узнал человек».

А он стоял спиной к вагону, из которого уже пробивалось пламя, и невольно отходил от него чуть в сторону, пятясь от надвигающейся на него толпы. В руках у него был пистолет.

Геннадий Шнапков

— Коля, перестань! Брось, Колька! — умоляюще кричали ему. — Ну зачем ты, зачем! Колька!

Но капитан никого не подпускал к горевшему вагону. Он вез все это домой. Вез, зная, что ничего нет дома. Живым вез из Европы, которую прошел всю, а перед этим — четыре года войны. И все эти приобретения внезапно потеряли всякий смысл.

Капитану они были не так уж и нужны, а тех, для кого он все это привез сюда, не было уже на земле.

Лейтенант и какой-то человек в ватнике, не стовариваясь, бросились к вагону. Надо было отцепить его от состава — пламя грозило перекинуться на соседние теплушки, а капитан, отступая от надвигающейся на него толпы, ступил на груды угля, спиной начал подниматься на нее, не выпуская пистолета, и тут его схватили, обезоружили...

А вагон с белой машиной на крыше медленно уходил от состава: его успели оттолкнуть.

За ним бежали какие-то люди, кричали тем, кто был там, впереди, кто мог направить его в тупик.

Пламя уже охватило его, То исчезая за другими составами, то появляясь в просветах, медленно катился он по путям. Скользила над чужими крышами, над другими вагонами эта светлая, как бы игрушечная машина, пламя уже касалось ее, и, когда вагон открывался весь, попадая в освобожденные от теплушек пространства, он шел в белом огне, в потрескивании досок и еще чего-то, в дыму — поскольку это происходило днем, пламя почти обесцветилось на солнце.

Кто-то все-таки успел перевести стрелку, и вагон покатился в тупик.

Уже впереди не было ничего. Рельсы расходились в разные стороны, поблескивая. Вагон, догорая, катился по двум из них, а перед ним уже было только небо.

Они шли по улицам города, человек крепко держал Женьку за руку. Он с интересом смотрел по сторонам,

а Женька рассматривал его. Волосы у незнакомца были совершенно седые, короткие. Он на ходу помахивал сжатым кулаком. Человек перехватил его взгляд.

— Что смотришь?

— Ничего, — сказал Женька и отвернулся.

— Отец живой? — спросил человек.

— Нет. А вы его знали?

— Знал когда-то.

— Я не пойду домой, — Женька остановился.

— Давно сбежал?

Женька промолчал.

— Ладно, как-нибудь договоримся, — сказал человек.

Перед Женькиным подъездом человек спросил:

— Ключ у тебя есть?

— Вот, — Женька достал из кармана.

Человек молча достал из своего кармана точно такой же.

— Видал, — улыбнулся он. — Пошли.

Женька с удивлением смотрел, как человек открыл своим ключом дверь их квартиры, вошел в коридор, затем свернул направо, где до войны жили соседи.

— Так это вы и есть наш сосед? — спросил Женька.

Человек усмехнулся.

— Топор у вас найдется?

— Сейчас, — Женька принес из кухни топор.

Человек точными и сильными ударами отбил доски, закрывавшие дверь, потом выдернул гвозди, навалился плечом — дверь распахнулась.

Человек вошел в комнату и остановился на пороге. Это была почти пустая комната с одним окном. У стены стояла железная без матраца кровать, в углу — треснутое зеркало без оправы, а над ним на большом гвозде висела гитара.

— Ну что ж, — сказал человек, — все почти как раньше.

Он снял со стены гитару, осторожно приподнял ее, повернул. Гитара была покрыта ровным слоем пыли

Тетядагй Шнашков

и казалась серой. Человек на секунду подумал, написал пальцем на серой поверхности «Привет» и поставил большой восклицательный знак.

Женька следил за действиями человека, стоя на пороге комнаты.

По городу гнали стадо коров.

Они шли среди развалин и тех немногих уцелевших домов, откормленные, черно-белые, с могучими боками — настоящие немецкие коровы.

Игорь и его сестра пробирались среди них. Коровы ступали медленно, важно-значительно, не обращая на них никакого внимания, не глядя, чистые, большие, независимые, ничуть не похожие на пленных, хотя вряд ли корова может ощущать себя в плену. Но, во всяком случае, жизнь вокруг них была совсем иная, чем там, в Германии.

Из домов выходили люди, останавливались на улице, смотрели.

Коровы шли через город, поднимая пыль. А гнали их солдаты, разомлевшие от летнего солнца.

Игорь и Надя переходили улицу, затерявшись в длинном, нескончаемом потоке черно-белого стада. Коровы были на редкость одинаковые.

Наде что-то попало в глаза, она остановилась, достала платочек. Корова вежливо обошла ее, наклонив тяжелую голову. Игорь тоже остановился, пропуская мимо себя лоснящегося быка.

— Интересно, как с нами будут разговаривать, — он обернулся к Наде. — Они же ничего по-русски не понимают.

— Что? — переспросила Надя.

— Ты меня понимаешь? — громко обратился Игорь к корове.

Та равнодушно посмотрела на него и отвернулась.

— Ничего не понимает, — сказал Игорь.

— Поймут, — сказала Надя, — привыкнут, — она усмехнулась. — Мы тоже не сразу все понимали...

У дороги стояли две пожилые женщины.

— Хорошая скотина... — говорила первая, в темном платке.

— Хорошая-то хорошая, а чем ее кормить?

— Да, плохо ваше дело, мамаша, — вмешался в разговор проходивший мимо солдат, — они же по утрам кофий пьют, с булочками.

Игорь и Надя шли через солнечный, веселый лес. Внезапно Надя куда-то пропала.

— Эй, ты где? — позвал Игорь.

— Иди сюда, — позвал Надин голос.

Она сидела в траве и руками и губами срывала темные крупные ягоды черники, и тут же рядом была земляника, правда мелкая, лесная, бледно-красная, под влажными, просыхающими на солнце листьями.

— Ты чего? — Игорь сел рядом.

— Ничего, хорошо, — ответила Надя.

Лицо у нее было спокойное, задумчивое, а точнее — безмятежное. Ей действительно было хорошо оттого, что она занята таким простым делом: рвет губами чернику, сидит в траве.

— Петушок или курочка? — спрашивает она, выдернув травинку.

— Что? — не понимает Игорь. Он срывает горсть ягод, кладет их все вместе в рот и спрашивает: — Ну как там вообще было?

— Где — там?

— В Германии.

— А-а, — Надя лицом наклонилась к траве, — неинтересно об этом говорить... Ничего интересного. Пошли искупаемся, а?

Надя входит в освещенное солнцем лесное озеро, входит медленно, плывет по спокойной, ровной воде, но плывет стремительно, изо всех сил работает ногами и руками, выкладываясь полностью, как чемпион, который не стал еще чемпионом, но должен им стать.

Тетрадь Маликов

Ее хватает ненадолго, совсем, можно сказать, на несколько метров.

Потом она лежит на воде лицом, раскинув руки.

Улыбается.

Лицо у нее совершенно счастливое.

Низко над водой пролетают стрекозы. У них прозрачные, радужные на солнце крылья, они скользят по воде, вблизи раскрытых глаз Нади, и неожиданно кажутся огромными, и исчезают — только их маленькие тени проносятся по воде.

Игорь не купается, сидит на берегу, бросает в воду камешки, смотрит, как от них расходятся круги.

Потом они идут через лес.

Игорь первым, за ним — Надя. Надя идет, раздвигая листья руками, отводя ветки.

— Хороший лес, — говорит она.

— Мин тут много, — говорит Игорь.

— Чего же мы тут ходим?

— Я знаю, где ходить, — говорит Игорь.

Вслед за Игорем Надя выходит на небольшую поляну, перегороженную колючей проволокой. Ржавая колючая проволока в рост человека, и натянута между двух столбов, третий — сломан, и проволока там висит.

Игорь уже стоял по ту сторону проволоки, смотрел на Надю.

Надя подошла к проволоке, остановилась у столба, потрогала пальцем ржавые колючки.

Игорь подошел с той стороны проволоки и протянул ей руку.

— Привет, — сказал он. — Передачу мне принесла?

— Какую передачу? — спросила Надя.

— А что, разве не похоже? — Игорь двумя руками, но так, чтобы не ободрать ладони, взялся за проволоку. — Похоже?

Надя молча смотрела на него. Игорь смотрел на Надю. Они стояли разделенные проволокой, посреди прекрасного летнего дня.

— Можно и так, — Игорь приблизил к проволоке лицо, улыбнулся.

Глаза Нади внезапно наполнились ужасом, она отступила назад и закричала:

— Дурак ты! Дурак!

Она села на траву и заплакала, уткнувшись лицом в ладони.

Игорь стоял по ту сторону проволоки. Он не знал, что делать, ему было неловко, и он никак не думал, что все это может обернуться таким странным, как ему казалось, образом.

— Ну вот, — сказал он, — в первый день поругались, а мне завтра уезжать.

Он отошел в сторону, сел под дерево.

— Сегодня вторник? — спросил Игорь и сам ответил: — Вторник, а в субботу Сашка Севастьянов тут сам пошел, и ему полноги оторвало.

Он отвернулся и стал что-то чертить на коре.

Вечером, когда Люся подходила к дому, он колол дрова перед подъездом. Он был в одной рубашке, высокий, крепкий. И это было так похоже на тот весенний день, когда она увидела мужа, который вот так же ловко и легко рубил дрова, что Люся остановилась.

Потом она узнала соседа.

— Володя! — сказала она.

И он обнял ее.

Люся помогала ему внести дрова в дом. Владимир сбросил их на кухню, выпрямился и улыбнулся. Улыбка у него была очень хорошая.

— Ты из армии? Разве уже отпускают? — спросила Люся.

— Я из госпиталя, — сказал Владимир, — полгода отвалился.

— Что у тебя было с лицом? — спросила Люся.

— Неинтересно рассказывать.

Теплый Шпалков

— Да я сама вижу, — Люся смотрела на Владимира. — Главное, глаза целы.

— Как только танк загорелся, я их тут же закрыл, — сказал Владимир. — И, представляешь, совершенно случайно через полтора месяца открываю их и вижу: сидит напротив меня малый в кальсонах — тесемочки болтаются, и зеваает во весь рот. Очень скучно ему на меня смотреть...

Владимир посмотрел, как серьезно слушает его Люся, усмехнулся.

— Я тут твоего парня видал, — сказал он.

— Устала я от них страшно, — сказала Люся.

Владимир встал.

— Слушай, у тебя от Федора какие-нибудь шмотки остались? А то на мне все рассыпается, — он натянул локти старой гимнастерки.

Люся молчала.

— Я что-то не так сказал?

— Да нет, — Люся посмотрела на него. — Федора — не могу. Хочешь американский костюм из юпровской посылки?

— Давай американский.

Люся принесла костюм из американской посылки. Это был белоснежный дорогой костюм, предназначенный, вероятно, для прогулок по набережным Флориды или Калифорнии, но уже никак не для послевоенного белорусского городка.

Однако выбирать было не из чего. Владимир раскинул в руках белоснежные штанины.

— Сойдет.

— Его ведь и покрасить можно, — сказала Люся.

— Ничего, сам покрасится.

— К нему же ботинки есть! И рубашка с галстуком.

Владимир снял с печки два ведра воды и вошел в ванную.

Через некоторое время он вышел оттуда раскрасневшийся, чисто выбритый, в американском костюме, который

прекрасно на нем сидел, в темной рубашке (манжеты аккуратно торчали из-под рукавов пиджака), веселый, красивый.

— А я его продавать собиралась, — сказала Люся.

— Я считаю, я вовремя приехал.

Когда Женька и Лена вернулись домой, они увидели странную картину: мать и какой-то человек в ослепительно белом костюме сидели за столом друг против друга, стол был накрыт, и человек играл на гитаре и негромко пел «Отвори потихоньку калитку...», а мать слушала его, подперев голову ладонями.

Ребята нерешительно стояли в дверях. Женька был умыт, причесан, рубашка была зашита.

Заметив ребят, Владимир перестал петь и, продолжая играть на гитаре, сказал:

— Ну, что стоите? Давайте сюда, не стесняйся.

Ребята сели за стол. Здесь стояли банки с консервами, была даже стеклянная банка с компотом, был шоколад, конфеты и две бутылки с красивыми разноцветными наклейками.

— Начали, — скомандовал человек.

Лена смотрела на него.

— Что, не узнала? — спросил Владимир.

Лена покачала головой.

— Ты тоже с тех пор довольно выросла, — сказал Владимир.

— Дядя Володя тут до войны жил, — сказала Люся, — он наш сосед.

— До войны я мало что помню, — сказала Лена.

— Я-то тебя помню, — сказал Владимир, — вот такая была.

— Ничего удивительного, все такие были, — сказала Лена.

— А что делать, — улыбнулся Владимир.

— Бразилия, — прочел Женька на банке с компотом. — Вы что, в Бразилии были?

Тетядаий Шпаликов

— Если судить по компоту, я там был, а потом, — Владимир приподнял бутылку, — потом я переехал во Францию, а потом, странное дело, почему-то... — он вчитался в наклейку другой бутылки, — меня занесло в Румынию, и наконец, — Владимир сдернул свой белый пиджак, — я обосновался в Соединенных Штатах, откуда к вам и прибыл... — И он заиграл на гитаре какой-то доверенный фокстрот из американского фильма. — Понятно?

Женька и Лена улыбались.

— А ордена у вас есть? — спросил Женька.

— Орденов масса. — Владимир продолжал играть на гитаре.

— А почему вы их не носите? — спросила Лена.

— Все не умещаются, — объяснил Владимир. — А потом наденешь один — другой обидится, другой наденешь — третьего обидишь. Я уж решил никого не обижать.

Владимир наигрывал на гитаре.

— Ну, что у вас еще интересного?

— Все интересно, — сказала Лена.

— Может, споем что-нибудь? Какие тут у вас новые песни? А то я дальше «Расцветали яблони и груши» не пошел... Ну что, — он налил Люсе, — выпили?

— А что это такое? — спросила Люся, поднимая рюмку.

— Солдаты дали. Ну, так, — он обратился к ребятам, — какие есть песни?

— Тут одну по радио разучивали, — сказала Лена, — я слова записала. — Она поднялась. — Сейчас принесу.

Она принесла бумажку с переписанной песней, посмотрела на Владимира.

— Музыка, конечно, не запишешь...

— Ничего, разберемся.

— Ты будешь помогать? — Лена посмотрела на Женьку.

— Начинай... — сказал Женька.

Первый куплет Лена спела одна, очень старательно и хорошо, затем к ней присоединился Женька, заглядывая

в бумажку, потом Владимир, разобравшись в несложной мелодии, заиграл на гитаре.

А ребята пели:

«Не тревожь ты себя, не тревожь,
Обо мне ничего не загадывай,
И когда по деревне идешь,
На окошко мое не поглядывай.

Зря записок ко мне не пиши,
Фотографий своих не раздаривай:
Голубые глаза хороши,
Только мне полюбились карие.

Полюбились любовью такой,
Что вовек никогда не кончается...
Вот вернется он с фронта домой
И под вечер со мной повстречается».

Где-то в середине песни Люся встала и вышла из комнаты. Ребята кончили петь. Владимир молчал.

— Дашь потом списать? — спросил он у Лены, кивнув на бумажку.

— Возьмите, — Лена протянула ему песню. — Я уже и так выучила.

Владимир свернул бумажку и положил в верхний карман костюма. Потом он еще вышел и посмотрел на ребят.

— Все, — сказал он. — Отбой.

— Еще, — Лена смотрела на него умоляющими глазами.

— Успеем, — Владимир встал. — Соседи все-таки. А ну, быстро в постель.

Он закрыл дверь и вышел на кухню. Гитару он нес в руке. На кухне было темно. Люся стояла у окна. Владимир поставил гитару на подоконник и закурил.

— Дай и мне.

Гелладий Шпаликов

— Возьми, — Владимир протянул сигареты, потом щелкнул зажигалкой, осветив лицо Люси.

— Хорошая зажигалка, — сказала Люся.

— Ерунда. Кремни кончатся, и можно выбрасывать.

— Ну, когда еще кончатся.

— Хочешь, подарю? — спросил Владимир.

— Давай. — Люся взяла зажигалку, щелкнула, вспыхнул фитиль.

— Что ты думаешь делать? — спросила Люся.

— Не знаю, посмотрим.

— Хорошо все-таки, что у тебя никого нет.

— Чего хорошего, — усмехнулся Владимир.

— Да так легче. И терять некого...

— Некого... Я столько за эту войну потерял... и ребята были... — Он помолчал. — Идиотская все-таки вещь война...

— Как ты выжил после всего?

— Не знаю. А кто это знает?

Женька стоял в трусах у приоткрытой двери, слушал.

— Пошли еще выпьем, — предложил Владимир. — Там еще осталось, я сейчас принесу.

Женька рванулся было от двери.

— Я больше не буду.

— Ну, тогда я буду один.

Владимир вошел в комнату, прикрыв Женьку дверью, взял со стола бутылку. В темноте вернулся на кухню.

Люся сидела на подоконнике, обняв гитару. Окно было светлое, лунное.

— Ты в темноте такая молодая, — сказал Владимир.

— Может, стихи считаешь?

— Ни одного не помню.

— Ну, выпей.

— За тебя.

— Сыграй что-нибудь, — попросила Люся.

Владимир сел за стол.

— Что тебе сыграть?

— Что хочешь.

Владимир сыграл что-то спокойное, как медленный вальс.

— Ты была в оккупации? — спрашивал он.

— Нет, мы жили в Алма-Ате.

— Хороший город?

— Ничего. А что ты играешь?

— Не помню.

— Как же так, не помнишь?

— Да так, — он усмехнулся. — А я там думал, свистнули у меня гитару...

— Кому она нужна...

— Дрова все-таки...

Люся засмеялась. Владимир продолжал играть.

— Ты в снах разбираешься? — спросил он.

— А что?

— Мне вчера, в поезде, сон приснился: иду через поле по картошке, и вдруг у меня из-под ног выскакивает заяц. Большой, серый, и бегом к лесу.

— И все?

— Все. К чему бы это?

— Не знаю. — Люся тихо рассмеялась.

Владимир перестал играть.

— Ты чего? — спросила Люся. — Играй.

— Я пошел спать. — Владимир прыгнул со стола.

— Посидим еще.

— Иди спать, поздно.

Женька стоял у дверей и слушал.

— Ну, до завтра, — сказала Люся. — Одеяло тебе дать?

— У меня есть, — сказал Владимир. — Спокойной ночи.

— Спасибо, — шепотом сказала Люся.

И они тихо, не зажигая света, разошлись по разным комнатам.

А через некоторое время в пустой, лунный коридор вышел Женька, босой, в трусах. Остановился, зевнул.

Тетрадь Шмаликов

Невдалеке прогрохотал поезд. Женька подернул плечами, как бы согреваясь, развел в сторону руками, потом еще раз зевнул.

Кто-то осторожно постучал в окно.

Женька вздрогнул.

— Привет, это я, — Игорь чуть приоткрыл окно.

— Привет. Ты чего? — спросил Женька.

— Одевайся, — шепотом сказал Игорь.

Натягивая рубашку, Женька встал на подоконник, открыл окно и спрыгнул на землю. Затем он прикрыл окно.

— Ну? — он посмотрел на Игоря.

— Да вот, уезжаю, — сказал Игорь. — Проводишь?

— Куда ты едешь?

— В Минск, в ремесленное. Пошли, что ли?

Они пошли по пустой улице.

— Неохота, чтобы мать провожала, — говорит Игорь. — Слезы и все такое... И Надька тоже какая-то нервная стала.

— Один ты у нас не нервный, — сказал Женька.

— Я нормальный, — сказал Игорь.

— А к нам сосед вернулся, — сказал Женька. — На гитаре играет.

— Теперь и ты выучишься, — сказал Игорь. — Приезжаю я через пять лет, а ты в Летнем саду с гитарой выступаешь вместе со своим соседом.

— Почему через пять лет? — спросил Женька. — Ты разве на пять лет уезжаешь?

— Я не знаю, Женька. Но, наверное, не на меньше.

— Так.

— Вот так, — сказал Игорь, — и пошли быстрее, а то я на поезд не сяду.

Они молча шли пустыми улицами города. Город еще спал. Он был знаком им обоим каждым своим переулком, домом, стеной. И Женьку, и Игоря, который сегодня уезжал, внезапно охватило такое чувство родины, что никогда не знаешь точно, как об этом говорить, какими

словами, чтобы слова были не ниже, а равноценны этому чувству. Ни Женька, ни Игорь не сказали этих слов, они просто не умели говорить вслух об этом и шли молча. И еще было одно, о чем они тоже не могли сказать друг другу, стеснялись, что ли, — о том, что каждый из них много значит в жизни другого, о том, что они друзья, и вот сейчас они расстаются и надо что-то сказать особенное, важное.

— Билет у тебя есть? — спрашивает вдруг Женька.

— Так поеду.

— На крыше, что ли?.. Когда под мостами будешь проезжать, голову нагибай, — сказал Женька, — а то сшибет... Куда тебе написать? — вдруг спрашивает Женька.

— Не знаю. Я тебе сам напишу.

— Ты знаешь я, кроме отца, никому еще писем не писал и лично мне тоже не приходили... — говорит Женька.

— Ну вот теперь придет.

Они вышли на пустую платформу. Никого на ней не было, ни одного человека в этот ранний час.

Они прошли к краю платформы, сели рядом, свесив ноги. Низко над рельсами, над полем стоял туман, густой и неподвижный, розоватый от восходящего над лесом солнца.

Игорь молча расстегнул свой мешок и достал из него две картофельные лепешки, завернутые в газету, большой крепкий огурец, луковицу и какую-то склянку с горлышком, которое было аккуратно обвязано чистой тряпочкой. Достал он, кроме того, оловянную кружку с мятыми боками, но тоже чистую солдатской чистотой.

— Надо проститься... — неожиданно серьезно сказал Игорь, — чтобы все, как у людей... У тетки достал...

— Кружка, жалко, одна, — сказал Женька.

— Ничего, мы из одной.

— Ты первый, — сказал Женька, — давай.

Тетядаий Шпаликов

Впервые в жизни они пили вдвоем, если это можно назвать «пили». Скорее, они выполнили тот, как им казалось, взрослый мужской обряд, прощались, сами точно не представляя, на какое-то время.

Никогда в жизни у них этого больше не будет.

Ничего лучшего, чем это утро 45-го года, и потом они не раз вспомнят об этом.

А пока что Игорь поднял кружку, хотел что-то сказать, а потом качнул головой.

— Ну ладно. Будь здоров.

Выпил, стараясь не морщиться, отломил половину огурца, другую протянул Женьке, и тот почему-то медленно начал есть его.

— Ты выпей, а потом закусывай, — сказал Игорь.

— Сейчас, — он поднял кружку, — ну, привет.

Потом они молча съели огурец и по лепешке.

Туман, колеблемый утренним ветром, двигался уже к лесу.

И вот уже застучал совсем близко поезд, близко — вот он выскочил из тумана, и Игорь встал.

— Наш? — спросил Женька.

— Да, — Игорь завязывал мешок.

Поезд остановился. Он состоял почти целиком из теплушек, было и несколько пустых платформ. К одной из них подошли ребята. Остановились. Игорь забросил на платформу свой мешок.

— Ну вот, — сказал он.

— Сейчас поедет, — сказал Женька.

— Ага.

Они помолчали.

— Ну ладно, — сказал Игорь, — ты иди. Чего стоять.

— А мне все равно нечего делать, — Женька пожал плечами, — постою.

А поезд все не отходил, и ребята опять молчали.

И эта пауза была огромна, и полна всех самых лучших слов, которые они так и не сказали друг другу. Они

стояли рядом в эти минуты, два самых близких на земле человека и молчали, и поезд все никак не уходил.

А над городом уже звучит радио: шесть часов, играют гимн.

Улицы пусты. Окна по-летнему распахнуты. По радио передают последние известия, погоду, какая ожидается в стране в разных городах, как сыграли в футбол ЦДКА и «Локомотив», сколько хлопка предполагается собрать в Узбекистане и какие шахты уже ставят рекорды, а потом передали, что 6 августа 1945 года над японским городом Хиросима сбросили бомбу больших взрывных возможностей — сообщалось, скольким тоннам тротила эквивалентен этот взрыв.

Спокойствие — дело чисто внешнее. Мир не бывает спокойным, и в этот утренний час началось на земле что-то новое, что грозило смести все города, уничтожить все, для чего люди жили, любили, работали, вынесли такую большую войну.



Теннадий Мналиков

**А ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНА,
КАК ВСЕГДА...**

главы незавершенного романа

Главы незавершенного романа*

... Знаете, я поклялся никому и никогда не давать никаких советов, но вам — ради — вот чего ради — я тоже не знаю, ну, скажем, из благодеяния — могу я заниматься в ваших глазах благодеянием в три часа ночи? — вполне, сказала она — ваша прямая обязанность заниматься по ночам благодеянием, просветительством — вернее — просвещением душ заблудших, хотя — с точки зрения материализма — а что такое материализм? — да откуда я знаю, говорю я, и знаете что, мне такой способ беседы, хотя я и уважаю вашу растерянность или — или — уж вы меня простите, но. Что — но? — спросила она — вот что но? — ох, говорю я, вы же сами все чудесно понимаете. Да, сказала она, я сама чудесно понимаю, что я ничего не понимаю, но — считать это позицией, если это, допустим, условно, можно назвать позицией — не хочу, не умею, не смогу, не примирюсь. Вы снисходительно на меня смотрите, снисходительно, вниз сошли. Снизошли для того, чтобы, да, нет, говорю я, вовсе нет, вы же меня знаете, я никуда не снисходил, а посоветовать вам ничего серьезного я не могу, если вы хотите получить какой-нибудь совет. Да, говорит она, нелепо все это. Вторглась, а вы уж спать ложились. Да, нет, говорю я, ради бога, если вам вздумается ко мне прийти, я — собственно, не против, когда вам заблагорассудится? —

* Работа над романом так и не была закончена. Роман печатается по рукописи. Нумерация глав перепутана автором умышленно. Цитаты зачастую перевраны — тоже не случайно.

Роман печатается с сохранением авторской орфографии, пунктуации, со всеми мнимыми ошибками.

спросила она. Ох, да не надо со мной так говорить. У вас, должно быть, есть приятели (неприятели — прервала она) ну, условимся называть их так, как вы считаете нужным, так вот — вы с ними так говорите, а я — уж вы меня простите, разучен. Нет-нет, сказала она, нет-нет. Родство душ. Мы одинаково говорим — вы не замечаете? — вам-то хорошо? — Вы знаете, говорю я, я не привык и нужным не считаю делиться с тем — или — тем — хорошо мне или плохо, а что такое хорошо, а что такое — плохо? Что вы от меня хотите, спрашиваю я, что? Ничего, говорит она, абсолютно ничего. Просто мне показалось, что взаимопомощь существует, вот. Как вам это ни покажется странным, хотя я говорю с вами на языке елизаветинских времен — времен — это уж я поправил — профессионально — а она добавила — александр, елисавета — удивляете вы нас — вот. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный и в этой глупости ужасной — вам на коленях — признаюсь. И на колени встала. Но — не вас люблю, не вас — какой ужас, что не вас. Представляете — так получилось, знаете, говорю я, вы меня пощадите. — Нет, говорит она, уж позвольте мне быть беспощадной.

... я встретил вас — и все бывшее в
отжившем сердце оживило, я вспомнил время,
время золотое, и сердцу стало так светло.

Тютчев.

...как сердцу высказать себя?
поймет ли кто другой тебя и ты — другого
ли поймешь? — мысль изреченная есть ложь.

Тютчев.

...неправда.

(автор — в споре с Тютчевым, а мы с ним еще увидимся, читатель).

...правда.

...ох.

...правда — ничего из этого не получается;

Теннадий Шнапков

...кого ж любить, кому нам верить, кто не изменит нам один? кто? — все привязанности мерит — единственно — на свой аршин?

... любите самого себя, достопочтенный мой читатель.

Пушкин.

... неправда.

... кого ж любить?

... не верю, верить не хочу.

... разуверять.

... как сложится, как говорила моя мама, как сложится, а уж не сложится — не складывай.

... раскладушка.

... кто чего боится, то с тем и случится.

Ахматова.

.. жизни мышья суетня — что тревожишь ты меня?

Пушкин.

... тревожит.

... зря.

... жизни мышья суетня.

В общем, это был ее, моей красавицы, отец. Нет у меня к нему никаких претензий — ни гражданских, ни общественных, ни антиобщественных — словом — никаких — молодец, что пришел, нашел. Тем более — теперь гравюра Готье смотрела, как из старинной рамы — черно-белая на фоне окошка, голубевшего все более и более. Вот что, сказала моя красавица, свежая, как заря, — тут уж разглядел — на зарядку, на зарядку — на зарядку — становись — сделайте глубокий вдох, потом выдох, потом присядьте, подпрыгните, свалитесь навзничь, встаньте на голову, задержите дыхание на двадцать пять лет, самосозерцайте себя — в таком положении — стоя на голове и затаив дыхание, — вставайте, короче говоря, вставайте и пошли. Вот папа приехал. Она поклонилась папе. Он весь вечер, вернее — всю ночь ко мне прорывался сквозь невероятные сложности — скачки с препятствиями, барьерный бег, слалом и — забыла — как —

прыжки с парашютом без парашюта, когда один передает другому единственный парашют — все меркнет, все ничто, все чистой воды мелкие подвиги, — даже восхождение на Эверест — забыла индийское название этой горы — все меркнет и осыпается перед фактом появления папы в столь ранний час и вообще — папа — я бы тебя каким-нибудь орденом наградила — она обняла отца — плевать, что к вечеру не успел, хотя я и ждала, плевать — ура! — Я тебя люблю, хотя — как перед богом клянусь — не испытываю к тебе никаких — абсолютно — родственных чувств, что, возможно, огорчает тебя, но— но— как говорит мой друг писатель — но— я глубоко уважаю тебя и твою спутницу. Она поклонилась. Кстати, обратилась она к спутнице — я ведь вам золушка? — здравствуйте, матушка! — Снова поклонилась — мешки с горохом уж не помню отчего там разбирать — перебирать? — От бобов, — сказала гравюра. Горох от бобов. Ровно два мешка. И, честно говоря, я бы всех заставила этим заниматься, да лень. И еще вот что: мы видимся впервые. Вы меня не знаете. Я с вами ближе, чем сейчас, знакомиться не имею ни малейшего интереса, хотя с утра говорить серьезно — занятие бессмысленное, но вы уже меня коротко выслушайте: я поздравляю вас с днем вашего рождения — на самом деле поздравляю — а вот с остальным, к сожалению, поздравить не могу. Остальное — в пределах моих поздравлений и возможностей. Удочерите меня! — сказала моя красавица — вот выход! — я буду такая примерная, такая добропорядочная и послушная, такая благовоспитанная, благопристойная — словом, — все, что начинается со слова — благо — будет во мне, а вы — а вы будете мною гордиться, нянчить моих дочерей, сыновей, да — вначале вам еще предстоит меня выдать замуж — тут уж не прогадайте, тут уж — тут уж вам придется подумать, поразмыслить, поприглядеться, с кем я, зачем, к чему, кто да что, из какой семьи, какое общественное положение, не пьет ли, сколько лет — ох — я вам не завидую и посему жалею вас, от удочерения

Теннадий Шпалков

решительно отказываюсь — а — потом — еще эти бобы от гороха отделять, туфельки примерять, терять — там еще кто-то в тыкву из кареты превращается, сапоги по воздуху летают — нет уж, нет. Я не договорила, сказала гравюра Теофиля Готье — а вы меня прервали. (Отец стоял молча — вот уж кому худо было! — вот уж кому, а может, вовсе и нет, но разговор-то нелепый). И прервав окончательно, сказала моя красавица: У меня шампанское на столе, мне восемнадцать лет вчера стукнуло — ударило — по голове, а мы тут выясняем какой-то патриархат или матриархат — все — отец — объясни ей, что я ее не знаю, знать не хочу, но люблю и понимаю, раз ты любишь и понимаешь ее, потому что при всем моем равнодушии к тебе — вот тоже слово неверно — при всем — безразличии что ли к твоим намерениям и устремлениям — я тебя люблю и понимаю, понимаю и люблю — пошли. А вы — вставайте, вставайте — это ко мне, мирно сидящему на своей раскладушке — пошли отсюда в теплый дом — немедля, бегом. Вы извините, сказала она спутнице золотоискателя, у нас может быть не прибрано несколько — в моем доме, но уж так вышло — не по моей вине, не по моей. Ну ладно, думал я, ладно — потерпим. Все снесем. И бодро — дорогие товарищи, мне крайне неловко, но я без штанов, не одет, не умыт, не прибран для столь торжественного случая, а комната у меня — одна — вы понимаете? Мне крайне неловко, но, нарушая все законы гостеприимства, подождите меня внизу, — я — быстро — минута, ровно минута, ну, от силы — две. И я еще должен предупредить дорогу — виновницу торжества? — спросила она — вот именно, что? — спросила она — да, нет, сказал я, — я передумала, не будет никаких предупреждений. Я быстро, — вы уж извините.

Она сидела — в электричке — и, засыпая, просыпалась.

Гл. 14

Марина Цветаева — в слезах — вот уж чего не ожидал, что в слезах — вот уж — но, читатель, — поверь, что так, поверь, а Марина Цветаева — пока мы бежали до ее дома — домика, сарая, скорее, чем дома — но — жить можно, — вот пока мы добежали, а она плакала, плакала, — на бегу плакать сложно, — хотя — плакать — очевидно — все равно, где, когда и как, впрочем, и — впрочем — так вот, читатель, Марина Цветаева, отплакавшись на бегу и несколько успокоившись — мнимо — все мнимо — читатель, была она — ох — тут уж просто бабой была, у которой есть сын, дочь, да неохота им заплаканной в дверь входить — да и я — кто я: — кто я: — помощь: — нет, конечно, взаимопомощь — вряд ли — кто кому может помочь: — стоишь как пень березовый, сказала она на бегу — да я бегу, а не стою — бегу — любовь опасная болезнь — сообщила мне Цветаева — далее — аплодисменты, — я: будешь маяться, будете — извиняясь — будете — да я и сам знаю, Марина, — вам то удобно со мною разговаривать: — нет — сказала она — на бегу — читатель — на бегу нет. Тогда молча добежим, а может, дойдем? — я не вижу, что вам-то бежать? — Есть такие ребята — не страшна им гроза — а вот, а вот, голубые глаза! — вот самое страшное и прекрасное. Да мне ничего не страшно — лишь бы не померли — на бегу — а я — я уж своим способом помру, а что мне Марина Цветаева сказала

Гл. 11

Дальше опять ехала электричка, и в ней, в электричке спала женщина.

Засыпала, просыпаясь.

Тетядагъ Шналикъ

Гл. 12

Бегом, бегом — бежали.

Далее — все изменилось.

Было лето.

Ну, самое его начало.

Все цвело.

Дорога — песок, трава, лето, ромашки — уж не знаю что — голубело все, синевело, а дорога — а дорога, как всегда бывает, — далека, далека, далека, — что вы жадно глядите на дорогу? — спрашиваю я Марину, — в стороне от далеких подруг? — спрашивает она — да, — в стороне от далеких подруг.

Дорога.

Лето.

Марина мне говорит, — вот так уж прямо — как вы себя чувствуете? — плохо, я ей говорю, плохо, — хотя, кроме вас, никому об этом не сказал — на что Марина — не усмехнулась, не улыбнулась, а заплакала — а дорога, читатель, была далека, далека. Очень далека — 114 километров.

Дальше мы шли, помалкивая.

Лето вокруг было лето.

Лето,

лето — через запятую — лето.

Тут Марина заплакала.

Плачей я насмотрелся, посоветовать не мог, а шла Марина, которая полы где-то мыла — где-то, не являясь членом Союза Советских писателей — полы мыла — ну, уборщица — Марина Цветаева. Плакала.

Дорога бесконечно длинная. 114 километров — и то приблизительно, а то и больше.

Шли.

Ох.

...плащ сняли? Присядьте, будьте, как дома. Ничего пусть вас не стесняет. Стол накрыт. Пойдемте, пройдемте.

Могли бы и белую рубашку надеть. Как, кстати? — одеть или надеть? Не одели, не надели. Без галстука, вот какая беда. Стол был накрыт. Белейшая, белоснежная — слов нет иных! — скатерть, а на ней — еда. Все, что осенью продается, произрастает, вызревает, опадает или же еле-еле висит, чтобы тяжким плодом опасть — все было. И вино стояло — знаете, в этих плетеных болгарских разноцветных бутылках. Водка — самая лучшая. Так, очевидно, ей хотелось, казалось — что все вообще самогон, кроме петровской водки. Пьеса все это, спектакль. Я — единственный зритель, а может быть? — актер. Сыграем? Сели. Итак, итак. Вот так. Надо сразу выпить. Пью за здоровье Мери, милой Мери моей, тихо запер я двери, и — один — без гостей. Пьянство в одиночку. Вот и тост. Спасибо, говорит она, спасибо. Вы знаете, я ведь... — Что? — Я ведь все это люблю. Вы меня за монологи извините. Вы меня простите — за монологи? Я же вынуждена говорить, если вы помалкиваете? Я вам не нравлюсь? Это несправедливо. Более того — это взаимонесвязано, то есть в этом есть связь, но... Вы бы выпили что ли, — я же вас в гости позвала. Вы и тост сказали, напутав текст. И зовут меня не Мери. Нет, вовсе нет. И вы прекрасно это знаете. Но мне про Мери нравится. Тихо запер я двери. Вы знаете, я очень рада. Вы даже себе не представляете, как я рада. Выпейте — прошу вас, прошу. Вот вам салат. Вот рюмка. Вот огурец — очень свежий, вот укроп. Вот картошка. Вот рыба. Вот — может быть, под музыку? Я заведу. Подо что вам пьется? Вот бах — бах! Вот эта самая Эдит Пиаф! — в пересказе Кончаловской. Эта бедная девочка так любила его, а он, мерзавец, уехал на велосипеде в Гренобль, где, кстати, будут олимпийские игры, но... ох, думал я, ох — напьюсь, — разговоры, разговоры. Ей бы — в постель, милая, в постель, все успокоится, никаких Греноблей. Неужели у вас товарищей нет? — я спросил. Я — какой я вам товарищ — и не сверстник даже, никто. Сосед — тоже мнимо. — Вы знаете что, вы не разговаривайте. Вы

Геннадий Шпаликов

лучше выпейте. — Я это успею, говорю я, успею. Поспевайте, а то у нас разное состояние. Вам необходимо меня догнать, а то я убегу так уж, что и не догнать. Наперегонки. Догонять ее было непросто. Вернее, просто, но — лень. Все это я уже услышал, предполагал — не из прозорливости или опыта — вовсе нет — ну да ладно. Тем более — дождик на дворе. Разговоры

Гл. 9

...звоню. А ты что делаешь? Что делаю? — люблю.
Мартынов Леонид.

...Тула ковала для революции сталь.

...но, чтобы приблизить это будущее, не надо самим сидеть сложа руки...

...Собираем металлолом для строительства обелиска...

(Все по радио).

...Вы слушали...

...Опять — китайцы...

...Московское время — десять часов тридцать минут.

...Далее — клуб знаменитых капитанов, — как-то раз под новый год... в шорохе машинок, в шелесте страниц...

...Нет на свете далее, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей...

...А потом бросали бутылку в море...
неведомый моряк.

...

...почтовый голубь моряков — бутылка с сургучом.

...Далеко не все они были капитаны...

...Но — вот Робинзон Крузо, плохой был капитан...

(Все из радио).

...Люблю, друзья, чесночный суп...

*(Из оперетты — слова, приписанные
Тартарену из Тараскона).*

...ох.

(Сказала вчера одна девушка).

...День прошел — и слава богу.

(Человек — со стороны).

...С утра — побрившись и — галстук новый к рубашке синей (белой, может быть, надел) в четыре ровно, в четыре ровно. — я (он) прилетел.

...тихий ангел.

— биб — биб.

...ты из кино?

...я у аптеки.

...так я ж в кино встречала

...вас

...и в том же веке, и в том же веке.

...в тот же час.

...день прошел — и — слава богу.

— бога нет.

Марина Цветаева.

...нет уж — так уж получилось.

...хотя.

...я у кино — вы — аптеки...

...на вы — парайльго.

— только на вы.

...спутали место встреч.

...перепутали.

...она — в кино, он — у аптеки.

...недоразумение.

...но.

Гл. 29

У кино — и аптеки — встретились.

Аптека и кино были по соседству — тоже через улицу.

— Я ждала.

— А я?

— Ты не сердилась?

Гелладий Шпалников

- Не сердилась. Я ждала. Ждала.
- Не успел.
- Да уж вижу. В кино пойдём?

...и вообще, и вообще и вообще, ходит девочка в белом плаще, и вообще я тут ни при чем. Пусть себе ходит, ходят, а впрочем — вообще дело не мое. У них какая-то своя жизнь, мне издали малопонятная, не говоря что уж и вблизи. У всех обеспеченных людей малопонятная, не говоря что уж о вблизи. У всех обеспеченных людей своя жизнь. Я к ней никакого отношения не имею. Все. Вот моя комната, вот мой дом родной — спят соседи за стеной — слава богу — а теперь, запершись, разоблачимся, свет зажжем — сперва зажжем, а после разоблачимся — но последовательность действий тут уж и не так важна. Или же нет? Все необходимо делать последовательно: ключ, свет, вешалка, — стоп — еще — ноги-то нужно вытирать! — вот беда, а если один живешь? В общем, стоп. Спать. Я — последовательно — читатель, ты уж прости за последовательность — быстро вымылся и лег с каким-то чтением, чтобы скорее и еще раз — скорее — уснуть — снотворного у меня — кроме водки — нет, но и водки не было и вообще пить не хотелось ничего, кроме чая, а он у меня в термосе был, дорогой мой, но было мне нехорошо от всего, да и от себя нехорошо — как-то, что свойственно любому русскому человеку — я расстроился, засыпая, что вот уж жизнь такая, что вот некого на ночь обнять, к плечу прислониться — вот какая жизнь. Позвонить что ли кому? Но звонить-то некому. Велика Россия, а позвонить — некому. Да у меня и телефона нет — надо на улицу выходить. Спать. И тут — звонок в дверь. Ох, подумал я — пронесет — не ко мне, вдруг такое счастье? — но — но — и еще раз — но — явилась.

Здравствуйтесь, вот и я. С добрым утром. — Я к вам вроде зари, хотя на улице темно. Я к вам пришла — вы бы хоть сесть предложили — пришла, потому что все

ушли, а деваться некуда. Вы уж меня простите. Я бескорыстно пришла, без намерений — черных, как их общепринято считать, хотя они самые светлые. Вот. Никаких намерений. Я вас люблю любовью брата, а может быть, еще сильнее. Хотя, я — в отношении к вам — сестра, но — любовью брата. Что делать? Посоветуйте — я в ужасе. Отчего? — я спросил. Да сама не знаю, отчего. Выходите замуж, я посоветовал. Так, сказала она, так. Так я и знала. Смешно вы живете. И холодно у вас. Ох, сказал я — ну что вам предложить? Вот чай есть. В три часа ночи чай пьют сумасшедшие — так она сказала, как афоризм, с которым невозможно не согласиться, если человек не в себе. Но не в три часа ночи? — так я ее спросил — уж полчетвертого, сказала она, полчетвертого. Знаете, — говорю я, — светлеет, с богом, по домам. Позвякивают колокольца? — спросила она. Вот что, я ей говорю, вот что мы сделаем. Я понимаю, что вам худо, но вы — не отчаивайтесь. Лучше всего лечь спать. С кем? — спросила она. — Вы что, со мною пришли спать? — Да, сказала она. Во всяком случае. — вместе, а то одной уж очень плохо. И спать пора — и никак не уснуть — пропела она — и заплакала, что, конечно, неспасимо никак, неспасаемо. Все-таки вы меня выслушайте, говорю я, послушайте меня внимательно. Я вам сейчас тут все постелю. У меня еще есть раскладушка, так что устроимся. Сколько вы выпили? Не помню, сказала она, бог память отшиб. Вы хоть дома-то дверь закрыли? — спросил я — а от кого? — так спросила она — да и воровать нечего, а чего есть — не жалко. Тем более — я убеждена — с воровством — поскольку воровать нечего — покончено в целом, в частности и навсегда. И вообще — отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, хотя странно, что прах — у ног, хотя он должен сыпаться на голову — а? — на голову — но — к ногам — а откуда он, кстати, сыплется, прах? — загадочная история. Тут она опять заплакала и упала лицом вниз на мою кровать. Я вышел на улицу — благо, что идти-то рядом, а то бы, а то бы — страшно

Тетядаий Шнашков

даже подумать, какие трудности надо преодолеть человеку, чтобы добраться, допустим, от Химок до Черемушек, если у него нет денег на такси и все виды транспорта еще не работают! — но — к счастью, мы жили недалеко. У нее, естественно, горел свет. Дверь была широко и гостеприимно распахнута. Нет, все же, подумал я, все же нет. Есть что украсть, что вывезти, есть. В холодильнике было молоко, кефир, — чего, собственно, я искал на утро, которое неотвратно близилось и еще — еще было то, что должно было уложить мою собеседницу в кровать — так, чтоб уж не вставала милая, ибо иных способов я не знаю, придумать не могу — под руками тоже нет — была там бутылка этого странного полуконьяка, выпускаемого не то Венгрией, не то Югославией, такая большая довольно бутылка, холодная, нераспечатанная, даже завернутая — обвернутая, скажем, обволакиваемая нежнейшей белой бумажкой. В простых вещах, вроде совести, добра — и — прочее и прочее и еще раз прочее — говорят так — уж не скажу, что сложно, что длинно — скажу. А она сидела в соседней комнате и редела. Слово — неподходящее, но — что делать! — редела. То есть слезы лились. Истерики, слава богу, не было. Просто невидимые миру слезы лились. Чтобы их невидимость сохранилась, я дверь прикрыл, сел за стол, украшенный устрашающим количеством еды и выпивки, налил сам себе, поставил пластинку, послушал что-то, о чем-то, что-то такое, от чего запить хочется, хотя пели по-английски — вдвоем. Такая-то у них была взаимная обида друг на друга — чисто английская. Я это понял даже при минимальном знании языка, но поскольку все песни про одно и то же, то там, в этой английской песне, он куда-то уезжал — вследствие недоразумения, очевидно, но уезжать ему явно не хотелось, а они сидели в какой-то теплой комнате — с камином — и все дело было в камине, который им достался по наследству, и у этого камина их бабушки, прабабушки и прадедушки занимались тем, чем выпало заниматься им, то — есть выясняли

отношения, а это все выслушивали дрова, или уголь — чем они там топят, — еще выслушивали собаки, стены, геральдические деревья с родственниками на ветвях, а они — опять-таки по недоразумению — расставались. Причем, дуэтом. Я сразу выпил петровской водки, сочувствуя этим англичанам, которые — опять-таки по недоразумению — разбегаются от своих каминов, но — подумал я — если у песни конец не грустный, то к чему она? — Все правильно. Бегом, бегом — от всего. А дождик за окном перерастал в ливень. Я зажег весь свет — все возможные осветительные приборы — даже кварцевая лампа в этом доме была — вот вам жизнь, как в метро. И тут явилась Виолетта. Я сам ей дверь открыл, догадавшись, что это она — когда открыл, правда, ибо я ждал чемпиона мира, но Виолетта впорхнула, ничуть не удивившись мне, сбросила плащ, ни слова не сказала — что очень украсило ее — и решительным шагом направилась туда, куда ей не следовало бы идти — туда, где лились невидимые миру слезы. Но — поскольку она, Виолетта, была гениальной женщиной — о чем позже я попытаюсь рассказать, — то ее движение души не обмануло. Я их оставил вдвоем. Мне бы вообще следовало уйти отсюда. У меня были — были, к сожалению, а теперь их уже не будет — свои дела, да и к чему я здесь? Что за имя Виолетта — оперетта! — оперетта.

Сейчас явится чемпион мира. Да мало ли кто еще! — Я бы вышел, но дождь! — хлестал, а я без плаща, в пиджаке, идти недалеко, но промокнешь, простынешь, опечалишься, а тут Виолетта-оперетта, невидимые (уже видимые) миру слезы, чемпион мира, стол накрыт, а дома у меня запустение, мрак, неоконченные работы, долги, звонки, неприбранность, что другим нравится во мне, а мне уже давным-давно не нравится, а тут светло, чисто — в гостях! — я давно не был ни в каких гостях. А хорошо ходить, должно быть в гости! Вообразим себе. А невидимые миру слезы лились меж тем. Плакали уж в два голоса. Такие стенки в этих домах — все слышно, просто все,

Тринадцатый Младший

все подробности и всхлипы. Ох, подумал я. Ох, а вдруг чемпион мира тоже заплачет? Прямо три сестры. Две сестры и один брат. А я в этой пьесе вроде полового — двери открывать, пить с хозяйского стола, пока они заняты чем-то, нам, половым, недоступным, ладно, ладно. Эти англичане уже допели, перевернем. Теперь уже другие жалуются, на другом языке. Чего-то им тоже нескладно. А те, за стеной — режут. Дождь идет, они режут, пластиночка вертится, стол накрыт, свечи горят — зажег — и тут явился чемпион мира. Он приехал на своей машине — сухой совершенно — я помог ему внести ящик шампанского. Ровно шестнадцать бутылок — он бы и сам донес, но мы как-то сразу поняли, что тут сейчас что-то неладно, в доме, он это сразу понял, как только вошел, и мы решили действовать сообща, даже в мелочах, вроде внесения этого пресловутого ящика, которого он стеснялся ужасно, и — кстати — совершенно зря. Я ему это сказал, какой он молодец, но он, будучи уж настоящим молодцом, только улыбнулся, но как-то не так, как улыбаются, а так, как извиняются. Кроме того, он не знал, кто я здесь. Он понял, что я уже выпил до него, и основательно, но он интуитивно — так мне показалось, во всяком случае, понял и другое — что я его друг и помощник, если что случится. В общем, мы сразу поняли друг друга. Сразу. Как только этот ящик внесли. Он даже в комнату ту не стал заходить, а сразу зашел туда, где стол, и сразу, без тостов, как-то по-деловому выпил стакан водки, хватанул рукой капусту, крикнул — очень вкусно у него это получилось — и спросил: надралась уже? Я развел руками, понимая, что это не тот жест, но что я знал? Вот дура, сказал он. И еще выпил. Какой-то у него был вид по-хорошему озабоченный. И дура он сказал всерьез, а не походя. А ты кто такой? — так он спросил. Ты чего здесь? А ты чего здесь? Я его спросил. Он был младше меня, чемпион мира. Но по всему — по малейшему — по всему было видно, какой он хороший парень и как ему охота мне сейчас каким-нибудь простым,

но действенным способом врезать в скулу или еще куда-нибудь, ибо он справедливо считал, что я ее напоил для каких-то гнусных целей, пока он мчался сюда со своим ящиком шампанского. Знаешь что, я ему сказал, я тебе помочь не могу. Самое умное, если мы их выгоним под дождик — дело летнее — не помрут. Но — ты бы сам к ней зашел, а я смываюсь немедленно. Я в этот футбол не играю. Хоть ты и чемпион мира, но никто не виноват, что остальные люди — не чемпионы. Я тебе желаю добра и, если тебе хочется, можешь отправить меня в нокаут, я с удовольствием посплю здесь в коридоре, распластанным. Только чтобы сразу, с одного удара и чтобы челюсть потом не вправлять. Ох, — сказал он совсем как я. Да я понимаю, сказал он, понимаю, все я понимаю. Ты знаешь, какая она идиотка. Дура. Может быть, — вот что. Давай смоемся. Пусть они тут поплачут. Да нет, сказал я, куда уж смываться? Сейчас ее папа придет. А слезки — оттекут. Это все так-сяк — враскосяк. Мы еще с ним выпили. Он такой был расстроенный, что я даже подумал, что при его серьезности и целеустремленности он так сейчас напьется, что уж меня на борьбу с ним не хватит, если вдруг ему придет в голову шальная мысль, что я — единственный его противник и враг, и причина — первопричина — всему. Но тут вошла Виолетта. Вовсе не заплаканная. Я из солидарности, так она сказала — реветь из солидарности — все-таки поступок. Это я ей сказал. А чемпион мира еще выпил. Виолетта и на самом деле была прекрасна. Хмурость чемпиона мира ее ничуть не расстроила, напротив — позабавило ее то, что мы тут вдвоем сидим, а он еще и пьет неизвестно отчего: горя нет, счастья нет, ближайшиe опасности не предвидятся. Что ж еще? Вот с Виолеттой мы сразу же нашли тот способ общения, который не подразумевал никакого общения, а лишь то, что она была прелесть, умница, и то, что ревела — из солидарности, — и прочее. Чемпион мира приуныл. Но Виолетта — вот уж человек, вот уж человек, так человек. Вот, — она ему сказала, — хотя

Геннадий Шнапков

вы и чемпион мира, но не забывайтесь. Вы, она ему сказала, помните, что вы — чемпион. Вам и памятник могут установить, а вы тут сидите, водку пьете — с писателем, а я актриса. А она — вообще никто. Я тоже не актриса, но если нравится, я так назовусь. Могу и на колени встать, раз вы чемпион. Вот он — она ко мне обратилась — он — не чемпион, я о нем только хорошее слышала, но мне это крайне подозрительно, если о ком-либо говорят хорошо. Я тут же ее разуверил. Тут же.

Глава вторая

Итак, шел дождь, как вы помните. Непрекращающийся ливень. Уйти от огня и чистоты в какую-то ночь, как в аравийскую пустыню. Как странник грустный, одинокий, в степях Аравии пустой, из края в край в тоске глубокой бродил я в мире сиротой. Внезапно ты явилась мне! — я это сообщил Виолетте-оперетте, опять-таки спутав текст, но смысл не напутав ничуть. Куда ж идти? — спросила она. — Кому ж нам верить? Кто не изменит нам один? Кто все привязанности мерит — единственно — на свой аршин? Я, — сказал ей я. Вот тот самый человек. Да нет, сказала она. Куда вам в дождь уходить? Она ревет, он — чемпион мира, а вы уходите. Вот что, я ей говорю, вы ее подруга? Ну, условно? Подруга? А если ранили друга — поет — перевяжет подруга горячие раны его. Ее — исправила она, — но я-то нет, ох, сказал я, ох. Вы сами разбирайтесь. Я спать пойду. Вот, сказала, уж какой это коридор? — я удивился совершенно искренне. Зауток. Ничем я вам помочь не могу, ничем. Вы, Виолетта, мне глубоко и далеко и недалеко — поскольку мы близко стоим — нравитесь. У вас такое платье смешное, красное. И вообще вы — хороший человек. А вы дурак. Ох, сказал я — ну за что? Ну, я на самом деле не помощник, я случайный человек. Вместо меня мог бы оказаться некий Петя Иванов, да любой. Нет,

возразила она. Нет уж, не покидайте, а то что-то произойдет — у меня предчувствия. Да я уже пьяный, чтобы помогать предчувствиям. Видите — пошатываюсь, и слог неуверен. Тут и логопед не поможет, как вы считаете? Так я считаю, говорит она. Именно так — в общем, сматывайтесь. Тут дверь распахнулась, и появилась героиня — ни следа заплаканности — напротив, все напротив — вот так-то в полном блеске своих восемнадцати лет. Меркнут все описания, линяют, но я все-таки попробую вам сказать о том, что на ней было темное платье, что светлые ее волосы были уложены как-то необычайно, что лицо ее розовело — сама весна, первый апрельский что ли цвет, апрель — или же иное, но схожее — мороз и солнце в день чудесный, — а та улыбка! — та улыбка — улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Господи, какая красивая. Спокойствие излучая, вошла.

...Ох, милый Ваня, я беременна —
что ж, брось ты, Маша, это
временно.
(Вроде оперетты — хотя — не ручаюсь)
...далее.

Гл. 24

Как поживаете, красавица моя — уж не моя, да это мне неважно — мне — важно — знать — где ваши каблучки стучат — отважно — вовсе нет, вовсе не отважно — так, постукивают.

Но.

Важно.

Раз красавица, то уж важно.

Кому неважно, кому важно.

Мне — да.

Красавица — тем более — более того — красавица.

Спящая — в полусне, — на яву — но в полусне.

Геннадий Шаликов

Представляете?

Нет, вы, читатель, не представляете,
наяву — и во сне, — красавица.

Любимая, все мостовые, все площади — тебе принадлежат — все милиционеры — постовые — у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат — цветами голубыми (форма) на городском, на тающем снегу.

Любимая, я никакой любимой сказать об этом больше не смогу.

Смогу.

Полет прервался, наш с Мариной.

Прервался.

Вернее — приостановился.

Но просто невозможно — одновременно причем, одновременно — рассказывать о вещах разнообразных, разнообразных и — и — и.

Устал. Читатель?

Уставай.

...С берез неслышен — невесом.

...Мы парни бравые, но...

...Пора — в путь дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю — дела, идеи (над милым прологом).

...над милым.

...серебряным.

...крылом.

...тебе.

...качну.

...пора!

в наше, читатель, время,
солист пел пола — вместо — пора.

Как ему это удавалось?

Не петь, конечно, не петь.

...Удалось.

...Пола.

...Мы перед вылетом еще — их поцелуем горячо.

...Трижды плюнем

...через левое плечо.

Гл. 48

— Ну. Как вам тут?

— Нормально.

— Летаете?

— Иногда, — тут, знаете. Не всех пускают.

Допускают.

— Но все же?

— Хочется лететь.

— Марину Раскову видели?

— Она заходит, иногда.

— А чудо Чкалов?

— Он — заходит. Он — очень хороший человек.

Правда, пьет.

Хотя, пьяным я его не видела.

— А чем он занимается?

— Да ничем.

— Совсем ничем?

— Тут есть один мост — ну, не тут, в Америке — в Калифорнии — вот он под ним каждый вечер летает.

— Почему вечером?

— Стесняется — днем.

— Чтоб никто не видел??

— Такой уж человек.

— А вы как?

— Да так.

(читатель, я говорю с героем Советского Союза, сгоревшим на ПО-2 в сорок третьем году, над Керчью, Валей Корчуновой. Посмертно — героем. Посмертно. При жизни — был подвиг, но — но — никто, конечно — не мог, — это не обвинение — а — доказательство, какие у нас замечательные люди живут, вот среди нас.)

Многие — уже ушли.

Вот мы же там разговариваем.

А здесь бы.

Здесь.

Геннадий Шпаликов

Живые нужны. Живые.

— Как настроение?

— Ничего.

— Нелепый вопрос?

— Да я уж...

— Выпить тут у вас есть где?

— Конечно. Но я-то — не пью.

— Да я вас...

— Я знаю. Мне уже говорили, что вы хотели бы со мной познакомиться.

— А вы?

— Что?

— Я ведь на знакомство — не напрашивался.

— И об этом я тоже знаю.

— Как это было?

Глава 49

Меня одолела тоска.

С.А.Есенин

— Вы жили в гостиницах?

— Конечно.

— Ужас.

— Так вот. Я Володе эти стихи — не прошу. Я знаю — что он жил — примерно — так же, примерно, хотя, конечно, — если уж всерьез — он все растерял — раньше, чем я — ибо мне-то терять было нечего. Помните — отдам всю душу — декабрю и маю, но только лиры милой — не отдам. Я не отдам ее — ни матери, ни другу. Володя отдал. Говорят, подвиг. Памятник. Нет, он хороший поэт. Все умеет. Только все — зазря. Я — я тоже прикидывался — то так, то так, но — дело знал, делал. А Володя — поздно разбираться, поздно.

— Сергей Александрович, — ну а как здесь?

— Не знаю, ничего не знаю. Борис Леонидович — святой человек. С Пушкиным — как-то — не выходит.

Он ни с кем не общается, а я — при всем моем хамстве — ну, что ли привычке представления обо мне — Есенин — не могу — смущаюсь.

— Айседора.

— С ней живем.

— А Галя?

— Бениславская?

— Ну да.

— Заходит.

— А...

— Галя — истеричка, хотя — человек замечательный. Она с Блоком тут подружилась.

Айседора — гений, гений. Доброты, всего — прощения. Володя — при его-то отвращении к вранью — с женщинами — он и с Яковлевой здесь не разговаривает — он Айседору нежно любит. Он, конечно, никого — кроме себя — не любит, как и я — но — Айседору — вот уж поверьте.

— Я верю.

— Босоножка! Всю жизнь — босая. На самом деле — всю жизнь — босиком. А по чему шла? Хоть бы по песочку, по траве — по камням. Зря она со мной связалась — тогда — но — здесь — здесь — ничего, — обулась — тут уж... разберетесь. Вы надолго?

— Не знаю. У меня еще дела.

— Заходите.

— Спасибо.

— Только —

— что?

— Без Марины.

— Почему?

— Я — из-за зависти — чего уж скрывать! — Могу сорваться. Оскорбить могу. Мы уж...

— Понимаю. Все будет, как вы, Сергей Александрович, просили — советовали.

— Ради бога.

— Я все понял.

Тетрадь Шмалков

— Всего хорошего.

— Без Марины.

— Конечно.

— Борис Леонидович — он рядом живет — я его приглашу. И — Гумилева, хотя у него сейчас крупные семейные неурядицы.

— Обойдется.

— Вряд ли.

— Он. Вы. Я. — Анну Андреевну позвать не могу — тоже стесняюсь — вдруг заболела — вдруг — а она же встанет, пойдет. Только вот что — вы уж заранее мне сообщите. Когда, час в общем — все, все, поняли?

— Рылеева не видели?

— С ним сложно, очень.

— Отчего?

— Поэт плохой.

— Дело не в этом.

— А в чем?

— Вы же сами догадываетесь — в чем?

— Ну — это меня мало интересует.

— Почему?

— Не интересует — и — все.

— Совсем?

— Владимир Ильич — и тот с ним не разговаривает.

— А Кондратий Федорович?

— Руки не подает.

— А?

— Троцкий — вот он — они с Рылеевым как-то нашли общий язык.

— А он как, ничего?

— Конечно. Но — Бухарин. Я вас познакомлю. Чудесный человек, чудо. Они с Александром Сергеевичем — и Борисом — просто лучшие друзья — я — и Володя — им не компания, но их — и еще Тютчева — обожают. Завидую, впрочем, нет.

— А Баратынский?

— Спит все время, спит. Они с Дельвигом — как договорились — все проспять.

— Вместе живут?

— Конечно.

— Пишут?

— Не спрашивал, но — конечно. — Пишут.

— А — вы простите, что это похоже на интервью — просто — вот случай выбрал.

— Я понимаю. Вы о ком?

— Николая — не видели?

— Второго?

— Конечно.

— Милый человек. Очень.

— Сука, — так я сказал.

— Конечно — он согласился, конечно — но — человек — хороший.

— Более — о царях — не спрашиваю.

— Верно, верно. Не стоит о них — сволочах. Хотя, впрочем...

Гл. 54

Молодой, золотоволосый — хотя в то время уже малозолотоволосый — вылинял — не то слово.

Без копеечки денег.

Велики поэты.

Так и быть.

Не дожил.

Гл. 56

Очень долго, очень долго, очень.

Привести в божеский, благопристойный вид — внешне — только внешне, ибо моя любимая, читатель, понимала и сочувствовала нам,

Геннадий Шнапков

хотя — сочувствие — не есть еще помощь, но спасибо и за то. За гитару. За то, что поехала. Марине где-то — вот уж чудо! — воды достала, чтоб она успокоилась — хотя и Аня, и Марина — совершенно свободно — могли достать и воду, и водку, и нарзан — вплоть до — не знаю, читатель, пределы твоей мечты, не знаю — но — тут уж, для них, все было осуществимо, все.

А они — Марина и Аня — забыли обо всем.

Вьлетело у них из головы.

Я, идиот, не напомнил.

А может, правильно, что не напомнил.

Все же, все же — на земле! — все же. Пусть уж земные заботы — мелочи, скажем, чепуха — пусть все снова вернется. Пусть.

На уровне доставания гитары, воды.

Пусть.

Среди живых.

А моя любимая, все отлично, повторяю, понимая, смотрела в окно. Ибо — мы — Аня, Марина и я — производили на нее, так мне показалось — крайне удручающее впечатление, да.

А тут — еще владелец гитары подсел.

Но — Марина — мгновенно его отшила — условно говоря.

— Вон. — Так она сказала — вон, — гитару — спасибо. Спасибо. Поклониться могу. Вон, и чтоб и духу не было. Запаха — уж — точно.

Вон.

Гл. 20

...пролетая.

— Марина, я говорю на лету, — как вы себя чувствуете? Здесь не то чтоб дует — продувает насквозь. — Вы уж меня простите за заботу — если это можно так назвать.

— Заботы, заботы, заботы. Все — беззаботно, честное слово. Я вас не жизни учу — не осмеливаюсь, но — все открыто и беззаботно, поверьте.

— Верю. Вам — верю.

— Где же мы сейчас пролетаем?

— Над Гренландией — так мне кажется — по очертаниям.

— А в какую сторону летим?

— В Америку, над Америкой, вернее. Пролетаем.

— Не люблю я Америку.

— Но — мы ж, не опускаясь.

— Зажмурившись полечу.

— Зря, — говорю, напрасно.

— И прекрасно, что напрасно.

— Вам не холодно?

— Вам-то как?

— А вам?

— Мне? Прекратите эти нелепые расспросы — холодно, тепло, жарко, душно, невыносимо, мы, кстати, в невесомости, друг мой.

— Мнимый.

— Ну — условно, условно, хотя, как мне кажется, — друг.

— Стараюсь, говорю, пытаюсь, пробую.

— А вы не старайтесь.

— А я не стараюсь. Я к вам пристраиваюсь.

— Не стоит — пристраиваться.

— Марина, все, чего бы вы ни сказали...

— Какая красивая сверху Гренландия!

— Ничего.

— Красавица!

Гл. 89

...тише травы, ниже воды.

— И качели?

Геннадий Шнапков

- И качели.
- Карусели?
- Да.
- Все, к сожалению.
- Дотла.
- До пепла.
- А газели?
- Те — глазели.
- Отбежали что ли?
- Глазели.
- А.
- б.

...Тише травы, ниже воды.

Кто?

Люди.

Ибо тишина трав, а уж вода — о! — читатель, о воде, реках, тишайших, стремительных, остановившихся, розовых, голубых, бледно-зеленых, красных, оранжевых — о прудах — читатель — листьями засыпанных, — пруды, читатель — лучше всего — недаром бедная Лиза — сочинение Карамзина — в пруд — и — лучше не придумаешь — чистый пруд, зимой превращаемый в блистательные, в ослепительные — мороз и солнце — день чудесный, а где-то — дремлет друг прелестный — вставай, красавица, очнись, открой — богом тебе пожалованные — взоры — навстречу северной авроры.

...Как дева русская свежая в пыли снегов.

...Поцелуи на морозе.

...Валенки, валенки — неподшиты стареньки.

...По морозу — босиком — к милому ходила.

...Вот такие люди были.

...По морозу — босиком.

...Зря, может быть. В смысле — босиком.

...Валенки, валенки...

...А на тоненький ледок выпал беленький снежок.

...Беленький.

...Якобы.

...И тут же...

...Прыг-скок — обвалился потолок...

...Он зарезал сам себя — веселый разговор.

Песня.

...Ох, хорошо в стране советской жить.

Песенка.

Современники, собеседники, собутыльники, соприя-
тели, неприятели, приятели.

Люди.

Тише, травы, ниже воды.

В канаве, как говорил Владимир Владимирович —
ниже канавы — только — канал.

В прорубь.

Люди, будьте бдительными.

Фучик.

— Вы! — блядью — пожалуйста — но — сукой —
вот уж! Впрочем, — как знать, как уж у кого сложит-
ся... Не виновных, не виноватых... Хотя, знаете, — с
возрастом, очевидно, с возрастом, к сожалению, ибо
женщине стареть — крайне несправедливо — но — с
возрастом, и этим проклятым опытом — коего лучше не
приобретать — но увы! — сам, не спрашиваясь, в дверь
не стучась — приходит сука — ах! — Анечка, вам-то
уже ничего не грозит — ну там, мелочи, мелочи — сука —
Анечка — проклятье — и для самих сук, хотя многие из
них об этом не подозревают — это крест, ужас — пред-
ставляете, сколько им приходится — по ходу дела, для
дела — врать, изворачиваться, спать не с тем, с кем бы
хотелось, — а — надо — ложатся — так вот, заканчи-
вая этот и без того затянувшийся монолог, — тем более
у меня возникла одна, по-моему, чудесная идея — так
вот — суки — самые несчастные люди на земле. Добав-
ление — если они не дуры, ибо счастливей дур... но
сука и дура — редко совместимо, но — бывает! —
бывает — повезет.

Тетрадь Шпаликов

— Марина Алексеевна, — сказала Аня — вы знаете, мне даже неудобно как-то...

— Все между нами удобно, все.

— Я — того же мнения.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь.

— Вы, наверно, все знаете... — начала Аня.

— Я не знаю ничего. Вернее, так: я знаю, что ничего не знаю.

— Мне, простите...

— Анечка, не извиняйтесь — ради бога, которого нет, но есть такое выражение — вы-то? — ангел — вам-то чего извиняться? — Да и перед кем?

— Мне ваши стихи пока еще не очень нравятся, ну, я просто... Вы понимаете.

— Понимаю.

— Но Борис Леонидович — я его стихи тоже, кстати, не очень. Но Борис Леонидович, а он уж такой замечательный человек...

— Разнообразный.

— Вам это лучше знать, конечно. Но Борис Леонидович, когда мы гуляли с ним, там, у озера, сказал о вас такое, что даже вот так в глаза вам, вслух — при вас — как-то и неловко говорить...

— Гений?

— Да...

— Все, что Боря обо мне говорит, говорил и будет говорить — мне давным-давно известно. Руку предлагал — чего же более? Но вот — вам мое предложение.

Читатель, наберись мужества.

Не извиняясь, хотя всегда надо извиняться — женщину вперед пропускать и проч. — так вот — не извиняясь.

...она спала в электричке — думаю — не сладким сном. С работы ехала и спала, спала. Испуганно спала — чтоб не проехать! — а то ведь...

...спала, приоткрывая — на мгновение — свои ресницы и смотря — испуганно — бледно-голубыми глазами —

на пролетающие мимо уже ночные, читатель, ночные — пейзажи, которых, собственно, впотьмах и не разобрать.

... ох.

... приезжайте ко мне, приезжайте

вы мне нравитесь —

издали нравитесь.

приезжайте, а вдруг?

вдруг понравитесь — вдруг —

вдруг понравитесь

и вблизи.

(Обращение в пустоту).

Гл. 84

— Знаете, — сказала Марина. — Мне тут как-то не нравится. Да и Марина... сука.

— Но... — я имел в виду, что рядом все-таки Аня идет.

— Ничего. Ничего страшного. Сука.

Монолог Марины Цветаевой о суках

— Суки — самое точное и вовсе не ругательное, ну, в общепринятых выражениях — слово. Очень точное и очень, как бы вам сказать, точное — да, но — и — как ни странно — гражданское, сукой можно родиться. Вероятнее всего — нужно, ибо наивные попытки, правда — иногда наивные попытки — самые лучшие — стать суками — чаще всего оканчивались неудачами. К сожалению — для сук, разумеется, для сук. Я бы сама... Я же тогда челочку носила. Блядь, Аня, вы уж меня извините, — что вы! — сказала Аня — что

— Вы уезжаете?

— Конечно, уезжаю.

— Ну, что вам предложить — хоть кружку чая?

— Да, чай...

— Ну, если

Теннадий Шнапиков

— Невзначай?

— То лучше — водка, а не чай.

— Но — невзначай. — Все так обыкновенно...

— Вот. Вы когда-то были и военным. Понятно — значай — но — невзначай. А вы Марине предложили чай.

— Простите мне — поступок — ну, поступком его же вряд ли...

— А жила — живу без уступок. Поступки были — не были уступки.

(далее — матом).

— Вот что.

— Что?

— Полетели?

— Не медля.

— Вы же не в порядке. Как там у вас? У нас ведь дела. А там, в доме, у Марины — переночуем.

— Неохота.

— У чужих ночевать?

— Ну, в общем...

— Марина. Клянусь. На колени становлюсь.

— Вранье.

— Вам все ввали.

— Полувсе.

— Вот что.

— Что?

— Забудьте все. Как сон. Вам столько наврали, что я из этого вранья в одиночку — не выберусь.

— Сможете.

— Полетели?

— Ох — то — и предлагать — не посмела.

Гл. 78

Мы летели очень медленно.

Просто Ане стало — неважно.

Помедлим, раз неважно.

Гл. 79

Пруд розовел. Цвел. Бледнозеленел. Царскосельский — вот какой.

В лодке. Анна Андреевна Ахматова, Аня и я.

Марина (и моя любимая) прогуливались среди этой полузабытой уже — прелести и красоты — фонтанов, дубов — потом, правда, я их заметил в кафе, устроенном очень удобно — на озере — виды прекрасные — но — мы — плыли.

Я — Кормчий.

Анна Андреевна — царственно — восседала позади — для меня — перед глазами — но — Аню нежно обнимая.

Солома волос, глаз синева — как сказал Хикмет, чудесный человек, — и о какой-то женщине.

Вот солома волос — и — глаз синева...

Анечка.

Солома волос и глаз синева.

Синеют, сияют.

А у Анны Андреевны.

Екатерина.

Номера — не помню.

Елизавета.

То же самое.

Екатерина.

Прямо — от Петра — прямо — из постели — или — из саркофага — в чем их там хоронили? — Екатерина.

Царственно.

На лодочке, с Анечкой.

...преувеличивайте, говорит она, — не ежедневно. Он и сам за себя постоит. Но — самое странное — ему это уже надоело. А ничего другого не умеет. Самое время жениться — для забот. Интересно, им пенсия полагается? За все избиения? А то — на что жить? Я, пожалуй, на панель пошла бы, если бы охранялась законом. Женитесь на мне, а? Вам-то все равно, на ком, а я — я говорю

Гелладий Шлаиков

ерунду, потому что я волнуюсь. Вот вы кого-нибудь любили? Не в этом роде, что боксер? Я не навязчива? Навязчива. Я навязываюсь, но я — по-хорошему. Я на вас смотрю иногда, как вы домой идете — и что вы там делаете один? Пишете? Водку пьете? Книги читаете? Чем бы еще заняться? Можно марки собирать. Я хочу выпить за ваше здоровье, за вашу любимую, за то, что любимая существует, хотя она об этом и не подозревает, но факт ее существования несомненен, и я пью за вашу любимую, сожалея, что ее нет за этим столом, как, впрочем, нет и других личностей, достойных этого стола, но, главное, что нет любимой именно в тот час, когда бы ей все понравилось и показалось — представилось — скажем так! — достойным, веселым и вообще — времяпрепровождением на уроке какого-нибудь кинофильма из жизни богатых, но никому никабельных людей — вам это слово знакомо, писатель? Ура! Вот — у вас нет знакомой шлюхи? Всю жизнь мечтала познакомиться с настоящей шлюхой. Знаете, без этого, в чистом, профессиональном смысле. Поговорить, как и что. И, наверно, скучно. Все профессионалы — в узком понимании — скучны. Им все ясно. Все ясное, но в очень уж немногом, а остальное — подозреваю — им и неинтересно. Пейте, а то у вас лицо уж совсем. Сейчас боксер придет, побьет вас еще, хотя — вы же первый, наверно, писатель, с кем он познакомится. Он вас про Джойса будет спрашивать — вот посмотрите! Про Феллини, про Антониони. Он с Тарковским знаком! Вот. Между прочим, он — чемпион мира. Вот какие у меня женихи. Пейте. А зачем я вам тут понадобился, спрашиваю я. Нет, я понимаю — причуда, повод, внезапность решения? — но — вам что, поговорить не с кем? Вы уж на магнитофон тогда наговаривайте, а я не магнитофон. Да я всего и не запомню — просто, как информацию, если вам после понадобится воспроизвести или вспомнить то, что вы говорили. У меня и память неважная, да и я собеседник никакой. Событьельник — еще ничего, да и то односторонний. Вы-то вино пьете.

Кстати, зря. Это потом тяжело — а еще боксер придет. И папа, сказала она, папа обязательно придет. Он мне вчера звонил. Вот я бы за него с удовольствием замуж вышла. И разница лет хорошая — ему сорок два! — сорок два, а мне восемнадцать! — вот бы жили хорошо.

А у Вас какая медаль? Нет никаких, не вышло. Я учился средне. Как во сне? — спросила она. Да, полусонно. Я в армии долго был. А, — сказала она, — а на военного вы не похожи. — Да я плохой был военный, очень плохой командир. И — этим вовсе не горжусь, что в лейтенанты не гожусь. Стихи? Да нет, какие уж стихи. Правда, не получился из меня военный. А вы хотели? А с кем воевать, раз нет войны? И вообще — хотят ли русские войны? — Ох, ничего я не знаю — где этот ваш боксер, а то я не чемпион мира и все это выпить-то смогу, но последствия! — подумаем о последствиях! — вдруг посуду буду бить. Начнем, сказала она, начнем, чтобы после уж не повторялось. Трах! — и ваза — вроде бы из хрусталя — трах! — об пластиковый пол — и странное дело — не разбилась! — А она — не ваза, а она, рассмеялась. Знаете, сказала она, мне ужасно плохо. Вы на гитаре играете? — Нет, но у меня знакомые есть — играют. Хорошо играют? Плохо, конечно. Туристы, наверно, ваши знакомые? Да нет, пьяницы. Что, алкоголики? Всерьез? Вроде шлох — профессионалы? Да нет. Нет, говорю, не профессионалы. Так, к слову пришлось. А боксер на гитаре не играет? В часы досуга? Знаете что, а поехали к цыганам! Нет, говорю, никаких цыган. И — а как же боксер? А папа? И у меня, наверно, рублей только — ну, занять можно, конечно, но цыган, правда, нет никаких. Есть один мнимый цыган — могу позвонить. Очень похож на цыгана, и на гитаре играет. И про любовь играет? Только про любовь. Вот что. Я пойду умоюсь, а то мне что-то неважно, сказала она. И вы тут пока тоже не напивайтесь, тихо заперши двери. Распахнем окно, а то помрем. Все. К телефону не подходить. Меня нет. Я в потустороннем мире. Все. Насчет цыгана — подумайте,

Гелладий Шпалников

если он даже мнимый. А у меня для вас есть сюрприз: придет женщина. Школьная подруга. Тоже медалист, правда, серебряный. Но — серебро уж точно настоящее, а зовут, как в оперетте — Виолетта. Не то вельвет, не то валидол, не то — очень красивая и элегантная женщина. Знает два языка — забыла какие. Один — вроде эфиопского. Тоже — невеста. Женитесь! Вам необходимо жениться, и — по расчету. Встать на содержание. Писателю естественно быть на содержании. Уж лучше у женщины, чем у государства. Монтень. Вернее, Монтень ничего подобного не говорил, а я, кстати, его и в руки не брала, но мысль достойная Монтеня, допустим. Вы читали? Ничего вы не читали. Темный человек. Только не смывайтесь. Не исчезайте, не уходите сквозь стены — умоляю вас!

Пока она там умывалась, я подумал, как все это нелепо, в сущности. Мысль такая мелькнула, что вот — нелепо. Я же очень давно знаю ее, очень. Девочкой помню. Разница в двенадцать лет — сейчас неощутима, ее просто нет. Не существует. Но она была. И тут уж я сентиментально (под пластиночку) вспомнил какие-то качели-карусели, портфельчики школьные, опрятность форменного платьица с белым воротничком, и еще я вспомнил, не вспоминая, впрочем, и не задумываясь особенно, но — не по существу — вспомнил, какая она была храбрая — не по расчету, хотя всем казалось, что в этом был какой-то расчет или — я не знаю, как это назвать — ну, что ли — желанье славы. Столетье с лишним — не вчера, а сила прежняя в соблазне — в надежде славы и добра смотреть на вещи без боязни (Б.Л.Пастернак, перефразируя Пушкина, дефразируя, скажем так). Так вот, в надежде славы, но вовсе не добра эта красавица лет десять тому назад ходила по карнизу девятого этажа — среди бела дня — причем, беспричинно, безответственно, не слишком уж и ловко и — главное — прекрасно понимая, что зрители-то в ужасе, а их было немало. Если человеку

надобно покончить с этим миром, надо все-таки это делать втихомолку. Она-то знала, что не свалится — карниз был слишком широк, а она ничего не боялась — она посмеивалась над нами — я был в числе тех, кто стоял во дворе среди развешенного белья, рядом с домохозяйками, зеваками, пьяницами, сдающими бутылки в полуподвал. Знала, стерва, что не свалится, и — смеялась. Честное слово, я хотел, чтобы она упала. Вот на этот летний асфальт. Прямо чтобы со всего размаха, кувыркаясь и вскрикивая, но — чтоб только не стояла, не посмеивалась, как балерина — легкая, нарядная, светловолосая. Впрочем, стоп. Ретроспекции опасны, но что изменилось? Все тот же карниз. Я ветеран — в смысле зрителей. Аудитория у нее сейчас небольшая, грустно все это. Врать — не врать. Быть искренним. Не притворяться, не прикидываться. Не сочинять того, чего на самом деле нет. Казалось бы — чего бы проще. Каждый решает (или не решает) это по-своему. Скорей бы уж чемпион мира пришел. Я пытался ей как-то объяснить, что задавая вопросы — самой себе — сложно получить ответ, поскольку он существует, существуют почти все ответы на все возможные вопросы, существует и та реальная возможность следовать и советам, и ответам — у каждого. Что-то неблагоприятно, если

Гл. I

...Если елка огнями цветет, это значит
пришел новый год.

...Жить стало лучше. Жить стало веселее...

И. В. Сталин.

...По городу шагает веселое звено — никто не понимает, куда идет оно — никто не понимает — и — сразу не поймет — куда оно по городу стремительно
(вольный перевод, произвольный — так скажем).

Тетрадь Шпаликов

...Ох.

...Лена Ясная, пей белое вино.

М.А. Булгаков.

...Ура!

...А что делать?

...Морозное было утро...

...Большевики.

...Знамя.

...Он шел рядом со знаменосцем, и от этого еще более радостно билось его сердце.

...Знамя.

...Взвился на дыбы горячий конь.

...В штаб кабинет.

...Расстроенные лица товарищей.

...Кто-то ловко перескочил через забор.

...В штаб-квартиру комитета Сергей вернулся со знаменем.

...Музыка — к весне — ему только 23 года, ему, Сереже Кострикову.

...Полиция теряет след.

...Вера Сергеевна Гарина вспоминает.

...А в марте.

...Музыка.

...Четвертый раз захлопывались двери за Сергеем Мироновичем.

...Цепи — звенят.

...Суд оправдал.

...Вальс.

...Киров.

...Связь прервалась.

...Всем хотелось знать правду об Октябрьской революции.

...Сергей Миронович, поднимите повыше белый платок — мир был восстановлен.

...Подпольная кличка — ноль.

...Письмо диктовали.

...Сергей Миронович уехал в Москву.

...Через Астрахань.

...Вальс.

...Астрахань.

...Неужели правда, что в Астрахани поговаривают об эвакуации?

Ленин.

...Приказываю беспощадно уничтожать белогвардейскую сволочь.

Киров.

...Устье Волги было, будет и есть советским.

Киров.

...В одной цепи пошел он в бой.

...Наконец пришел день, когда Киров мог послать в Москву телеграмму Ленину...

...В июне становится Сергей Миронович секретарем ЦК.

...Тоскливо было старому инженеру.

...В июле.

...Заложена первая скважина, вторая.

...Раздался телефонный звонок.

...Вальс.

...Бах!

...Во мраке подпольной борьбы.

...Сережа Костриков.

...Вальс.

...У Ленинграда нет своей сырьевой базы — он должен превратиться в музей революции.

...Новые дела, новые заботы.

...Каменев, Зиновьев.

...Десять тысяч тракторов в год — это невозможно — говорили старые инженеры.

...Выполнили план ударного квартала и затем уже, в 31 году.

...Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река.

...Киров.

...Днепрострой, магнитострой.

Гекнадий Шнапков

- ...Киров.
 - ...Мечтать мы об этом и не могли.
 - ...Прошел и задумался Киров — на севере.
 - ...Не мечтал о посеве — где встретились Киров — и — север.
 - ...Непроглядная полярная ночь.
 - ...Спиной к ветру, чтобы передохнуть — Киров.
 - ...Будем строить рудник, фабрику, город.
 - ...Хибины.
 - ...Киров.
 - ...По-европейски живут люди в Хибинах.
 - ...Вальс.
 - ...Когда вероломно.
 - ...столкнулись две силы — мир фашизма — и — мир ленинских идей.
 - ...домов затемненных громады.
 - ...Тихонов.
 - ...Полночный воздушный налет.
 - ...По городу Киров идет.
 - ...Гордясь.
 - ...Вальс.
 - ...Киров.
 - ...И в минуту затишья.
 - ...Где обороняется гвардия — никто не устоит.
 - ...Ура.
 - ...Вальс.
 - ...Страна советов поднялась на вершину пятидесятилетия.
 - ...Коммунисты — говорят — что учатся у Кирова страстности и убежденности.
 - ...Да здравствует — уже никем непобедимая, наша всесоюзная, ленинская, коммунистическая партия!
- Киров.*
- ...Вы слушали передачу всесоюзного радио — жизнь — отданная народу.
 - ...Био-био.
 - ...Московское время — девятнадцать часов.

...Чайковский, конечно; — но — на самом деле — хорошо.

...Вот способ — способ Чайковского успокоиться и что-то.

...Способ — не из лучших.

...Стоп.

...Далее — все под вальс.

Глава пятая, не имеющая к существу, ну, скажем — к поводу сюжета никакого отношения

Забудем все, забудем.

Выкинем из памяти — на время, читатель, только на то самое время, которое понадобится для других — увы — печальных дел. Предыстория.

Я болел — кому это интересно, поскольку многие болеют — но уж, поверьте, я болел всерьез — свалился.

Тут уж личные воспоминания кончаются.

Попал я туда, в эту странную больницу, почти сразу после нового года — то есть елочка стояла, висели флажки, украшения висели, шары, валялась на пластиковом безукоризненно чистом полу — вата, конфетти — не берусь называть, но, читатель, был новый год в доме, где все к смерти приговорены — не приговором — обстоятельствами. Поскольку было мне тогда, в первый, во второй, в третий и — и — опустим, — бесконечно печально, и вовсе не от того, что я так уж заболел — хуже я болел, молодым — валялся на вытяжении с переломанными ногами в военном госпитале Хлебникове — помню был там мост, через который везли, помню, как в коридор — не положили, — офицер и пострадал на учениях, падая с парашютом, упав в лес, сосна спасла и изувечила, как могла — ноги, в основном. Вернемся туда, в предысторию.

Мне надо было ехать на похороны, вернее так — на сжигание в крематории. Вот именно в этот день, именно — вот так. Не мог я туда не поехать, не мог, хотя никакого — абсолютно — не то чтоб уж и желания — а просто и ох —

Тетядаий Шна-ликов

зачем? — но — вот сам помрешь и никто не приедет — хотя — какая разница? — но тут уж, тут уж, — было мне невозможно ото всего, что случилось, хотя не случиться и не могло.

Я был больной там элементарный. Почки. Там, в этом учреждении элементарных больных вообще выносят с трудом. Они — эти больные — для науки интереса не представляют. Но существуют иные, более — опять-таки для науки — интересные люди. У нее, у этой девочки, было четыре почки — и все больные. На ней защитили — две или три — докторские диссертации. Уж кандидатскую — наверняка, а она помирала, хотя ее и пытались вытащить из помиранья, но — бог ее рано забрал. Звали ее Аня. Невыносимо мне об этом писать. Мы бродили по этим ярко освещенным коридорам, по блистающим чистотой и безысходностью — тоже блистающим — полам, сидели внизу, где есть телефон — единственное средство сообщения с жизнью, — мы пили то, что могли достать, когда во время разрешенных прогулок — ровно в полвторого — открывались ворота нашего учреждения и — поскольку здесь был морт — забыл уж какого района — то сюда привозили (или увозили) усопших. Так вот, усопшие — впервые, по-моему, *хотя*, судя по некрологам, плохих людей вообще не было и нет, но — вот тут усопшие помогали впрямую. Отворялись ворота нашего учреждения, и мы (и не только мы) спокойно выходили за этой машиной — часто даже и не похоронного типа, а что-то вроде бы и хлеб развозят — выходили в город. Вокруг были магазины, кафе, рестораны — была, кроме прочего, улица. Шли живые люди. Покупали газеты, банки с капустой, стояли в очередях, ссорились, перебегали улицу, охали и ахали — засыпали на ходу, не замечая, какой сегодня день. Дни-то шли какие! Надвигалась весна — март — нараспапку, все, как ворот расстегнув, и тут мы с Анечкой.

Вы знаете, как это происходит. Кто не знает — тем лучше.

Играет оркестр — небольшой, — и тебя — что-то вроде лифта — опускают прямо в печку. Это, конечно, к делу не относится, но там был один смешной человек — распорядитель, инженер — заведующий, что ли, адом — в общем, мефистофель. Совершенно пьяный — очевидно, по роду профессии — иного выхода у него не было, но он, будучи физически очень здоровым человеком, очень — ну, внешне хотя бы — чудесно держался на ногах, разговаривал, отдавал свои мефистофельские распоряжения, и вообще был молодцом. Так вот он мне сказал, глядя на меня внимательно, поскольку вид у меня был сокрушающе невеселый, так вот, мне сказал: две минуты. Что? Я спросил — да и кто вы? Две минуты — повторил он — ровно. А ему — он показал на проходящего с похорон тучного заплаканного человека — минут шесть. Тут я понял. А вам? — спросил я — вам-то сколько? Робинзона Крузо читали? — спросил он. Нет, обознался. Прямо выпадение памяти — Пятнадцатилетний капитан — но того же автора. Да нет, говорю я, это разные авторы, по-моему, хотя. Тут я выругался, условно говоря, но Мефистофель, ничуть не обидевшись, сказал — так вот, в этой замечательной книге вождь — забыл как зовут, ну, африканский вождь, сообщник Негоро — пирата — знаете? — так вот, этот африканский алкоголик до того допился — они там по ходу действия пьют горячий спирт, джин — понятия не имею — но — хотел бы узнать, что они там, эти сволочи, пили, сжигая пятнадцатилетнего капитана — я сам, кстати, капитан, в прошлом, — так вот, этот вождь сторел мгновенно. Просто как бы испарился. Того и вам желаю, сказал я. Так и получится, согласился он. К тому себя готовлю. До свидания, сказал я, ну, это уж точно, сказал он, увидимся. — В кремлевскую стену вас же наверняка не положат? — Тут я опять выругался, а он опять не обиделся, славный человек.

Аня, прости меня, прости, ради бога, хотя ты уже на небесах и бога, наверно, нет, но кто-то там есть, хотя —

Геннадий Шпалков

никого и ничего нет. Аня, милая, прости, ты помирала — я не пришел, а мог бы. Видел я, как помирают. Как не хотят умирать. Изуродованное уремией лицо, тело, перевоз — в беспамятстве — а часто — в полной памяти и рассудке и в ужасе — в изолятор, чтоб другие не мучились, а ты уж. Аня, прости меня, за то, что я не дал тебе ключ от своей палаты, где я лежал один, а мог и в город по необходимости уходить — не дал, потому, что знал, что тебя выгонят отсюда за нарушения — господи! — Какие уж там нарушения! — А ты просила — ключ, на одну ночь, — если вас не будет — здесь парень лежит, он не больной, он из богатых, у него родители, родственники сюда его положили, чтоб от армии отсрочку получить, он красивый — а негде, понимаете, палат-то одиночных нет почти. Летом еще ничего — у нас парк огромный, а зимой я же не могу на камнях спиной лежать — тут только одно место есть — в коридоре, у клуба, но ведь зима, не могу, а он сам пристаёт еще — представляете? — представляю, милая, представляю. Аня, прости. Ключа не дал — думал, выгонят тебя отсюда, а обратно сюда попасть сложно — очередь со всей страны — а кому ты уже такая здесь нужна? — не для науки, не для диссертаций — все на тебе уже испробовали, испытали, а теперь — помирать, а может, думал я, вырвется, выберется — по юности своей, по этой челочке наискосок, по глаз синеве, потому что жить хочется, раз ключ просит.

Дальше я долго, долго сидел на скамеечке и ревел. Кепку я на глаза надвинул, даже газету взял, чтоб внимания не привлекать — подумают — пьяный или сумасшедший. Плакал я обо всем: об Ане, конечно, хотя чего уж там плакать, но — вот вам война, вот вам ее реальные последствия, вот вам наша голодуха, безотцовщина, безматеринство, случайность рождений — от людей больных, пьяных — бог знает.

А солнышко меж тем светило.

Великая моя страна, великая — всеми проклятая, проданная тысячу раз, внутри и издали — великая,

прости меня, рядового гражданина, я боюсь за тебя, обеспокоен. Вот Аня померла. Хватит помирать, хватит. Просто даже места не хватает. Только — родственные захоронения.

Тут, читатель, ты будешь вынужден выслушать главу — опять-таки к сюжету не имеющую никакого отношения, хотя сюжет — будь он проклят! — тут не важен.

Нет у меня под рукой Ахматовой — нет — читатель, нет, но поскольку я убежден, что нет благороднее и — как бы вам сказать — бескорыстнее что ли — русского читателя, то вы сами это найдете и почитаете подробно.

Начнем с начала.

Чего не видел — досочинять совести не имею.

Вот то, что видел. А видел я, как трое, из «Ленфильма», трое столяров, пожилые люди, из цеховых, совсем уж поздно ночью — в нерабочее время — сооружали ей крест — такое свежее, молодое было это дерево! — в разрезе не видал — знаете — по виткам ствола — но — пахло — цвело, скажем так. Делалось все быстро, обдуманно и — профессионально, поскольку это произведение надо было ставить назавтра, в Комарове.

Денег они не взяли — совестно было и предложить, но — водки мы принесли и колбасу какую-то — святое дело, сказали эти трое, старше меня вдвое, святое дело для хорошего человека — раз уж он помер, крест сделать, да и редко такой случай выпадает — такое уж дерьмо делаем — декорации — а тут крест — и — говорят — для хорошего человека. Раз вы говорите — мы уж верим. Выпить — пожалуйста, а денег — не возьмем. Нам — они сказали в одиночку и вместе — за такое святое дело — повторим — не нужно. Мы уж проживем. Во, спасибо, что выпить есть, принесли. Крест они соорудили прекрасный. Мы — с моим товарищем — так и предполагали, что денег мастера не возьмут, а делают — втроем — хорошие люди — значит так — трое — три бутылки, а одну — про запас, чтоб не бегать. Мастера, все соорудив, — да над кем — господи! — знали бы они, над кем — но

Геннадий Шнапков

мастера знали одно, и это, может быть, было самым главным, что крест сооружен для хорошего человека, и еще — было у них, конечно, представление, что вот тут уж случай особенный. Мой приятель — разливая, пытался — и совершенно зря — объяснить значение — так скажем — Анны Андреевны Ахматовой для русской литературы — мастера, сочинившие крест, вежливо это выслушали, ожидая, когда же выпить придет черед, но — товарищ мой был велеречив, хотя он и человек хороший и впрямь был озабочен — чисто практическими делами — доставками креста в Комарове, что, если читателю малоизвестно, от Ленинграда далеко, не слишком — но — все-таки. Потом крест в такси везти — тоже задача. Но мастера все, по моему, поняли. Один из них, постарше, сказал — все порем, а кресты, суки, разучатся делать. В бога я не верую, но вот, понимаешь, я ведь и на войне мог свободно спотыкнуться — там фанеру со звездочкой ставили, если время было, а не успевали — так зарывали, но — скажу тебе, зарывали всегда, вот, понимаешь, зима — ты копал зимой? Копал, говорю, копал — и зимой закапывали — без похоронных команд, сами долбили. Стаканов у нас было два на пятерых. Пили сразу. И вовсе не за Ахматову. Во все нет, хотя все время — за нее. Мой товарищ пытался даже читать стихи Анны Андреевны, но — безуспешно, ибо — он, как человек вовсе не пьющий, да еще и без закуски — колбаса — слова выговорить не мог, а мастера все выпили очень спокойно и печально — естественно, не по поводу Ахматовой — по своему поводу, хотя внешне все соблюдалось, как на поминках, после и во время которых все забывают (и правильно делают), кого зарыли, и дело уже оборачивается у каждого по своему, но — мастера, думая, а может, и не думая ни о чем, кроме того — вот уж повезло — сидим, пьем — выпили свое, и даже более, ибо товарищ мой впал в прострацию — не в смысле водки — он задумался о том, что происходит — вот здесь, сейчас. Напрасно, друг мой, напрасно. Выпьем за покойницу, сказал самый пожилой —

она что? — стихи писала — я слышал? писала, говорю, писала, сочиняла, — одним словом. Тут я опять стал матерно ругаться, что нисколько не удивило моих собутыльников, даже моего товарища не удивило, хотя он, как мне показалось со стороны, был обо мне иного мнения, но — три бутылки — кончились. Четвертую я отдал самому старшему из мастеров, крест мы вместе вынесли через проходную киностудии, получив предварительно пропуск на вынос креста, что было связано с определенными трудностями, но — после раскопок в пирамидах, после лабиринтов, смутных освящений и бездны, в которые проваливаются товарищи моих трудов — все уже не составляло уж таких особых забот. Такси нашлось. Поехали, поехали.

Глава 6

...а то мы люди темные,
что нам говорят, тому и верим.

Алевтина Ивановна, соседка

...Бог, унизив женщину, признал ее неполноценной.

...ее отход от веры совершался поэтапно.

...Радостно было смотреть на эту женщину.

Т.Н.Володаева, атеист, боровшаяся с Алевтиной Ивановной — радостно смотревшая на нее, когда та, узнав, что при раскопках, запусках спутников, космонавтов, а также при прямом сопоставлении библии с научными достижениями, оказалось, что бога нет, обняла ее и расслабалась.

Мы вышли — вчетвером — вспомни, читатель, кто: золотоискатель — отец красавицы, красавица, гравюра и я. Я, как тебе уже известно, должен был в двенадцать часов с минутами быть в крематории — ибо там все поочередно и опаздывать нельзя, ну, скажем, — прибеги,

Тетрадь Шнаиков

если успеешь. А пока что — рано еще было, совсем рано. Прекрасный летний рассвет, прекрасный. Они чего-то болтали, а отец вел дочь под руку, не зная, наверно, что ей говорить, но я бы — на его месте — тоже не знал. Хотя, знал бы. Точно — знал. Но, шагая за ними по этому прекрасному летнему рассвету, я — не из вежливости, не из интереса, а просто глядя на человека, пытался как-то помочь ей, хотя безуспешность помощи была очевидна. Гравюра шла молча, рядом со мной. Она даже не подозревала, как была сейчас хороша — в этом освещении, бледно-розовом, сама — бледно-розовая, в белейших кружевах, трезвая, грустная, сосредоточенная — в чем? — Вот тут уж я голову склоняю — не могу, права не имею вмешиваться — почему голова ее склонена, почему — ох! — столько почему, что уж лучше потремся — что я — через силу — себя преодолевая — начал, а она, милая, все поняла — и — мы сыграли хорошо. Я ее спросил: как вам удастся выглядеть так хорошо так рано? — ничего умнее в голову не пришло — она, милая, сказала — вот птички поют — пели, действительно, какие-то птички, и тут — я спросил, поддерживая беседу в том направлении, которое она сама предложила, — вернее — было мне не до направлений разговора — лишь бы до дома довести, лишь бы сдать — прямо в дверь, иного выхода не было, но — но я ей еще сказал — про птиц — раз уж такой разговор, про птиц — а какие вам нравятся птицы? — Никакие, так она сказала, — и вообще — хватит, хватит, — вы понимаете? — абсолютно, сказал я, — тогда уж заткнемся — так сказала она. Далее шли молча, а погода начиналась великолепная, лето, которое я лично прошляпил, а они, наверно, смоятся куда-нибудь, куда-нибудь в теплые края, к солнышку, к морю с ними бы я ни за что не поехал — хоть бы на коленях просили — не попросят, конечно, — с ними — ни за что. А с кем, подумал я, шагая за красавицей и ее отцом, плащ которого в лучах рассвета

сверкал все более и более — с кем? — Вот что, сказала моя спутница (спутница золотоискателя), у нее телефон есть? Не помню, забыл. Да я вообще у нее редко бываю. А что? Тут рядышком четыре телефонные будки. — Так я ей сказал. Эта сука, сказала она — не о красавице, об отце — прямо рукой показав — в спину, правда и негромко — так вот, эта сука ровно в девять должен быть в полном порядке. Какой у вас размер рубашки? Ворота? Сорок второй. Белая дома есть? Есть — я уже все понял. Ладно, сказал я, вы за ними идите, а я вернусь — с рубашкой. А хоть чай у нее есть? — спросила она — а зажевать? — Не знаю, сказал я, но я сам принесу — можно еще подсолнечного масла выпить, чтобы не несло — я ей посоветовал. Вот что, сказала она, гравюра Теофиля Готье, — если есть у кого-нибудь — из соседей — у вас нет, конечно, — спросите, пожалуйста. И я побежал.

**Глава восьмая,
не имеющая к делу никакого отношения,
но, как автору кажется, очень важная глава**

Предпошлем эпиграф.

...Сегодня закрылась весенняя международная лейпцигская ярмарка. К середине дня 14 марта советские внешнеторговые организации заключили контракты более чем с 20 странами мира на сумму, превышающую 200 миллионов рублей.

«Правда», 15 марта 66 года

...Вьетнам.

...Китайские представители...

...Запущен 146 спутник...

Из газет.

Тетядаки Шнаиков

...Каждый день — темный, в субботу, сволочь, напился, в воскресенье — пьяный, а в понедельник — сама видела — на платформе красное пил, а денег дома нет, сам же знает...

*Из разговора, вовсе не подслушанного, —
просто рядом говорили.*

Она спала в электричке — сидя, конечно, сидела напротив меня и спала — примерно ровесница. Ее лицо — устало — с утра-то — с утра. Ее глаза — закрытые все время и лишь где-то на остановках, когда электричка замедляла свой стремительный бег к Москве, вот лишь тогда приоткрывались эти голубые-голубые, а под ними — уже складки, морщиночки — ох! — приоткрывались и смотрели испуганно — не проехать бы! — а после уже успокоенно закрывались — до следующей остановки, чтоб снова после приоткрыться — на мгновение, посмотреть — оторопело — устало, осмысленно, конечно, осмысленно, но в самом простом смысле — не проспять бы, не проехать. Никогда я не забуду и не прошу никогда это русское лицо, молодое еще, молодое и также уже вовсе не молодое — за что? — засыпая и просыпаясь, летела она (время — в волшебство) мимо чудесных подмосковных мест, руки ее, рабочие, руки работающего человека — ну, скажем, наверно — и наверняка, — каким-нибудь физическим трудом — руки ее лежали на сумочке, крепко ее держали, сумочку, — а то ведь! — ох — тут она приоткрыла на лету свои бледно-голубые глаза — и — вышла.

Воображаемое письмо

Вообразите, хотя вы и воображения и лишены — не для жены — тут у вас — сколько хочешь воображения — что, вообще говоря — не так уж и плохо — замечательно — но — вообразите,

вот сад, не такой, не нескудный, хотя — он-то
и самый скучный,
все.

Я бы хотел поставить тут — здесь — точку — но
в одиночку

сложно

милая

(вовсе не милая — так, переспать,
хотя я — так — только спьяну, да и то).

Но — милая — все равно —
руки; ноги — по дороге.

Все же, вы знаете, неохота — чтобы какая-то, ска-
жем, морская пехота, или — земная — вот ваш удел. Не
завидую я женам старших лейтенантов, капитанов, май-
оров и даже генералов, — горжусь, — но — стихи — не
о том.

Воображаемое письмо в Ленинград

За кронверком — на повороте
есть дом'

Там вы живете

Вдвоем, втроем.

Мне — все равно —

За кронверком — на повороте,

Вот — за аптекой поворот,

За кронверком, на повороте —

Мой друг — живет.

Вот тут бы матом, милый мой,
вот тут бы матом,

Но — мат — словосочетания — это —
не ваши слова и не мои,

Но — вот все из но, хотя точку тут,

Как ставили былые классики — нельзя —

А надо сказать — в рифму:

любимая, все мостовые...

Гелладий Шпалников

Скучно.

Спи, моя красавица, сладко спи.

Кто все умеет, тот ничего не умеет.

Если он так говорит.

Кто опытен — если он так говорит — так он не только болен — плохо ему — бывает, — но — но — то — ты бог? — из-за, из-за?

Я вечен.

Так он сказал. Так.

Бог.

Бог его знает.

Врет он все, врет, честное слово, врет, врет, вранье, вранье, вранье и 567 раз — вранье — можно 892 — вранье — все врет — бог творец — из шашлычной.

Воображаемое письмо в 1657 году

Я уж не знаю — на каком языке...

(эпиграф)

На любом.

— Историю — на нашем языке — и то уж — смутно...

— Жалко — говорит мне шоколадница Лиотара, нравящаяся во времена и народы.

— Вы-то хотя бы знаете?

— Чего?

— Как вас зовут?

— Без имени. Шоколадница.

— Вы бы поднос отложили.

— Чем могу служить?

— Милая моя (не моя), ничем.

— А господин?..

— Предупрежден.

— Вот так.

— Вот так.

— Тогда — мне — переодеться.

— Да вы что? Утро?

— Вот — утром.
— Где мне подождать??
— Возьмите карету — раз уж господин.
— Повинуюсь. Ох. Как вас зовут? — крикнул я вслед
убегающей — она засмеялась.

Гл. 89

Мы ехали — в неизвестность.

— Вот вы даму пригласили — это она щебетала — с
утра.

— Что вы там, на подносе, несли?

(читатель, она была прекрасна, прекрасна, — вооб-
рази — каждый по-своему. Но — сидела — слева жен-
щина в кружевах, бело-розовая, причесанная — с утра —
в темном бархате.)

Гг.

го-00-0-000

Г — 2 — 44 — 67,

В — 8 — 00 — 90.

А — 8 — 55 — 666

добавочный

все звонят по телефону —

потому что

нужен он.

Автор.

Я знаю, как стары стихи про телефон — но — вот —
от станции Мары до горы Афона (за рифму —)
протянут

телефон, а если не протянут. То значит его тянут...

Бесполезность телефонных разговоров общеизвестна.

Только скорую помощь можно позвать. Да и то.

Но.

Тетрадь Шмаликов

О чем?
Вон птички поют.
Вон этих птичек, вон.
— Водевиль, — сказали.

...спала, милая, спала, дорогая,
уже ото всех бед оправившись — спала — не забывай
ее, читатель.

а— то—

Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой, с фашистской силой темною
с проклятою ордой — пусть ярость благородная
— ...пусть ярость.

...но.

...Играй, Адель, не знай печали!

...Адель? — Аня — Аля — играй.

Гл. 765

Привычно.

...Найдется из любящих кто-нибудь?

Рейнер Мария Рильке

...А ну, вас.

(Человек, бросившийся с Крымского моста.

Об лед — зимой.)

Беспечально мне — поскольку —

...В прорубь.

...Больно.

...Кепки скинем.

И пусть скинут свои беретика, свои шапочки, шля-
почки, все головные уборы, — ежели нет их — пусть
поклонятся —

...А ну вас, — а ну.

К сожалению, он, утопленник, был неправ.

Об лед.
Проще дома.
А эта показуха всеобщая.
Ну, тут уж знаете,
Минута молчания.
Не больше.
А что дальше.
Жалко.
Жалко.
Жалко.
И не жаль.

Гл. ...

Свидание.
Пробираясь вдоль калитки...
Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги — за дверью — ты
стоишь. Одна, в пальто осеннем, без шляпы,
без галош, ты борешься с волнением и мокрый снег
жуешь.

А кто мы и откуда, когда от этих лет — остались
пересуды — а нас на свете нет.

Б. Пастернак

...Но — Адель! — призыв, приказ, напоминание —
не знай печали — сама опечалишься, что, конечно, неиз-
бежно, то детям, Адель, передай — чтоб не печалились.

Автор

...Ибо — хариты, лель — кто они такие — понятия
не имею — но, видимо, достойные люди венчали — поз-
же — а вначале — и колыбель твою качали! — достой-
ные люди.

Играй, Адель!
— Бог с ней, — сказал я.

Геннадий Шнапков

— А вот и Терешкова летит! — сказала Марина, и Терешкова, видя нас, пролетающих рядышком, передавая приветы народам Азии и Европы, заметила — на лету — что мы — пролетаем — и из своего метеоритно непробиваемого и защищенного ото всех несчастий иллюминатора — помахала нам рукой — в перчатке.

— Ее Валеи зовут?

— Валеи.

— Сколько лет?

— Не знаю. Лет 25.

— Ох, зачем?

— Ну, нельзя женщин запускать, непозволительно.

Она замужем?

— Не знаю. Откуда я знаю? Вы, Марина, преувеличиваете мою информацию относительно той жизни.

— Вам не холодно?

— Не то слово.

— Сейчас, сейчас.

Марина сделала решительный разворот, вернее, остановилась и — помахав рукой — позвала пролетающий рядом предмет, яркий — под солнышком, — ибо мы входили в утро. То был очередной искусственный спутник — но — Марина знала, что делала! — гениальная женщина — спутник не с приборами — с собачками, мышками и кошками, и бабочками и водорослями — всего не разобрать в подробностях.

— Тепло? — спросила Марина.

— Тесновато.

— Вы еще не справедливы.

— Да нет, спасибо.

— А собачки — милые.

— Ничего — я пристраивался, едва от замерзания отходя.

— Володя чудесно все о них написал — помните — тут у булочной, одна — сплошная плешь — из себя — и то готов отдать печенку...

Гл.

вот уж не знаю какая, серьезно — ибо мы отбросили театр, когда, вы знаете, раскланиваются, тут — без поклонов.

Публика может выходить.

Мольер умер в театре.

Жаль.

Инфаркт?

Но неочевидно.

— Несомненно, — сказал самый главный человек по инфарктам. Как человек добросовестный — он спросил — как? — во сколько лет? — и —

тишина, молчание, плеск волны, вечер, бледно-розовый —

абвгд.

Упресече,

постарайтесь, постарайтесь,

пересечь.

абвгд — а— б— в— г— д.

Эта река — река — пересечения — очень красивая — дело было летом — пасека — ну — с утра побрился и — три яхты купил — вместо галстука — а— та — бедная Лиза — все у аптеки, а та, в электричке, уже.

Московское время 14 часов.

Гл. 567

— В анабиоз,

— конечно.

— на сколько лет?

—

— Ну?

—

— Прямо.

— Ни в коем случае.

Тетрадь Шмаликов

В штопор — совершенно сознательно летит Костя Арцеулов, друг мой,

Самолет — не беленький-беленький — а старенький-старенький

в штопор.

Штопор. Штопорт.

Мало кто видел, как..., вертась. Падают, все впоссовиях.

И негрл оги — сообразят. быстро.

Разговор, недолгий,

№ — в шт.

— Но зачем?

Спасатели откачивали бедную Лизу, Машу, Валу, Катю,

но — Лизу — в конечном ее результате.

Зрелище — откачивания — опустим. Если читатель не видел — лучше и не смотреть. Таково мое твердое мнение. Старичок — упорный был старичок — не уходил.

На песке.

— Зачем?

— Вот что...

— Если ругаться станете, лучше уж ударьте.

— Вы что, Карамзин?

— Да.

— Простите.

— Зачем?

Спасатели откачивали Лизу, возвращая ее к жизни, старались изо всех сил, переворачивали, приподнимали.

— Чтоб жила.

— О, это не ответ.

— Чтоб жила.

— Я вас не понимаю.

— А я вас понимаю.

— Мне кажется...

Тут Карамзин заговорил на свой лад, а мне было важнее иное — как там — с Лизой, как там — на песке —

вот уже села, вот уже покачивается голова, вот уже плечи под белым платьицем дрожат, вот уже зеваает, вот уже волосы — женщина! — рукою поправляет, вот уже — упала навзничь.

— Вот что вы наделали — говорю я — лишь бы что сказать.

— Я удаляюсь, ибо...

— Нет, вы уж не удаляйтесь.

— Тогда — удалюсь. Зрелище это мне омерзительно.

Лиза снова приподнялась, поддерживаемая мощными руками, локтями, приподнялась — приоткрыла свои бледно-голубые глаза — и — стала извиняться за совершенный поступок.

Аве, Маруся.

Мария.

Чтоб не ерничать, ибо, —

Аве — что такое — Аве? — мало кто знает — не то во здравие, не то — за упокой, — а — а — в — е.

...а бедная Лиза неслась к пруду. За ней бежали: Марина, Аня (быстрее всех) и я. К сожалению, а может быть, к счастью, все на свете повторимо — и — неповторимо — повторимо — бежит эта бедная Лиза — снова — в пруд — из-за — имени не знаю, но вряд ли что как у Карамзина — в общем, чтоб покороче — бежит — очень хорошо бежит, как бегунша со стажем.

По воде пошли круги,
Самому себе — не лги.
Над тобой они сомкнулись,
Те старинные круги.

Песенка.

Помните?

Все лето плохая погода, звучит этот вальс с парохода, над пляжем...

на катере ездят

Гекладий Шпалков

все лето — спасатели в желтых жилетах, спасатели душ — неразумных — раздетых и даже — разутых...

Эти полусонные, полутрезвые ребята — в желтых жилетах — я тоже — безуспешно — просто навыка нет — спасали эту бедную Лизу.

Положили мокрую на песок.

Подошел некий господин, старичок, но с выправкой военной.

— Зачем? — спросил он, глядя, как спасатели спасают.

Тут идет ряд матерных слов — от спасателей и от меня.

— Да, я понимаю, — сказал старичок — я и сам так выражаться умею, не выражаясь никогда, как вам не удалось бы выразиться.

— Зачем я здесь? — спросила Цветаева.

— Да я сам не знаю. Вы же сами попросились, а я не протестовал — раз уж вы попросились.

Гл. 23

Дом Марины.

Дом, на самом деле — дом.

Марина — не та, не та, в этом своем свитерке и плаще — наброшенном — не та — Марина, не та.

Все иначе,

Америка,

Аптекарьша.

Ну, это неважно.

Что аптекарьша —

Неважно.

Две Марины.

Ветер века.

Не объяснишь.

Нет.

Уж точно.
Ветер века.
Если это — ветер.
Проносит, несет, заносит, выносит,
Ветер века.
Он в наши дует паруса.
Понадеемся, понадеемся.
Надежды юношей питают.
Играй, Адель, не знай печали.
Ни в коем случае.
Ни за что.

.....?

Как сердцу высказать себя?

Тютчев.

Гл. 21

В Минске.
Не в Америке.
У меня была одна знакомая, дочь партизана,
вернее — сирота.
Она работала в аптеке, в Минске, напротив
обелиска — очень высоко — и — вечного огня по
тем, что — померли, так скажем, коротко — Марина.
Тоже Марина.

Гл. 22

Америка.
— Марина, как жизнь?
— Ничего.
— А как ты?
— Ничего.
— Познакомьтесь, товарищ, Марина.
— То же самое. — Та говорит, что помоложе.

Тетрадь Шмалков

- Марина.
— Как Юра? Как Галя?
— Ты из вежливости?
— Нет, из интереса.
— Ничего. И Юра и Галя — ничего. А как ты?
— Из вежливости?
— Нет, серьезно — как? Как дети? Как все устроилось?
— Отлично.
— Марина — это я к Цветаевой — это мои товарищи, — а это — Марина Цветаева.
— Слышала, но не читала.
— И не читай, — сказала Марина Цветаева.
— Все же — я посоветовал — вы уж так не разговаривайте. Читатель — можно и не читать. Тебе, Марина, можно. Ничего не читай вообще. Совет нелеп. Но — не читай, разучись грамоте вообще.
— Сумеете?
— Запросто.
Вылетим.
И вылетели — ровно над тем местом, где и предполагалось. Во что я верил — вылетаем.

Гл. 21

- Вылетели, вылетели.
Марина приземлилась лучше, чем я.
Тормозной парашют сработал.
Я — лично — не надеялся, ибо Марина все сочиняет —
но — сработал.
Нас выбросило туда, куда нам попасть хотелось.
Там шел дождик.
Ну мелкий, такой мелкий.
Зонтов — не нужно, а им, американцам
все под зонтами, в нейлоне и поролоне —
в чем? — Зонтов почти не виделось, на

что Марина, не удивившись, а усмехнувшись — улыбнувшись — мне сказала — суки.

Тут извинилась, хотя.

Стоп.

Мы с Мариной очутились там, где нам и быть недолжно — не по чину, — я имею в виду — и — на виду — Марину — но — очутилась с неба свалившись. С неба. С помощью тех систем торможения — если падаешь — о чем Марина забыла — или — понадеялась, что и тут ее уж пронесет — нет — не пронесло, все было технически исполнено очень и очень точно.

Америка.

А мы — мы — по делам.

— Марина, это их дела. Нам важно — не пролететь.

— Не пролетим.

(собачки, милые, что ели из своих вроде мисочек.)

— Вы понимаете — не промахнуться.

— Я вам обещаю.

Читатель, земной шар — сверху — выглядит блистательно. Он голубой — морей больше, чем суши, — он — родина человечества — голубой, бледно-голубой — а иной раз и — ярко. В общем — поскольку у нас с Мариной были свои дела — вовсе не космического порядка, но — женщина в ней преобладала и — вот тут уж, читатель, я ничего не понимаю. Абсолютно.

Как красиво все было — прекрасно.

Мне сверху видно все — ты так и знай.

Летели.

— Марина — не пролететь бы. Гренландия-то позади.

— Не пролетим.

— Да я вам верю, Марина, но — чисто технически — пролетим, а для дела летим, — я — не для выяснения — повидаться, а вы — уж не знаю в каком качестве.

— Мариной.

— Марина, Марина, Марина — ты маленькая прима-балерина?

— Не обо мне.

Тетядаий Шна-ликов

— Знаю.

— Не пролетим.

— Уж Калифорния под нами. Вы посмотрите?

— Я вижу.

— Что делать?

— Во-первых, — вы уж простите, что я так с вами говорю — освободиться от собачек — вернее — собачек отсадить от нас.

— Проще простого.

Итак, мы оказались в Каире. Испытывая некоторые трудности — впрочем — технического порядка: отсутствие пробковых шлемов, незнание арабского языка и еще чего-то неосновного, а основным была жажда — увы — не познания — а воды. Все-таки сказывалось, что накануне, перед отлетом, мы выпили. Не читайте на ночь журнал «Наука и жизнь», советую, очень советую. Далее мы — причем небезуспешно — производили уникальные раскопки пирамиды Тутанхамона 25-того, которого так глубоко закопали — вернее — запирамидили, что нам стоило большого труда пробраться сквозь лабиринты, провалы, освещенные смутно — причем, один из нас провалился в бездну — вот кто — забыл, но мы все добросовестно разыскали, все предметы обихода, быта и небытия, где в ряду каких-то чудес роскоши, среди которых было четыре совершенно одинаковых — чистого золота — Нефертити, одна из них, причем, была в кепке, — оказалось множество других предметов — вот уж не ожидал, вот уже — не надеялся: не мыслил, не помышлял, что в пирамидах скрываются, кроме мумии, родственники, знакомые, соседи, какие-то самые наилюбимейшие собаки и кошки, парикмахерши, лифтерши, тети Вали и дяди Миши, одна знакомая девушка с Серпуховки, что невдалеке от метро, и рябая продавщица пива, забывавшая каждую зиму, когда пива на открытом воздухе не продают, что мы знакомы, что меня крайне расстраивало, и тут они все — и продавщицы, и прочие — вдруг полетели на парашютах — разноцветных, разнообразно и разновысоко

покачивающихся в теплом вечернем небе, подпрыгивая ногами, улыбаясь, стропы придерживая, едва не касаясь ногами крыш и — прямо на меня, а среди них — вот уж чего не ожидал, не надеялся, не верил и не предполагал — летела моя любимая, ах, как она летела! — в бледно-зеленом платье, румяная, как заря, выцветшая, светло-волосая, рыжая, голубоглазая, очень серьезно относящаяся, очевидно, к полету — в таких совершенно летних сандалиях или же тапочках — не разглядел, ибо заслонили ее тети Маши и дяди Пети, пролетая мимо, но что успел, то разглядел — что смотрела она куда-то в сторону, где пролетал некий молодой орел в чем — не заметил, ибо ничего кроме любимой заметить не мог — а золотоволосая ее голова, рыжая, родная — глаза удивленные, пролетающие, ресницы выцветшие — хоть бы слово сказала, пролетая, — ничего, и не сказала ни единого слова, тихий ангел пролетел. Я пытался приостановить — задержать хотя бы — этот сон, оттеснив в сторону тетю Машу, парикмахершу, которые упорно как-то загораживали мою любимую, оттесняли ее на задний план так, что лишь где-то, вдалеке, уж бледно зеленело ее платьице, тапочки покачивались, покачивались, все сносило вбок, в лес какой-то — отдаленно — сосновый, сносило — увы! — не разглядеть. Прости, читатель, прости. Читатель, ты прости, когда грустит писатель, ему сюжет вести все кажется не кстати, ему сюжет вести — как иногда грести — желанье пропадает, а лодочка плывет. Плывет, плывет по Волге лодочка, плывет туда, где милый мой живет, где ждет, скучает — долго, куда меня Волга вдоль по течению несет. Есть такая песенка, песенка любимая. Нескончаемо долго — после пирамид, парашютов и пролетающих любимых — я брел по какому-то лесу, в прохладе и покое. Время близилось к вечеру. Все было беззвучно, все остановилось. Птицы останавливались на лету. Шишки не долетали. Белки, подпрыгнув, висели, вернее — зависали — что им несвойственно, ибо даже при прямом падении — а может, нам-то кажется, что они падают,

Тетядаий Шнаиков

а они — летят, — так вот даже белки, помню, остановились. И листья, медленно спадающие с деревьев, встали, как им уж удалось встать в воздухе, переворачиваясь и не переворачиваясь, боком и вкось и вкривь, но — застыло все. Я брел по этой застывшей и глубоко мне невыносимой местности, где все молчит, висит, не сообщается — брел, понимая, что я — во сне, но одновременно — понимая, что вовсе это не сон, и нет грани между сном и тем, что считается жизнью, — условно, читатель, условно! — безусловно лишь то, что человек спит и снится ему поле и снится ему — с настойчивостью и безнадежностью, что можно это вновь повидать, — его любимая. Снится какая-то электричка — почему? Электричка мчалась прямо через поле, осеннее, пустое, печальное — что еще сказать? — под небом осени печальной — летит — опять же в полной тишине, а любимая — тут, читатель, на самом интересном, а может быть, и самом неинтересном месте, — лента оборвалась. Забыл я, что в таких случаях кричат киномеханикам — но тут уж, поскольку я сам был и киномеханик, и зритель, и какой-то неведомый прибор, с помощью которого можно увидеть наяву любимую и раскопки пирамид, то тут уж никто не виноват, кроме реальной жизни, которая входит в сны со всей бесцеремонностью реальной жизни. Обычные. Только зря она напивается. Хотя — какое мое дело? И так, и так. Будьте здоровы, милая. Я уж сразу. Ура. Вот вы писатель, говорит она, писатель. Да нет, говорю я, какой я писатель — я ей вполне серьезно говорю. Нет, отрицает она, вы все-таки писатель. Да вы же ни строчки не прочитали, ни странички. Да я вообще не читатель, не читательница. Но — по общественному положению — вы писатель. Нет, говорю я, нет такого общественного положения. Можно быть депутатом, судьей, милиционером — я намеренно беру должности, а не службу, хотя — где она, эта грань между должностью и службой? — вот я и запутался. Потому что с утра тоже ничего не ел, а выпил — ох, плохо это кончится. Давайте я за вас замуж пойду. Нет уж,

нет. А чем я хуже других? Я красивая, правда? Мне бы душой быть — вот бы помогло! Но я — не дура, то есть, конечно, дура, но не в практическом смысле, душой надо родиться. Дура — это талант. Сволочь — тоже талант. Неохота быть юродивой, но уж в такой день! Монологи продолжаются, а вы, писатель, слушайте. Слушайте и кушайте, закусывайте. А то мы оба будем хороши. Кстати, я вас с женихом познакомлю. Вот-вот нагрянет. Жених. Подколесин. У меня удобно — первый этаж. А представьте, каково бы с пятого! — допустим, выпрыгивать! — но — мы — не допустим. Мы его остановим и выставим через дверь, как гуманисты, ведь писатели — гуманисты? Кто сеет разумное, доброе, вечное? Через дверь. Летите голуби, летите. Но — он мне шанель принесет. Вы знаете, что такое шанель? Дерьмо. У всех сук обязательно должны быть шанель. Как пароль. Вот вы были в Париже, как там, у всех шанель? Да не был я в Париже. Быть этого не может, говорит она. Как же так? Писатель обязан побывать в Париже. Вот Эренбург. Я читала. У меня денег нет, говорю я, нет и нет. И вообще. А кто жених? Ох, говорит она. Ох, боксер. Очень хороший боксер — я видела — не сочиняю. И вообще очень хороший человек. Даже странно, что такие бывают. Он такой хороший, что его под колпаком стеклянным надо поместить. Правда, он задохнется — как вы считаете? — или можно шлангом туда воздух пропустить? У него очень смешное лицо. Нос. Совершенно мягкий — мнется. Все бы хорошо, но — большое стремление к культуре. Все подписные издания покупает. С артистами знаком. Вот купил книгу: из парижского наследия Тургенева — мне принес. Весь мир объехал — не то, что вы. И он — богатый — опять-таки не то, что вы. Ну ладно, говорю я, ладно. Давайте выпьем за его здоровье. Наверняка — раз он боксер — он хороший парень и всякого понатерпелся. Вот нос. Да и вообще мы мало что в этом понимаем, когда бьют тебя ежедневно внутри страны и на международных соревнованиях. Но, читатель, хотя утро уж

Тетрадь Шаликов

приблизится, история, к сожалению, не кончается никак — то есть — спать пора, а не выходит и — не надейся — не уснуть. У меня был простой план. Если она не уснула, заставить ее выпить — даже если она не захочет и будет сопротивляться — в чем, конечно, я был мало убежден, но вдруг подумает — спаивает для каких-то вполне определенных гнусных целей, но целей не было иных, кроме очень простой — если не спит — пусть заснет, свалится, провалится, как в пропасть, в колодезь, в прорубь — лишь бы провалилась и выпалась, а назавтра все образуется, образумится, а я — что я? — другую женщину люблю, а она меня упорно не любит, хотя если в упорстве есть определенное постоянство, то, следовательно, и причины тому есть. Но — дело не в этом. Сам я пить не мог, не стал, но ей — без труда, впрочем, влил, полстакана хватило — и она, милая, уснула мгновенно, что-то говоря в полусне, что не имело никакого отношения к происходящему, и называла меня совершенно иным именем, которого я не расслышал вполне, но суть ее прощания с этим днем была примерно мне ясна — и повторять его неохота — оно слишком похоже на все, что она говорила — произносила — скажем так — ранее, но самое важное, что я снял с нее туфли, накрыл одеялом, поудобнее пристроил подушку, помолился — самыми матерными словами из тех, что знаю, что кончился этот вечер — не подозревая, что все только начинается, — раскрыл и расправил раскладушку, лег и — вот тут все и началось. Читатель, я не избалован происшествиями. Жизнь моя — обыкновенна. Более того — я вообще, в принципе, так сказать, против происшествий такого рода, о которых пойдет речь — но — что делать! — что делать, как быть? Тут бы спать, спать — как она вдруг запела во сне — спать-спать по палатам пионерам, октябрятам, неженатым и женатым! — Запела. Спи, моя красавица, сладко спи. Хоть не моя — но — что скрывать! Красивая она была и во сне и наяву, красивая. Просто мне за таких красивых всегда как-то страшно. Красавица. Рука в сторону

висит. Лицо совершенно детское, спокойное. Спи, моя красавица — хоть и не моя — радостный светлый сон пусть уж на тебя слетит, хотя, подумал я, вряд ли ей что-нибудь сейчас хорошее приснится или даже нехорошее, но хотя бы не кошмар. Опыт такого рода засыпания у меня был, есть и будет — поэтому, будучи предсказателем снов, я вполне вижу все за нее в подробностях. Моя красавица — уж не моя — в том смысле, что все мои наивные, как я понял, способы усыпить ее, отправив в потусторонний мир, где, может быть, хотя и маловероятно, тоже что-нибудь снилось, или же было забвение — с медицинской точки — с позиции чистого разума — самое лучшее, но позиции чистого разума оказались слишком шаткими — вот как в юности спят, вот вам пример. Свежо, как — уж не знаю, как что — спросонья не разобрать — она стояла передо мною, спящим, не раздевавшимся, то есть — не раздевшимся вполне от холода в комнате, и бесцеремонно расталкивала меня. Рядом с ней стоял человек средних лет в каком-то переливающимся, немнущемся, очевидно, нетонущем и негорящем тоже не то пальто, не то куртке — во всяком случае, очень подтянутый, выбритый, излучающий трезвость, предприимчивость золотоискателя, хотя золотоискатели вряд ли такими уж были трезвыми — судя хотя бы по литературе — но — времена меняются, читатель, меняются времена — но главное, что рядом с золотоискателем стояла прелестная молодая женщина, одетая во все абсолютно новое, современное и — скажем так — с обдуманностью, которая сочетается — бог знает, как у них это получается — да и он вряд ли, думаю, что и он — господь бог — всего бы не предвидел, одеваясь с утра, причем, как была одета, умыта и причесана эта сподвижница золотоискателя. Добавим только, что обдуманность — не самое худшее, что может прийти в голову. Да и на манекенщицу она была не похожа, а так, знаете, как с гравюры: черный бархат, кружева — сон, продолжение сна — сошла с гравюры, из стихотворения Теофиля Готье, которого я не читал. Но

Тетрадь Шпаликов

мне всегда — со стороны и через устные, вольные переводы — казалось, что у Теофиля Готье — примерно, конечно, вот такой вкус, хотя, конечно, сделаем скидку на то, что это все же происходит в 66 году, что, конечно, резко усложняет дело. С Теофилом Готье и прочее. Так они стояли, втроем, над моим распростершимся телом, ожидая чего-то. Женщина из Теофиля Готье (условное наименование) явно нервничала, хотя с момента моего просыпания прошло гораздо меньше времени, чем я затратил на чисто внешний рисунок картины — добавим, что в комнате, хотя свет я забыл выключить, засыпая, было уже окончательно светло, бледно-светло, но — все же утро.

Гл....

Свидание.

...И вообще, вообще, и вообще,
напоминание.

Ходит девочка в белом плаще

В этом мире —

В этом мире — далеко не потустороннем — хотя —
вспомни, читатель.

— Куда же вы провалились?

— В колодец.

— Э, слабо.

— А мне — э — сильно — не нужно.

— Ну, ладно.

— Чудесно.

— Это вам.

— А нам?

— Нам предстоят великие дела.

— Я рано поутру — не шучу.

— Правильно?

— Прекратите со мною так разговаривать.

— И вы.

- Мгновенно. Что вам нужно? По-деловому.
- Ах, какой вы деловой!
- Вот что, ложитесь спать — снова.
- А я лягу — снова.
- А со мной?
- Миф.

Свиданье.

... Я ехала домой.

Песня.

У пруда. Сидел бы и сидел. Вот так — на воду глядя. Не глядя. Посматривая. Так, знаете, равнодушно — как бы сказал — не ручаюсь, впрочем, — Ф.И.Тютчев. Редко бывает хорошо — но — вот получилось. Какая теплая огромная ночь. Костер в тумане — светит. Звезды — как всегда бывает за городом — в городах-то их просто нет, а тут — уж не знаю как их назвать — галактики, междугалактики, юпитеры, веныры и проч. — засверкали в таком чистом небе и так чисто сверкали — светились — скажем — что.

И утро приближалось волшебю.

У пруда.

Все блекло — постепенно, все блекло.

Птицы.

Раньше людей встают.

Рай здесь или ад — не знаю — смелости определять не берусь — да и наверно — наверняка — такое разделение устарело — рай или ад. Но пруд — хорошо. Звезда упала. Птицы. Все светлеет, светлеет, светлеет. Блекнет. Такое огромное и счастливое небо над головой. Межгалактики исчезли, провалились в свои уж замуж невтерпеж галактики — птицы переговаривались, разговорились — с утра. Вот о чем они говорят? Праздный вопрос, праздный — я понимаю, — но — о чем? Светает. А все-таки — о чем? Какие-то у них свои дела. Недоступные. Хотел бы я, конечно, с ними поговорить — с птицами,

Гелладий Шпалков

но — они сами по себе, у них свои скворешники, нами повешенные, а то — эти уникальные сооружения — гнезда — а то — светлеет, к сожалению, светлеет, а мне — по — делам.

Раскланиваемся.

Столько поклонов — столько поклонов — прямо — институт поклонов.

Но — есть чему поклониться.

Прощай, эта вода. Прощай.

И тут я заплакал. Это, конечно, ужасное зрелище, когда плачут — не женщины — хотя это не менее утрашающее зрелище — но — вот — никто не видел — единственное оправдание кроме воды — а впрочем, перед кем оправдываться?

Допустим, что помогал Гольфстрим.

Если, конечно, Гольфстрим это допустит, наше вмешательство в его, совсем от нас отдаленные, способы — выращивать в этих маленьких чудесных даниях, голландиях — и — где еще? — да больше и негде — тюльпаны, овощи — без парников — вообще — пораньше — в смысле зимы — снимать зимнее — солнышко — вот вам Гольфстрим, а мы — вмешиваемся — чисто внешне, разговорно — кто вмешается в заботы Гольфстрима? — Господь бог, которого, как утверждает Марина Цветаева, — нет. Но.

Может, ошибается, раз есть Гольфстрим?

Если все так разумно — и — неразумно?

Это же сочинить надо, Марина, сочинить.

Каждый человек — великое сочинение.

А кто?

Кто?

Почему падает снег. Почему у девочки волосы льняные. Почему — столько почему — страниц, Марина, не хватит — все — почему — почему люди счастливы и — несчастливы —

почему дождь? — Почему — стоп.
Все равно вы, Марина, не ответите, а я —
и спрашивать не стану, — не надеюсь на ответ.
Я бы сам его — от себя получил — но вы
уж так меня разуверили — а я доверчив — хотя,
Марина, как кто-то — забыл уж кто — сказал, —
походя, очевидно, на ходу — а они, рядом
стоящие — подхватили — нельзя верить женщинам.
Никогда.

Кто-то был — гений. Гении — известные трепачи.
Они — себе на уме. То — се, а все — все — в
свои гениальные произведения сочинители — самые
лживые люди, но — как это не совместимо —
правдивые — Мольер.

— Мне и героя позже вручили. Много позже.

Вы уж меня простите.

— Что вы.

— Понимаете, я сейчас депутат, депутатка
районного совета. Они, эти люди,
так меня сейчас используют. Вы уж — извините.
...Голову склоняю.

Персонажи.

Марина.

Аня.

Я.

Летим.

Очень быстро.

Вращаясь и переворачиваясь — в жутком
холоде — спутника по дороге не оказалось —
я — терпел.

Гл. 57

Америка, Америка, Америка и еще раз — Америка.

Жлобская страна — так и есть, хотя — ничего жи-
вут — чего уж сочинять — живут.

Геннадий Шнапков

Но — жлобы.

Америка.

Аня как-то стеснялась. Марина — с ней сложно — я не знаю — как.

Марина молча — пока мы летели — молча все обзревала — молча — приземлялась — молча пошла.

Город был чудесен. Правда, чудесный летний город — в начале мая, в той полосе — не средневропейской — в той американской полосе — Гольфстрим, допустим.

...Дело сделано.

...Скучно перепечатывать сообщения, которые тогда — в 42 — читал весь мир.

...Убит Кох.

...Наместник.

...А девочка?

...Герой Советского Союза.

...Герой, читатель, — герой.

...Герой.

Она жива.

Поговорим. В Минске — это нам по дороге.

— Да я не знаю...

— Да я просто так.

— Вы знаете...

— Не все, конечно.

— Ну.

— Я понимаю.

— А что вам нужно?

— Ничего. Как вы себя чувствуете?

— Вы знаете, я.

— Понимаю.

— Я же вас не знаю — совсем.

— Понимаю.

— Спасибо.

— Как это было?

— Просто. Всем кажется — сложно, а просто.

— Как?

— Я воспоминаний — мемуаров — не пишу, не умею, это было очень просто.

— А потом?

— Это вас не касается, что потом.

— Я не настаиваю, если так уж.

— Вот так, так.

— Жалко, — говорю я.

— Что?

— Ну...

— Знаете, я дала подписку — ни о чем — никому — не говорить, так скажем.

...А ну-ка, девушки, а ну, красавицы.

Песенка.

...А ну-ка, девушки, а ну.

Приказ.

...Окопы рыть.

...Под Москвой.

...

...

...

...

...Пускай поет о вас страна.

И каждой песнею — пускай прославятся.

...прославятся.

...Среди героев.

...Ваши имена.

...Ваши, кого бросали, забрасывали — в Германию, в Австрию, в Белоруссию.

...Ваши.

...Все — поименно.

...Чтоб ни одного имени не пропустить.

...Хотя — какая разница

(скажет сволочь).

...Нет.

...И та милая, прелестная женщина — тогда совсем еще молоденькая, совсем, со своими ясно-голубыми,

Гелладий Млашков

белорусскими, польскими, смешанными, перемешанными — глазами — с лицом — не из Теофиля Готье — вовсе нет — горничной, несущей стакан воды? — Помните? — стакан воды — с шоколадом — нет. Просто советская девочка, комсомолка. Красавица.

...Герой Советского Союза.

...В постель.

...Для дела.

...В постель.

...Для дела.

...В постель.

...Для дела.

Гл. 57

...Ярким весенним днем.

...Весна, весна на улице.

...Еще незапыленная — весенняя Москва.

...Весна.

...Весна.

...Мимо ехала машина — автофургон — где — по бортам — было начертано — мука.

Два раза,

Мука.

В смысле — мука, конечно.

Нет выхода — так пишут в метро.

В метро.

Не верь, читатель.

Ни в коем случае,

есть выход, есть.

...Весна.

...Весна, весна на улице — весна,

...Трамвайные гудки.

...Как птицы.

...Ох.

Теперь переходим — к делу, к делу, как следователи — убежден — самые серьезные — и — обязательные — люди на свете.

Гл. 765

Мы так мирно беседовали. Я бы ему морду набил, но после — передумав — за что?

Он всю жизнь писал некрологи.

Вот вам — биография.

— Ну?

— Как это у вас получалось?

— Профессия.

— Но.

— Профессия.

— Не оправдание.

— Ну...

— Вот что. Вы — человек уж пожилой, но я вас из теплого дома выведу — и — вы уж простите — избыю, — а так — в тепле поговорим.

— Нет.

— Тогда пошли.

— Я — в милицию позвоню.

— Бессмысленно.

— Всерьез?

— Идите вы...

— Тогда — я готов.

— Мне сегодня — и ни к чему.

— Даже так.

— Вот так.

— Вы подумайте — я завтра приду.

— Во сколько?

— Во сколько вздумается. Поскольку — вы — сволочь — вас бы, — на увы — а не на вы — выв — так вот. Чтоб утром был готов. Чтоб переписал.

— Что?

Тетрадь Малков

- А то — по морде.
- Что?
- Сами знаете — вон.
- Во сколько?
- К одиннадцати.

Гл. 657

...Что вы за страна? Полярную трагедию вы превратили
в национальное торжество?

Б.Шоу — по поводу гибели «Челюскина»

Владимир Ильич, как всегда — после обеда и небольшой прогулки — по совету Инессы Арманд, сразу после обеда ложиться спать крайне нелепо — хотя нелепость такого рода советов — в этих обстоятельствах — более чем очевидна — но Владимир Ильич, прогулявшись, спал — вернее — он дремал, накрытый теплым одеялом, в тиши. Надежда Константиновна — не вмешиваясь — как всегда — вязала — ее к этому приучила вдова — теперь уже жена Тухачевского. И еще — три сгоревших совершенно случайно американских космонавта — заходя к Владимиру Ильичу вместе с Д.Кеннеди, ей посоветовали, что вязание — лучший способ отвлечься от того, отчего отвлечься охота. Кеннеди. Он советовал, а о чем-то — недолго, впрочем, поговорил с Владимиром Ильичем — мы — три сгоревших космонавта, Надежда Константиновна и я — разговаривали — я — на уровне советского обучения иностранным языкам, те — и Крупская — на уровне — вполне — на уровне — но о ерунде — пока те говорили.

Кеннеди вышел — расстроенный, грустный какой-то. Не от разговора. Мне — Марина после говорила, что он все время здесь очень невеселый, а варень он очень хороший. Сам пошел к Ли Харви Освальду — не выяснять — просто пригласить на завтрак. Причем — сразу. В первый же день. Он же на торпедном катере служил.

А здесь... Линкольн — одолевает. Тоже — хороший человек. Сергей Миронович — они с Линкольном — его сразу поняли, а он их. Джон Рид... Ну, с ним сложно. Человек он прекрасный, только вот. Это мне говорила Марина гораздо позже — а что — вот? Да они тут все переругались — так сказала Марина — все тут — она добавила несколько — число, читатель, не имеет значения — матерных слов — но человек он хороший. Настоящий мужик.

Воображаемые письма

— Проще бы написать — вот почта — вот. Ну, если кот дорогу перейдет — вот — проще бы, а — сидел на почтамтах — станционных — очень и очень скучных.

А зачем я все это вам писал — вернее — пробираясь — сквозь единственно пока возможную связь между людьми — словами.

Мне уж точки — меж запятыми — ставить — лень и с букв заглавных — дрень — брень —

В ожидании женщины.

— Как, Марина?

— Ну, как у кого.

— Вы.

— Не в форме сейчас разговаривать.

— Да.

— Но?

— Форма-то разговоров изменилась.

— Да — но.

— Вы.

— Я пообвыкнусь, хотя...

— Дело в том, что вы, как и мы, впрочем и между прочим, — с многоточием, коего я ненавижу — повторяем путь людей, уже ушедших, как и ушедшие

Гелладий Миланков

повторяли чей-то путь. Вырваться из повторения — смертельно.

- А Блерио, летящий — через Ла-Манш?
- К чему он?
- Он — ни к чему.
- Мы же договорились так не разговаривать.
- Раскланиваюсь. Марина.
- Аня, только вы не уходите, а то посмотрите.
- Я это уже видела.
- Что?

Гл. 54

Вот то, что — из той главы вернем, — что? чтобы — в штопор.

...Жить бы тут сто тысяч лет
(по въезде в новую квартиру).

...читал.

— Ну — хорошо.

Далее.

Бесконечная уже полуснежная дорога уводила к мосту, за которым вставал дом.

Приехали — два Сальери — к Моцарту.

— Один Сальери был, впрочем, под иной фамилией. Какая-то англо-русско-немецкая.

— Два Сальери.

А Моцарт — один.

Амадей, естественно, был удивлен.

Тот Сальери, постарше, решил его сразу удавить.

Вторично — к чему?

Но Сальери — помоложе — гуманист, сволочь, решил — повременить — для дела.

Междувреме́нь и междуразговоре́ — самый страшный момент.

Удавить?

Утопить?

Отравить?

(повторенье пройденного).

А что?

Моцарт — в одиночку — за что я его люблю — одного Сальери быстро отравил — и не с помощью вина — просто дал по морде — и — в уже рот раскрытый всунул цианистый калий, а другого Сальери — что постарше — мы вместе повесили на центральной площади — при огромном стечении народа.

Амадей, улыбаясь — от происходящего, мне сказал — вот что — не понял. Ибо говорил он — по-немецки. Но — видя, как они болтаются — один — в мертвой блевотной луже, другой — покачиваясь — на перекладине, уставленной профессионально — слава богу, — это я понял — и, знаете, — не жаль, нисколько. Ни на секунду. На мгновенье — и то — не жаль. Разговор с человеком, написавшим гимн Советского Союза.

— А-а...

— А-а

— Ббб.

— И.

— С.

— К,

— ь

— Ш

— С.

— ц

— к

— р

— Б

— В

Шел снег.

Все было чудесно оснежено — и в Уругвае — судя по прошедшему рядышком транзистору — тоже — ничего.

— а,

— б.

Тетрадь Шмалков

— в,

— г.

Алфавит.

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила — навеки Великая Русь

А ведь все правильно.

— а

— б

— в

— г

— д

— у

Ох.

Гл. 25

Лето. Ничего космического. Абсолютно — уж поверь, читатель — абсолютно. Лето, жара. Мороженое у вокзала — ох! — Жара, лето — сами знаете, не мне вам рассказывать — просто очень жарко, дымно — асфальт варят, дымно — или суетно — от машин, от толчеи, от всего, что называется летом в городе.

Лето.

В городе.

В Москве и — и— около Киевского вокзала.

Лето.

Гл. 26

Мы долго, долго ехали — в электричке — втроем — Марина Цветаева, моя любимая и Аня.

Мы, естественно, молчали.

О чем говорить? О чем?

Мороженое дамы ели.

Аня в окно выбросила, а Марина, поглядывая на пролетающие пейзажи, прикасалась — что ли — в общем, приканчивала это произведение, обернутое в фольгу.

Едем.

Мы едем, едем, едем, веселые друзья.

В тоске.

Уж таких невеселых — даже извиняться неудобно.

Впрочем, и не стоит.

Ехали.

И гляжу, и гляжу я в окошко вагонное — наглядеться никак не могу.

Васильев.

Ехали, впрочем, недолго — и — ветерком продуваемые, ветерком — что крайне важно.

А она спала, просыпалась, пугалась, что проедет.

В испуге, что проедет, на работу опоздает.

Гл. 27

Нам недолго было ехать.

Марина мне сказала:

— Может, не стоит?

— Сойти что ли?

— Мы же не долетели, а это дело — уж прошлое.

— Вы меня послушайте, — сказала Аня, — хоть я и помладше. Вы же знаете, Марина Андреевна, что с Борисом Леонидовичем мы обо всем договорились. И Рихтер будет — я в этом плохо разбираюсь — но — Брамс.

— Художница пачкала красками травы? Роняла палитру?

— Вы знаете, Марина Алексеевна, нам все равно обратно надо, а у нас — с ним, — она на меня показала, — еще дела.

Телладий Михалков

— Управимся, — сказала Марина.

— Я-то верю.

А Моя любимая — не вмешиваясь в разговор — молчала, помалкивала.

Из вежливости.

У нас — с Мариной — были свои дела — но уж мы решили пренебречь — раз все повторилось — совершенно случайно — пренебречь — делами, а мы люди деловые, очень.

...У дороги чибис, у дороги чибис, он спешит, волнуется, чудак, а скажите чьи вы и зачем, зачем, торопитесь сюда?

...Трата-та, трата-та, мы везем с собой кота.

...В мешке.

...Чижика, собаку, кошку — забияку.

Михалков.

...Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь, да здравствует
созданный волей народа — великий, могучий
Советский Союз.

...Да здравствует — на самом деле.

...Славься, отечество, наше свободное...

Михалков. Регистан.

...Мы к славе отчизну свою приведем.

Михалков. Регистан.

...Постараемся.

...Знамя советское, знамя народное

...Пусть от победы...

...Ох.

...Пусть от победы к победе — ведет.

Михалков. Регистан.

...А что делать?

Чернышевский.

...Все счастливые семьи...

Из Анны Карениной.

...Была — не была.

(Вольное переложение быть или не быть.) Шекспир.

...Быть.

...Быть.

...Быть.

...Палками, ногами, — не умолять, не прикидываться.

...Бить.

...Ради тети Маши, дяди Васи, ради — бить.

...Свѳлочи.

(Общепародное выражение чувств.)

...Тихий ангел пролетел — по небу полуночи...

...Впотьмах...

...Я девчоночка жила, забот не знала.

Песенка.

...По небу полуночи.

...Но — притворитесь, — этот взгляд все может выразить так чудно, а обмануть меня — нетрудно, — я сам обманываться рад.

Пушкин.

...Играй, Адель, не знай печали...

...Не отчаивайся, Адель.

...А жизнь прекрасна, как всегда.

Блок.

...Традиционно — за здоровье Мери.

...Тани, Маши, Вали, Шуры, Жени, Кати, Наташи, Ирины — но — за здоровье Мери.

...Без гостей.

...Тихо заперши двери.

...В одиночку.

...Не стоит, в одиночку.

...Созвать гостей.

...Кого?

Телларий Шнашков

...Кого любить, кому нам верить?
...Солнышко светило, птички пели.
...Ложитесь спать на правый бок, ибо спать на левом боку — где сердце — хуже, чем на правом.

И. П. Николаева, врач.

...Летите, голуби, летите.
...Пусть всегда будет мама.
...Совершенно серьезно — пусть всегда.
...Играй, Адель, не знай печали...
...Не знай.
...Забудь.
...А жизнь — прекрасна, как всегда.
...Как иногда.
...Грачи прилетели.
...Улетят.
...Прилетели. Все же, примчались.
— Просто интересно — что.
— Ну, свергли.
— И что?
— Ничего не изменилось.
— Вовсе?
— Вообще и в частности.
— А кто ж взамен?
— Он же.
— Он?
— Он.
— Он?
— Он.
— Бог?
— Бога нет.
— Не верю.
— Сами убедитесь.
— Марина, вы меня так уж не расстраивайте.
— Напротив — я просто пытаюсь все поставить на свои места — все ваши представления.
— Спасибо.
— Не за что.

А ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНА, КАК ВСЕГДА...

- Все же — спасибо.
- Не за что.
- Спасибо.
- Прекратите.
- Молчу.
- Вот и молчите.
- Спасибо. Бога нет?
- Нет.
- Точно?
- Не ручаюсь — сама не видела, но вроде — интуитивно — нет.
- Жалко.
- Очень, а и — не нужно.
- Вот новость.
- Старость, — сказала Марина, — старость, — какая уж там новость — чего мне вас учить? — сами все посмотрите.



Теннадий Шпаликов

ПРО СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ

*рассказы
наброски
дневники
письма*

АВТОБИОГРАФИЯ*

Я, Шпаликов Геннадий Федорович, родился в сентябре 1937 года в г. Сегеже Карело-Финской ССР, где мой отец, Шпаликов Федор Григорьевич, строил Сегежский бумажно-целлюлозный комбинат. Он был военный инженер.

В 1939 году после окончания строительства мы вернулись в Москву.

В 1941 г., как только началась война, нас вместе с академией им. Куйбышева, где служил и работал отец, эвакуировали в г. Фрунзе. Жили мы, вернее, в деревне Аларга — это недалеко от города.

Зимой 1943 года вернулись в Москву. 28 января 1944 г. в Польше погиб мой отец, инженер-майор Шпаликов.

В 1945 году я поступил в школу, а в 1947 году военкоматом Ленинградского района г. Москвы был направлен в Киевское суворовское военное училище как сын погибшего офицера.

В Киевском суворовском военном училище я находился с 1947 по 1955 г. В училище был членом комсомольского бюро взвода, редактировал газету.

В июле 1955 г. окончил Киевское суворовское военное училище и был направлен в Московское Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР.

В октябре 1955 года приказом начальника училища был назначен на должность командира отделения с присвоением звания мл. сержанта.

* Написана при поступлении во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

ПРО СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ

В январе 1956 г. на батальонных учениях я повредил колено правой ноги и до марта 1956 г. лежал в Хлебниковском военном госпитале.

7 марта 1956 г. Окружной медицинской комиссией был признан негодным для дальнейшего обучения в военном училище, а несколько дней спустя приказом начальника училища по состоянию здоровья я был уволен из Армии. Сейчас живу в городе Москве, по ул. Горького, д. 43, кв. 110 с матерью, с 1952 года — член ВЛКСМ.

Г. Шпаликов

26.06.56 г.

г. Москва

Тетядаки Шлакиов

* * *

Моему отцу нравилось рисовать снег на закате, весной. Вернее, он писал, красками, на холсте, и все время: снег, закат, желтизну неба, розовый снег по берегам освобожденной ото льда реки, и ее темную воду, еще более темную между снежных берегов, мост, низкий, деревянный, и деревья, тоже весенние, темные, на желтизне неба, но это (я знаю) — март, долгий месяц, спокойный, с электричками, пригородом, пивом на платформах — поворот кружки вслед уходящему поезду, и смотреть через окно пивной, как мелькают вагоны, сплошной, все убыстряющийся ряд стекол, полосой, уходящей вправо, лица за ними, смазанные, пиво бочковое, дуть на пену, доставая ту самую желтизну, пиво чудесное, холодное, еще зима, ехать никуда не надо — и пошли пешком, по берегу, через мост, с газетами, купленными на платформе, не открывать их, не читать — все после, потом, в постели, со светом, при электрическом свете, но, однако, имея еще и естественное освещение за окном, голубоватое, весеннее, такое весенне-апрельское, что мне становится страшно за себя, я помню все эти освещения, улицы, фонари, горящие при естественном освещении, чудесно все, мягкое освещение, сумасшедшее небо, воздух, кинотеатры, толпа, идущая навстречу, и за мной толпа, апрель.

* * *

Давно это было. Еще война не кончилась, а было это весной 1944 года. Год еще до конца войны, не так чтобы ровно, но год.

Лежал в госпитале старший лейтенант. Рука у него была перебита, но заживала уже, и надоело ему смертельно в госпитале лежать.

Госпиталь этот находился на горе, а под ним, ниже, был стадион.

Звали старшего лейтенанта Виктором. Вот он на этой горе, над стадионом, проводил свое свободное время, а времени у него было бесконечно много.

Книжки он читал, на город этот, разрушенный, смотрел. Спал.

А если было настроение, спускался вниз.

Там была пивная, закусочная, столовая — все вместе.

Собирались там ребята из госпиталя, потому что ближе такого места не было.

Вот, было самое близкое, ниже горы.

Там продавали бочковое пиво, водку, там картошку отварную делали, селедка была — бедно было, но хорошо.

Однажды Виктор спустился вниз, вот в эту столовую-пивную.

Сел в угол, руку свою поудобнее положил. Подошла к нему официантка. Клавой ее звали. Она уже знала, что ему принести. Принесла две кружки пива, водки стакан и заешь чего-то.

Виктор медленно выпил пиво, поглядывая сквозь дым на своих, из госпиталя, — только он в гимнастерке был, да и по форме, и даже был у него привинчен орден Красной Звезды и медаль за Сталинград. А ребята были в халатах — байковых, синих.

И на костылях. И шумно они себя вели, что Виктору не нравилось, потому что за войну трепались, а он этого не любил, хотя ребят этих понимал. А было тогда Виктору 32 года, а ребятам этим и того меньше.

Гекнадий Шлаиков

Вот из-за бочек пивных появился мальчишка, было ему лет десять.

Был на нем ватник, хотя весна, и ботинки солдатские, а у ватника рукава подвернуты были.

Виктор его и раньше видел, но сегодня — через дым и говор неразборчивый — увидел — мальчик номер свой готовил. Оглядываясь... Зрителей искал.

И запел, затанцевал:

Славное море, священный Байкал,
славный корабль, омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
молодцу плыть недалечко.

Долго я рабские цепи носил,
долго страдал я в горах Акагуя,
добрый товарищ бежать пособил,
ожил я, волю почуя.

Это было, конечно, вступлением...

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет...

И тут он неожиданно выдал чечетку — взамен невеселых этих стихов. Виктор позвал его, не словом, так, рукой махнул — сядь, посиди.

И мальчишка сел, и дышал он легко — молодой еще, — а лицо — голодное, глаза голодные блестят.

— Клава, — позвал Виктор. — Слышь, Клава...

— Вам чего? — спросила Клава. — Повторить?
— У тебя пожрать есть что-нибудь? — спросил Виктор. — Ну, сама знаешь...

Мальчишка ел неспешно, нежадно. Виктор на него смотрел.

— Ты где живешь? — спросил Виктор.

— Да здесь я живу, — сказал мальчишка. — Здесь...

— Зовут-то тебя как?

— Лешей.

— Ты... ешь, не разговаривай... Ешь...

— Ем я...

Когда они поели, Виктор позвал Клаву.

Клава подошла.

— Он у тебя за бочками ночует? — спросил Виктор. — За бочками? И пританцовывает тут?

— А куда его девать? — очень просто сказала Клава. — Он тут в тепле и сыт.

Леша внимательно, но сонно уже от еды смотрел и на Клаву, и на Виктора.

— Ну, покажи, где ты, Леша, ночуешь, — сказал Виктор. — Покажи.

— А пожалуйста! — охотно сказал Леша. — А ради бога!

— Ну покажи, где живешь, — сказал Виктор. — В гости, что ли, пригласи.

— Дядя, не надо...

— Бочек стесняешься?..

— Нет...

— А чего?

— Да вы не беспокойтесь... Да вы не огорчайтесь... — мальчишка доел. — И никто не узнает, где могилка моя...

— Стоп. — Виктор схватил его за рукав. — Поди.

Бочек во дворе было много. Дело весеннее, переночевать можно. Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор.

— Ты палку какую можешь достать? — спросил Виктор.

Геннадий Шнапков

- А вам зачем?
- Ну достань палку. Раз уж ты тут живешь.
- Дядя, я палку достану, но мне тут жить.
- Тут... — сказал Виктор. — Тут...

Ломать, крушить — легче, чем строить.

Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом, одной рукой, поскольку та была раненая и не работала.

А бочки летели. Обручи на них вздрагивали, летели они.

Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся.

- У меня будешь жить, — сказал Виктор.
- Это если я захочу...
- А я тебя и спрашивать не буду.

Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору, к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой.

Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один, переломанный, на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино.

Туда всех раненых, неходячих, на тележках свозили. Показывали «Два бойца».

...Дети войны.

Она, война эта, останется и пребудет до конца дней, и дети ваши, не видевшие ничего, все равно вашими глазами будут смотреть на мир этот, мир — праздничный, зеленый, глазами остриженного наголо подростка около разрытой общей могилы, куда опустили маму его, братьев его, одногодков его...

ПАТРУЛЬ 31 ДЕКАБРЯ

Рассказ

Новый год, Новый год, мандарины на лотках, снег падает на них.

Новый год скоро.

Вот и елки повезли, понесли на плечах, перевязанные шпагатом, купленные по государственной или спекулятивной цене вблизи дачных платформ и в глухих дворах вместе с белыми, только что обструганными крестами.

Покупайте вечно зеленые (можно мыть губкой), пушистые нейлоновые елки, обрызганные для запаха хвойной жидкостью, вдетые в металлические раздвижные укрепления.

Одна елка на всю жизнь.

И под такими елками, и не под такими стоят все те же краснощекие, ватные, в крупных блестках Деда Морозы с мешками за плечами.

Что-то там, в этих мешках?

А дома уже выдвигают ящики и коробки с прошлогодними, позапрошлогодними и неизвестно какого (может быть, 1899?) года игрушками, а они все равно как новые, каждый год как новые, и чем старше, тем лучше.

Подарите мне ту самую рыбу, вырезанную моей младшей сестрой из картона в 1943 году.

А где-то уже волокут по широким парадным лестницам зеленые деревья, срубленные по специальным пропускам для общественных елок, и, чтобы их украсить, нужны почти пожарные лестницы, но такие имеются. Есть и храбрые люди, которые полезут по ним, сжимая

Гелладий Мнашков

в зубах и в одной руке по большому шару: не разбить бы, не хрустнуть тонким стеклом!

Шары, хлопушки, шутихи, бенгальские огни, бенгальские тигры (в каждой шкуре — два артиста).

Прыг-прыг, детки. Шире круг, здравствуй, наш веселый друг; свежая, морозная, елочка, здравствуй!

Повторим, дети, хором.

Во Владивостоке уже гуляют, а на Командорских островах уже гуляют всюю.

Пять минут, пять минут.

Бой часов раздастся вскоре.

Пять минут, пять минут.

Помиритесь все, кто в ссоре.

Будем всегда благодарны Л.М.Гурченко.

И вскоре после этого все улицы в городе пустые, тихие, снежные или, если нет снега, мокрые; и вдруг становится жалко всех, кто сейчас почему-либо бродит по улицам, и ты думаешь, что хорошо бы сделать всех счастливыми, чтобы никто не болел, не умирал, не тосковал, покинутый, не шатался по улицам, не звонил по разным телефонам, что Ч. Диккенс не такой уж сентиментальный писатель, как это принято считать и в чем совершенно убеждены те, кто его и не раскрывал.

Сейчас я вспоминаю все те Новые годы, которые я встречал, из тех, что еще не забылись, потому что большинство из этих ночей не помнишь совсем. Я хочу вспомнить ночь 53—54 года, когда меня и еще двух моих ближайших друзей назначили патрулировать вокруг казарм и на всей территории пехотного училища, включая учебное поле, спортивный городок, засыпанный снегом, а также огромный плац, весь белый и с трех сторон освещенный прожекторами. Наша задача была предельно проста и понятна: если кому вздумается взорвать одну из казарм или же поджечь клуб или сделать что-либо похожее с баней, то мы должны были помешать этому, вплоть до

применения оружия. Но мне было так противно ходить вооруженным в эту ночь, что я не стал заряжать карабин. Это в карауле проверяют, где у тебя патроны — в кармане или в карабине, а мы тут сами по себе, мы на постах не стоим и знамя не оберегаем. Мы знали, для чего нам ходить всю ночь. Никакого оружия тут не потребуется.

Часов с двух ночи из ближайших к училищу поселков начнут возвращаться курсанты, которым по каким-либо причинам не удалось остаться до утра, но праздник они уже встретили, это им удалось. Я думаю, они будут в лучшем виде, но Новый год есть Новый год, тут уж ничего не поделаешь. Даже самые строгие и суровые командиры разводят руками, потому что сегодня самые строгие и самые суровые из них тоже будут в лучшем виде. Но курсанты, в отличие от офицеров, бездомны, хотя казарму можно назвать домом, но с большой натяжкой. Во всяком случае, это не тот дом, куда хочется идти, если ты не совсем в порядке, а куда-то нужно идти, чтобы не свалиться в снег и не заснуть, напоминая всей этой ситуацией известную песню про ямщика, который замерзал в глухой степи. Так вот, кончая эти длинные объяснения наших обязанностей, я хочу сказать, что нам было приказано провожать курсантов от забора училища до казармы, потому что через официальные ворота — проходную — в таком виде никто не пойдет, а многие направятся к забору, довольно высокому, но с дырками. Те, кто сумеют найти эти спасительные проломы, несомненно, не нуждаются в помощи, и мы заранее благодарны им. А вот тех, кто, обессилев от поисков, свалится в снег, нам придется спасать, провожая до казармы. Вообще-то говоря, патруль обязан нести или вести под ружьем этих негодяев прямо на гауптвахту, прямо в камеру, этих сукиных сынов, чтобы они дней пять и даже десять чистили снег на всей территории училища или мыли в столовой алюминиевые тарелки после того, как человек пятьсот съедят из них щи с бараниной. Но Новый год есть Новый год,

Гелладий Шмаликов

тут уж можно человека простить, понять и даже донести его до постели, накрытой грубым солдатским одеялом с вышитой буквой «Н», что, как известно, означает «ноги».

А Новый год, между тем, приближался. Дым над трубами казарм шел прямо вверх: такая была тихая ночь. Луна сверкала — яркая, елочная, рождественская.

Мы шли втроем по этой прекрасной ночи прямо в училищную столовую, которая, как мы надеялись, была уже пуста. Еще днем мой приятель Саша и я сходили на станцию и там, в палатке, купили еды, бутылку водки и бутылку шампанского, а теперь мы все это выпьем, разольем и выпьем в час назначенный. Когда куранты ударят, курсанты выпьют. Не так ли, Саша? — Так. А как же иначе? — Только пошли скорее, а то куранты ударят, а курсанты будут лезть в окно столовой. Нам действительно пришлось лезть в окно: дверь столовой была заперта и даже опечатана.

Свет из предосторожности мы не стали зажигать. Я помню эту огромную, пустую столовую, окна в лунном свете, квадратные деревянные столы, блеск клеенок. Говорят, здесь раньше был гимнастический зал. Может, так оно и было. Очень уж высокие потолки. Трапецию можно вешать.

— Как ты считаешь? — спросил я у Саши насчет трапеции.

— Не вижу смысла. — Он открывал консервы.

— Как бы нас тут не застукали, — сказал Алеша.

— Не застукают. — Саша аккуратно вырезал крышку «килькипряного посола».

— А застукают: год губы.

— Почему? — не понял я.

— В этом посадят, а выпустят уже в том.

— Могут и в том посадить. — Я посмотрел на часы. —

Семь минут осталось.

— Из чего пить будем? — спросил Саша.

— Черт, стакан забыл. — Я тихо выругался.

— В буфете нет стаканов? — спросил Алеша.

— Откуда! — Саша встал и пошел по столовой. Мы ждали.

— Нашел, — сказал Саша, — несите все сюда.

— Сам иди сюда! — сказал Алеша.

— Не могу. Она на цепочке, и замок висит.

— Кто?

— Кружка на цепочке.

Мы сидели вокруг бачка с питьевой водой, к которому на довольно длинной цепочке была привязана большая алюминиевая кружка. Вот из нее мы и пили по очереди, когда ударили куранты, неслышные нам, так как радио в столовой не было.

— Жалко, елки у нас нет, — говорил Алеша.

— Сходи в лес, — посоветовал ему Саша. — Елок там хоть завались.

— В лесу родилась елочка, — почему-то сказал я.

— Давайте еще выпьем. — Саша натянул кружкой цепь.

— Давай.

— Я не знаю, за что, — сказал Алеша. — На дне рождения по второй пьют за родителей, а сейчас за что?

— Давайте просто так выпьем, — сказал я.

— Просто так неинтересно.

— Ну тогда выпьем за командира роты, — предложил Саша.

— За командира роты я пить не стану, — сказал Алеша.

— Тогда за тебя. — Саша выпил и передал Алеше кружку.

— А я за тебя. — Алеша тоже выпил и передал кружку мне. — Хорошо, что нас втроем в патруль назначили.

— Это они неплохо придумали, — сказал Саша.

— И день выбрали хороший, — сказал я.

— 31 декабря, — уточнил Саша.

— Уже первое. — Алеша посмотрел на часы.

— Сейчас какую-нибудь музыку послушать, — сказал Саша.

Тетядин Шпалков

— Только не классическую. — Алеша помахал рукой.

— На Новый год классическую никогда не передают, — сказал Саша.

— Я бы ее вообще не передавал. — Алеша снова помахал рукой.

— А ее только по радио передают, — сказал Саша, — и то по утру, когда все спят.

— Но Римский-Корсаков — это все-таки ничего. — Мне вдруг вздумалось заступиться за классическую музыку.

— А что он написал? — спросил Алеша.

— Я точно не помню.

— Вальс-фантазия, это не он написал? — спросил Саша.

— Римский-Корсаков вообще вальсы не писал: только оперы.

— И балеты, — засмеялся Алеша.

— Да, и балеты, — сказал я. — А что тут такого?

— Могучая кучка, — сказал Алеша.

— А что с нами было бы, если бы мы пили из этого бачка? — Саша снова натянул кружкой цепь.

— Да уж ничего хорошего, — сказал Алеша.

— Завтра поедешь в Москву? — спрашивал у меня Саша.

— А что мне там делать?

— Что-нибудь придумаем. Позвоним кому-нибудь. У меня телефон записан.

— И у меня записан. Даже три, — я вспомнил телефоны. — Правильно, три. А толку что?

— Толку никакого, — согласился Саша.

— Кто с кем Новый год встречает, тот и второго с тем гуляет, — неожиданно в рифму сказал Алеша.

— Ну правильно, — я был целиком на стороне Алеша. — А что им второго расставаться? Какой в этом толк?

— Толку никакого, — согласился Саша.

— А как понять: «Шкурой ревности медведь лежит когтист»? — вдруг спросил Алеша.

— Что это такое? — не понял я.

— Маяковский.

— Что-то я не помню такого.

— Медведь? — спросил Саша. — Это аллегория.

— Какая аллегория?

— Он убил медведя, понятно?

— Какого медведя! — Алеша ничего не понимал.

— Медведь в виде ревности. — Саша был терпелив. —

И он его убил, чтобы легче жить.

— И сделал из него шкуру, — я помогал ему, как мог.

— Шкуру ревности, — сказал Саша.

— Лучше бы чучело, — сказал Алеша. — Я видел чучело медведя в Палеонтологическом музее на улице Герцена.

— Я бы не стал убивать медведя, — сказал Саша. —

И лося тоже.

— У лося ценятся рога. — Алеша показал свою осведомленность и в этом вопросе.

— Чтобы их на стенку вешать. — Саша был решительно против уничтожения лосей. — В передней, — добавил он, — и на каждый рог — по шляпе.

— Так ты не поедешь в Москву? — спросил у меня Алеша.

— Нет.

— Никогда не женись, — сказал Алеша, глядя прямо на меня. — Зачем, спрашивается?

— Это ты у меня спрашиваешь?

— Это вопрос ко всем. А я лично женюсь в 28 лет.

— Почему именно в 28? — спросил Саша.

— Я не знаю. Мне так советовали.

— Какой-нибудь идиот тебе советовал, — сказал Саша. — Если я кого-нибудь встречу, даже завтра, даже сегодня...

— Сегодня ты никого уже не встретишь, — сказал я.

— Даже сегодня, — повторил Саша. — И если я сам пойму, что она хорошая, умная и вообще не сволочь, я тут же на ней женюсь.

— Курсантам запрещено жениться, — сказал Алеша.

Геннадий Шпалков

— Разрешат, — твердо сказал Саша.

— А где вы жить будете? В казарме? — Алеша засмеялся. — В кааптерке?

— Это тебя не касается. — Саша говорил почти зло. — А как от жен на фронт уходили? У меня мать с отцом расписались — и он прямо на фронт. Я его в глаза не видел.

— Я тоже сирота, — вызывающе сказал Алеша. — Ну и что?

— Сиротка, — засмеялся я, глядя на его здоровое, чистое лицо.

— Слушай, а кто она? — примирительно спросил Алеша.

— Кто? — не понял Саша.

— Я ее знаю?

— Кого?

— А на ком ты собираешься жениться?

— Кто тебе это сказал? — Саша был крайне удивлен.

— Ты сказал. — Алеша был удивлен еще больше.

— Вот идиот, — сказал Саша.

— Это ты идиот: жениться в 19 лет! — Алеша был просто возмущен.

Я засмеялся.

— Тебе смешно. — Алеша встал. — Всем вам смешно.

Он бы еще что-нибудь сказал, но произошло то, чего мы боялись и ждали: кто-то постучал в окно столовой. Не сговариваясь, мы легли на пол. Стук повторился. Не очень громкий, но настойчивый.

Нас заметили, и лежать было уже глупо. Саша посмотрел на меня, улыбнулся.

— Я сдаюсь. — Он кивнул в сторону окон. — Не стрелять же в него.

— Встретимся на гауптвахте. — Я пожал ему руку.

— Если нас посадят в общую камеру, — сказал Саша.

— Не посадят — будем встречаться на прогулках, — обнадежил Алеша.

— Идет, — сказал Саша и встал.

Теперь, нарушая стройность повествования, я хочу сказать, что мне всегда везло с товарищами. Не следует, наверно, удивляться, что среди них не было сволочей или подонков, но приятно все-таки, что из тех, кого я знаю, никто такими не стал. Я бы сейчас с радостью увидел кого-нибудь из тех лет. Любого, даже из другой роты, хотя я знаю, что все ограничится бутылкой водки (спасибо, если одной) и необязательными, в общем, никому не нужными разговорами. Согласен, что по этому поводу нечего особенно сожалеть, да и не жалею. Просто хорошо бы увидеться. Говорят, что уже есть междугородный видеотелефон, с помощью которого можно не только услышать, но и увидеть, как по телевизору, того человека, который тебе нужен. Так вот, неплохо бы увидеться, хотя бы путем видеотелефона. Всех, правда, не увидишь. Саша погиб в 56 году в Венгрии. Помните ту осень 56-го?..

А теперь вернемся в столовую 54 года.

Итак, раздался стук в окно, и мы легли на пол в ожидании самого худшего.

Но все получилось, как в нормальной сказке: после полуночи, распахнув окно, к нам из темноты шагнула прелестная незнакомая девушка. Правда, приглядевшись, мы ее узнали.

Обстоятельства, благодаря которым она возникла столь внезапно, были самые прозаические. Она работала официанткой в офицерской столовой, где наши командиры встречали Новый год за большим столом, составленным из десяти или двенадцати обыкновенных квадратных столов, а на том месте, где обычно сидят новобранцы, сидел, как нам сказала эта девушка, «вдовец-генерал», нестрого глядя, как веселятся его подчиненные. А к нашей девушке кто-то начал приставать, кто-то из холостых офицеров. Всегда уж так бывает, что кто-то напивается первым. Вот этому человеку мы и обязаны появлением нашей девушки. Никого из нас она не знает: мы были первого года службы и только-только начинали знакомиться с гражданским персоналом в лице официанток

Геннадий Шнапков

столовой, медицинских сестер и дочерей наших офицеров, многие из которых впоследствии стали женами наших товарищей, и, надеюсь, они счастливы.

Где-то я читал или слышал, как некий пассажир, вынужденный из-за непогоды в полном одиночестве встречать Новый год в ресторане аэропорта, искал женщину, чтобы выпить с ней: у него было такое убеждение, что в новогоднюю ночь с тобой обязательно должна сидеть женщина, твоя или не твоя, но нужно, чтобы она была, сидела рядом или через стол, но так, чтобы можно было с ней чокнуться и чтобы не сидеть одному напротив еды и водки. И он такую женщину, кажется, нашел. Далее начинается сюжет из Э.М.Ремарка или из К.М.Симонова: одинокий мужчина, предстоящий ночной полет и немного (страниц 12) сдержанных диалогов.

Э.М.Ремарка мы тогда не читали, К.М. Симонова знали довольно плохо и, конечно, не догадывались, что все, что с нами произошло, уже написано, опубликовано, а может, и снято в кино.

— Пить-то больше у нас нечего, — сказал Саша.

— А я не пью, — сказала девушка.

— Можно сбежать на станцию, — предложил Алеша.

— Кинем жребий? — спросил Саша.

— Зачем? Я сбегаяю. — Алеша кивнул на меня: —

А то вдруг ему достанется.

— К утру прибежит, — сказал Саша.

Алеша рассмеялся.

— Может, вы вдвоем сбегаете? — спросил я. — Как братья Знаменские?

— Вы какое вино пьете? — спросил Алеша у девушки, отлично зная, что ничего, кроме водки, он все равно не достанет.

— Я не пью, — сказала девушка.

— Засекайте время. — Алеша уже снимал шинель.

— Час пятнадцать.

— Ни к чему все это, — сказала девушка. Мы даже не знали, как ее зовут.

— Без пятнадцати два буду здесь. — Алеша стоял на подоконнике.

— Пошел! — Саша махнул, как на старте.

После ухода Алеша наступила пауза. Мы молча сидели друг против друга. Девушка была без пальто, черную меховую шапочку она держала на коленях. Я совершенно забыл, какое у нее было лицо. Тогда ей было лет 17.

— Кто это к вам приставал? — спросил Саша.

— Коля, — сказала девушка.

— Какой Коля?

— Вот дурак. — Девушка думала о своем. — Просто идиот какой-то. А еще старший лейтенант!

— Коля? — переспросил Саша. — Честно говоря, я их по именам никого не знаю.

— А я по фамилиям, — сказала девушка. — Коля. Старший лейтенант.

— Из какой роты? — зачем-то спросил я.

— Откуда я знаю.

Мы помолчали.

— Может, ему морду набить? — предложил Саша.

— Что вы! — испугалась девушка.

— Ешьте шпроты, — я подвинул к ней банку.

— Спасибо. — Девушка глазами искала несуществующую вилку.

— А вы хлебом поддевайте, — сказал Саша. — Вот так, — он показал. — Вот только выпить нечего.

— Сколько минут прошло? — спросил я.

— Двенадцать, — сказал Саша. — Сейчас к Люберцам подбегает.

— Хорошо, что озеро замерзло, а то бы пришлось вокруг.

— Он через озеро бежит? — спросила девушка.

— Так ближе, — объяснил Саша.

— Не провалится, — успокоил Саша.

— Он не из Колиного взвода? — спросила девушка.

— Нет, — сказал Саша. — Нашего взводного зовут

Митя.

Геннадий Шмаликов

Старший лейтенант Митя.

— Так если ваш приятель провалится, Коле не влетит? — спросила девушка.

— Нет, не влетит, — сказал Саша. — Он что, за вами ухаживает?

— Кто?

— Старший лейтенант, — сказал Саша.

— Что вы, — сказала девушка, — у него невеста в Николаеве.

— Довольно далеко, — сказал Саша. — Географически, конечно. Духовная близость тут ни при чем.

— Что? — не поняла девушка.

— Ничего, я так. — Саша посмотрел на часы.

— Невеста, конечно, не жена, — сказала девушка. — Сегодня ты невеста, а завтра... — Она вздохнула. — Он ничего, только вот пьет.

— Советские офицеры не пьют, — сказал Саша.

— Пьют, — сказала девушка. — А ему нельзя.

— Всем нельзя, — сказал Саша.

Я заметил, что после разговоров про то, как Алеша провалится под лед, он стал очень насмешлив.

— Пускай здоровые пьют, — говорила девушка. — А он полосу препятствий в офицерском многоборье пробежал и чуть не умер.

— Чуть не умер на боевом посту, — сказал Саша.

— У него невроз, — сказала девушка.

— Пенсия — вот в чем его спасенье, — сказал Саша.

— Он не инвалид, — гордо сказала девушка.

— Сколько времени? — спросил я.

— Если не утонул, минут через семь будет, — сказал Саша.

— Я его боюсь, — говорила девушка.

— Колпо? — спросил Саша без всякого интереса.

— С кем, говорит, увижу — убью.

— Из пистолета системы Макарова, — сказал Саша. — Есть такой офицерский пистолет. Не очень хороший, но стреляет.

— Правда? — Девушка испугалась.

— Гоните его к чертовой матери, — сказал Саша.

— Он ничего, только пьет...

— Ну, ладно, — сказал Саша. — Сколько там? — Он посмотрел на часы.

Девушка сладко зевнула.

— Нина, — сказал вдруг кто-то крепким командирским голосом. — Нинка!

И сразу стало холодно: в раскрытом настежь окне стоял человек гренадерского роста и сложения. Трудно сказать, какими были гренадеры, но, судя по описаниям, они выглядели точно так. Подобных ему людей я больше не видел нигде: секрет их производства, очевидно, потерян. По званию он был старший лейтенант. Без шинели, во всем парадном. Кортик, кажется, висел. Не помню точно.

— Нинка, — говорил старший лейтенант, стоя на подоконнике и не обращая на нас никакого внимания, — я же тебя везде искал. Даже на каток ходил.

— Зачем на каток? — спросила девушка.

— Там свет горел, — сказал старший лейтенант.

Внезапно он заметил, что кроме его девушки в столовой есть мы.

— А что вы тут делаете? — спросил он.

— С Новым годом, товарищ старший лейтенант, — сказал Саша.

— А это не имеет никакого значения, — сказал старший лейтенант. — Новый год, старый год: все одно.

Он постоял молча в раскрытом окне, а потом, опустив голову, вдруг стал читать стихи. Сбиваясь, без всякого выражения:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я не молод, не красив... и т.д.

Стихи были длинные. В конце концов девушка расплакалась.

Тетядаки Млакиов

— Коля, — сказала она, — Коленька, — и пошла к окну. — Что же ты без шинели...

Старший лейтенант протянул ей руку, и она шагнула на высокий подоконник. Не попрощавшись, не обращая на нас никакого внимания и не закрыв окна, они уходили. Так как из темного помещения отлично видно все, что происходит на освещенной улице, то мы смогли наблюдать, как они целовались, стоя по колено в снегу; старший лейтенант, будучи значительно выше ростом, за локти приподнял девушку, целуя, легко и долго держал на весу, — и туфелька скользнула в снег.

Если вечером 53 года снег почти не падал и была та самая звездная «ночь перед рождеством», то в 2 часа ночи 54 года, когда мы вышли на улицу, он, что называется, валил.

Было тепло и тихо. Мы шли вдвоем под снегом через пустой плац. Я думал о том, что Алеша сейчас пересекает озеро, и о том, что, если до утра будет такой снег, то завтра с подъема все училище начнет чистить плац деревянными лопатами, а послезавтра, если опять же снег не перестанет, нас повезут очищать от заносов железнодорожные пути. «С Новым годом», — сказал, проходя мимо, разводящий, за которым следовала смена караула в тулупах, засыпанных снегом. В двенадцать их поставили, в два сменили.

ЛЕТО 1958 ГОДА

Дневник

Меняться надоевшими городами и видами на залив, или костел, или гору Монблан. Меняться, чтобы чужое опротивело, как родной переулок и афиши на заборе, чтобы стал скучным не только твой город, твой дом и твоя лестница — весь мир. Такова цель путешествий, и, честное слово, это замечательно.

Долго ехал спиной вперед, и виды плыли из-за спины. Потом шел, как принято, — и меня тошнило.

Прости-прощай все это красивое и первое. Как началось, с чего — за день до экзаменов на последнем сеансе я увидел девочку и был ужасно взволнован всем, что она делала, как говорила, смеялась и смотрела. Позже, днем, она шла легкая, в зеленой кофточке, освещенная солнцем. Шла и с кем-то разговаривала, улыбаясь точно так, как сотни раз потом. Я иду вслед за памятью и вижу вечер, и склад, и мы перетаскиваем картошку в корзинах. Ты в куртке и в косынке, и всю ночь мы ничего не делаем полезного — мы смеемся, выпрашиваем <...> холодные арбузы, и ты сидишь рядом со мной на крыше склада, и я еще не знаю тебя и говорю тебе «вы». Мы едем втроем в пустой утренней электричке, ты — напротив меня, у тебя молодое прекрасное лицо и ты рассказываешь веселым голосом, как умерла девушка молодая, талантливая и после нее остались письма. Я, не вслушиваясь, киваю головой и смотрю, смотрю, запоминая тебя.

Геннадий Шпалков

А потом, позже, мы идем с тобою между белых деревьев в таком снегу, как в сказке, и снег, падая, засыпает наши следы. И вечером ты уезжаешь, это уже другой вечер, я боюсь опоздать и бегу вдоль платформы к третьему вагону, и ты стоишь, улыбаясь. А потом мы идем проклятой привокзальной площадью, и у меня все пусто внутри, и я не знаю, что бы отдал и сделал — как мне хотелось ехать в одном купе с тобой и смотреть в окно. Письмо из Каменска не мне, другому, подробное, немного бестолковое, с приветами в конце. И день — через месяц, когда ты крикнула: «Гена!» И я увидел тебя на лестнице и был рад безотчетно весь день. Следуя времени, потом была весна и Первое мая, и ты в белом платье танцуешь с кем угодно, только не со мною, а я, серьезный и грустный, уезжаю в пустом еще троллейбусе без тебя. И пыльный весенний день в середине мая — твои открытые руки белые, твое лицо взволновано, и снова ты такая легкая, готовая улететь.

Последний год в институте был сдержанней и проще, и приятней. Я помню, как 7 ноября я ехал домой перед вечером, ехал с другой и собирался быть весь вечер с другой, и она ждала этот вечер. Но из дверей, освещенная и усталая, с покрасневшими глазами, выходишь ты, и я все забыл — я стою рядом с тобой, говорю с тобой, я вижу, какая ты красивая, и я целый вечер танцую с тобой, и ты не уходишь никуда. И позже мы встречались часто и дружески, и всегда я забывал все на свете, потому что ты была важнее, чем все на свете, и ты знаешь это.

Мне тяжело в будни и плохо, будни затягивают и портят. В будни мы встречались как-то второпях, на лестнице, ты так устала за день, что и улыбаться не могла. И мы весь вечер сидели среди пальм и пьяных вокзального ресторана, а потом ехали в такси далеко-далеко, где деревянный домик с калиткой и деревьями в снегу, где живешь до сих пор ты.

Барабаны били так, что хотелось идти на войну.

Летал во сне между гор, обитых, как стулья в его комнате.

Мама приехала утром в шесть часов. Красивая и загорелая, как середина июля. Я открыл дверь и потом зевал до восьми часов, не в состоянии заснуть. Мама вымылась и в халате причесывала мокрые волосы, поставив зеркало на подоконник. Она сидела вся освещенная солнцем, в голубом халате.

— Мне приснился страшный сон,— говорила она.— Я видела нашу комнату и пятнадцать пустых бутылок на столе.

— Какие были бутылки?

— Из-под водки. Пятнадцать бутылок — меня трясло до утра.

Я молчал, думая: неужели бывают вещие сны? За день до маминого приезда, то есть вчера утром, я сдал 15 бутылок из-под водки. Ровно 15 — ни больше, ни меньше.

Мне снилось, что в меня стреляют; я проснулся, и рука моя лежала на животе.

По мужской части ничего помочь не надо?

Вечером, в прекрасную мокрую погоду напротив ресторана «Пекин» человек в темном пальто расквасил лицо своей женщине. Она была в синем костюме с глубоким вырезом на груди, лицо бледное, волосы светлые и кровь на губах, подбородке и щеке. Он кулаком, короткими ударами, загнал ее к стене, и она даже не кричала, а только плакала.

Мой знакомый, дантист по профессии, узнал, что в деревне умерла его двоюродная сестра. Он ее и в глаза не видел и в деревне той не был сорок лет, но напился по этому случаю вдребезги и третьи сутки лежит поперек зубоучебной комнаты лицом вниз и горько рыдает.

— Что ты плачешь? — спрашивает жена.

Геннадий Шпажков

- Жалко Аню, ах, как жалко!
- Какую Аню?
- Молчи! — тебе не понять.
- Но сестру зовут Мотей!
- Уйди; я никакой Моти не видел и не знаю.

А в приемной трети сутки режут больные, и реветь им еще не меньше недели, потому как громадное это горе — смерть двоюродной сестры в недалекой Смоленской области, в деревне и под соломенной крышей. А что касается больных — пусть идут в государственные лечебницы.

Мне не нужна женщина — друг по чувству и перу, товарищ по жизни и собеседник — ничего этого мне не нужно. Мне нужна просто женщина, которую я не знаю даже по имени и через день забуду в лицо. Лучше всего так. Лучше не пытаться рассмотреть человека до конца, это такое дерьмо или такая глупость, причем это всегда невесело. И да здравствует благородный разврат всех форм.

Переулочек, окрашенный в синие и желтые краски; синие и желтые дома и крыши эмалированные, такие сверкающие и чистые, как ледяные. Переулочек называется именем братьев Grimm, Гонкуров, Знаменских и всех остальных уважаемых братьев, имен которых я, к сожалению, не знаю. Чудесный день с утра, и солнце, и ветер, пахнущий листьями, и белые, высокие облака.

Переулочек заполняют люди в красных одеждах и в красных колпаках. Они красные на фоне синих и желтых стен. Они несут в руках неподвижные штандарты и флаги, которые плещутся вслед за ветром. Они поют:

Мы голубое платье
сошьем
и короля
повесим на закате.
Тра-ля-ля-ля-ля-ля.

Где же он, этот переулочек, где люди в опереточных шляпах обкручивают пояс синими лентами, где девушки смуглых тонов танцуют «кукарачу» и зеленые листья цветов плавают в тарелках? Где ты, благословенная моя страна голубых стен и свежести ночи? В такую ночь кони бредут по траве над прекрасной рекой и мокрое от росы пространство дремлет. И огромная луна белого цвета в полночь приходит светить. Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого — и нет ничего.

На помойке сидела старуха. Она жевала совершенно по-дворянски — не открывая рта — огурец.

Я был сегодня, 25 апреля, в мастерской Кибальникова. Мастерская в бывшей церкви. Посреди зала стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг — сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с черной бородой. Ему 46 лет. Он крепкий человек в потертом костюме из вельвета. Он ходит вокруг Маяковского — такой маленький в сравнении с поэтом. Маяковский смотрится очень хорошо с любой точки. У него прекрасное лицо, твердые губы. Он стоит вполборота, приподняв голову. Среди людей, которые смотрят на памятник, — Людмила Владимировна Маяковская, высокая, седая, похожая на брата. Ей очень нравится, что сделал Кибальников. В мастерскую часто приходила Лиля Юрьевна Брик и многие из людей, которые знали Маяковского. На скамейке у стены сидит женщина в платке. Это сестра Есенина. Рядом с Кибальниковым суетится человек в коротких брюках — драматург Юрий Чепурин, и седой растрепанный Орлов обнимает скульптора. Сегодня памятник принят, и он будет отлит из бронзы. Потом его накрывают чехлом, мокрого, блестящего, ростом до потолка.

Мы вышли из мастерской — захламленного, уютного помещения, где получают такие вещи. На

Тетядаий Мна-иков

Маяковской ходили люди, и сам Маяковский сорок с немногим лет назад шагал кольцом бесконечных Садовых.

На балконе сидел инвалид в шляпе. Сидел и дышал, свесив алюминиевые костыли за решетку. А кругом были весна, и воскресенье, и солнце, какое бывает к вечеру,— не сильное, спокойное солнце. По сырой земле шли двое без пальто, размахивая свертками. У одного была бутылка водки в кармане старого пиджака. До чего же замечательно в такую погоду пить с товарищем в пустой, чистой комнате, положив все на стол без скатерти, и чтоб в распахнутое окно поднимались голоса детей и звонки трамвая в Сокольниках и солнце уходило на потолок. А потом, не торопясь, брести под фонарями и разглядывать лица девушек.

— Почему весной так много девушек? — спрашиваешь ты.

— Не знаю почему,— говорю я.— Мне все равно.

Мы идем, чувствуя вечность.

→ Почему вечность? — спросишь ты.

— Потому что мы вечны и бессмертны.

— Нет,— скажешь ты.— Потому что мы пьяные.

Мы стоим над Яузой и плюем в воду, освещенную огнями города. Вода течет под мост, потом между старыми домами, потом она впадает в Москву-реку и вместе с Москвой-рекой впадает в Оку, а Ока впадает в Волгу, а Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море высыхает.

— Зачем же тогда течет вода? — спрашиваешь ты.

— Удивляюсь тебе,— говорю я.— А круговорот природы? А рыбы? Где им жить?

— Это безусловно,— соглашаешься ты.— Рыбам жить негде.

И ты грустишь, опустив голову. Мимо проходят он и она. Мы не успеваем рассмотреть ее лицо, но спина женщины прекрасна, и ее ноги, и длинные волосы, опущенные на пальто.

— Почему они все красивы, если смотреть в уходящую спину? — спрашиваешь ты.

— Это иллюзия,— говорю я.— Со спины никогда не угадаешь точно.

— Она прекрасна,— говоришь ты.— У нее лицо мадонны.

— Чего ты плетешь? — говоришь ты.— Откуда ей взяться в Сокольниках?

— Все мадонны вышли из народа,— говоришь ты.— Они мыли посуду в дымных комнатах без единого зеркала.

— Она уходит,— говорю я.— Если хочешь, можно ее догнать. По-моему, у нее толстые губы, круглые щеки и узкий лоб.

— Она прекрасна,— говоришь ты.

И мы бежим по набережной.

— Стойте! — кричишь ты.— Стойте, мадонна!

Мы бежим, чувствуя тяжесть наших сердец. Она оборачивается, когда мы стоим в трех шагах от нее, готовые свалиться на мостовую. Она оборачивается — и прекрасная женщина улыбается нам. Мы остаемся на мостовой, освещенные лампами дневного света, а она уходит.

— Пусть уходит,— говоришь ты.

— Пусть,— говорю я.

Мы садимся на мостовую.

— Мадонна,— говоришь ты.

— Ничего,— говорю я.

— Почему я один? — говоришь ты.— Неужели всех мадонн разобрали?

— Брось! — говорю я.— Зачем тебе мадонна?

— Ну все-таки,— говоришь ты.

— Если будет мадонна,— говорю я,— все сразу кончится. У нас отнимут все сразу.

— И мы не будем кататься под дождем где захочется?

— Нет.

— И пить, когда бывают деньги?

— Нет.

— И разглядывать всех встречных девушек?

Тетядаий Шлаликов

— Нет.

— Это ужасно.

— Но у тебя будет мадонна.

— Нет,— говоришь ты,— не надо. Хорошо, что они уже разобраны.

— Что ты! — говорю я.— Их сколько уютно. Они моют посуду в дымных комнатах.

Ты смеешься, обняв меня.

Люди трех взглядов на жизнь. Простой пример — идет лошадь по улице.

Первый смотрит и думает: «У нас по улице идет лошадь, а в Америке — прекрасные машины».

Второй смотрит на лошадь и улыбается: «Какая замечательная лошадь идет по улице».

А третьему наплевать на лошадь и на американские машины.

Почему так боятся вещей покойника? Он носил их живым.

Если долго думать о платье и долго хотеть платье, то знаешь его наизусть — и тогда не нужно его покупать: платье как будто износилось.

«Что им нужно? — спрашивал Хлебников.— Я бы сделал все. Я стал бы писать по-другому. Может быть, им нужна слава?»

Нет, им слава не нужна, и черт знает, что им нужно, если говорить серьезно. Я сам не знаю, почему это тревожит меня, потому что половину моих дел я начинал ради них и это замечательно тем, что можно еще начинать ради кого-то.

Поговори хоть ты со мной,

Гитара семиструнная.

Моя душа полна тобой,

А ночь такая лунная.

Смешная песня. У меня есть все, что нужно для счастья. Эта весна была необычайно приятна, и весь год был интересен: я уезжал, думал, жил, и мне удавалось писать. Все считают, что мне повезло и везет каждый день, и я должен быть уверенным, но этого нет совсем, и ничего нет, и не это нужно. Ради одного молодого человека, явно-го идиота, одна красивая девушка вспарывает себе вены и пытается прыгать с высокого третьего этажа. Почему никто не прыгал ради меня хотя бы со ступеньки лестницы? Я не говорю уже о вскрытии вен, это несбыточно. Я сижу в комнате за столом, и в раскрытое окно свободно летят звуки ночной улицы. Я знаю, зачем каждый звук. В комнате пахнет цветами. Я очень люблю цветы. Я веселый и простой, и мысли мои не так сложны. Я уже не смогу (как не смог недавно) делать все, что полагается, — ходить, говорить, встречать. Я ничего этого не смогу. Все гораздо проще, так я хотел бы думать. Я пишу и выдумываю не для одного себя, и мир, созданный мною, рассчитан на людей. Я чувствую необходимость говорить с людьми серьезно и близко. Когда мне мешают мелкие неурядицы, так, словно в трамвае наступили на ногу, это ожесточает против человечества, но это смешно. Когда люди начинают говорить о своей неудовлетворенности миром, о том, как они важны в мире и как важны их мнения, вкус, слова, обиды и радости, — мне становится противно. Это никому не нужно, и не стоит преувеличивать свое место на земле — место любого из нас.

В час ночи на дворе слышны детские голоса. Откуда они на дворе? Загадка. Мир полон таких загадок, неразрешимость его меня не волнует, я чувствую вечность, наблюдая очень многое. Все идет правильно, так, как следует. Не будем мешать, не надо смеяться и думать о личном достоинстве, о моральных обязанностях — это не разговор людей. Есть слова проще, иные слова.

Вечер, созданный для празднеств, и мы купили два мороженных торта.

Тетядаий Шна-ликов

— На тебе, сирота, два мороженых торта.
Сирота не взял.

Пьесы писать трудно. Так было всегда, но раньше, лет тысячу тому назад, это было еще труднее. Спектакль представляли на площади: хочешь — смотри, хочешь — проходи мимо по своим античным делам. Пьеса должна была привлечь внимание. Это вначале, а потом? Самое главное потом — пьеса не могла быть скучной, иначе люди расходились бы во все стороны. Никаких кресел не было, спектакль смотрели стоя, и уйти в такой обстановке приятно и просто. Пьеса не могла быть плохой, в таких случаях автора забрасывали камнями, и он убегал в горы. Актеров плохой пьесы тоже не щадили. Все это поощрялось государством.

На первомайской демонстрации в колонну Куйбышевского района влились четыре баптиста. Пользуясь замешательством толпы и всеобщим весельем, баптисты вскинули полотнище белого цвета, на котором был написан лозунг «Любовь есть Бог». Баптисты приехали в Москву из Кызыл-Орды ради этого первомайского дня. Их забрали люди в одинаковых пальто.

В штате Оклахома
Вкусная солома.

Был в Большом театре. Сначала шел утром по улице, по солнечной стороне. Шел, обдуваемый теплым ветром. Была прекрасная погода, и всюду продавали лотерейные билеты. В театр опоздал. Первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения.

Перед вторым действием увидел зал, полный красногвардейцев и командиров. Это был бесплатный спектакль. Раньше, перед входом, я видел красивых молодых людей, по виду драгун или конных гвардейцев, и других людей, в штатском, явно переодетых офицеров. Почему

военные на первые свои деньги покупают шляпу зеленого цвета? Я, помню, тоже купил. Они стояли у великих колонн Большого театра, под мчащимся на тройке Аполлоном. Они стояли в зеленых шляпах, и галстуки-самовязы украшали военных.

Опера. Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр — это желтые ярусы, желтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно. Из моей ложи отлично стрелять в бывшую ложу царя. Попасть легко, по-моему. Оперу я не слушал, то есть сначала слушал, но ничего почти не понял и перестал обращать внимание на слова, которые поют. Все выглядит, как пародия. После второго действия ушел совсем.

Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. Я вижу знакомые лица, давно чужие, и они волнуют меня, и я охвачен воспоминанием, и течение времени останавливается, открывая прошлое. Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.

Что будет потом? Я не хочу думать.

Я долго вспоминал, когда же кончился день моего интереса к обучению хоть какому роду занятий. Это было в восьмом, наверное, классе, в день <нрзб.> к вечеру. Или нет — конечно все окончилось раньше, и живу я очень просто, и случайная культура случайных книг, людей и обстоятельств становится единственной моей культурой. О какой же, простите, литературе может идти речь?

Телларий Шпаликов

Смотрел ныне «Тень». На спектакль пропустил Э. П. Гарин, седой, изящный и восхитительно пьяный Гарин, который очень красиво поставил пьесу.

Человечество служит женщине.

С одними она разговаривает в метро, с другими танцует, третьи провожают ее весенними вечерами до дверей дома, и с немногими она спит. Это не всегда лучшая часть человечества, но самая здоровая и простая. И все люди, и каждый из нас принадлежит к одной из этих категорий. Мы служим.

Чистый вечерний пруд, по которому плавают лебеди, кирпичные дома, деревья, готовые распуститься зеленью, и светло-зеленое небо — вот что было 7 мая в Москве. Я шел по сырой земле мимо скамеек сквера. Мир был восхитителен, воздух пах дымом костра, у метро продавали подснежники. Что еще нужно человеку? Чтобы рядом шла женщина, и женщина была рядом, и она была прекрасна. Я говорил ей, и она понимала все, что я говорил. Я не могу вспомнить эти слова. Это не нужно вспоминать. Жизнь полна удовольствий, и таких, за которые не надо платить. Но удовольствия, за которые платят, все-таки лучше. А денег нет, проклятая молодость миллионов! Мне было не так, как другим, я не жалею, но все же.

Страна утренней свежести.

Глаза, как яичница.

Стеклянные шляпы, алюминиевые галстуки.

Не могут отделить человека от пиджака — женский разговор.

Вечером в темноте на карниз моего окна падали капли. Это дождь, думал я. А это соседи мыли балкон.

Можно написать обратное: думал, что соседи моют балкон, а шел дождь.

Застенчиво голодали русские писатели.

Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет. Я пришел домой, поел, лег на диван и под включенный телевизор два часа был в забытии и сном объят. После, напившись чаю, принял ванну, чтобы, еще раз закусив, лечь в постель. Не думать, не вспоминать, а чего вспоминать? Место, где растут цветы? Море или, может быть, рижские кафе и женщин на улицах? Нет, и это не так, я нигде не был и ничего не помню. Я всю жизнь сидел за столиком из Финляндии и записывал разные и не очень уж веселые вещи. А ночью мне снится странное смешение училища и последних лет в институте; я уже два года учусь — как много.

А с людьми, мне знакомыми, никакой близости, как будто каждое утро видимся впервые. Вся разница в том, что видимся мы, как впервые, а надоели, как узники одной камеры. Вот так бы и писал, и писал — бесконечно. Отчего я пишу? Я разговариваю. Это очень весело.

Вот такая история — сидит человек в панаме напротив футбольного поля, пустого и зеленого. Он сидит, разыгрывая силой своего воображения матч. Ему ничего не стоит увидеть игроков, одетых в футболки разных цветов, и мяч, и комбинации — он разыгрывает сильнейшие комбинации, забивает голы, устраивает свалки на штрафной площадке и объявляет перерыв. И так два тайма по 45 минут. Он уходит, совсем разбитый, очень счастливый или огорченный поражением.

Сидел на крыше парень и плакал в водосточную трубу. Мутный поток слез наполнял бочку для дождя. Это было в ясный день, под синим небом, и дворники внизу часто меняли посуду — бочки, тазы, ведра, чайники и детские ванны, окрашенные в белое и голубое.

Теладий Шпаликов

Но слезы не прекращались. Человек принес самовар. Все смотрели, как он наполняется до краев. Люди стояли среди бочек и ведер, не спуская глаз с последнего самовара. Он был полон, скоро началось наводнение. Парень сидел на крыше и плакал. Слезы рекой текли по городу, превращая улицы в каналы, площади — в озера, тихий город Сестрорецк — в Венецию. Прохожие плавали среди фонтанов и деревьев парка, чувствуя морскую солоноватость слез. Женщины сидели на фонарях. Когда вечером зажглись фонари, на каждом было по женщине. Люди на лодках окружили дом, на котором плакал парень. Он сидел на крыше, освещенный лунным светом, и его черный силуэт пугал неподвижностью и скорбью.

— Отчего он плачет? — говорили одни.

— Странно, — говорили другие. — Необычно. Это как бедствие.

Все говорили, поднимаясь вместе с водой все выше и выше.

— Перестаньте плакать! — крикнул кто-то. — Вы затопите город.

— Пусть, — сказал парень, — мне не жалко! Я хочу умереть.

— А мы? — заволновались в лодках. — Женщины всю ночь сидят на фонарях. Дети на деревьях.

— Я не смогу остановиться, — сказал парень. — Фонари и деревья не спасут.

— Убьем его? — предложил кто-то, доставая ружье.

— Он не виноват, — сказали другие. — У него большое горе.

— У него горе, а нам погибать?

— Убивайте — не убивайте, — сказал парень. — Это не поможет. Мы утонем вместе на третий день.

— Что нам делать? — вскричали люди.

— Ковчег, — сказал парень. — Спасайтесь в ковчеге.

— Ничего себе, — сказали люди. — В три дня пароход.

А парень плакал. Вода плескалась у крыши. Он сидел на трубе, подтянув колени. В городе звонили колокола, и рев тонущих животных слушали звезды.

Гроза пробирного надзора, ваятель гор, вождь модернистов, печальный рыцарь подмостков, гений которого постигает только жена, гордость шекспировского театра, любимец негров из штата Небраска, человек, раздающий сны,— представьте, это он устроил всем одинаковый цветной сон — молодого тигра, играющего в мяч. Восемь миллионов, закрыв глаза, увидели тигра, проснувшись, они сошли с ума. Он вернул им разум — он устроил разные сны и часть людей погрузил в черное небытие ночи, как в бочку. Македонские пастухи молились на него, а он творил чудеса — он красил облака. Шел цветной дождь, реки окрашивались в ультрамарин, впадали такими в моря, и вскоре течение Гольфстрим из теплого превратилось в холодное. Он так захотел. В Голландии поникли тюльпаны, и гладиолусы Бельгии оледенели. Старый король Георг умер от горя в своей летней резиденции Шербур. Балтийское море замерзло в июле, и по нему катались на коньках, чтобы согреться, все народы Скандинавии. Беловолосые финские девушки, одетые в голубое, и спокойные шведы, норвежцы в красных вязаных колпаках, и крахмальные немецкие Гретхен, у которых светлые глаза. Английская королева плакала в Вестминстерском соборе, и на белой от инея траве напротив лежали обмороженные лондонцы. Льды Гренландии, не сдерживаемые более теплым течением, двинулись на Европу. Шел великий Глетчер. В Риме пили кислое вино и, прочитав газету о Глетчере, заворачивали в нее свежих осьминогов. В Риме танцевали по вечерам, и школьники, засыпая, думали о летних каникулах.

В Испании был закат, и на закате окошел последний бык, заколотый нарядным тореро. На острове Корсика садилось солнце и пастухи смотрели в море. Пастухи, похожие в профиль на Наполеона. В королевстве Монако

Геннадий Шаликов

повесился последний принц крови. Он проиграл в рулетку свое маленькое государство, расположенное на Пиренеях. Кончался обычный день Европы. Наутро от всего континента остались две страны — Италия и Испания, два государства и два романских народа. Остальное пространство покрылось голубым льдом. Альпы <нрзб.>. Глетчер. В Средиземное море с побережья сползали айсберги. Молодой бедуин на белой лошади скакал в Марокко. Он первый увидел плывущий гигант. Молодой бедуин упал на колени и долго молился, раскрывая беспомощный рот. Он молился молча, так как у него был вырван язык. А человек, раздающий сны, спал в ранчо штата Огайо, и его мустанг тихо ржал, наблюдая восход. Утром он скакал среди высокой травы. Трава сохла на солнце. Туман поднимался над ней. Он скакал в мокрой от росы рубашке, счастливый, как молодой охотник. Он все забыл, и несчастье Европы не трогало его.

В метро внесли желтые байдарочные весла, напоминающая о реке, о солнце и ветре.

Чего я такой сумрачный шел нынче из метро? Об чем я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, теплой кабиной водителя и дорогой. Площадь Маяковского в дождливую погоду пахнет сентябрем и понедельником. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду выпить, что я переменялся в лице. И причем выпить не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду — денег у меня нет, и все это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье.

Это правда. А через месяц буду я на Алтае, будет вечер (ночь), холод совсем дикий и чистый воздух, пахнущий, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю свою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. Два месяца Чуйского тракта! А потом сентябрь, проведенный в положении согнувшись за столом, и снова дни до отвращения будут милы, как утро в метро. Неужели все будет неизменно таким? Будет. Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьезнее и что я одержим местечковой скорбью и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Все это так, но я бессилён иногда в хмурую погоду.

Голубое лезвие бритвы.

Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов.

Давайте вспомним, что было в прошлом году, в эти числа июня. А было следующее — теплая погода, небо в облаках, воздух белый и парной. Вечера были ужасны. Я подумал: а что, если устроить смену времени — выдать сегодня, 12 июня 1958 года, за 12 июня 1957 года? Что изменится, заметят ли? Нет, не заметят. Сегодня с утра льет дождь, прямой и сильный. Во дворе на веревках мокнет цветное белье, асфальт лиловый, листья лип зеленые, стволы лип черные, небо светлое, окна темные, и дождь замечен только в лужах и на фоне кирпичной стены. Небо светлеет, а дождь все льет, теплый дождь, мягкая вода. Грузовики идут по лужам, обрызгивая пустые тротуары. Очень хорошо! Я надену плащ и, не закрывая

Тетрадь Шнаиков

головы, пойду под дождь. Снимать белье, желтое от веревки. На асфальте лежат пионы, мокрые красные и растрепанные цветы. Ничего нет лучше этих цветов, их прямых стеблей, твердых листьев и красных лепестков, из которых каждый отдельно. Год назад я покупал вечером под дождем эти цветы для Валентина Константиновича. А теперь его нет.

— Кто там стучится в двери ногой?
Всадник отчаянный и молодой.

О том, как ночью лил дождь необыкновенной настойчивости и силы. Несколько человек один за другим поднимались по пустому эскалатору метро и потом стояли под навесом и смотрели, как льет дождь. Пустая площадь — автобусы не ходят. Изредка такси. Последние пассажиры метро, которые не могут идти под дождь. Их, допустим, не так уж много. Слепой, постукивая палочкой, уходит, раскрыв зонт. Продавщица мороженого закатила свой белый ящик и дремлет. Двое пьяных подошли к ней и купили все, что было в ящике. Она им все сразу не давала, они стояли рядом и ели по одному — на палочке, просто так, в пакетах и др. Кто-то спрашивает у всех 15 копеек и звонит жене, но жена не приходит с плащом. Поднимается по эскалатору парень и, не задерживаясь, медленно и спокойно идет под дождь. Посреди площади разувается. Идет дальше босиком. Девушка смотрит на часы, или, лучше, она пусть спрашивает время и каждый раз говорит:

— Без двадцати час? Большое спасибо.

Пьяные съели все, что было в ящике, и протрезвели.

Он и она. Наверное, с концерта, или они были в театре. Она стоит. Он бежит за такси. Побегает и вернется.

— Нет,— говорит виновато.— Я побежал.

Она смеется. Идет такси. Он бежит за ним. Такси подъезжает к метро, и двое бывших пьяных садятся. Парень бежит за машиной. Потом подходит к девушке.

— Нет,— говорит он.— Придется идти под дождем.

— Какая разница? — говорит она.— Ты уже мокрый.

И они уходят в дождь. Она снимает туфли, он их несет. Она идет босиком, приподняв бальное платье. Остаются девушка, продавщица мороженого и пусть человек с газетой «Вечерняя Москва», который звонил жене. А она не идет. Он долго читает газету.

— Может, дать вам? — спрашивает у девушки.

— Не надо,— говорит девушка и дрожит.

Или так: после того как у продавщицы мороженого купили все и все съели, она легко покатила свой ящик под дождь, накрывшись халатом. И пусть остаются двое — человек в парусиновом костюме с газетой «Вечерняя Москва» и девушка в куртке. Она работает в трамвае. Человек ждет жену. Он позвонил ей. Но в конце концов говорит, что хватит, давайте уйдем. Он рвет пополам газету «Вечерняя Москва», и они с девушкой идут под дождь. Когда приходит его жена с двумя зонтиками, она не застает под навесом метро никого. Или пусть пьяного.

Гостеприимные бедуины, замороженные кобры, Тадж-Махал, прекрасный на фоне синего неба, а также при луне, седые обезьяны, священные коровы, танцующий, спящий, улыбающийся Будда, акула в аквариуме, богиня Кума — дочь звезд — с закрытыми удлинненными глазами. Вот что мне надо. Я хочу видеть это и плавать в Индийском океане, чувствуя тяжесть волн.

Давайте вспомним и представим острова Океании и любимое развлечение гавайской молодежи — кататься на прибое. Мне не хватает в жизни горячего песка, белого от солнца воздуха и моря, бьющего в грудь. Нужно что-то придумать и что-нибудь изменить. Афинские боги ждут, раскрыв каменные рты, и сфинкс смотрит прямо в вечность. Я чего-то жду. До чего же великолепно, обледенев в собственном самолете, свалиться в пампасы Мексики. Свалиться, выворачивая кактусы и пугая мексиканцев

Гелладий Шлашков

в цветных одеялах. Или, как Стейнберг, приехав на берег залива, ходить в простой рубашке навыпуск и охотиться на рыбу. Чего еще надо? Хорошо также навсегда поселиться на острове Куба и вечерами ходить в портовый кабак. А львы? Я забыл про львов и про Африку. Это зимой, если можно: Так жить плохо. Рядом плавают (ходят) по морям, по океанам белые гиганты с плавательными бассейнами, салонами и палубой первого класса, где по вечерам танцуют шотландский танец под волынку и девушка по имени Сольвейг смотрит в темную воду. Завтра пароход прибудет в порт Веракрус. Стоянка двое суток. Город, прославленный любовью и сифилисом, ждет вас. Мужчины, приготовьте колыты. А я встаю завтра в девять часов, надеваю штаны, и все начинается сначала. А в прославленном городе Веракрус тремя часами позже встанет другой парень, взмокший от жары, желтый от хинина и бессонницы. Он посмотрит на небо отвратительной синевы, на солнце, такое беспощадное и большое, на весь тропический мир с лиловыми неграми и белыми капитанами. Он не станет надевать штанов, у него их просто нет. Испытывая легкую тошноту, он пойдет в трусах по улицам города.

А у нас весь день летний дождь, мягкая вода, и утром на асфальте будут сохнуть лужи.

Плавали листья, похожие на блины.

Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные, — все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей?

У лучших людей в прошлом — невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед, что, конечно, жить в таком свинстве нет никакого желания. К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей

наплевать, что мы о ней думаем. Я мог бы очень долго говорить о жизни вообще, но это скучно. Перейдем к частностям. Вот моя жизнь, полная борьбы и непрерывного огня, служит пособием для младших школьников.

Хочется писать пьесу про Египет с мумиями и прочим. Так хочется — я вчера видел в хронике пирамиды, и сфинкса, и все остальное в сильном солнце, желтое, даже красноватое — удивительно хорошо можно написать. И пусть они (мумии) будут уже не в славе. Была такая мысль — начинать пьесу с конца и привести все к началу, как к первопричине, но здесь это ни к чему.

Все будет в трех единствах. И начать мне хочется утром — они сидят камерно на вершине пирамиды спиной к зрительному залу. Вокруг все серое, утреннее, и они говорят — две мумии. А можно: он мумия и она не мумия. О чем же они говорят?

— Как называется ваша звезда?

— Вега — на Земле. У нас по-другому. Я уже забыл, это очень длинное слово.

Ну пусть он будет последним из мумий, все вымерли, <нрзб.>, и он последний, самый молодой, смотрит на звезду, свою звезду, которая должна утром быть на горизонте. Он ждет, как и все, корабль и должен умереть по какой-то причине очень скоро.

Писатель из Мурманска, которого в газете назвали так: северный кормщик пера.

За душевные качества
И за внутренний мир
Полюбил некрасивую
Боевой командир.

Она жила на шоссе Энтузиастов, и это название всегда имело для Тони прямой смысл — ее провожали только энтузиасты.

Геннадий: Шлакив

Коридор киностудии. На двери приколота бумажка «Вытирайте ноги». Перед тем как постучаться, я долго их вытирал. Оказалось — зря. «Вытирайте ноги» — это название новой картины. За дверью в дымной комнате трудилась ее киногруппа.

На платформе под дождем плакали и целовались. Я позвонил тебе по телефону и сказал, услышав в трубке женский голос:

— Я стою на площади среди вокзалов и трамвайных звонков. Не знаю, как у тебя, но здесь хлещет дождь. Я сейчас попрошу у отпускного военного винтовку и застрелюсь в телефонной будке.

— Слушаю,— сказала ты,— Кто это говорит?

— Тебе сообщат письмом. Его найдут в кармане, обыскивая мое тело.

— Здравствуй, Гена,— сказала ты.— Почему ты не звонил?

— Почему ты дома? Через семь минут я уезжаю, вагон шестой, поезд тринадцатый.

— Я забыла.

— Подожди секунду,— сказал я.— Тут недалеко стоит вооруженный солдат.

— Гена,— сказала ты.

— Товарищ! — крикнул я в трубку.— Уступите ваш карабин. Тося, ты меня отчетливо слышишь? Я застреливаюсь, привет Патриаршим прудам.

Я трубкой вышиб стекло, толкнул дверь и уехал в Бийск. Я ехал семь дней мимо сотен почтовых ящиков, но я порвал все открытки и выбросил в окно все, чем можно писать тебе.

В солнечный день мы медленно проезжали Волгу. Стоя в тамбуре перед раскрытой дверью, я смотрел вниз. Волга была мутная, внизу плыли бревна, и так захотелось мне кинуться с высоты об эти бревна.

Лежал на своей полке, закрыв глаза. Я вспоминал тебя ужасно долго. Если бы это было вслух, меня бы

убили через полтора часа. Я вспоминал одно и то же. Прости, память, может быть, есть вещи никому не интересные, может быть, я зря мучаюсь,

Хорошая интермедия, отчего-то названная «Бедные люди Парижа». А название пластинок? Слушайте: «Я знаю, чего тебе не хватает», «Счастливый 13-й номер», «Почему бы нет» (фокстрот), «Барышня, вы еще свободны?» (фокстрот), «Как часто ты меня целуешь», «Эзоп и муравей» (на чешском языке), «Бим-Бам-Боус», «Банджо Бенд Билли». Мексиканские страсти на языке немцев. Чехи тоже стараются; воображая, что ничего не случилось. А еще есть чудесное название «Семь греческих мудрецов в доме терпимости».

Три танкиста, три веселых друга,
Перешли границу у реки,

Хорошая привычка— говорить встречным гадости.

Так как у него не было рук, ног, левого уха, позвоночника и части живота,— он выступал на радио.

Шел дождь, и белые шары фонарей дымились.

Не люблю, когда рядом, в темноте, едят апельсины — классовое чувство.

Я подошел к шведскому посольству, и так мне захотелось выразить какой-нибудь протест, устроить хоть какую-нибудь манифестацию или обыкновенным образом высадить красивое окно из цельного стекла. Ах, почему я не рабочий?

Шел по улице Герцена поэт Кирсанов в черных штанах, серой куртке, весь седой и маленький. Шел гордо.

Геннадий Шпалников

У Пушкина «могила зеваючи ждет жильцов». Могила утром зевает — ее отрыли, и она ждет, пока кончится отпевание.

Разрешите вас ударить в морду? Позвольте вам откланяться.

Ух, как отвратительно жить в любом состоянии, даже в лучшие времена! А что надо? Чтоб глаза добрые и волосы русые? Нет, не надо, хотя и это очень хорошо. Бесмысленность начатого дня, и я не знаю, зачем встаю.

Было чувство прерванного разговора, когда начал «Фиесту». Так, словно все сначала. Я лежу в пустом номере в Кронштадте и читаю в который раз желтенькие страницы. Там, где они ехали вместе с басками на крыше автобуса по белой дороге, задевая пыльные ветки, у меня закружилась голова — от подробностей.

У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум.

Склочная жизнь последних недель окончательно выводит меня из равновесия. От жары это, что ли, происходит? Сашка ездит к умирающему от рака деду с портфелем. В портфеле — бутылка с компотом. Скука. Дед, конечно, умрет. А какие я вижу сны! Я просыпаюсь, все забывая, но сегодня мне снилась тюрьма, и удивительно не к месту были посажены в нее люди. Лето началось, булыжное и асфальтовое лето Москвы. Неужели я уеду? Никуда. Что-то мне беспокойно и плохо все последние дни. Я и сам не знаю, отчего это происходит. От жары. У меня и мысли дикие. Присмотревшись, понял: людям — всем — решительно нечего делать, жизнь <нрзб.> не то, чтобы найти занятие и куда-нибудь себя деть. Вечерами это заметнее всего. Если избавить людей от работы и дать им хлеб другим путем — что-то тогда будет?

У пьесы должна быть простая и очевидная для всех мысль. Лучше, если это будет мысль вообще. Такая, например: кто-то считает — все, что делается на земле, — это все не просто так, не бескорыстно, что в любом человеческом проявлении сначала есть личный интерес, и ничего нельзя совершать просто так. А другой так не считает, у него человеческий подход к жизни: люди — стадные существа и должны жить сообща, помогая друг другу.

Ужасный туман, но очень красиво. Обывательские пьесы вроде так и делаются.

Виктор Платонович Некрасов, Виктор Некрасов, чьи книжки я люблю. Он стоял в ДК в белых штанах, синей рубашке, в простых сандалиях, маленький, крепкий, положив волосы вперед, и разговаривал о чем-то, жестикуюли-руя. Я на него долго смотрел. Он прекрасный писатель.

Зубные врачи работали в атмосфере ужаса.

Насколько приятнее быть тем, кто слушает, читает, смотрит, нежели поставщиком. Хорошо утром открыть газету, не подозревая, чего она стоила.

Все обстоит таким образом: делать нечего на земле, и все ужасно скучают. Сначала живут по одному, постепенно сатанея. Потом нужно жить с кем-то и тоже сатанеть. Неужели всё так?

Теперь кино можно называть как угодно и пьесу тоже, как и рассказ. Можно — «Продовольственный магазин» (фильм), «Жена педиатра», «ПК» (пожарный кран), «Никитские ворота», «Магазин обуви», «Крымский мост», «Бородинский мост», «Лефортово», «Патриаршие пруды», «Садовое кольцо» — как угодно.

Вот мелочь, которая наверняка забудется в повседневности. Сейчас кончают памятник Маяковскому. На заборе, который окружает площадь, висит доска: «Сооружение памятника В. В. Маяковскому производит СУ-38».

Геннадий Шпаликов

Строительное управление в конце концов воздвигает все памятники, какие только бывают...

Ночью снятся ужасные вещи: утонувшие соседи, мертвые и живые товарищи, ты приснилась зачем-то. Пьяный кошмар. Около четырех я встал напиться, открыл форточку — ветер в лицо, — утренний, все еще серое, и еще горят фонари. Хорошее время, когда просыпаются дворники и меняются постовые милиционеры. Ездит по пустым улицам машина, и милиционеры меняются. В прошлом году, просидев над бестолковыми бумажками, я гулял в это время по Москве. На Пушкинской все было освещено красным солнечным светом, все было мокрое от поливальных машин, и под деревьями стояли зеленые лужи, и зеленые ручьи стекали на мостовую. А на Патриарших было тихо, и окна были по-утреннему раскрыты, скамейки перевернуты, и пруд был желтый, и по его воде плавали ветки, листья и газета.

Все мы были молоды, и многие
блевали в унитаз пивного бара,
который стоит на площади
Пушкина.

После перепоя,
после боя
кажутся зелеными обои.

— Петрарка, а Петрарка, — говорила Лаура, — приходи ко мне, пожалуйста, но приходи с друзьями.

Какой-то красивый парень
Пил с некрасивым в паре
В очень пустом баре.
Веселый пил с невеселым,
Плечистый пил с неплечистым,
В баре светло и чисто.

Потом ударил красиво
Красивого некрасивый,
Красивый свалился на пол
И лежал на полу, красивый,
Пивом на голову капал
Ему некрасивый.
Капал хорошим пивом
Из поллитровой кружки,
Пиво падало мимо
Головы на опилки и стружки.

Женщины будут подавать нам тарелки, а мы будем их бить.

И я постарею, я буду гулять вечерами вокруг Патриарших прудов в валенках и рассказывать детям неталантливые сказки.

Хороший тост — проклятие — проклятие тем, кто не пьет.

Утрилло и Матисс напивались вместе, и знакомый полицейский отводил их в участок на Монпарнасе.

— Добрый вечер, месье Утрилло,— говорит начальник в чине майора.— Какие новости, месье Матисс? Опять вы напивались, что же мне с вами делать?

— Я трезв, майор, — говорил Утрилло.

— И я,— говорил Матисс,— я не пил две недели.

Тогда майор давал Утрилло кисть и холст, и Утрилло писал в полицейском участке картину. Ее оставляли на стене, потому что полицейские на Монпарнасе тоже понимают живопись. А Матисс был прост, как его картины. Он писал солнце на море, разноцветные флажки, лодки, паруса и пристани. Пикассо был вместе с ними, но они умерли, а он живет, он ходит в полосатой майке.

Телладий Шлашков

Я хочу, чтобы у меня была красивая жена, бунгало на берегу моря и дети, крепкие ребята, обязательно мальчишки. У них должны быть светлые волосы, я буду учить их плавать и стрелять из лука, они будут расти настоящими мужчинами, как Том Сойер. Потом у них появится Бекки Тэчер. Они не станут волочиться за ней и гулять по улицам, они уведут мою машину, и в машине на заднем сиденье будет сидеть Бекки Тэчер. У них будет все, чего был лишен я. Они вырастут простые и сильные, я научу их простым делам, они будут равнодушны к моей работе, но будут здорово понимать, как ловить рыбу спиннингом и бить кефаль под водой. Я хочу, чтобы у меня были такие ребята, хотя бы двое.

Когда меня снимают, я всегда получаюсь очень глупым. У меня хорошее лицо, но, когда меня снимают, я на секунду вдруг делаю очень глупое лицо, а потом снова все хорошо. Но фотография — ужасна.

Сегодня я был у Екатерины Николаевны Виноградской, я очень рад этому, и у меня был хороший день.

Она рассказывала о том, как в нее был влюблен Пастернак, и о том, как они познакомились, и тогда Б. Л. сказал ей: «Я увидел вас, и меня словно ударило в грудь». А потом на Новый год у Асеева (все женщины были прекрасны, мужчины были очень талантливы, на белой стене был нарисован красный петух, вошедшим рисовали на щеке птиц, а женщинам распускали волосы). Б. Л. подошел к ней со спины, положил ей голову на плечо и сказал:

— Не прогоняйте меня, если я вам не понравлюсь, пожалуйста.

А вначале они поднимались по темной лестнице на восьмой этаж, и было очень темно. Кто-то сказал об этом.

— Я буду сверкать глазами! — сказал Б. Л.

А потом, в мае, они сидели у Виноградской в доме в Серебряном переулке. Б. Л. пришел вечером и остался на ночь, не заметил, как остался. Утром Екатерина

Николаевна села на подоконник, окно было раскрыто, Б. Л. сидел напротив, они смотрели вниз, улица светлела, было пусто и прохладно, пели птицы. Б. Л. слушал птиц, закрыв глаза и качая головой в такт пению. Екатерина Николаевна смотрела в одну сторону улицы, Б. Л. Пастернак видел другую.

Е. Н. увидела, как женщина идет пустой улицей к их дому. Это была Женя, жена Пастернака. Б. Л. сидел к ней спиной и не видел ее. Женя знала, где он ночью, и пошла за ним, но она увидела Е. Н. в окне, остановилась у водосточной трубы и пошла обратно. А потом, летом, они ночью ходили по Москве, по Арбату и переулкам, стояли в переулках и у прудов. А зимой (в первый вечер у Асеева) они катались ночью на санках по Москве. У Е. Н. были светлые волосы. Какое это было время — и не осталось ничего, старость осталась одинокая, кошка, дача (второй этаж). Я бы хотел с ней дружить.

Этюд по освещению и композиции. «Побег Овода из тюрьмы». 800 метров Овод пилит решетку.

Раньше здесь на стене висело зеркало, потом его сняли, и по утрам я смотрелся в стену, надевая кепку, и вечером, возвращаясь с работы, я включал свет в прихожей и смотрел в стену, как раньше в зеркало.

Я подумал, сколько было изношено всем человечеством белых крахмальных рубашек, костюмов, штанов. Куда девается одежда современников? Она изнашивается, и все новое, красивое превращается в хлам или в вещи покойников, вечные вещи покойников. А куда пропадают молодые люди в коротких пальто, в ярких ботинках и в зеленых шляпах? Это ведь тоже поколение, которое производит, как и белые рубашки, впечатление вечности. Но все это — слава конференсье или клоуна. Было много конференсье, и сейчас они новые. Да, еще о звездах кино, они тоже, как и рубашки, производят впечатление вечности.

Теладий Шаликов

Надо, чтобы человеку, как старику и Хемингуэю, снились львы! Снятся ли мне львы? Что я вижу ночами?

Умерла бабушка, 6 декабря, в 6 часов 5 минут вечера в госпитале на Октябрьском поле. За три часа до смерти я был у нее, на улице было очень хорошо, солнечно, таял снег, а утром было прекрасно — снег валит сквозь солнце, воздух был такой мягкий и весенний, и небо хорошее, и снег. Я пришел к бабушке, она, вероятно, не узнала меня.

Я погладил ее руку, она открыла глаза с обводинами и сказала:

— Мне плохо.

Я спросил:

— Что тебе плохо?

— Нет сил,— сказала бабушка.

Она дышала, как будто у нее в горле стоял комок и его нужно было откашлянуть. Мне все время хотелось, чтобы она откашлялась.

Мы ушли по коридору в половине третьего и никогда ее больше не увидели живой. В семь часов мы вошли к ней в 10-ю палату, и она лежала прямая, побелевшая, губы у нее были очень белые и щеки желтые, но не запавшие. Нос заострился немного. Челюсть у нее была подвязана марлей, как будто болят зубы. В палате горел слабый ночной свет и было полутемно. Потом дядя Сеня сказал, чтобы зажгли свет, яркий свет под потолком. Покойник в ярком свете еще страшнее, хотя бабушка лежала в кровати совсем не страшная, хотя и мертвая. Все было необыкновенно просто, и о ней говорили, как о постороннем; а я поцеловал ее в щеку, холодную и свежую, поправив марлевую повязку. Когда она была еще живая, она лежала на подушке очень красивая, у нее большое лицо, седые волосы, мама заплела их в короткие косички с марлевыми ленточками, чтобы они не трепались. Я не знаю, как мне быть. Сколько мне предстоит провожаний, таких и страшней. Почему так устроена жизнь, что люди

расстаются и за этим нет ничего, все пусто и мертво? Остались бабушкины вещи, это значит вспоминать и плакать долго-долго. Я действительно ее любил и так боялся последний год, что она скончается. Когда она засыпала, я подходил и смотрел на нее, она спала как мертвая и слабо дышала. Я думал: вот такая она будет, какой ужас! А она была не такая сегодня. Я сижу в комнате один, уже ночь, за окном, как плачущие дети, кричат кошки, ужасно тоскливо от их крика; у меня больно на сердце, и мне страшно. Какая предстоит тяжелая эта неделя, и все еще впереди. Я не могу лечь в кровать.

Что нужно для счастья? Чтобы все были живы, все родные, знакомые, близкие, чтоб никто не болел и не умирал. Главное, чтобы все были живы. Я ничего не хочу, пусть никто не умирает. Это трудно вынести живым, мертвым все равно. Я не доживу до 76 лет, мама тоже, отец — никто не доживет. Я не боялся смерти, когда был рядом с бабушкой, мне казалось, что я мог бы лечь рядом на свободную кровать и остаться подле нее всю ночь. Но сейчас мне страшно, хотя вокруг спят люди, и я понимаю, как нужно дорожить счастьем того, что есть на каждый день. Я был счастлив, когда все было хорошо и бабушка жила. Теперь мне плохо и не скоро будет хорошо. Нельзя примириться с тем, что произошло, нельзя и поверить, хотя я видел все своими глазами. Я хочу с кем-нибудь говорить, но все спят. Я много писал о смерти, но я ничего не знаю, это вполне определилось сегодня, потому что все было беспомощно перед случившимся, все слова и дела ничего не значили, все было смешано. Я не могу забыть ничего. Комната наполнена движением бабушкиного тела, ее позами, словами, глазами. У меня не было никакого предчувствия. Я сегодня думал, что все будет хорошо и буднично хорошо и я пойду учиться завтра, как раньше. Нет.

Мама родила меня очень молодой, ей было восемнадцать лет. Она говорила: «Когда ему будет двадцать лет,

Теладий Шлаликов

мы будем танцевать, так как мне только исполнится тридцать восемь». Но мы танцевали редко. Я не помню, чтобы это было серьезно.

Грустный парень с острова Суматра
На рассвете девушку доел.

Парень, который во время вечеринки ходит по комнатам и выкручивает лампы. Настольную вывернуть просто, он садится на диван и выворачивает. В коридоре он подставляет стул, падает, пьяный.

Синие ресницы на блюде. .

Человек, у которого такая странность — повсюду, где он бывает, он рвет предисловия у всех книжек. Берет с полки любую книжку, открывает ее — и рвет предисловие.

Ты меня все время видишь в одной рубашке, но это совпадение — у меня много рубашек.

Никогда не держите военного под руку — могут подумать, что он пьяный.

Люди ехали с работы в троллейбусе, продолжая говорить о работе. Они говорили о всякой ерунде, радуясь. Мне было ужасно гнусно их слушать.

Нас травили в газовой камере хлорникрином. Задача была такая. Сначала мы сидели в противогазах и сквозь стекла смотрели на серое вещество, лежащее на полу. Стекла туманились от дыхания. Я достал из кармана грифель и протер стекла, они стали ясными. У меня был просторный противогаз, я ни разу не открывал его. Я даже не знал, какой номер моего противогаза. Хлорникрин свободно проходил в маску. Потом полагалось еще

меняться противогоазом с преподавателем. Он давал неисправный противогоаз, нужно было определить неисправность и ликвидировать ее. У меня был поврежден шланг. Я отвинтил его от маски одной рукой и закрывал глаза и нос другой. Я уронил коробку (далее — сажал коробки, с открытием глаз и рвотой).

На улице было так сухо, что хотелось выпить. Пойти куда-нибудь и немедленно выпить, напиться, чтобы после гулять по сухому вечернему городу и чтобы не было сухо в горле.

Природа признавала поражение.

Если бы мне сказали: «Ты умрешь через пять дней», — я бы что-нибудь успел сделать и поговорил со всеми, но мне не сказали. Я почувствовал, что умру сегодня, и вот пишу вам это, все прекрасно сознавая.

Как пьяный кончал жизнь самоубийством, прыгая с Бородинского моста. Река была покрыта льдом. Он надеялся пробить лед и уйти под воду, чтобы не всплыть потом. Он прыгнул, но не пробил лед, а сломал об него ноги. Он сидел на льду пьяный, расстегнутый, замерзший и плакал от боли. А тем временем его знакомые и родные получили последние письма, где он все описал и со всеми распрощался, и его девушка плакала у телефона, потому что он позвонил ей полчаса назад и сказал, что он прыгнет с Бородинского моста.

ФРГ послала в Республику Гана своего полномочного посла, а там его съели. Правительство Ганы направило канцлеру Аденауэру письмо, в котором было написано так: «Нам очень жаль, но вашего посла съели дикие племена побережья Золотого Рога. Пришлите еще одного». Из Германии попросили вернуть останки погибшего посла. «Останков нет, — писали из Ганы. — Все съели. Эти дикари

Тетрадь Шлапиков

не оставляют останков и даже мелких костей. Они варят из них суп. Просим принять наши уверения в весьма глубоком почтении».

— Вы уважаете читать Есенина или не уважаете?

— Я его уважаю, но я его не читала.

— Ну, что для вас сделать, чтобы вам понравиться? Хотите, я сделаю пластическую операцию!

В такую погоду хорошо хоронить врагов.

Вот Коля стоит, значит, еще жив.

О, эти вечные разговоры о том, что декабристы были богатыми людьми! Как будто восставали только рабы.

Я шел ночью по улице и смотрел в окна. Внизу были окна, низкие, прямо у мостовой, там горел свет и на длинном столе девушки делали абажуры, они свешивались с потолка, лежали в углу, яркие синие, оранжевые, красные и светло-зеленые абажуры.

По яркости окраски это похоже на венки из бумажных цветов. Их продают на рынке около кладбища. Венки лежат на снегу, висят на стене сарая, стена мокрая, на крыше снег, день тихий послеснежный, это когда утром шел снег, а днем все белое и спокойное, венки среди снега очень красивые с бледно-голубыми, красными, фиолетовыми и зелеными цветами. Там еще были синие цветы, яркие и синие-синие.

На кладбище было очень хорошо, снег лежал на могилах, солнце светило сквозь деревья. Из церкви выносили покойников, всего их было семь. И каждый раз впереди шел человек, который нес крышку от гроба на голове. А перед этим я слышала разговор двух людей с фотоаппаратами.

— Какую выдержку давать?

- Дай двухсотку.
- Ты думаешь?
- Снега много.
- А диафрагма?
- Поставь четыре с половиной.
- Ты считаешь, что хватит?
- Хватит, сегодня светло.

Когда вынесли покойника и поставили гроб на специальный стол, фотограф взял табуретку и полез на сугроб. Он воткнул табуретку в снег, встал на нее и начал снимать умершего в гробу и родственников. Он снимал их немного сверху, чтобы все получились. Родственники стояли очень серьезные и строгие и смотрели кто куда.

Сегодня был очень хороший день, было тепло, и снег вокруг лежал такой чистый, белый и не городской, что я снял пальто и почистил снегом пиджак. Утром я еще не знал, какой сегодня день. В комнате было, как в сумерках. У меня после водки болела голова и хотелось пить воду. А по радио передавали классическую музыку, женщина пела романс Даргомыжского «Она, как полдень, хороша». Я не открывал глаза, а лежал просто так, и это было похоже на детство, на то, что я маленький, и вернулся днем из школы, и сижу на кухне в валенках, и по радио передают классическую музыку, а за окном все белое от снега. Днем всегда передают классическую музыку, я всю жизнь слушаю ее днем, когда случается сидеть перед репродуктором.

На кладбище много смешных профессий, кроме фотографов, там есть художники, они пишут на шелковых и более дешевых лентах имена и от кого венки. На кладбище есть отдел эпсилографии <нрзб.>. В храме молодой священник читал за упокой. Он все делал серьезно и строго и ни на кого не смотрел. Я подумал: хорошо бы его совратить. Кто бы это сделал? Дая. Она бы его совратила. Он звонил бы ей по телефону и покупал коньяк, потому что Дая любит коньяк. А еще хорошо бы написать список своих врагов и отдать их этому парню, чтобы он прочел

Тетядаий Шлаликов

их за упокой. Живых — за упокой. Что бы с ними после этого произошло? Наверное, ничего. Но это приятно — отпевать врагов у алтаря.

Было много старушек, готовых умереть от старости. Мы все тоже умрем, но не от старости. Я хочу философствовать в такой хороший, редкий день. Мы очень плохо живем в молодости. Я всегда думаю, что все еще будет. Завтра? Нет, но будет, ежедневная жизнь — предисловие к празднику. Ничего не будет, это все неправда. Где оно, мое большое спокойствие к малым делам, равнодушное и веселое выражение лица? Его нет. Вчера я ездил к Защипиной, Я действительно любил ее, у меня стучало сердце, я уходил к реке и сидел, как дурак, над прозрачной водой. Я любил ее и заслуживал всего наилучшего. Оставим то, что было в прошлом, это ерунда. Но вчера я приехал, чтобы для себя проститься со своей юностью и с тем, что я сам выдумал и так улучшил по сравнению с подлинником. Подлый подлинник — это не про нее, это просто очень хорошо сочетается. А она девочка неумная и пошлая в дозволенном пределе. Я вчера смотрел, как она причесывается, и думал: за что я тебя любил, чего в тебе хорошего? Мне не нужно было напиваться, но я здорово напился и наблевал три умывальника по убывающей степени. А она пошла с Женькой спать. Хочется написать слово «стерва». Но я не знаю, как ей это понравится. Ну, конечно: ах, какая стерва! Теперь гораздо легче. Напиваться было не нужно, я зря напился. С гаданием было смешно. Мы сидели через стол, между нами Галя Ершова, и она гадала нам в отдельности, и нас в отдельности любили дамы и короли, по радио говорили о переписи, ты сидела с распушенной головой, и было ужасно плохо и трагично, как в будни.

ЧЕЛОВЕК УМЕР*

Доска объявлений.

К ней в беспорядке приколоты кусочки бумаги.

Кривые, дрожащие буквы...

Буквы складываются в слова.

Верните будильник людям из общежития!

Потерял штаны в библиотеке. Не смешно.

Штаны — спортивные.

У кого есть совесть — передайте на 1 актерский.

В самом низу — листок, вырванный из тетради. Он обрамлен неровной чернильной рамкой, вроде траурной. Делали ее от руки и второпях:

Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни

ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ

Его тело лежит в Большом просмотровом зале.

Вход строго по студенческим билетам.

Доступ в 6 час., вынос тела — в 7.

После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!

Возле доски объявлений — несколько человек. Они что-то жуют. Голоса — совсем спокойные.

* Одна из первых работ Г. Шпаликова на сценарном факультете ВГИКа. Все фамилии подлинны (Архив ВГИКа).

Телладий Шпаликов

— Как это его угораздило?

— Говорят, повесился.

— Повесился?

— Ага, в уборной.

— Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?!

Затемнение. Лестница перед просмотровым залом.

Толпятся люди с папками и портфелями.

Приглушенный говор.

Изредка поглядывают на часы — ждут.

К двери протискивается женщина. Она холодно смотрит перед собой и повторяет:

— Зря вы тут стоите, никого не пущу...

Это — Колодяжная.

Она привычно думает, что всё собрались ради ее просмотра. Ждет, что сейчас польются умоляющие слова, на которые она кратко и сильно ответит: «Нет!»

Но все молчат.

— Почему закрыт зал? Не срывайте просмотр по зарубежному кино!

— Понимаете, человек умер...

— Это — его дело, а у меня — расписание.

— Жаль беднягу — он не знал вашего расписания.

— Это меня мало интересует. Принесите справку с подписью Грошева и, пожалуйста, — устраивайте здесь хоть крематорий. Я буду только рада.

Она решительно открывает дверь и замирает на пороге.

— Да... Печально, ну что поделаешь — не будем терять времени. Пошли в малый зал.

Кучкой стоят сценаристы первого курса. Их печальные и мужественные лица как будто говорят: «Вот какие мы. Что нам смерть — раз, два и повесился. На то мы и писатели».

Впечатление такое, что каждый пришел на собственные похороны. Как всегда, первым высказался Вл. Злотверов с присущей ему твердостью и категоричностью.

ЗЛОТВЕРОВ: Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще — это в его духе. Цветочки, ландыши... Сен-ти-мент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил.

КРИВЦОВ: Жаль.

ШУНЬКО: Мне тоже.

КРИВЦОВ: Я не хочу, понимаете, притворяться. Мы об этом до четырех утра ругались в общежитии. Дежурная, понимаете, дважды проходила. Я знаю одно: сам я пока не вешался и ничего определенного сказать не могу.

БЕКАРЕВИЧ: Кому как, а мне это нравится. Не будем вульгарны, как говорил Шиллер. Я бы сам давно сделал что-нибудь похожее — времени не хватает.

ШУНЬКО: Что так?

БЕКАРЕВИЧ: Завален этюдами.

Юра Авдеенко согласился с мнением старосты:

— Как кому, а мне это близко. Я еще в армии про такое думал. Что касается формы, можно, конечно, что-нибудь получше...

КРИВЦОВ: Например?

АВДЕЕНКО: Ну, не знаю — застрелиться, что ли?..

ШУНЬКО: Я понял тебя. На вечере. Между двумя танцами. На глазах потрясенной толпы. Правильно?

Утвердительный кивок головы.

ШУНЬКО: Не выйдет.

АВДЕЕНКО: Почему?

ШУНЬКО: Уже занято. Это — место Кафарова.

Тетрадь Шпаликов

ГУБАЙДУЛЛИН: оставьте ваши плоские шутки. Я серьезно спрашиваю. Повесился. Ну что здесь хорошего? Красиво, да?

ЗЛОТВЕРОВ: Декларация.

ГУБАЙДУЛЛИН: Вы мне детально объясните, а то какой-то культ личности получается. Теперь же все вешаться будут.

— Да в самом деле, вообще-то говоря, где-то в глубине души, в подтексте, я всегда был против самоубийств, — согласился принципиальный Юра Авдеенко.

ШУНЬКО: Что вы спорите? Хорошо, плохо, как мухи в банке. Я так считаю: самоубийство — это просто плагиат. Ничего оригинального. Меня эта смерть не обогатила.

Подходит Кафаров. Он закутан в полосатый шарф.

ШУНЬКО: Ничего нового я из нее не вынес.

КАФАРОВ (*в тон*): Она не очистила тебя перед человечеством...

ШУНЬКО: А-а-а, пришел? Что скажешь?

КАФАРОВ: Все по-прежнему. Покойный был трепач. Лирик-спекулянт...

ШУНЬКО (*заканчивая*): И вообще, я, Кафаров, гораздо лучше...

КАФАРОВ: Не ерунди. Я ему стихи посвятил.

ШУНЬКО: Со змеей?

КАФАРОВ: Можешь упражняться в остроумии на Данисо — он все равно не понимает. Слушайте.

НА СМЕРТЬ КОЛЛЕГИ

Ода

Что-то загрустилось мне на юге,
Там, где пляшут тени, хорошо.
Ты ушел от нас, подобно вьюге,
И, конечно, вовремя ушел.
В петлю лезь или об стенку бейся,
Но тобой написана мура,
В общем, на бессмертье не надейся,
Малая Медведица пера.

ПАВЛОВ: Брось трепаться. Хороший был парень. Общественник. Перед смертью за 8 месяцев в комсомол уплатил. Очистился — и в петлю. Хороший парень.

Все молчат. Довод убедительный. В углу, как всегда, молча стоит Толя Корешков. Он уже в плаще.

ПАВЛОВ (*вздыхнув, деловито*): Нужно будет остаться сегодня. Значит, водки купить, закуски. В общем, скинемся по десятке. Как смотрите?

Общий гул голосов:
— Поощрительно...

ПАВЛОВ: Тогда я — в магазин.
— А как же с прощанием?

ПАВЛОВ: Я с ним по комсомольской линии простился. В стороне отдельной кучкой стоят близкие нам кинноведы.

КРЫЛОВА: Он правильно сделал — у него по английскому двойка была.

АРААЯ: А у нас в Латвии все так: или женятся, или самоубийством кончаются.

Тетядагй Шпаликов

Молча стоит Галя Копалина.

Она тихо плачет.

Слеза, крупная, как капля ртути, выкатилась из ее глаза и побежала по щеке.

Галя вытерла мокрые щеки и сказала спокойным голосом:

— Б-р-р-р. Я мертвецов боюсь, просто ужас. И вообще — у меня билет в Дом кино на итальянцев.

Она сорвалась с места, и только пестрый платок замелькал в пролете лестницы.

Все усиливается шум голосов.

Все чаще люди смотрят на часы.

Все устали, всем надоело.

6 часов.

Зал закрыт.

К двери протискивается женщина и кричит совершенно цыплячьим голоском:

— Сначала члены месткома!

Дверь с треском распахивается. Все лезут в зал, как на хороший просмотр.

Темно.

Все ушли.

И вдруг — вспыхивает спичка, осветив тонкое человеческое лицо. Прядь волос на высоком лбу. Это — Вова Кривцов.

Он зажигает спичку и долго-долго держит ее в пальцах. Пламя лижет кожу — но ему наплевать.

Он на ощупь проверяет, что такое быть мертвым.

Гаснут и снова загораются спички, разбрасывая по стенам зеленые искры...

И наконец темнота поглощает все...

21 октября 1956 года

* * *

Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. Тра-ля-ля... Он был трезвый и серьезный, а мы — пьяные и глупые. Не сердись на нас, пожалуйста, Гена... Мы очень любим тебя и твой сценарий, и режиссера Хуциева, и его творчество, и «новую волну», и все такое интересное и необычайно талантливое, как все молодые кинематографисты, которые есть теперь, хотя они и очень любят пить водку, да и не только водку, но все равно они хорошие, а самый хороший среди них ты, и самый умный, и самый юный, и новый, и талантливый, и полосатый, в полосатой рубашечке, и такой красивый, и любимый всеми девушками города Москвы. Да и не только Москвы — других городов тоже. Будь здоров, Гена!

МИЛЫЙ, ТЫ С КАКОГО ГОДА И С КАКОГО ПАРОХОДА?

Рассказ

Это есть такая песня: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?»; не вся песня — припев, кажется, а точно я не знаю. Песня довольно длинная и бестолковая, но все равно очень хорошая, если ее спеть с настроением или же услышать в определенном настроении. Вот я услышал однажды про этого милого с парохода и запомнил две строки — запали в голову и держатся вот уже сколько лет, а песню я слышал один раз, ночью, когда шел домой — ее пели хором проходящие в обнимку — лиц не разобрать, а пели громко: «Милый, ты с какого года и с какого парохода?». Зачем я все это пишу? Я не знаю, хотя мне хотелось об этом как-то написать. Во всякой истории самое трудное — да, начало. Множество начал стоят передо мною, и я не решаюсь выбрать хотя бы одно из них по той причине, что выбор определяет ход повествования, а мне бы этого не хотелось. Можно начать так: «Майские тяжелые жуки летают весенними вечерами». Они действительно летают — все верно, и тяжесть их вполне ощутима; какие-то они тяжеловатые на взлете и тяжело падают с веток на землю, если дерево потрясти. Весна, весна на улице, весенние деньки. Бесконечная весна. Только май, а конца не видно. С какого-то периода, возраста, может быть, весны начинают лететь мимо со страшной силой то зеленью, случайно мелькнувшей в окне, то бог знает чем; а чаще всего — летят все эти дни листком календаря, если календарь имеется, в котором лишь число определяет, что мы уже в

апреле. И вот однажды в такой весенний день, ближе к вечеру, напала на меня тоска. Я открыл окно и посмотрел вниз. Виды привычные. Скверик, магазин цветов. На скверике ребята запускали модель самолета на длинной веревке, а скорее всего — на рыболовной леске. Красный самолетик летал по кругу, тархтел, мельтешил, поворачивался крылом, готовый свалиться, взмывал совсем неожиданно для испытателя, который — слава богу! — не сидел в нем, а лишь руководил издали, стоя в центре круга, образуемого вращающейся моделью. Красный самолетик, закат, треск над дворами — весна, первая пыль — все уже подсохло, а дождя еще не было, не грохотал еще гром в небе голубом. А рядом, за забором, бродили в длинных синих байковых халатах — и в ярко-синих, новых, и в белесых, выцветших — больные и выздоравливающие военного госпиталя. Кто там из них действительно выздоравливал, а кто нет — сверху не разобрать, но я когда-то сам лежал в госпитале, и то обстоятельство, что люди уже ходят, воспринимал как победу и радость. Но потом, позже, я узнал, что некоторые из тех, кто уже ходили по аллеям и скверикам и даже, случалось, выпивали с посетителями в приемные дни, так вот и они умирали. Но когда я смотрел на них из окна, лежа на вытяжении с переломанными ногами, они вселяли в меня надежду, что вот я тоже встану когда-нибудь, хотя бы и на костылях. А они еще ходили пить пиво — полное счастье! — мы в палатах изнывали от жары. Гуляющие — да вселяют надежду и в родственников, и в знакомых, и в случайных людей, которые ожидали от госпиталя однообразия белых палат и пустых коридоров, по которым изредка провозят на тележке усопшего или же усопшего не вполне, а везут его в ту самую палату, где, умирающий, никого не смутит, не повлияет угнетающе на нервную систему оставшихся товарищей по палате, которые могут и растеряться при виде покойника и как-то обратить все эти мысли на самих себя, повернуть случай в сторону личных обстоятельств. Вот этого врачи очень боялись и оберегали нас всячески.

Телладий Шлаиков

Гуляют, прохаживаются. Кто с кем. Обед и спать. Как люди сразу выпадают из жизни, заболев. Все старые интересы уходят куда-то вдаль, в неизведанные области. Если ты и бывал там раньше, в той реальной жизни бывал, мотался и тобой овладевали заботы, то сейчас все позади, и ничего до этого не было, никаких забот, а если они и были, то все меркнет перед свалившейся бедой, и все мысли обращены лишь к конкретностям каждого дня.

В мое распахнутое окно дуло. Время близилось к вечеру, а на меня нашло что-то такое, чему определений нет. Бывает это у всех. Что-то нашло. А что? Тоска — нет, и это тоже не определение. По кому мне тосковать? Если и было по кому, то специально заниматься этим делом я не мог. Вот тут специально я ни о ком не думал, и мысли такой не было. Ничего меня не огорчало тогда всерьез, и, оборачиваясь назад, я понимаю, что был счастлив в те дни, хотя мне думалось, что все наоборот. Я пошел в коридор позвонить кому-нибудь: способ вечный отделаться от самого себя. Телефоны только для этого и придумали и еще, может быть, для военных целей. А то бы голубиная почта справилась вполне как средство связи. Но вот беда — голуби не у всех, а почтовые, я слышал, еще и дороги, а потом от них еще одна неприятность и неудобство — купленный за большие деньги голубь может вернуться к хозяину. Как ты его остановишь? Как разгадаешь его маневр, когда он запорхает в синем небе? Звонить мне было особенно некому. Была одна девушка, родной телефон, но звонить ей не хотелось. У нас сложились какие-то странные отношения, которые вовсе, конечно, и не были такими уж странными, но мне хотелось, чтобы она жила здесь, со мной, все время, а ей постоянно здесь жить не хотелось, да и замуж за меня она выходить не собиралась, хотя я ей и предлагал. Прибегала ко мне, убегала, обижалась, надеясь на что-то, что будет лучше меня, моей нелепой комнаты, пустой, сорокаметровой, где стояла одна огромная кровать, огромный дубовый стол и огромный шкаф ручной работы,

внесенный сюда совершенно невероятным способом — он был настолько высок и необъятен, а двери в комнате и невысоки и невелики. Он, конечно, весь разбирался по досточке, но это мне в голову сразу как-то не пришло — шкаф был слишком монументален, чтобы разбираться по частям. На нем взмывали во всех направлениях купидоны и нимфы (или то, что я считаю купидонами и нимфами) — у мальчиков были крылья за спинами, а у девушек — хвосты. Ручная работа, кропотливая. А комнату я снимал. Я все-таки позвонил этой девушке. Дома нет, не оказалось. Кто нужен — дома нет, старая история. Раньше было средство — пойти выпить. Простое средство, и помогало всегда, если считать, что существует на свете помощь, которую ты сам можешь себе оказать, не прибегая, допустим, к индивидуальному пакету. Считается, что это и неверно, и не способ. На мой взгляд — и верно, и способ. Как кому, мне — помогало. Но потом я понял, что могу таким образом спиться, хотя я никогда не верил, что это может произойти со мной. С кем другим — да. Но не со мной. Это, конечно, самообман. Никто на этот счет не может быть слишком уверен, да и уверенность, если она вдруг появляется, — одно из подтверждений, что дела твои плохи. Я перестал пить совсем не в страхе, что сопьюсь, а просто оставляя за собой какое-то средство, лекарство, защиту от беды — пусть его надежность и под сомнением. Спорить на этот счет я не стану. Сейчас мне хотелось выпить. Не напиток — выпить, а бывало так, что хотелось просто напиток и как можно скорее, сокращая процесс до возможных пределов. Сразу после армии, например, — какая длинная была тогда осень! — жаркая, одинокая — я никого не знал в городе, а тех, кого раньше знал, успел позабыть за десять лет армии; а они позабыли меня; да и вообще все куда-то разбежались, разъехались, переженились и повыходили замуж. Вот, коротко, мое положение той осенью: старший лейтенант, переломанный в мирное время на учениях. В запас — полгода пенсию получал. Образование —

Тетрадь Шмаликов

самое среднее, самое среднее из того, что может получиться при таком образовании: все эти бассейны наполнялись из разных труб помимо меня, и поезда из разных станций, выходя одновременно, мчались бесконтрольно, встречались бог знает когда и в какой точке, а землекопы из задачника Ларичева копали и копали — до центра земли уже, наверно, докопались, а я все не мог разделить их заработную плату и подсчитать, сколько каждый нарыл в отдельности, хотя прием был прост: и трубы, и поезда, и землекопы начинали трудиться одновременно — вся тайна была в этом. Потом я кончил пехотное училище. Пехотное — только и всего. Не танковое или автомобильное, и не связи, и не медицинское, в конце концов и не авиационное — ничего из того, что бы мне пригодилось в моем положении. Я думал, конечно, о том, что мне делать дальше, но ничего путного придумать не мог и посоветоваться мне было не с кем. Во всякие дни у каждого случается такой поступок, случай, в котором выражен момент и душевное состояние. У меня было так: я заметил как-то, что и на гостинице «Пекин» и на цоколе военно-политической академии не работают часы, огромные часы — стрелки в три человеческих роста, а то и побольше. Не знаю, зачем мне понадобилось обращаться к этим часам — на площади Маяковского было сколько угодно электрических часов — правда, размером поменьше, но шли они исправно, да и у меня были свои часы, ручные, но я написал письмо, очень обстоятельное, в «Вечернюю Москву» — не знаю, как уж мне это в голову взбрело — серьезное письмо о часах на гостинице «Пекин» и на цоколе академии. Меня возмущало, что они не работают. Мало ли что. Но я же его и отослал в редакцию. Отослал, забыл тотчас и с удивлением получил вскоре ответ, очень короткий в сравнении с моим письмом, где было множество отступлений, цитат и ссылок. Ответ был такой: починим! — не волнуйтесь — починим. Действительно, починили. Я даже не заметил, как это произошло.

* * *

*Юлику, на память**

Я люблю актеров и актрис; я долгое время с ними общался; танцевал твист; откуда-то вечером возвращался; на шее вис у актрис; прощался, а потом скис. Я заметил: во мне есть много таких мелочей, речей, когда я сам становлюсь ничей, сам теряюсь, размышляя, стесняюсь сказать, где я, где то, о чем идет речь — гора с плеч, заснуть и лечь, хотя и наоборот — надо лечь, лежать, веки зажать крепко; дедка за бабуку, бабука за репку, крепко; раз, два, три, четыре, пять, потом опять — сон идет, он послан свыше, свыше крыши, неба выше; сон летит, он осеняет, льстит; он тем хорош, что самая сладкая ложь — ясна во сне — не останавливаясь, летит, льстит, — сон, и если я люблю старые самолеты, их взлеты, когда они, развернувшись, еще стоят на хвосте, а их пилоты — не самые лучшие пилоты, не те, говорят, не те — а по мне — наравне с другими — подумаешь — имя — сочинение, подчинение — бог с ним — и я вижу, как, развернувшись, вернувшись ночью, я вижу воочию огни Шереметьева, если ночью, а днем — березы Шереметьева, летящие за окном, стрелки указателей, фанерных стюардесс и лес.

* Юлик — кинорежиссер Ю. А. Файт. В компании Г. Шпаликова было очень принято обращаться друг к другу с посланиями и дарить фотографии с надписями.

Геннадий Шпаликов

* * *

Сегодня 30 декабря 61 года.

Год кончается, лучше бы он кончился уже.

Настроение (состояние) плохое, и ничего хорошего, ни черта. Не хочется ничего писать: ни слова. Все такое дерьмо. Денег нет — вот в чем дело, вот в том-то и беда. Есть долги, есть долги, работы нет.

Работа осталась по Марлену самая отвратительная, занудливая и мерзкая: нет слов, чтобы ее описать. И когда это кончится: нет конца и края, бескрайняя работа...

В добавление: что делать: хрен его знает: что делать: писать. Уехать.

Куда: если я к марту — апрелю обязан что-нибудь придумать к Минску. Но потом: ни слова. Получив деньги, ни слова — и уехать на юг, писать, купаться — и никаких договоров, хотя надо будет на что-то перезаключиться на Мосфильме.

Итак, с Новым годом. Что нас ждет в следующем? Что-то? Что-то нас там ждет, в следующем?

Вот чего бы я хотел, вот моя программа.

1) Получить I категорию за Марлена — и чтобы картина была очень хорошая, всем хорошим людям понравилась, а сволочам — и не надо.

2) Чтобы «Трамвай» 2 категорию и Люка получил бы «Причал».

3) Написать пьесу и продать ее до весны.

4) Не жениться.

5) Покончить дело с Минском: так чтобы «Свободу» запустили, а я бы получил деньги.

6) Купить комнату: если будут деньги.

7) Меньше пить, и чем-нибудь заняться, например, спортом.

8) Хватит.

9) Не занимать деньги.

10) Хватит.

30 декабря 61 года

* * *

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина днем полумрак, в музее пусто (сегодня — понедельник), в музее какая-то выставка никому ранее не известного не то шведского, не то финского графика со сложной скандинавской фамилией, я не знаю, зачем я сюда пришел с утра и хожу по этим залам, мимо картин, которые я видел бесчисленное множество раз, сижу в Итальянском дворике напротив гипсового гиганта с повернутой влево головой — я пытаюсь вспомнить, кто же это, и не могу. Ну, правильно: Давид. Ничего себе, забыть Давида. Как я мог забыть этот шедевр, это великое произведение искусства ростом около пяти метров с огромной ступней, с головой, гордо повернутой влево, с табличкой: «подлинник хранится». А где же он хранится? Не то в Риме, не то еще где-то. Можно было бы подойти посмотреть, но черт с ним. Я сижу в музее часа два, потому что на улице льет дождь. Он начался еще ночью и вот никак не кончится: надо же было так испортиться погоде, еще август, а каждый день дожди. Я совершенно вымок, пока дошел до музея. А сейчас я думаю, куда бы мне еще пойти. Рядом с Пушкинским еще какие музеи? Недалеко отсюда палеонтологический. Что еще? Да, музей истории архитектуры им. Щусева, вход бесплатный. Музей Калинина, вход бесплатный. Недалеко и Третьяковка, но нужно идти под дождем через Каменный мост и еще метров триста по набережной, а после по Лаврушинскому переулку — нет, ничего не выйдет. А потом — это стоит три рубля. Я продолжаю думать старыми деньгами — никак не могу привыкнуть, что теперь все стало дешевле в десять раз. Ну и погода: сейчас хорошо бы пойти в бассейн на Кропоткинской: он, кстати, ближе, чем Третьяковка, и поплавать под дождем в теплой воде. Может, правда пойти поплавать? Пять рублей. Я считаю свои деньги — как раз пятерка, то есть пятьдесят копеек. Может, правда пойти? Только вот я не побрился. Честное слово, не люблю плавать заросшим, нет того чувства легкости, когда потом выходишь на улицу, нет, и все тут.

ПОЛЯМИ НАЙСКОСТЬ К ЗАКАТУ

Рассказ

Полями найскоСТЬ к закату
Уходят девушек следы.

Б. Л. Пастернак

Все последние вечера мы проводили врозь. Один раз я не ночевал дома, один раз — ты. Вот так все и кончается. Как это называют? Смеясь, расстаться с прошлым. Посмеиваясь: боевая ничья. И еще я заметил, что все вдруг становится похожим на кинофильм. Вот это хуже всего. Последний день был в воскресенье. Чтобы не устраивать, опять-таки, кинофильма, я рано уехал на дачу к приятелю. Мы договорились, что к девяти я вернусь и перевезу тебя к родителям.

Ехать надо было электричкой. Я купил на вокзале все воскресные газеты: минут сорок чтения и рассматривания картинок. Мне было все равно, что читать: «До сих пор западноевропейские специалисты считали невозможным разведение зайцев в неволе. Однако Ядвига Оуткевич из Кракова опровергла это ошибочное утверждение, вырастив в неволе свыше десяти поколений зайцев». Десять поколений зайцев. Ничего не скажешь, надо суметь. Они, наверно, и сейчас продолжают плодиться. Как бы не повторилась история с кроликами в Австралии: полчища зайцев на улицах Варшавы. Да, поляки. Это они придумали эсперанто. Один из них) Человек, который утверждает, что летал с марсианами на их тарелочке, тоже поляк. Правда, американский. Кто еще? Фридерик

Шопен. Да, и Коперник: «она все-таки вертится». Нет, это уже Галилей, сразу после суда инквизиции, шепотом: «она все-таки вертится», но все равно кто-то его услышал. Странно, что на него тут же не донесли. Что еще: «Тайна Тунгусского метеорита». Страшная тайна. Летом всегда пишут о Тунгусском метеорите, уже который год: что это, корабль с далекими пришельцами или камень? Ответы уклончивы. Но вот сегодня доцент М. Н. Каменецкий намекает на четвертой странице «Советской России», что пришельцы не исключены. Странно, что метеориты падают только в самых диких местах: в тайге, в пустынях. В городах — ни одного, ни разу. Но, может, это и к лучшему.

Я посмотрел в окно. Хорошо, что лето кончается. Сегодня уже прохладнее, тихая погода. Сейчас над водохранилищем, в тишине, сидят художники и художницы и пишут мостик через ручей, овраг, облака, крапиву, лодки на воде. Мне плыть на лодке через водохранилище, а перед этим идти по дну оврага среди кустов орешника. Кто знает, может, они и меня впишут в пейзаж: вот так, сам того не желая, человек попадет в историю живописи.

Электричка остановилась. Напротив меня села женщина и опять начался кинофильм: на ней было платье, как у тебя, точно такое, ситцевое, и точно так же сшитое. Голубоватый, блеклый ситец. Не спутаешь, он и есть. Какой-нибудь пустяк, платье или пластинка или еще что-нибудь, вроде утренней зарядки по радио в половине восьмого, когда мы вставали, но не делали ее никогда, ни разу после армии я не делал зарядку и не вспоминал, как ежедневно в шесть после подъема бегал в строю вокруг училища. Любой пустяк — и все сначала. Забыть бы все сразу, в один день, в ночь, как после тяжелой контузии.

Весна блеклого, голубоватого платья, апрель. У нас почти не было денег, и мы жили за городом, снимая две больших комнаты. Туда ходила электричка: полчаса езды, и потом еще идти через лес к реке, а мы жили на том берегу. Мост был довольно далеко, и я не мог купить

Телладий Шпалников

настоящую лодку, и кто-то мне посоветовал взять напрокат в туристическом клубе надувную, резиновую. Никогда в жизни не был туристом. Не представляю себе человека, который после армии мог бы добровольно стать туристом из тех, что совершают переходы. Не знаю, может, такие и есть, но тогда они служили в других войсках. Во флоте, например. Резиновую лодку мне дали. Прекрасный попался человек, старый турист. Я ему сказал, что собираюсь в одиночку доплыть до Каспийского моря, а после и пересечь его напрямик. Как выяснилось, я зря ему все это сказал: он был просто помешан на дальних переплывах, переходах, восхождениях и погружениях и не отпускал меня часа полтора. Старый, как Амундсен. Ему бы сейчас дирижабль — и к Северному полюсу. Старый, как дирижабль. Что-то их давно не видно. Наверно, больше не делают. Странно было бы сейчас его увидеть в небе. Похоже на сон, на очень хороший сон: дирижабль приснился.

Так у нас появилась лодка. Когда-нибудь я сам сделаю себе настоящую лодку. Никогда не сделаю, это уж точно, но думать об этом приятно. Лодка на все лето. Плавать на закате. Выбирать лучшие места. Вода теплая, темная. Всплеск: рыба. Плеск: весло. Пить пиво в ресторане на пристани под магнитофон с речного трамвая. А утром ветер в соснах, белка, летающая по веткам, маленькая, легкая, коричневая, — и завтрак земляникой с молоком. Так это все и было, иногда лучше, а иногда хуже.

Утром в воскресенье, осенью, лежать в постели, дождь в раскрытом окне, на рассвете, и ночью он лил, всю ночь, и когда хотелось пить, я целовал тебя в холодное плечо, дождь, как из ведра — и в ведро на улице под окном, тук-тук по стеклам капли, тук-тук, и не просыпайся, слушающая тук-тук дождя, шум листьев, дождь в воскресенье — мягко ему падать на листья, на иголки, в пруд, а нам не надо вставать. Ты читаешь вслух, подряд, положив голову мне на плечо, теплой щекой к плечу: «Спой мне песню,

как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла». Что еще надо? Больше ничего. И вот еще: «В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, оплетет косой», а дальше там вот так: «Где был, пропал, что за весть принес, кто любит не любит, кто гонит нас». Любит не любит — спрашивать, обрывая лепестки ромашек, петушок или курочка — вытягивая травинку: нет загадок проще, нет ответов яснее. И ты мне рассказываешь, что тебе запомнилось больше всего, когда ты была маленькой, то самое, что ты помнишь первым, с чего все началось — сначала это, а потом уже все остальное, а это было жарким летним полднем, ты спала на балконе, проснулась, и вот что ты увидела: прямо на тебя, на балкон, на крышу снижались парашютисты, трое под яркими спортивными парашютами и так близко, что видны лица в шлемах, новые синие комбинезоны, белые ремни, желтые солдатские ботинки. Готовился авиационный праздник, и, видимо, их сбросили немного позже или немного раньше, или их отнесло ветром. Чудом перетянув через дом, почти задевая подошвами крышу, они спустились в соснах. Потом, с крыши, ты видела, как висели на соснах три парашюта: красные с белым.

А что я помню вначале, с чего у меня все началось? И я рассказываю тебе, как тоже летом, за городом, в сумерках, я шел через картофельное поле и там, на поле, у меня из-под ног выскочил большой серый заяц, прямо из-под ног, внезапно — и помчал к лесу. Это было летом 41 года, но еще до войны.

В воскресенье был дождь, и в понедельник. Всю неделю капало, лило, моросило. Начинаясь тот самый «октябрь уж наступил, уж роща отряхает». Я не помню, из-за чего мы тогда поссорились, но, помирившись, первым делом, в первое же утро, как всегда, как раньше, рассказывали, что кому сегодня приснилось.

У тебя был летний сон. Хорошо видеть такие сны в плохую погоду: сверкающий день, белые катера на реке,

Геннадий Шпаликов

ветер, флаги и планер, низко и бесшумно летящий над водой, — широкий размах красных крыльев, стеклянный купол кабины. Планер летит над водой и садится в поле, скользит по высокой траве, летним цветам, трава ложится вперед, расходится в стороны и сечется его крылом. Планер садится на луг, в клевер, в ромашки.

А мне приснилось, что началась война и мы помирились. Вокзал, платформа, воинский эшелон: все как в кино.

* * *

А когда становилось уже совсем невыносимо, ну вот так уж становилось невыносимо, оставалось в запасе одно средство, оставалось пойти в автомат на Киевской и выпить два или три стакана белого крепленого проклятого благословенного общедоступного портвейна № 14 по жетону № 25 и с билетом в кармане сойти на речной трамвай, по сходням, по трапу, под развевающимися флагами, под плеск волн о причал, под выпитый портвейн — сойти и поплыть.

Итак, чайки машут крылами, вода блестит, рябит, впереди у поворота медленно разворачивается баржа — плывем.

О ветер верхней палубы, который проносится между ее крашенных садовых скамеек по закрытым от блаженства глазам пассажиров!

О Парк культуры им. Горького (сначала — о Нескучный сад), который вмещает в себя столько полезного и бесполезного!

О Крымский мост, столь величественно встающий на горизонте!

Будьте прокляты эти дни. Будьте прокляты речные трамваи, я бы взорвал их всех вместе, я знаю, где они стоят по ночам, давайте я их взорву.

Итак, одним отречением на земле стало больше. Здравствуйтесь, Галилей! Здравствуйтесь, цари, которые отрекались от престолов!

Этажом выше надо мной по моему потолку ходит человек в три часа ночи. Мне все отлично слышно — каждый его шаг. Что ему надо так рано ходить, чего ему вздумалось? Я лежу в постели, смотрю в потолок, слышу, как он там ходит, а, собственно, почему я смотрю в потолок в три часа ночи, смотрю, как идиот, вместо того, чтобы спать, я, как последний идиот, уставился в потолок, подумаешь, кто-то ходит.

Геннадий Шнапиков

Мы еще придем сюда, поплывем по реке весной или осенью, или осенью пойдем, пока не закрыли заведение, выпьем пива под навесом, посматривая, как дождь льет на открытые желтые столики. Все сидят под навесом, но всегда найдется такой, кто обязательно сядет под дождь есть шпикачки, чтобы дождь лил ему в кружку, но это уже не так важно, пусть льет: к тому времени чешское пиво кончается, а «жигули» не жалко.

* * *

Еще раньше у меня бывали вот такие дни, такой пустоты, неприкаянности, но это проходило. Вот уже, наверно, месяц я живу так, и это не проходит. Я просыпаюсь внезапно среди ночи и сижу при электрическом свете, пробую читать — уже несколько лет замечаю, что я стал читать любую ерунду, лишь бы не оставаться с не занятой ничем головой. Я не вижу никакого выхода, я совершенно пуст, работа не доставляет мне радости, так как около года я уже работаю в нормальной зависимости от договора, денег, от необходимости все время думать, спешить, соглашаться или не соглашаться и спешить, спешить, существуя в промежутках без денег, без поддержки, шатаюсь, где попало и с кем попало, уже около двух лет я беспрерывно пью, и теперь это стало уже нормой поведения — мне некуда деваться. Я не знаю, зачем я сюда приехал, у меня такое горе на душе, и все еще было бы ничего, если бы я не понимал внутренне, что и Наташе я тоже не нужен и что много раз с ней я чувствовал себя почти так же, но сейчас я держусь за нее, мне ни к чему себя обманывать, я не верю, что мы можем помочь друг другу, но я так хочу этого. Куда себя деть, как уберечь себя от пустоты — я понимаю, что это так и нужно по всему ходу мыслей, по жизни, но как же это невыносимо, — здесь риторика не кажется мне неуместной — я на себе узнал, что это такое. Я понимаю, что это заблуждение, но совершенно искренне, — я не знаю, зачем жить дальше. У меня будут картины, я знаю, чего они стоят, и все, что бывает после, уже не принимается всерьез, и я не такой замороженный своим делом человек, чтобы через год, высунув от радости язык, бежать за старыми вещами, давно вычеркнутыми из сознания. Кстати, почти все, что я делал, я немедленно вычеркивал из сознания, кроме нескольких кусков «Причала». Наверно, я смогу ездить куда-нибудь: ух,

Геннадий Шпалников

как точно мы повторяем уже пройденные размышления, другими пройденные жизни, и это во всем: в тщеславии, которое не стоит таких усилий, и конечный результат всегда липа, в женщинах, в женах, в смене жен, в маленьких отчаяниях и маленьких счастьях, в товарищах — список этот бесконечен.

* * *

Бездомные завидуют тем, у кого есть дом, а те — завидуют бездомным, потому что им кажется, что проще и веселее вообще не иметь никакого дома, никаких обязанностей ни перед кем, а я не знаю, кому я завидую. Я не завидую простому счастью — идиотская мысль: как будто есть еще и сложное счастье, но мне было тепло сидеть несколько вечеров в счастливом, простом доме, который, наверное, не такой уж безусловно счастливый, но все-таки больше, чем другие, больше, чем мы, — мы ничего не сделали, чтобы жить вместе, держась друг друга: опять мелодрама, но все же это так. Какие это девочки, я ведь знаю немного, и знаю наверняка, что очень простое дело — быть ласковой и открыто любить, я так могу, и всегда мог. Проклятая жизнь, построенная на вранье, и так это важно — держаться вдвоем, не терять ничего — и так не получается, не выходит почти ни у кого. Я сбиваюсь на общие места.

Вскоре я уеду домой — домой, когда дома нет, какой черт домой! У меня комната, за которую я вскоре не смогу платить, нет, смогу, сделаю что-нибудь, но жить в ней один я не смогу. Я уже как-то думал, стоя 1 января в отвратительном состоянии рано утром или днем на платформе Яузы, что, может быть, мы зря ищем кого-нибудь, чтобы все время был рядом, может быть, следует на это плюнуть, потому что жизнь опровергает все самые лучшие душевные союзы, а еще чаще они сами распадаются — я болен объяснением общих мест, но мне ничего не остается делать: уже само по себе полный и грустный невеселый идиотизм мое положение — я сижу половину ночи, печатая все это, а, собственно, зачем?

... Все последние дни я занят чудным, но совсем уже бессмысленным делом, печатая под утро всякие мысли. Я лежу и слушаю: трамваи пошли, значит, уже часов пять, около шести, включаю радио — молчит, смотрю в окно — никаких трамваев, это самосвалы иногда проезжают, и у них пустые железные кузова так гремят. Но делать нечего — я встаю. Подхожу к зеркалу, лицо у меня небритое, худое, нос торчит, и выгляжу я, по-моему, плохо. Самое смешное, что я уже точно знаю свой день впереди, а сейчас мне хочется есть. Кафе открывается в десять — еще далеко. Сегодня понедельник. Я вспомнил, как ночью орали на улице песни на эстонском языке — конечно, было же воскресенье. Никогда в жизни у меня не было более унылого воскресенья (конечно, было). Опять-таки все повторилось. Я проснулся часов около четырех, читал, включил радио, позвонил дежурной, когда открывают кафе. Она говорит: в десять. Я спрашиваю: а сейчас сколько? Оказывается, уже десять минут одиннадцатого. Я обрадовался, быстро оделся, бриться я не стал и спустился в кафе.

Там еще никого почти не было. Кафе проветрили, свет не зажигали, только над столами горело несколько ламп, и все, а так там было гораздо темнее, чем за окном на улице. Мне с утра хотелось почему-то съесть яичницу. Оказалось, можно. Принесли омлет. Потом я взял коньяку, но выпил с трудом, еле выпил и попросил вместо кофе молока.

Затем я твердо решил пойти заказать себе два костюма, во что бы то ни стало заказать и — два, и купить четыре белых рубашки — ни одной меньше.

Ателье были закрыты, рубашек белых не было, люди по-воскресному ринулись в магазины — все противно. Я пошел тогда в непрерывное кино и посмотрел еще раз «Это было в Скво-Бэл-ли», потом купил в гостинице все газеты, две бутылки нарзана, все газеты прочел, лежа в номере, и заснул немедленно, и проснулся в темноте.

Вероятно, мне бы стоило заняться вместо этих бессмысленных писаний своим прямым делом: додумать до конца сценарий, заключить договор и смыться отсюда, но куда? Смываться некуда. Я не понимаю, что со мной происходит. Кстати, я уже много раз об этом писал сам себе, но от утверждения мне не стало лучше. Что же мне надо — это какой-то идиотизм, я вдруг почувствовал, что смотрю на себя со стороны того, кто сейчас печатает на машинке. Мне надо дом. Меньше всего я сейчас бы хотел его устраивать — отвратительные воспоминания об этих устроенных сволочных домах. Я заставляю себя не думать про тебя (стихи), но, в сущности, я понимаю, что здесь все определилось давным-давно, и все-таки я держусь за это, не знаю почему — знаю: привык и еще потому, что жалко отдавать кому-нибудь. Наверняка знаю, что если бы ты умерла (простите, пожалуйста), мне было бы проще. Господи, все и так просто. Я случайно только не забыл — как это я не забыл — даже странно, этот пьяный разговор, односторонне пьяный разговор, когда я был пьян, а Володя нет, и он походя сказал мне, что ты такая же, как все, теперь-то я отлично знаю, какая ты. Я совершенно случайно вдруг подумал когда-то, откуда ты, с кем ты выросла. Я знаю, что никакой общности с родителями не существует, хотя подсознательно мы иногда поступаем, как наши родители, где-то это чувствуется. У меня на языке все время ругательства. Вот она, твоя семья — меня мутит, что я так об этом пишу, но как мне написать, что я отлично представляю всю сволочную, да нет, не сволочную, все мы росли не в лучших домах, но, а это но? Я хочу от этого освободиться и написать всю правду про это, но мне в то же время глубоко противно про это писать. Проще говоря, я помню всех людей, кто тебе нравился, я понимаю, почему я оказался в их числе, хотя я не очень понимаю, зачем ты вышла за меня замуж, хотя нет — тоже понимаю, и ты сейчас понимаешь, что ошиблась и никакое тут не пьянство: тут же мелькает мерзкая мысль — а нельзя ли из этого сделать пьесу? — прямо я диалогами говорю. Я, конечно, почти

Тетядагий Шлаликов

лишен мужества в этих делах, и я наверняка не смогу покончить с этой историей, хотя мне предельно ясно, что она этого вполне заслуживает. И наверно, я тоже не идеал человека — совершенно точно — не идеал. Я не умел быть одновременно сильным и нежным: я знаю, что это все важно, и вообще по молодости лет я много не умел и не умею, но наверняка, что — эх, как же это весело сейчас на рассвете, в пятницу, кстати, 13 января, я буду рассказывать самому себе, какой я хороший, нет, не буду. И вообще, все это дерьмо. Вот только жизнь у меня пошла какая-то странная, я сам удивляюсь, как я мог при такой жизни выдумать сценарий — боюсь, как бы мне его не кончить, как бы этого не получилось.

Ходит такой человек и всем говорит: слушайте, со мной происходит что-то непонятное. Одному скажет, другому, и вот уже все знают, что с ним происходит что-то непонятное. Вот идет человек, с которым происходит что-то непонятное. Никому не говорите, что с вами что-нибудь происходит — говорите это самому себе: почему я не могу писать пьесу ясными простыми словами, а пишу эти гнусные диалоги, которые всем надоели, придумываю эту липу с оркестром, с каким-то вставным грузином: нет, мне бы водевильчик сочинить. Кто бы ко мне пришел и сказал: слушайте, любезный, напишите-ка нам водевильчик, что-нибудь из того прелестного, золотого времени, которое, как все считают, было до отечественной войны 1812 года, что-нибудь вроде «Александр Елисавета, удивляете вы нас». Ах, какие это чудные слова: «Александр Елисавета, удивляете вы нас» — слушал бы, а еще есть к ним интонация! (Интонация — здесь хочется выделить прописью, все равно, как Карамзин какой-нибудь.) Вот пруд, в котором утопилась бедная Лиза. Найдено тело бедной Лизы, бедная Лиза, которая так нас удивляла; и вместе с Александром: «Александр Елисавета, удивляете вы нас», ну так что — в зрители податься, грубой работой заняться, физическим рабочим стать, чтобы от мелкосоветской интеллигенции избавиться — вернее так, мелкосоциалистическая интеллигенция.

* * *

«Почему вы все вещи носите наизнанку?» Потому что тогда все вещи без швов — все швы наружу, и потом мне бывает лень выворачивать какой-нибудь свитер: как лежит, так я его и надену — надену и пойду или сяду посидеть в пивной на платформе станции Болшево, есть там такая пивная, где в отличие от других мест всегда продают разливное пиво в кружках. Ну и напиваются там под это разливное пиво — напиваются будь здоров и поют песни, а бутылки сдают, но вообще это довольно мерзкое заведение мы с радостью посещаем, и бывает иногда приятно смотреть на проносящиеся мимо поезда, разливая по стаканам водку, поглядывая на соседей-алкоголиков, как они смутно улыбаются друг другу, эти люди с внешностью русского рабочего — они действительно путевые рабочие, работают на путях, не так уж это приятно знать, не так уж будет приятно, когда напьется стрелочник, когда, наконец, эти орлы доберутся до честного стрелочника и честный стрелочник пустит под откос немало поездов, электричек и товарных составов.

Мы шатались всю зиму по разным местам, и, честно говоря, удивительно, что мы сохранили себя. Что это мы сохранили? Мы сохранили веру в человека. А иначе и быть не могло — вера в человека — вот что нас двигает.

Мне бы хотелось написать несколько слов о вас.

Я рад возможности лично поклониться вам от меня.

* * *

Как тогда, летом, к вечеру, стоя на балконе, по прохладному ветру, по воздуху и сам не знаю еще почему я вдруг почувствовал, что началась осень, так и сегодня, 21 февраля, началась весна — я сам ее увидел.

С утра, еще на рассвете — прозрачный, голубой, розовый, с морозом воздух, холодный, остро свежий, незимний, и не из оттепели — нет — ясный воздух и такое же солнце, ясное, теплое, и подморозило с утра, но снег не выпал. И потом весь день была такая ровная, солнечная погода, и едва заметный мороз, который сдерживает снег от талости, и снег тает на солнце, весь день очень ясный, все сохнет, сохнут ступени, сохнут желтые колонны со следами стекающей с крыши воды, и вот наконец наступает закат.

Я так хорошо помню по многим дням этот закат, весенний, холодный закат, стремительный закат в марте и в начале апреля, огромный разноцветный закат сквозь черные ветки деревьев, гаснущий закат с фиолетовым снегом, бледно-фиолетовым снегом, темно-фиолетовой рекой, отчаянный закат, который никак нельзя удержать — и вот уже в голубом, на глазах темнеющем небе над головой горят самые первые, яркие звезды, сначала одна — потом еще — я и не знаю, какие это звезды, горят фонари, яркие, желтые, еще не темно, а они горят — весна.

Уже днем, вернувшись с лыж (кончатся лыжи!), кто-то приносит вербу — «верба — это весенняя таль, и чего-то нам светлого жаль», нам жаль чего-то светлого, чего-то такого, что наверняка не будет этой весной — лучшие месяцы впереди, то есть такие месяцы, от которых я жду чего-то, и ничего не бывает, просто однажды я, на свой страх и риск, выхожу на улицу не в пальто, а в плаще, а потом выхожу в пиджаке, и все кончается, уже лето, но покамест, в самом начале этого, приятно думать, что вот, скоро весна.

А меж тем уже стало темно, закат становится ярко-красным, под ним — темный горизонт, темный, черный горизонт с яркими топками огней, чьих-то окон, далеко кончается закат.

* * *

У меня была гравюра, собственно, это не гравюра, а черно-белый рисунок, вырезанный мною из журнала «Цирк». Там девочка с распущенными волосами и в шляпе, сдвинутой на затылок, идет по проволоке, но пусть вас не смутят слова «в шляпе, сдвинутой на затылок», — здесь нет легкомыслия, никакой лихости, это прекрасная, легкая девочка в прозрачной юбке и в легкой шляпе, из-под которой ложатся на спину длинные прямые волосы. •

Она висела у меня над столом, и я неизменно вспоминал о тебе, глядя на этот рисунок. Бывало так, что я приходил ночью и смотрел, как ты идешь по проволоке. Никого другого я и не представлял на этом месте: ты идешь.

А теперь ты у меня пропала, я искал тебя все утро, а тебя нет. Пропала — и все тут. А может быть, тебя украли, хотя я точно помню, что ты просто упала вниз, когда я отколол от тебя кнопку и ты упала на стол, а после — бог знает куда — упала и пропала.

Я никогда не относился к тебе серьезно, но это только способ выражения, только слова, формула.

Ничего не понимаю, мне и не нужно это понимать.

Вот что: пора все это кончать, все это не стоит разговоров, сил и проч.

В Москве повсюду лето, и, опуская все описания этого времени года, я только хочу сказать, что по вечерам и даже иногда днем, особенно в воскресенье, Москва кажется пустой. Принято считать, что в июле все порядочные люди кончают свои дела и сматываются кто куда и лишь бы подальше, чтобы где-то в конце августа приехать в осеннюю Москву очень загорелыми и красивыми с южными фруктами в корзинках. В общем, так оно и есть. Мои знакомые уехали, но не вместе, а по одному, по два, и это произошло незаметно. Я никого не провожал, и никто мне не звонил, чтобы я пришел помахать платочком на платформу Курского или Рижского вокзала или же поехал во Внуково: такие у меня сволочи знакомые. А сижу сейчас в пустой комнате на Арбате, дом 23, квартира 5, а еще вернее — я лежу на диване и читаю Флобера: «Госпожа Бовари», очень скучную, длинную книжку, которую, как мне сказала соседка, я опоздал прочитать, а теперь, конечно, она мне не может доставить того удовольствия. Но книжка правда скучная. Если бы у меня было полное собрание сочинений Флобера, как, например, у моей соседки, я бы его сегодня же отнес в букинистический магазин. Правда, сегодня — понедельник, но завтра я бы это точно сделал. А потом, если продолжать эти праздные рассуждения, я бы пошел с приятелями в чешский ресторан в ЦПКО им. Горького выпить вечером пива, говорят, туда уже завезли черное пражское пиво, а рогульки там всегда свежие, и на них сверху соль. А в конце концов, не продать ли мне что-нибудь из своих книг? Флобера у меня нет, но вот есть прекрасно изданный М.Шолохов в синенькой обложке — всего десять томов, — все бегали, а теперь его сколько угодно, и я даже видел однотомник, выпущенный в Ташкенте. Вот куда он добрался. Итак, что мы имеем: Шолохов, Хемингуэй, можно и Достоевского прихватить, и Пришвина (все говорят, что он — гениальный писатель,

но я ничего, кроме длинных описаний лужаек, пней и среднерусских болот, у него не читал). Пришвин у меня в двух томах. Кто подарил — не помню. Но точно знаю, что я его не покупал и не крал. А вот и краденые книжки, если уж мы коснулись этой темы. Хаксли я украл у Киры. Но продавать его не стоит, мне жалко. Когда-то я украл толстого зеленого Эриха Марию Ремарка, но это было сделано ради блага хозяина: нельзя читать такие книжки, принимая все всерьез. Я считаю — это опасно, а этот парень относился к Ремарку с полным доверием и в один прекрасный день стал пить, как эти лихие автолюбители из «Трех товарищей», и бродить в тумане по Фрунзенской набережной с девушкой, которая тоже все приняла, как на самом деле, и теперь ей только не хватало туберкулеза в горном санатории, а ему — спортивной машины, чтобы со страшной скоростью мчаться к ней сквозь ночь по туманному шоссе. Ремарка я тоже продам, если купят.

Я положил все книжки в чемодан и пошел в букинистический на улице Калинина, где у меня была одна знакомая девушка, и я очень надеялся, что она поможет мне все продать. Денег не было совсем, то есть ни копейки, даже газету было не на что купить, а я очень люблю читать газеты. Но у нас грамотный и любознательный человек не пропадет: рядом на Суворовском бульваре есть забор, на котором подряд развешены все газеты, вся наша печать. Я остановился у «Правды» и вдруг увидел: «Смерть Хемингуэя». Он чистил ружье, и там оказалась пуля. Я уже не помню, сколько раз в армии меня и других предупреждали проверять оружие перед чисткой, и вы, наверно, тоже помните все эти разговоры о том, что раз в год ружье само стреляет, и еще какие-то поговорки в том же духе. Ружье стреляет раз в год — и прямо в Хемингуэя. Идиотская история. Надо же было так случиться. Какое сегодня число? 2 июля 1961 года. Наверно, это произошло вчера.

Но тут я встретил одного своего знакомого, который с первых же слов заявил, что теперь он осиротел и у него

Телладий Шлашков

как-то пусто внутри, и не пойти ли по этому случаю выпить за старика, за его память. Он так и сказал: «Пошли выпьем за старика», — и мне вдруг сделалось противно и все пропало, все печали кончились. Я как представлю всех этих подонков со скорбными лицами и как они сейчас идут к «Националю» выпить за старика — кошмар. Помню, как они пили за Олешу, когда он умер, и тоже все было очень скорбно. А ну их всех к чертовой матери. А Хемингуэя я продавать не буду, хотя это тоже литературный поступок: в день смерти Хемингуэя не донести его до букинистического магазина.

Всего мне заплатили семь рублей с мелочью: это все-таки много. Кто сдавал книжки и бутылки, понимает, что семь рублей просто не получишь. Семь рублей — это уже состояние. Можно купить себе рубашку, и еще останется рубль; можно поехать на такси до Выставки и съесть в шашлычной шашлык, запивая его при этом болгарским вином из длинной бутылки, а рядом чтоб сидела какая-нибудь красивая девушка и тоже пила, а потом можно покататься по Выставке на парной коляске или взять лодку или просто посидеть на траве у пруда; «Петушок или курочка?» — спрашивает девушка, срывая травинку. «Петушок», — отвечаю я, а по воде плавают белые и черные лебеди, и уже закат — идиллия в духе Тургенева. Но вообще все это можно устроить. Мне сейчас все доступно. А почему бы действительно не поехать на Выставку? Только вот с кем, я не знаю. А может, в баню пойти? Тоже не с кем.

Я иду по жаре, день еще только начинается, и еще неизвестно, как он кончится и где. Ничего загадочного, конечно, не произойдет, но приятно думать, что ты на пороге каких-то событий и свершений, что ты свободен, молод и даже богат, что ты побрился и на тебе чистая рубашка, и ботинки у тебя блестят, и все отлично.

Но тут вдруг небо потемнело, ударил гром, полил дождь, еще раз ударил гром, и дождь усилился, и вдруг рядом вспыхнула яркая голубоватая молния, и прошла сквозь пять этажей дома напротив, а я стоял в подъезде

и ждал, что теперь она стукнет рядом и, может быть, попадет в меня — очень честолюбивое желание. А дождь вдруг полил такой сильный, крупный, большой, что улица от дождя стала белая и вниз по ней потекла вода, а по воде мчались мокрые машины — хорошо бы сейчас проехать по городу под дождем, в такую сильную грозу, когда все бегут по подъездам и к метро и дождь бьет по стеклам, а тут еще какая-нибудь девочка, застигнутая грозой, вымокшая и прекрасная, попросит подвезти, — пожалуйста, садитесь, отчего бы не подвезти. А дождь льет все сильнее, я уже думал, что он на исходе, что его скоро просто не хватит, а он хлещет и хлещет, раскачивает водосточные трубы и вообще не думает кончаться. А по улице идет босая девочка, туфли в руках. Я у нее спрашиваю: «Теплая вода?» Она говорит, что очень теплая. Сейчас бы искупаться под дождем — просто отлично было бы. Оказывается, у меня масса желаний, связанных с дождем. А между тем он внезапно кончается. Вдруг его уже нет. Только что был и уже нет, но сейчас так прекрасно пахнет цветами и листьями, мимо проезжает невозможно зеленая «Волга», и не промок, и все очень хорошо.

В таком благодушном и приветливом состоянии я дошел до Никитского бульвара, поднялся вверх на Пушкинскую площадь (бульвар после дождя благоухал), позвонил Варе и договорился встретиться тотчас и неподалеку: у памятника.

У Пушкина лежали мокрые цветы. Пушкин блестел, чисто вымытый дождем, и около него — три киргиза в тибетейках. Четвертый их снимал на память. Наверно, им бы хотелось сняться всем вместе, вчетвером. «Давайте я вас сниму», — сказал я и снял их всех вместе, и не только на фоне памятника, а еще и с видом на газету «Известия», кинотеатр «Центральный» и улицу Горького в перспективе. Они растрогались и попросили меня сняться с ними на память о Москве. Я с удовольствием снялся, они записали мой адрес, обещая прислать карточку.

Тетрадь Шнапков

Варя что-то опаздывала, а я искал выхода своему прекрасному настроению. Мне хотелось совершать какие-то благородные поступки, переводить старушек через улицу, кормить голубей и — какие еще бывают поступки?

Когда пришла Варя, я был занят тем, что проводил одного слепого к магазину «Армения» — это было последнее, что я успел сделать.

Мы поехали на Выставку.

Но идиллии в духе Тургенева не получилось. На Выставке мы встретили приятелей Вари, они делали какое-то панно для павильона механизации и получили массу денег. Настроение у них было очень боевое, а еще перед этим около месяца они жили бедно, как поэты, и еще раз повторяю, что настроение у них было очень боевое.

Это были приятные, здоровые ребята, один даже с бородой, и все — в старых штанах, испачканных краской, в простых рубашках с закатанными до локтей рукавами, и пока мы шли к чайхане, они острили, как солдаты, и тоже было хорошо. Я был рад, что мы их встретили. Мы сели на втором этаже чайханы. Оттого, что здесь был ветер, все вдруг стало похоже на верхнюю палубу парохода и на то, что мы куда-то плывем. Куда ж нам плыть? Я бы с такими ребятами уплыл куда угодно — на плоту, на лодке, под парусами, и Варю можно было бы с собой взять, хотя — нет, лучше без нее, с ребятами всегда лучше.

Сначала мы выпили водки, закусывая помидорами и огурцами, — не салатом, а целыми помидорами и такими же огурцами — и свежим зеленым луком, макая его в соль. Водка была холодная — приятно держать в руках такую холодную бутылку, и мы ее быстро выпили, оставив по рюмке для первого. А на первое нам принесли горячие манты в глубоких тарелках.

Письмо В.П. Некрасову

Дорогой Виктор.

Я очень рад твоему письму — по многим причинам — первая, и главная — мне было очень грустно, что я тебе послал нечто вообще, не стоит так никогда писать, хотя я не очень твердо помню содержание, но сюжет помню точно — что-то самообладание сдает — хотя причин было, в общем, не более, чем обычно.

Но меня не покидала уверенность — уже после, — что ты-то поймешь все правильно: все как-то осто... — дела остановились, — 1 год работы — Лариса Шепитько (помнишь, м.б. ее «Крылья»)* на Мосфильме — но все, как обычно, полетело вначале в трубу, потом несколько выправилось, обрушилось снова — это совпало с абсолютным безденежьем, домашними, естественно, осложнениями — ко всему я еще и заболел воспалением легких, болея, передумал свою проклятую более или менее жизнь, пришел к устрашающим выводам, а тем временем сняли у меня в Центр. Театре Сов. Армии спектакль — помнишь, я тебе рассказывал, что написал пьесу и ее будут играть — ее и играли — до марта, а после сняли — пьеса о Каховском и пр. Сняли из-за претензий в ПУРе и МК, — м.быть, откроют осенью.

Честно говоря, я не буду от тебя скрывать, что мне (между нами) было глубоко на это наплевать, как и на многое другое, что человека нормального хотя бы смутило.

Главным образом, я расстроился, что столько лет занят бог знает чем, хотя я на самом деле — год назад — написал что-то подобно роману — и, клянусь, что вышлю тебе его — для веселого чтения, но он — ты уви-

* Упомянутая работа с режиссером Л. Шепитько в сильно измененном виде легла в основу фильма «Ты и Я».

Гелладий Шталаиков

дишь — очень разорван — кусками, он, конечно, — какая-то попытка писать, как я сам считаю (считал бы) хорошим и серьезным, но это — все равно — не то.

Изоляция у меня здесь, в Москве, почти полная, но я не жалуясь, во всяком случае, работал я этот год много, м.б., по этой причине, и еще — я болел всю зиму, а оставшиеся недолгие месяцы — сидел в Болшево — писал для Шепитько историю — я тебе ее тоже вышло — тоже была надежда, что это — серьезно. Сейчас есть надежда, что это запустят, но смутная, — у М.И.Ромма, вот такие дела. Учесть надо, что сценарий писался по конкурсу к 100 Ленина — не о Ленине, конечно, — а современный, про сейчас — сценарий чуть тебе разъяснит, как я жил эти годы, но не я, конечно, а что-то похожее, и, конечно, с этим конкурсом тоже вышел скандал — не хотели и принимать, с трудом их уговорили — Ромм, в основном, чтобы хоть почитали все, — почитали, и, учитывая, что это все-таки большая работа, деньги обратно не взимать, но пока что это дело не оплачивают никак, и вопрос открыт.

Была у меня во все эти смурные дни идиотская история в Д. Кино — была премьера «Краха» о деле Савинкова — и дернул меня черт вещать (причем — трезвому) из первого ряда и сказать президиуму что-то вроде того, что если бы не было Савинкова, вас бы тут тоже никого не было — т.е. никакой съемочной группы, консультантов-генералов и самой премьеры.

Высказав эту совершенно бесспорную мысль, я вышел и, таким образом, неожиданно для себя — в первую очередь — вступился за Бориса Савинкова — не к добру будет вспомнят — и это на глазах потрясенного субботнего Дома Кино — полный идиот — ну, прибежали какие-то люди, — м.быть, решили, что какая-нибудь провокация, но, выяснив, что никакая не провокация, а глупость, бред собачий, — с богом отпустили, но скандал вышел большой. В общем, типично ноздревская история. Что-то меня возмутило во всей

этой процедуре премьеры — то ли что Андрон представлял эту картину, — уж совсем не его это дело, представлять картины такого рода, хотя — почему бы и не представлять? В общем, черт его знает что. Потребовали объяснений. Написали во все Союзы, но, как ни странно, все пока что обошлось, — не знаю, конечно, надолго ли. Все это вышло очень некстати — по моим делам — и дома, и по картине, и вообще — черт знает что — как 10 лет назад, — это немного утешало, что как 10 лет назад, но качественно — шага особого нет вперед — все тот же юношеский бред, да и без особого повода — бог с ним, хватит об этом. Так что, если тебе кто-нибудь расскажет эту историю в каком-либо трагическом или геройском виде, ты не верь: и не геройски, и не трагически, а просто глупость.

Лето — что лето? Еще не знаю. Все зависит от денег: будут — можно и уехать куда-нибудь подальше — кстати, можно и на Восток, но вместе нам ехать крайне опасно. Я очень рад твоему письму и еще потому, что у тебя хорошее настроение (если это не треп) и ты работаешь, это замечательно. Мне, кстати, очень понравился «Дедушка и внучек» — я его прочитал уже в Москве. Уехал я тогда из Киева очень страшно и странно — в жуткий холод, без пальто, без рубля на утро — это было самое страшное, остальное — не так уж и страшно: поезд шел весь день — вообрази мучение — почти подвиг, сошел в темноте — в снега, слава богу, у меня у матери висело старое пальто — не выкинула, умница, — сошел просохший, умиротворенный — под снежок. Правда, вечером в одиночестве скушал стакана два, вымылся и лег спать, кстати, читая «Дедушку и вн.» — Здравствуйте, В.П.! Киев, конечно, помню смутно и далеко не все. Суворовцев, надо полагать, мы поудивляли, но не очень.

Правильно, что обошлось неучастием в банкетах, — хватит и того, что было.

Виктор!

Геннадий Шпалников

Я м.быть в июне буду в Киеве, а м.быть нет. Если что-нибудь выгорит — с делами, — я обязательно приеду хоть дня на три — можно? Будем, если не возражаешь, купаться и трепаться. В общем, я закругляюсь, а то не остановлюсь. Виктор, мне очень тебя недостает, я это пишу совершенно серьезно, как Катаев Бунину — читал, небось, сочинение?

Эх, господи — жалко — все жалко, не так все складывается, а может, я преувеличиваю, хотя, кажется, нет.

Обнимаю тебя крепко. О домашних делах — писать скучно, но, в общем, они средние, конечно, но, опять-таки, сам виноват, вообще — ты должен это отметить — я отношусь к себе очень критически, — вот так. А серьезно — работать — сейчас особенно — совсем почти не-возмогу — так давно уже не было — не со мной, а с общим положением в кино. Не думаю, что дело в каких-то особых запрещениях — это пусть себя другие утешают — просто я чувствую, что должен наступить какой-то качественный, общий скачок, уж больно такая общая мура идет — ужас. В общем, за работу, товарищи.

Юлик хандрит, Тарковский, наконец, выпустил «Рублева» — собирается делать «Солярис» Лема — не понимаю — зачем. Андрон собирается делать «Евгения Онегина», Васька Шукшин снял, по-моему, среднюю картину, но не такую, чтоб отчаиваться очень, а он расстроился чего-то, но видел я его давно, м.быть, теперь все чуть лучше.

Видимся мы вообще все редко-редко, и пусть перечисление фамилий не вводит тебя в заблуждение насчет авангарда — это все мнимо давно уж.

Все. Маме — огромный привет, если можно, то и извинения — в любой форме. Все же нехорошо так появляться в семейном доме, это уж точно — нельзя.

Обнимаю.

Напиши, если придет охота!

Твой Гена

В.П. — письмо не кончается, долго я его в кармане носил, прежде чем.

Что — прежде чего — прежде всего — я об этом мало что понимаю. Главное — доехать, а сейчас поезд идет со страшной скоростью.

Я понимаю, почему ты не любишь стихи. Правильно. Хотя есть стихи прекрасные.

Я их всех люблю, — но что нам стихами говорить, — несовершенство — того, чего сказать, — не по способу вне зимнего нет даже Утрило, — не против какой-то власти, а просто красками — вот — утро, день, ночь — попробуй напиши. Утро, день — как и во что переходит, как вещи ничему не подчинены, как все движется в пространстве, перемещается.

Это самые главные задачи, если на этом пути что-то получается, то получится все, — это русская литература, чисто всегда условная, политическая — в силу внешних условий — бред собачий. Виктор, у меня ума не хватит, чтоб об этом долго писать. Помнишь, — не помнишь, конечно, — зима у Утрило — м.быть — два «л» — там зима — дом в Париже, наискосок какие-то красные очертания — не зима — утро, — ты мне эту картину подарил, а я ее всю сознательную и бессознательную жизнь любил, помнил, там зима — утро, дорога, все закрыто, вывески, кафе — дымы, небо низкое, зимнее, так в марте — у нас, а там — наверно, четверг — в общем, вся неделя, — вот так бы писать, — дорога и ограда, — не расстраиваясь и ни на что не надеясь, кроме этих вещей, — мне такая жизнь под силу, но — не в том дело, — м. быть нам вместе снять и написать — как просто — бессознательно — и очень сознательно, несмотря ни на что, мы любим эту единственную жизнь, ни на секунду себя в ней не преувеличивая, забывая обо всем, ничего не помня.

Аэродром. Это не внезапная идея. Если это — с твоей стороны возможно, — то со стороны Ленфильма — очень и очень — в конце концов, плевать на этот Ленфильм (как и ему на нас) — но мы — это уж точно, — по точно объяснимому родству душ, — сочинили 6 — и сами сняли — кино, — тем более, я — волею судьбы —

Геннадий Шпаликов

единственный международный автор-кино (для СССР) — есть такое авторское кино*.

М.б. попробовать?

Вот и электричка приехала.

М.б. стоит? Что угодно. Лишь бы вместе, — год жизни, а то и два — мы же молодцы — вопреки логике — их, — Виктор, — подумай — я же всерьез — думал — м.б.

Сейчас — главное — все это отослать как бы.

В.П. — попробуем — не так уж и сложно, а у нас получится — Пазолини — снимает, кто еще — из знакомых — все, — тем более — ты уже снимался в моей картине — В.П. — это не я — машина дрожит.

Гена

* Фильм «Долгая счастливая жизнь» (сценарий и постановка Г. Шпаликова) получил приз на Международном фестивале авторского кино в Бергамо.

Письмо С.А.Милькиной-Швейцер

Милая Соня,

чего тебе мои стихи? Ну долги. Их, на самом деле, очень много. Ну и что? Сдаваться обстоятельствам — последнее дело. Хотя иной раз это выглядит смертью, а не сдачей. Вообще, все это входит в нашу замечательную профессию, и это надо всегда помнить, — тут ничего иного не придумаешь, а долги отдавать, конечно, надо. Но, Соня, не умею я зарабатывать. Работать умею. Все-таки, в 35 лет столько наработать может очень выносливый человек. И, все-таки, ощущение, что жизнь не вышла, меня не покидает. Не мое это дело, — а какое мое? — писать? — так я всю жизнь пишу. Не знаю, Соня, но этот год был для меня самым тяжким, — все-таки, есть предел работоспособности в условиях полной неработоспособности, т. е. все шло к тому, чтоб я ничего не делал, а я работал, и работаю. Но честно говоря, так дальше долго не получится. Что делать? Жалко мне и Инку и Дашу, и вообще всех; кроме себя.

Надо мне устраиваться с жильем. Как? Где? Не могу же я все время жить по чужим домам, имея свой, якобы, дом. Соня, кроме работы и ощущения того, что писать я стал лучше, веселее и просто расписался, наконец, всю, — нет у меня иных целей и желаний. Ладно, Соня, милая, замечательная женщина, смурной человек, вздорный, милый, очаровательный, затрепанный этой сволочной жизнью.

Обнимаю нежно.

Гена

Письмо К.Г.Муратовой*

Дорогая Кира,

только что я видел твою картину, — в Болшеве, и пишу сразу, чтоб слова уважения и гордости за эту прекрасную работу были первыми словами.

Я плакал, смеялся, грустил, немел, обалдевал, веселился, — это прекрасная работа, — во всех отношениях, — я даже не хочу говорить, — в каких, — это настоящее дело, — ты видна во всем, — я узнавал все, что волнует тебя, тревожит, бесит, — узнавал *тебя*, — это, а уж как это знаю! — жутко трудно, беззащитно получается в каких-то богом избранных случаях. .

Конечно, я рад за Наташу, за всех нас, за Шарко, за идею вам работать вместе. Предчувствие меня тогда, в Гурзуфе, не обманывало: *я знал, честное слово*, — что ты снимаешь замечательное кино, — *знал*. Я видел тебя не так уж часто, но, конечно, смог оценить. Я пишу из того же самого номера, — помнишь? — как нелепо и легко (для меня) мы сидели, понимал всю прелесть и грусть нашего неразговора. Ах, Кира, — господи, — это все огромная твоя победа, — мне все в этой картине нравится, даже то, что и не должно б нравиться, — но я понимаю, что такая работа, — она не из частных, из общего, из необъяснимостей и волшебства. Это, конечно, и легко, — но, — тебе, — и знаю, как это не легко, но это естественно, — и естественность, и естественность, — Кира, Кира, какая ты умница, и как *хорошо, счастливо, разумно, благородно* ты живешь.

Там, — сразу после просмотра, все чего-то громко говорили, какие-то разные общие слова, полуслова, — бред. Я ушел из ... и ревел. Ревел и Андрей Смирнов, я даже ушел, потому что неудобно реветь диалогом.

* Письмо к кинорежиссеру К. Г. Муратовой по поводу ее фильма «Долгие провода».

Вот так, милая, дорогая, прекрасная Кира Муратова, — замечательный художник, мастер, — и никого не слушай, — совет общий, но верный: никого.

Сложно, наверное, чего-либо тут говорить сразу, — но мне нравится вообще все вместе, прекрасно это снято, — передай, пожалуйста, оператору, — я не успел запомнить его фамилию*, но найду и вспомню непременно. Прекрасны все интерьеры, т.е. — то, что мне очень, например, близко и понятно, и предметы, и детали, и все, все. В других руках это все не так, но другие руки, — это другие руки, Кира!

Обнимаю тебя, поздравляю, заклинаю беречь себя, не печалиться, — вести разгульный образ жизни, и на все глядеть весело! А остальное, — наплевать. Остальное — все при тебе, умница!

Гена

24 ноября

* Оператор фильма «Долгие проводы» Г. В. Карюк.

Письмо Ю. А. Файту

Юлик, все-таки надо писать чернилами, но, слава богу, почта есть. Вот был тот день — летом, я очень хотел с тобой повидаться просто так, и ты мне сказал, что все со мной кончено, — идя по Садовому кольцу, — я и не собирался этого отрицать. На самом деле кончился — не прорыв, не перерыв, и не жизнь иная, — проза ничего не переменяла, а, напротив, все поставила на место, — мне ужасно жаль, что ты этого не заметил, — вернее, — заметил, но, 66 год — для меня — был уже концом прежних завоеваний, и вообще я бы мог прекрасно жить на прежних достижениях, — Новая советская волна, и это на самом деле так. Но это все — дешевка. Дальше начался прорыв к не этому. Он шел не так уж и долго. И ничего этого ты не заметил. Вернее, заметил, но это ведь и не главное.

Юлик, прости, что я пишу про себя да про работу — но больше ничего не осталось. Я напишу — совесть. Все равно — слово. Наверно — и наверняка — ведь и половины не вышло, не вышло — вовсе не благодаря СССР, а несовершенству собственному. Ничего запрещенного нет, есть собственное отношение — как и что. Я всегда это знал, и м.б., эти годы будут хорошие, но вне кино. Юлик, ты мне самый, на самом деле, близкий человек, я пытаюсь объяснить, отчего так все переменялось — дело не в детстве отношений, а дело в том, что мне в голову не приходило тебе писать письма, звонить — еще — сойдет, а вот с письмами — это уже полный бред.

Ну, ладно. Письма — уничтожаются — или нет.

Ничего не получается. Вернее, понимаешь, что получается — вот-вот — и крышка, — и снова — из-под крышки — ори! — мне это так надоело, что даже совестно сообщать об этом, но уже поскольку это в письме — ладно.

Я очень хотел тебя повидать летом — поехал к А.А.*

Ну ладно. Обнимаю, поздравляю.

Г.

* А.А. — имеется в виду киноактер А.А.Файт, отец адресата.

* * *

Я пишу это на рассвете. Сейчас лето 71-го года. Пишу, потому что это все уйдет (может, уйдет), не вспомнится, забудется. Не мною, конечно. Вообще может уйти. Пишу потому, что еще, может, и не успею я это написать — по самым разным обстоятельствам. По суете, может быть. По здоровью. Потому что многие это не успели доделать. Пишу, как пишется, особо не заботясь о стиле повествования. Как сложилось за эту ночь в голове. Постараюсь все изложить кратко, времени у меня мало, да и не о себе. Поэтому ограничусь работами, которые не все — так мне кажется — дойдут до вас. Конечно, я родился писателем — по призванию, по влечению, но, как это часто бывает, много не успел. Сегодня я даже не мог всего прочитать, что сочинил... Итак, успел я мало. Думал иной раз хорошо (как и многие), но думать — не исполнять. Слава Богу, что у меня хватает ума это понимать — про себя хотя бы. Но каждый успеваает отпущенное. Вот это — уж точно. Не знаю кем...

Устану да и надоест, так что заранее прошу простить: я многое пропущу, и не сознательно, а так, пропущу — и все тут. Внешняя жизнь очень часто заслоняет внутреннюю, но, в общем, меня это особо не волновало, хотя зачем я тогда это все пишу поутру, летом? Значит, волновало. Но, честное слово, не очень меня все это волновало, да и не сумею, наверно, как следует и кратко написать перечень работ и даже не надеюсь в этой краткой записке рассказать все, что я думаю, что пережил. Не думается мне, что это особо уж интересно, хотя жизнь каждого человека, по-моему, интересна по-своему, если, конечно, он успеет или сумеет достаточно внятно ее изложить. Боюсь, что начинаю сбиваться на общие места, что большая опасность, потому что большая опасность — и все тут. Особо для сочинений такого рода.

<Нрзб.> отпущенное, но тут есть свои законы. Я мог сделать больше, чем успел. Знаю это точно. Не в назидание

Гелладий Шлашков

и не в оправдание это пишу — пишу лишь, отмечая истину. У меня не было настоящего честолюбия, хотя многие будут считать, что это совсем и не так. А так — не было. У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков. Пишу об этом совершенно всерьез, потому что твердо знаю, что при определенных обстоятельствах мог бы сделать немало. Обстоятельства эти я не знаю, конечно, смутно догадываюсь о них, никого не виню — тем более эти смутные обстоятельства, но что-то уж было. Так мне кажется сегодня, 22 июля 1971 года, да и раньше иной раз казалось.

В общем, мне, конечно, не повезло. Хотя что такое — повезло? Этого я тоже не знаю, но, в общем-то, могу представить. Я не строил свою жизнь по подобию тех, кто мне нравился, и не потому, что этого не хотел, не мог, хотя, наверно, уж не мог, но то, как все у меня в конце концов сложилось, глубоко меня не устраивает и очень давно уже.

Пишу это не в состоянии минуты, а подумав, хотя и верю, что и минута — верна как минута. Чего еще ждать?

Пусть хоть так.

СОДЕРЖАНИЕ

СНЕГ В АПРЕЛЕ. Стихи и песни.

«Попытка выразить себя...»	8	
Половина девятого	9	
Обвинение дождю	10	
Жизнь	11	
Грустное	13	
«Я тебя девчонкой знал когда-то...»	14	
Редкое сновидение, или Жалко, что не в жизни		15
Надоело!	19	
«Не смотри на будущее хмуро...»	19	
Март	20	
Палуба	21*	
Можайск	22	
Звездное озеро	23	
Десять лет	24	
«Ах улицы, единственный приют...»	25	
«Бывает все на свете хорошо...»	26	
Снег в апреле	27	
«Может я не доживу...»	28	
«Мы сидели, скучали...»	29	
Батум	30	
Колокол	31	
«У лошади была грудная жаба...»	32	
«Мертвец играл на дудочке...»	33	
«Любите вы Листа, Моцарта, Сальери...»		34
«Я шагаю по Москве»	35	
«Что за жизнь с пиротехником...»	36	
«Есть у раздражения...»	37	
Сентябрь	38	
«Я голову приподнимаю...»	40	
«По несчастью или к счастью...»	41	
«Городок провинциальный...»	42	
«Я жизнью своею рискую...»	43	
«Москва сортировала поезда...»	45	
Переулочек юности	46	
«В лето хорошо бы без билета...»	47	
Лето	48	
Переделкино	49	
«Под ветром сосны хорошо шумят...»		50
«Тебе со мною скучно...»	51	
В Ленинграде	52	
Воспоминание про утро	53	
«На подоконнике жена...»	54	
«Понедельник, понедельник...»	55	
Стихи про телефоны	56	
«Читатель, ты прости...»	57	

«Какая вы сейчас?»	58	
Умная леди	58	
Сто ворон и сто сорок, и еще один сурок. <i>Сценарий мультфильма</i>	59	
Сон	61	
Квазимодо	62	
«То ли страсти поутихли...»	63	
«Разговор о чебуреках поведем...»		64
Бывают крылья у художников	65	
Три посвящения Пушкину	66	
«Стихи — какие там стихи...»	68	
«Хоронят писателей мертвых...»	70	
«Поэтам следует печаль...»	71	
«Ударил ты меня крылом...»	72	
«Саша, ночью я пришел...»	73	
«Нескладно получается...»	74	
«С работы едущие люди...»	75	
«Ах, утону я в Западной Двине...»		76
Стихи о выздоровлении	77	
«Никогда не слышал, как кричат стрижи...»		78
«За стеною на байне...»	79	
«В темноте кто-то ломом колотит...»		80
«Я пуст, как лист...»	81	
«О рыжий мой, соломенный...»	82	
Долги	83	
«Все лето плохая погода...»	84	
Отвлеченные мысли, навеванные воспоминанием о Дмитрие Мережковском	85	
О собаках	87	
«О, как немного надо бы...»	88	
«За два дня до конца високосного года...»		89
«Людей теряют только раз...»	90	
«Не насовсем прощались...»	91	
Садовое кольцо	92	
«Не принимай во мне участия...»		93
«Справляли мы поминки...»	94	
«Сегодня пьем...»	95	
Песенка	96	
«Я сетую. На что я сетую?»	97	
«Зубы заговаривал...»	98	
«О, когда-нибудь — когда?»	99	
«Спаси меня, Катя Васильева...»		100
«Вчерашний день погас...»	101	
«Ни словом, ни делом...»	102	
«Есть такая девочка...»	103	
«Живет актриса в городе Москве...»		104
«Не ходи в дома чужие...»	106	
«В январе уже тепло...»	106	
«От мороза проза...»	107	

«Хотел бы я писать всерьез...»	108
«Цветет себе, не опадая...»	109
«По белому снегу...»	110
«Самолеты, как мороженые рыбы...»	112
Зима	113
В ту зиму	114
«Обожал я снегопад...»	115
«Незаметен Новый год...»	116
«Все неслышной и все бестолковой...»	117
Бессонница	118
Стихи 7 октября	119
Гром	120
«Я помню, а ты и не вспомнишь...»	121
После просмотра фильма «Дети райка» — осенью 1973 года	122
Даше	123
Колыбельная	124
«Не прикидываясь, а прикидывая...»	125
«Жили-были волки...»	126
«Отпоют нас деревья, кусты...»	127
Воспоминание о Ленинграде 65-го года	128
«Ничего не получалось...»	129
«Чего ты спишься каждый день...»	130
Песенка	131
«Остается во фляге...»	133
«Я к вам травкою прорасту...»	134
Песенка во сне	135

ПОВТОРНОЕ КИНО. Сценарии

Я шагаю по Москве	138
Причал	195
«Девочка Надя, чего тебе надо?»	227
Все наши дни рождения	280
Долгая счастливая жизнь	353
Я родом из детства	402

А ЖИЗНЬ — ПРЕКРАСНА, КАК ВСЕГДА...

Главы незавершенного романа	458
-----------------------------	-----

ПРО СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ. Рассказы. Наброски. Дневники. Письма

Автобиография	546
«Моему отцу нравилось рисовать снег...»	548
«Давно это было...»	549
Патруль 31 декабря. Рассказ.	553
Лето 1958 года. Дневник.	567
Человек умер	603

«Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову...»	609	
Милый, ты с какого года и с какого парохода? <i>Рассказ.</i>		610
«Я люблю актеров и актрис...»	615	
«Сегодня 30 декабря 61 года...»	616	
«В Музее изобразительных искусств имени Пушкина...»		617
Полями наискось к закату. <i>Рассказ.</i>	618	
«А когда становилось уже совсем невыносимо...»		623
«Еще раньше у меня бывали вот такие дни...»	625	
«Бездомные завидуют тем, у кого есть дом...»	627	
«Все последние дни я занят...»	628	
«Почему вы все вещи носите наизнанку»		631
«Как тогда, летом...»	632	
«У меня была гравюра...»	633	
«В Москве повсюду лето...»	634	
Письмо В.П. Некрасову	639	
Письмо А.С. Милькиной-Швейцер		645
Письмо К.Г. Муратовой	646	
Письмо Ю.А. Файту	648	
«Я пишу это на рассвете...»	649	

**Геннадий Федорович
ШПАЛИКОВ**

**Стихи
Песни
Сценарии
Роман
Рассказы
Наброски
Дневники
Письма**

**Ответственный за выпуск С. Мухаметдинова
Художественный и технический редактор
Т. Шабурова**

Лицензия ЛР № 064283 от 08.11.95

**Подписано в печать 09.10.98. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура «Бодони». Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 34,5.
Тираж 30 000 экз. (1-й завод: 1–10 000 экз.)
Заказ № 337.**

**ООО «У-Фактория»
620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 77.**

**Отпечатано с готовых оригинал-макетов
на ФГУИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13**

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Ц-Фрактория»

представляет серию

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

В серию входят авторские сборники:
**Леонида Филатова, Александра Галича,
Булата Окуджавы, Геннадия
Шпаликова, Владимира Высоцкого,
Андрея Сахарова**

и других поэтов и прозаиков, артистов и художников, ученых, которые своей личностной позицией и творчеством оказали заметное влияние на духовное развитие России в XX веке.

Телефоны: 8(3432) 22-96-26, 22-85-89;
Факс: 8(3432) 22-85-35.

СНЕГ В АПРЕЛЕ

стихи и песни

ПОВТОРНОЕ КИНО

проза для экрана

А ЖИЗНЬ - ПРЕКРАСНА,
КАК ВСЕГДА...

главы незавершенного романа

ПРО СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ

рассказы

наброски

дневники

письма

